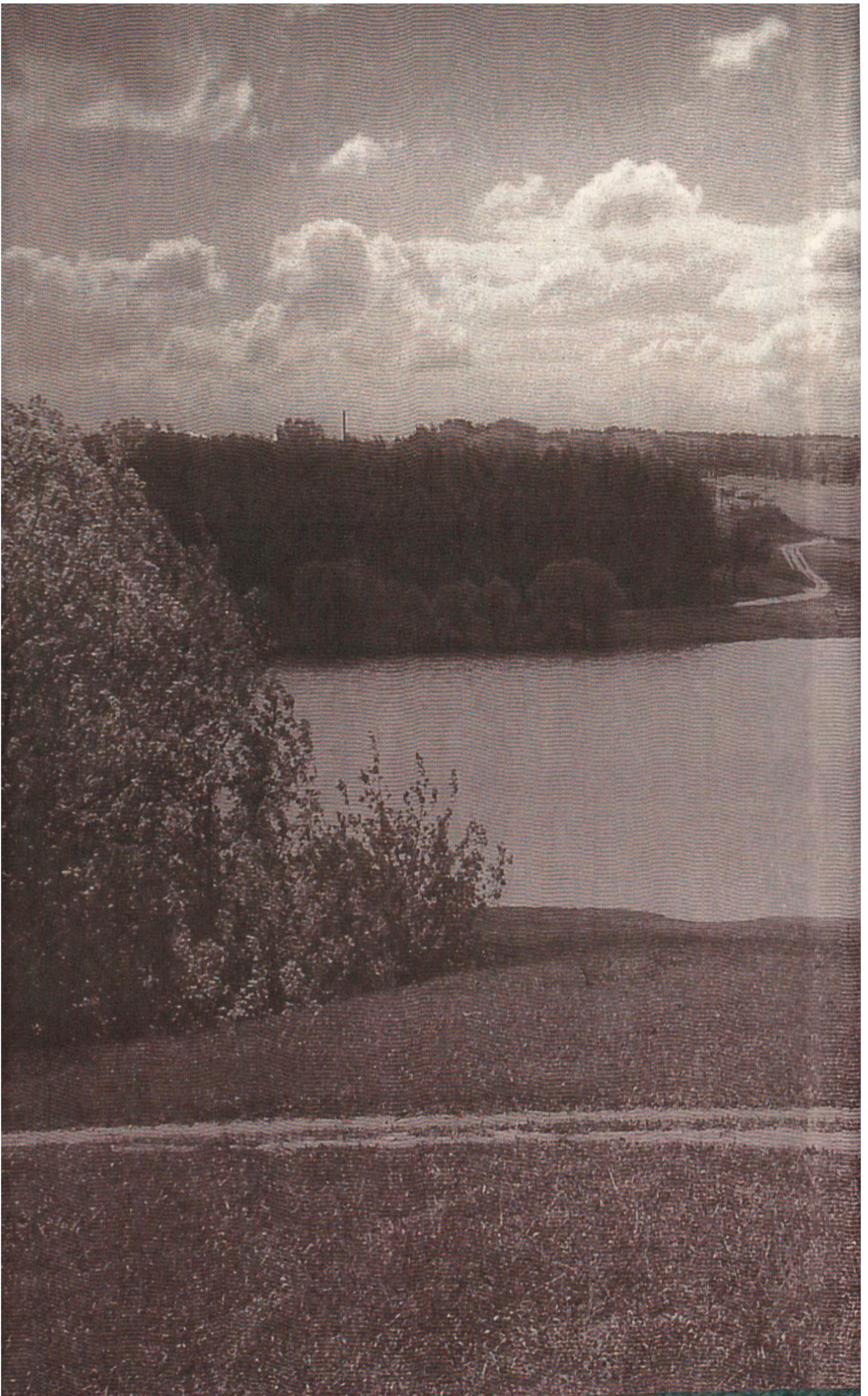




ЕВГЕНИЙ НОСОВ





*К 80-летию
Евгения Ивановича Носова*

Е.И.НОСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ



Москва · Русский путь · 2005

Е.И. НОСОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том второй



В чистом поле...

•

Повесть о детстве

Москва · Русский путь · 2005

ББК 84 Р2
Н 84

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Администрации Курской области

Составитель *Е.Д. Спасская*
Примечания *Т.А. Соколовой, Е.Д. Спасской и В.В. Васильева*

В оформлении издания использованы репродукции
живописных работ, рисунков и фотопейзажей *Е.И. Носова*

Носов Е.И.

Н 84 **Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2: В чистом поле...: Рассказы и повесть. Повесть о детстве / Сост. Е.Д. Спасская; примеч. Т.А. Соколовой, Е.Д. Спасской и В.В. Васильева. — М : Русский путь, 2005 — 352 с , ил.**

ISBN 5-85887-187-9

ISBN 5-85887-218-2

В настоящее издание включены практически все произведения известного русского писателя, лауреата Государственной премии РСФСР и других литературных премий (в том числе премии А.И. Солженицына), кавалера многих орденов и медалей, Героя Социалистического Труда, члена Академии российской словесности *Евгения Ивановича Носова* (1925–2002), написанные с 1948-го по 2002 г.

Произведения распределены по тематическому принципу. В том 2 вошли рассказы о подростках и автобиографические произведения о детстве, повествование о котором разворачивается на фоне довоенной жизни Курского края.

ББК 84 Р2

© Е.И. Носов, наследники, 2005
© Е.Д. Спасская, составление, примечания, 2005
© Т.А. Соколова, В.В. Васильев, примечания, 2005
© П.П. Кривцов, фотографии, 2005
© Русский путь, 2005

В чистом поле...

Рассказы и повесть



В ЧИСТОМ ПОЛЕ, ЗА ПРОСЕЛКОМ...

1

Кузница стояла у обочины полевого проселка, стороной обегавшего Малые Серпилки. С дороги за хлебами видны были только верхушки серпилковских садов, сами же хаты прятались за сплошной стеной вишняков и яблонь. По безветренным утрам над садами поднимались ленивые печные дымы, сытно, запашисто отдававшие кизяком и хмызой. Летом оттуда на гречишную цветь, огибая дымную кузницу, со знойным гудом летели пчелы. Осенью же, когда после первых несмелых утренников недели на две устанавливалось задумчиво-кроткое бабье лето с глубоким небом и русоволосыми скирдами молодой соломы, из серпилковских садов далеко в поле проникал горьковато-винный запах яблочной прели и на все лады неумело и ломко кричали кочетки-сеголетки.

Из всех строений со стороны проселка видна была одна только семилетняя школа. Несколько лет назад ее построили взамен старой, изначальной и сильно обветшавшей углами. Поставили ее на задах деревни, на ровном муравистом выгоне, и теперь она чисто белела на темной зелени садов, а при восходе солнца полыхала широкими и ясными окнами.

Кузница же была выстроена у проселка еще в стародавние времена каким-то разбитным серпилковским мужиком, надумавшим, как паучок, поохотиться за всяким проезжим людом. Сказывают, будто, сколотив деньгу на придорожном ковальном дельце, мужик тот впоследствии поставил рядом с кузницей еще и заезжий двор с самоварным и винным обогревом. И еще сказывают, будто брал он за постой не только живую денежку, но не брезговал ни овсом, ни нательным крестом.

В революцию серпилковцы самолично сожгли этот заезжий двор начисто. Распалаясь, подожгли заодно и кузницу. Однако вскорости смекнули, что кузницу палили зря. Тем же временем расчистили пожарище, прикатали новый ракитовый пень под наковаль-

ню, сшили мехи, покрыли кирпичную коробку тесом, и с той поры кузница бессленно и справно служила сначала серпилковской коммуне, а потом уже и колхозу.

Правда, был случай, имеющий самое непосредственное отношение к этому повествованию, когда кузница в Малых Серпилках вдруг умолкла. Нежданно-негаданно помер кузнец Захар Панков. А надо сказать, что Захар Панков был не просто кузнец, а такой тонкий мастер, что к нему ездили со всякими хитроумными заказами даже из соседних районов. Бывало, лопнет в горячей работе какая деталь в тракторе — механики туда-сюда: нет ни в районе, ни в области такой детали. Всякие прочие запчасти предлагают, а такой точно нету. Они к Панкову: так, мол, и так, Захар, сам понимаешь, надо бы сделать... Повертит молча Захар пострадавшую деталь (виду он был сурового, волосы подвязывал тесьмой по лбу, борода смоляная на полфартука, точь-в-точь как старинный оружейник, но в современной технике толк вот как знал!), даже иной раз зачем-то в увеличительное стеклышко поглядит на излом. Ни слова, ни полслова не скажет, а только бережно завернет деталь в тряпочку и опустит в карман. Тут уж и без слов понятно: раз взял, стало быть, выручит. Да и не только поглядеть на Захарову работу, а даже издали послушать было любо. Как начнут с молотобойцем Ванюшкой отбивать — что соборная звонница: колоколят молотки на всевозможные голоса. И баском, и залиvistым подголоском. Праздник, да и только в Серпилках! Особенно по весне, перед посевной: небо синее, чистое, с крыш капает, теплынь, а они вызывают на весь белый свет.. Сколько помнят Захара, все годы провисел его портрет на колхозной доске почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили.

Похоронили Захара честь по чести. В серпилковской школе даже занятия были отменены. Три его медали (он на войне служил в саперах) школьники несли на красных подушечках...

Той же осенью призвали на воинскую службу Ванюшку. Совсем осиротела кузница, стоит в чистом поле с угрюмо распахнутыми воротами. Серпилковцы, привыкшие к веселому перезвону молотков за садами, чувствовали себя так, будто в их хатах остановились ходики. Сразу стало как-то глухо и неуютно в Серпилках: очень уж не хватало им этого перестука на выгоне. Да и из хозяйственного обихода выпала кузница: ни отковать чего, ни подладить. Сильно жалели серпилковцы, что в свое время не приставили к Захару какого-нибудь смышленного мальчика, чтобы усвоил и перенял тонкое Захарово искусство. И вдруг с пустых осенних полей через сквозные облетевшие сады до Серпилок явственно долетело: «Дон-дон-дилинь... дон-дон-дилинь...»

2

Зазвонило, затюкало глухим темным вечером, в канун октябрьских праздников, когда серпилковцы еще не укладывались спать. В каждой, почитай, хате бабы запускали тесто на пироги, ощищивали кочетов или разбирали пороссячьи ножки на завтрашний холодец. Так что многие услышали этот неожиданный перезвон в поле и, высыпав во дворы, слушали, не зная, что и подумать.

Но прежде других странный стук молотка в ночи за деревней услышал Доня Синявкин, сухонький, беспорядочно волосатый дедок, у которого бороденка росла не сплошняком, а пучками. Даже на узком утином носу, на самом его заострении, упорно и неистребимо пробивался сивый жесткий кустарничек. За эту пучковатую поросль Доню Синявкина окрестили «квадратно-гнездовым», или попросту Квадратом. Будучи одиноким человеком (впоследствии к нему приедет из города племянница Верка), в хате которого от самой смерти старухи некому было печь пирогов и студить холодцы, дед Квадрат в тот день с самого утра начал обходить Серпилки и поздравлять односельчан с наступающим праздником. Делал он это на старинный манер христославия: открывал дверь, стаскивал у порога шапку и, кашлянув для верности голоса, тотчас начинал забубенной скороговоркой:

— С праздничком вас, люди добрые, мир и согласие вашему дому, быть пирогу едому, яичку крутому, сальцу — смальцу, чарочке в пальцы...

Пропевши такие слова, Квадрат поясню кланялся в красный угол и присаживался на лавку.

Правда, серпилковцам было не до Квадрата: белили хаты, выколачивали перины, возились со стряпней. Однако в двух не то в трех домах дедок все же зацепился, всласть набеседовался о том о сем и к вечеру был в самом благовеселом расположении души. Тут бы ему и отправиться спать, но, проходя мимо хаты председателя колхоза Дениса Ивановича, не смог преодолеть искушения на минутку заскочить к нему, потому как очень уж уважал Дениса Ивановича.

«Кого тогда и поздравлять с праздничком, ежели не Дениса Ивановича!» — почтительно сказал сам себе Квадрат и толкнул калитку.

В хате было жарко топлено, празднично пахло едой, на столе ворохом высилась горка кучерявой, только что обжаренной капусты для пирога. Жена Дениса Ивановича, сдобная, крутобедрая Дарья Ильинична, возилась у дежи, сам же Денис Иванович, в чистой исподней рубаше с очками на носу, сидел тут же, подле капусты, и, пощипывая серебряный ус, читал районную газету, а точнее сказать, разглядывал сводку. Когда Квадрат зашел и затянул было свое «быть пирогу едому, яичку крутому», Денис Иванович в самый раз ударил по газете пальцами на манер того, как если бы страхи-

вал с нее комашку, и сказал, усмехнувшись, но, однако же, и в сердцах:

— Вот ведь сукины дети! Ну и ловкачи!

— Ты кого так? — спросил дед Квадрат, в знак приветствия потрогав хозяйку выше локтя, поскольку кисти рук у нее были заляпаны горчишно-желтым тестом.

— Да росошинский «Верный путь», — отложил газету Денис Иванович. — По сводке у них вся зябь поднята, а я давеча проезжал — до сего дня заовражье не тронуто! А вот поди ж ты, на второе место по району выскочили! Ну и ловкач этот Посвистов!

— Сказывают, Тимирязевскую академию кончал, — вставил Квадрат. — И еще штой-то...

— Тимирязевская тут не виновата.

— Дак и я говорю, — поспешно согласился Квадрат. — К ученой голове еще должен быть порядочный доклад от себя лично. Не та шинель, что пуговицами блестит, а та, что греет. Вот хоть тебя, Денис Иванович, взять. Образования у тебя почти что никакого. На живом деле да на людях сам себя образовывал. А хозяйством справишь куда с добром.

— Гм... — кашлянул Денис Иванович и загородился газетой.

— Все сыты и справны, и Серпилки наши, слава те господи, не прорежены бегами да вербовками, — продолжал гомонить Квадрат, подсаживаясь к жареной капусте. — Я вот нынче проходил: любо-дорого поглядеть, какая у нас деревня. Хаты белые, окошки протертые, плетни не проломлены скотиною на манер Россошек.

— Ну и долдон ты, я погляжу, — сказал Денис Иванович. — У кого, может, хаты и побелены, а твоя опять рябая, как леопарда. Соседку попросил бы обмазать, что ли... Людей бы посовестился.

— Ображу, ей-бо, ображу, — заморгал бесцветными веками Квадрат. — Я ведь к чему? Вот ты меня поругал, а мне приятно. От хорошего человека и замечание приятно послушать. Потому как ты настоящий хозяин нашей жизни. И не столько образованием, сколь сердцем что к чему угадываешь.

— Ну ладно, будя... — поморщился Денис Иванович. — Не люблю... закуси лучше.

— Закушу, закушу, — кивнул Квадрат, поглядывая, как Дарья Ильинична, убрав со стола капусту, взаменставляла из шкафчика тарелки со снедью и графинчик с морозовым узором и рябиновыми ягодами на дне. — Опять же и колхоз наш получше ихнего называется: «Нива»! А то «Верный путь»... Это в Россошках-то верный путь? Прошлой зимой тринадцать теляток издохло... С названиями, я тебе скажу, надо поаккуратней. Чтоб смущения потом не получалось.

— Закуси,куси... Что впустую языком молоть...

Всего только две рюмочки рябиновки и выпил дед Квадрат, однако уже начал было и задремывать за разговором. Денис Иванович, сунув босые ноги в сапоги и накинув ватник, сказал:

— Осовел ты, Квадрат, пойдем доведу..

И вот, когда они проходили мостком у старой школы, с которого, если бы не Денис Иванович, дедок не преминул бы оступить впотьмах, в это время и долетел до Серпилок странный перезвон.

— С-слышь? — наострился дедок и поднял в темноте палец.

Постояли, послушали: из-за темных, окостенелых осенних садов, из глухой полевой темени еще отчетливей, чем прежде, донеслось: «Дон-дон-дилинь-дон... дон-дон-дилинь-дилинь...»

— Ей-бо, в кузне это... — определил Квадрат.

— Какого лучшего... — возразил Денис Иванович.

— Секи мне голову — в кузне!

— Кому это приспичило ночью да еще под праздник?

— А вот и гадай...

— Чепуху мелешь, дед.

— Нет, ты послухай. Вон энти два глухих удара — это он по заготовке молотком тюкает, по раскаленному... по мягкому... потому и глухо... Ты послухай... А энтот, со звоном, то уж он по наковальне...

— Кто это он? — спросил Денис Иванович.

— А вот, должно, он и есть...

— Да кто он, черт ты дери?! — озлился Денис Иванович.

— Кто, кто... Може, сам Захар тюкает... — понижая голос до шепота, знобко выдохнул дедок.

— Тьфу! — сплюнул Денис Иванович.

— Его подчерк. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает, а благовест вызванивает..

— Спятил ты, что ли?

— Помер-то он прямо за работою... Разрыв сердца вышел. Говорят, осколок от войны близко к сердцу сидел... Прибежали — он лежит замертво, а сошник от культиватора еще на земле дымится. Вот как довелось помереть человеку!

— Человеком был — человеком и помер, — сказал Денис Иванович.

— Вот и я говорю: восстал Захар с погоста за незаконченным делом.

— Однако ты хватил сегодня, — сказал с досадливой укоризной Денис Иванович. — Зря я тебе подливал рябиновки.

— Ты меня хмелем не попрекай... Кузня без него совсем осиротелая осталась... Никакого ни стука, ни грюка не слышать... Никто его дела не подхватил... Вот он, может, и поднялся... Забота человека одолела...

— Ну это ты... того... — буркнул Денис Иванович, однако стук молотка в темном осеннем поле — ни луны, ни просяного зернышка в небе — показался ему странным, даже стал раздражать своей реальностью, на которую не приходило никакого объяснения.

— Гм, — сказал Денис Иванович так, как сказал бы в его положении норовистый бык, увидевший на дороге красную тряпку. Как человек, не терпящий никаких загадок, он добавил со всей решительностью: — А вот мы сейчас поглядим!

Денис Иванович сошел с мостика и направился в темный проулок, что резал Серпилки поперек и выводил в поле.

Квадрат, однако, замешкался на мостике.

— Денис Иванович, — позвал он. — А может, не надо мешать? Пусть себе тюкает...

— А вот мы разберемся! — упрямо твердил в темноте проулка Денис Иванович.

— Погодь, можа, народ шумнуть?

— Нечего тут. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю!

Дедку, возбудившему себя всякими предположениями, очень уж захотелось в теплую хату, но, поборов в себе такое желание, он все-таки спустился с мостка и осторожно последовал за Денисом Ивановичем, для верности окликаая:

— Идешь, Денис Иванович?

— Да иду. Где ты там?

— Я к тому, что... Идешь ли?

3

Выйдя за сады и чувствуя, что теряет последнюю связь с Серпилками, уютно пахнувшими в темноте теплыми, настоянными хлевами, дедок остановился, пяля глаза в черную пустоту, в то место, где должна была стоять кузница. Но строение совсем не проглядывалось, будто его вовсе и не было. Зато с еще большей явственностью, обдавшей дедка колючим холодом, доносилось это таинственное «дон-дон-дилинь»... Он даже уловил носом запах того самого дыма со сладковатой тухлинкой, который при живом Захаре Панкове полевой ветер доносил до Серпилок. И уже рисовалось ему, как в закопченном нутре брошенной кузни молчаливо и сосредоточенно стучит молотком Захар и на его лбу, перехваченном тесемкой, красным взблеском играет отсвет горнила... Но впереди упрямо крошили зяблевые комья сапоги Дениса Ивановича, и дед Доня, окликнув еще раз председателя, побежал за ним мелкой трусцой.

Между тем стук молотка в кузнице прекратился. Теперь они шли к чему-то, безмолвно затаившемуся в ночи.

— Денис... — негромко позвал Квадрат.

— Чего?

— Бегишь-то больно швыдко... Погодь...

Денис Иванович приостановился.

— Угрозил ты меня, ей-богу.

Денис Иванович не отвечал.

— Настырный ты... ужась! Тюкает, ну и пусть себе тюкает...

Сошлись вместе, постояли.

— Затихло что-то... — сказал дедок.

Поле затаилось в глухой осенней неподвижности. Не было даже видно огней деревни, спрятавшейся за садами. Только крепко, свежо пахло нахолодавшей соломой да еще сладким кузнечным дымом.

— Денис... Пля-ка...

— Вижу.

Впереди проступил проем кузнечных ворот, слабо, призрачно подсвеченный изнутри.

— Пошли, — твердо сказал Денис Иванович.

— Ты, Денис, как хочешь, а я тут постою...

Денис Иванович фыркнул и пошел один. Было слышно, как сердито и упрямо топали его сапоги. Через некоторое время черная коренастая фигура Дениса Ивановича замаячила в освещенных воротах и исчезла в глубине кузницы.

Прошли долгие минуты тишины и безвестности. Дед Квадрат, онемев и напрягшись, готовый задать стрекача, ожидал, что вот-вот в кузнице что-то загремит, рухнет, Денис Иванович выскочит опрометью, а вслед ему полетят лемехи и раскаленное железо. Но время шло, ничего не обваливалось, а Денис Иванович исчез, будто вошел в преисподнюю. Мелко покрестив кадык щепотью, дедок прокрался к воротам и, прячась за створкой, заглянул вовнутрь.

На столбе, подпиравшем кровельную матицу, висела керосиновая коптилка — пузырек с кружалкой сырой картошки, сквозь который был продернут ватный фитиль. Красновато-дымный шнур огня и копоти ронял тусклый и ломкий свет в закопченную темноту кузницы. В горне среди шлака малиновым пятном догорал, остывая, уголь... Денис Иванович стоял у наковальни и, оттопырив губы в тусклом серебре усов, задумчиво вертел в руках какую-то железяку, и по тому, как он ее перекидывал из ладони в ладонь, будто печеную картошку, было видно, что железяка эта еще не совсем остыла.

— Денис Иваныч... — окликнул из-за створки ворот дедок.

— Ну?

— Никого... нетути?

Денис Иванович не ответил, продолжал вертеть в руках поковку...

— А ведь уголья в горне горят... Стало быть, кто-то...

Тут рот Квадрата онемел и остался раскрытым, будто в него вставили распорку. В углу, за тесовым сундуком, в который старый кузнец Захар складывал свой инструмент, дедок узрел чьи-то ноги, обутые в стоптанные кирзовые сапоги. Даже пупырышки разглядел на подошвах.

— У-у... у-у... — произнес дедок и вытянул трясущийся палец в сторону ящика. — У-у..

Денис Иванович, сощурясь, склонив голову набок, долго глядел на торчащие головки сапог, потом подошел к сундуку, запустил за него короткопалую руку и вытащил на свет за балахонистый ватник насмерть перепуганного и по-кутячьи обмякшего мальчонку.

— Ты кто такой? — спросил он.

— М-Митька я... — захныкал малец и заслонил свою треугольную, с остреньким подбородком и широким лбом рожицу длинным, обвислым ватным рукавом.

— Какой такой Митька?

— Это Агашкин сорванец! — тотчас взъерепененным воробьем залетел в кузницу Квадрат. — Агашки проулочной, у которой грушу молоньей расшибло... Ах ты, чирей подптанниковый! Это ты тюкал? Я т-те...

Дедок проворно ухватил оттопыренное Митькино ухо и стал его накручивать, как если бы это была ручка сельсоветского телефона.

— Я т-те покажу, разбудяй сыромятный, как народ смущать! Люди Октябрьскую революцию собрались отмечать, а он, стервед, тюкает... Я т-те потюкаю...

— Это не я-а-а! — заголосил мальчонка. — Я только мехи качал... Это все Аполешка...

— Я и Аполешке уши накручу!

— погоди ты, — отпихнул дедка Денис Иванович. — Сразу и уши откручивать. Аполешка, где ты тут?

— Вылазь немедленно! — выкрикнул Квадрат.

— Ну, я... — глухо долетело откуда-то сверху.

С поперечины под самой крышей свесились похожие на утюги солдатские ботинки, из которых торчали портянки, а потом уже заголившиеся мальчишеские ноги. Обметая многолетнюю сажу, с дегтярно-черной матицы спустился неуклюже-длинный, вислоплечий Аполешка, старший Митькин брат. Конфузливо подпрыгивая носом, Аполешка утаивался себе под ноги. Большой вислый нос его был покрыт угольной копотью.

Денис Иванович с любопытством и даже как будто с удивлением оглядел ребятшек.

— Чистые сапустаты! — подсказал дед Квадрат.

— погоди, не лотоши, — поморщился Денис Иванович и спросил Аполешку, повертев перед его закопченным носом найденной на наковальне железякой. — Ты ковал?

— Я... — отворачиваясь, сознался Аполошка.

— Это что ж такое будет?

Аполошка промолчал.

— Это дышляк, — сказал за него малец.

— Что за дышляк?

— Это что колеса вертит, — быстро заговорил Митька, заблестев непросохшими глазами. — Мы тут паровоз делали. И все обратно положим, как было...

Митька с поспешностью подскочил к груде железного хлама и вытащил оттуда самоварно блеснувшую артиллерийскую гильзу крупного калибра.

— Это вот котел самый... Куда воду наливают... Мы вот тут дырку заклепаем, и котел будет... А тут колеса... Пар сначала пойдет здесь, потом здесь и здесь...

Денис Иванович еще раз оглядел «котел» и поставил на наковальню.

— Ты вот что, Аполошка... Паровоз — это ладно... Ты мне скажи: болт отковать сможешь?

Аполошка перемялся ботинками.

— Ну что ж молчишь? Экий ты козюлистый!

— С нарезкой? — глядя куда-то в сторону, спросил Аполошка.

— Как положено.

— Если с нарезкой, то плашки надо.

Говорил он медленно, тягуче, словно брел по вязкой топи и с превеликим трудом выволакивал слова-ноги.

— А ты откуда это знаешь, что плашками?

Аполошка поддернул носом, и даже что-то презрительное промелькнуло в его сумрачном чумазом лице.

— А как же?

— Гм... — пожевал губами Денис Иванович. — Ладно, делай пока без нарезки.

— Простого болвана?

— Давай простого.

— Сейчас прямо? — недоверчиво спросил Аполошка.

— Сейчас и валяй.

— Дак какой надо? На три четверти, на пять восьмых или какой?

— Валяй на три четверти.

Аполошка потянул из вороха железа длинный прут и кивнул Митьке:

— Ну-ка качни.

Митька с радостной готовностью подскочил к мехам, схватил за ремешок, перехлестнутый за деревянную вагу над головой, и повис на ремешке обезьянкой, задрав кверху сапоги. Оттянув рычаг, он снова ступил на землю и ослабил ремень.

4

Внутри горна, над шлаком, что-то загудело, зашипело, и малиновое пятно остывающих углей живо брызнуло искрами и засине-ло огоньками. Аполошка пошурудил огонь и сунул прут в угли.

Красный летучий отсвет озарил Аполошкин подбородок, мослатые скулы, бутристый лоб, все, что было упрямого в этом нескладном подростке, оставив в тени лишь его раздумчиво синие, широко распахнутые глаза. И от этого озарения, а может, и от чего иного, невидимого, загоревшегося в самом Аполошке, он враз как-то повзрослел, сурово построжал, будто заказанное ему дело прибавило целый десяток лет. Оно и всегда так: серьезная работа старого мастера молодит, а юнца — мужает.

Придвинулись к огню и дедок с Денисом Ивановичем, стоят, смотрят, как Аполошка клещами поправляет, нагартывает на огонь уголь. И глядели они на Аполошкины руки, на длинные в сивой окалине клещи, на гневно ревуший огонь так, будто отродясь ничего диковиннее и не зрели. То ли ночь тут смешала все понятия, то ли сам Аполошка удивлял — ведь огурец зеленый, опупок — а поди ж ты! Но скорее всего оттого заворуженно стояли старики, что никогда не привыкнет человек смотреть с мертвым сердцем на то, как калится, краснеет металл в жарком нутре горнила, на самое изначальное ремесло свое, прошагавшее с ним всю людскую историю, начиная от бронзы, и породившее все прочие хитроумные обращения с металлом.

— А ну, примай паровоз! — крикнул Аполошка так, будто это не был Агафьин Аполошка, в огороде которой молнией разбило грушу, а сам огненный бог, свершавший свое таинство в ночи. Дедок вздрогнул и, подчиняясь спешности дела, мигом подлетел к наковальне и смахнул паровоз. Аполошка выхватил из горна бело-желтый, почти прозрачный прут, истекающий светом и жаром, припадая на хромую ногу, шагнул к наковальне, очертив в темноте ослепительную полудугу. Черная Аполошкина тень изломанно пронеслась по стенам и потолку кузницы.

— Зубило! — крикнул Аполошка, и белки его сверкнули в темных провалах глазниц.

Митька бросил мехи, подхватил зубило на длинном держаке, приставил его к пруту, спросил Аполошку только взглядом: «Здесь?» — и Аполошка, кивнув, одним взмахом молота отсек конец прута. Тут же подхватил отрубленный кусок клещами, поставил его на попа, часто, торопко затюкал по концу молотком, осаживая прут и поворачивая клещи то вправо, то влево. И при каждом повороте пускал удар вхолостую, по наковальне, вызванивая ту самую паузу, то веселое кузнецкое «дилинь», непременно для всякого порядочного мастера, во время которого он успевает мгновенно оценить сработанное, прицелиться и поправить поковку. Живой, податли-

вый металл, рассыпая колкие звезды, послушно, стеариново осел и утолщился и, остывая, помалиновел.

Сунув опять заготовку в горн, Аполошка кивнул своему подручному, тот, бросив зубило, метнулся к ваге. И пока тяжело сопели где-то над головой мехи и гудел огонь, выплевывая из горна раскаленную угольную крошку, Аполошка снова был молчаливо-суров и строг лицом, как хирург.

— Шестигранник или четыре угла? — обернулся он погодя к Денису Ивановичу.

— Давай на шесть.

Аполошка выхватил болванку, сноровисто огранил, поправил в обжимке и швырнул в корыто с водой.

Денис Иванович выхватил еще парившую поковку и внимательно оглядел, можно сказать, даже обнюхал ее со всех сторон.

— Да, болт... — сказал он.

— Нарезать? — спросил Аполошка.

— Не надо. Верю. — И, повернувшись, протянул болт дедку.

Квадрат принял штуковину обеими руками, долго держал ее в пальцах за концы, поворачивал и все качал головой.

— Поди ж ты...

— Дядя Захар за один нагрев болт делал, — сказал Аполошка, глядя куда-то в угол. — А я два раза грел...

— Ишь ты... какой, — покосился на него Денис Иванович. — А колесо ошинуешь?

— Ошину.

— И концы сварить?

— Дядя Захар показывал... А так — не знаю...

— Показывал, говоришь?.. Гм... Ну а сошник?

— Культиваторный?

— Он самый.

— Можно и сошник. Только сталь хорошая требуется. Рессорная.

— Ты мне пока так, одну форму.

— Один не оттянешь. С молотобойцем надо.

— А ну, давай попробуем, — сказал Денис Иванович и, захваченный азартом живой и горячей кузнецкой работы, ее древней и дивной затягивающей силой, добавил молодцевато:

— Поищи-ка Ванюшкин молот... А ты, дед, покачай нам, а то малец умаялся.

Дедок ухватился за вагу, а спустя минуту, разойдясь, расстегнув шубейку и по-мальчишески заблестев глазами, говорил под тяжкие, воловь вздохи мехов:

— Вот, Денис, штука-то какая... Гляжу я, нету на русской земле, которая хлеб родит... нету ничего приветнее для души... окромя, когда деревенская кузня гомонит молотками... вот и ракеты теперь

пошли, и все прочее... А все ж таки кузня — всему голова... Как хочешь...

— Ты давай качай, качай, старый! — буркнул Денис Иванович.

— Да уж стараюсь... Раздуваю... А я было думал: опосля Захария кончилась у нас династия... Ан перенялась... Проросло семя...

5

Долго еще в предпраздничной ночи долетал до Серпилков спор молотков. Стучали они то сердито и торопко, то со звонкой веселостью. Всполошенные серпилковцы никак не могли взять в толк, что происходит там, в чистом поле, какая такая открылась непонятная всенощная перед самым Октябрем. Прибежавший на деревню Митька запальчиво рассказывал:

— Ой, что делается! Сам Денис Иванович куеть... Ватник снял, в одной исподней рубахе... Перемазался — ужась... Денис Иванович куеть, а Квадрат качаить... Денис Иванович Аполошке: «А это сделаешь?» — «Сделаю». — «А это?» — «Сделаю»... Аполошка не сдается ни в какую. Все экзамены повыдержал. Сколь всего понаковали — ужась!

— Да ты-то куда опять? — спрашивали Митьку. — Мать вся избегалась.

— А! — махнул спущенным рукавом малец. — Скажите ей: мол, некогда... Послали за водой. И за куревом.

1965

ЗА ДОЛАМИ, ЗА ЛЕСАМИ...

1

На рассвете меня будили журавли.

Я просыпался в пепельном полусвете северного утра. Свет этот всю ночь брезжил в окнах. Казалось, истекал он отовсюду: светилося серенькое и ровное, будто натянутая волглая холстина, небо, светились из моренных глубин тихие озера — и те, что были на виду, и те, что таились за темными гривами лесов.

Деревянная кровать, высокая, прочно срубленная, нечто вроде «Кон-Тики», на которой и в самом деле при случае можно было пуститься в дальнее плавание, стояла на мощных ногах посередине просторной, теперь пустой и гулкой избы. Я, житель соломенной и плетневой России, не переставал удивленно преклоняться перед этим царством дерева, в которое попал.

Проснувшись, я лежал еще некоторое время на теплом, сваявшемся длинными косицами романовском полушубке, который нашел в темной клети вместе с жестяной лампочкой и остатками керосина на дне пузатой бутылки, оплетенной берестой. У ног моих,

на подвешенном к потолку шесте, парами висели сухие, в листьях, березовые веники. В полусвете они были похожи на убитых глухарей, привязанных за тонкие шейки. И опять я с невольным уважением задумывался о человеке, срубившем из могучих стволов эту высокую звонкую избу с дюймовым крюком для детской зыбки в двухобхватной матице и эту кровать-ковчег — для себя и своей молодухи. Я силился представить неведомого мне лесного жителя за его повседневным делом — на скудной подзольной пашне, с певучим топором на стропилах только что срубленной избы, на медвежьей обкладке в февральском завьюженном лесу, в дымном зное баньки под горою, за праздничным столом с рыбными пирогами и крутосолеными рыжиками.

Но человека, который жил в здешних укромных местах, уже нет в живых. На шестке его очага невесть сколько лет и зим чернеют навсегда остывшие угли — печальные следы покинутого жилья.

Молодого наследника этой лесной хоромины, отпрыска третьего не то четвертого колена, я случайно повстречал в Железногорске, в сердце Курской аномалии. На своем бронированном КРАЗе в бесконечном потоке самосвалов он много раз за день спускался по бетонному серпантину на восьмидесятиметровую глубину карьера.

Вечером мы сидели в новеньком стеклянном кафе с модной небрежной росписью на оранжевых стенах. Было видно, как над карьером дымилось зарево прожекторов, сверливших глубину котлована. Черный от карьерного зноя, с белобрысым ребячьим боксом, еще мокрым после душа, в пестрой фланелевой рубаше с закатанными рукавами, он по-свойски окликнул:

— Зиночка!

Подошла юная официанточка, тоненькая, с подведенными под японку уголками глаз.

— Зиночка, золотце, коньячку.

— Разве ты сегодня не в ночь? — удивилась Зиночка.

— Глуба, ты плохо следишь за графиком.

— Больно нужно!

Он добродушно захохотал и проводил Зиночку счастливо-озорным взглядом здорового и свободного парня.

Проходившие к столикам шоферы приятельски толкали его в плечо, и он, усмехаясь, обнажая белые крепкие зубы, приветливо кивал, а иных норовил толкнуть ответно. Было видно, что знали его здесь хорошо и жилось ему суматошно, молодо и весело.

— А братья у меня тоже — один в Красноармейске на Волге, другой — в Сумгаите. Слышал про такой? Ну вот там. А меньшей в Мурманском, на флоте.

— Значит, разлетелись кто куда.

— Разлетелись! — засмеялся он. — Написал меньшому, чтоб после службы сюда махал. Но дело его.

— Может, домой поедет?

— Не! — убежденно сказал он. — Не! Чего там ему..

— Сам-то давно дома был?

— Да годов восемь... Как батю похоронил... А ты живи! Поезжай и живи, если нравится. — Он хлопнул меня по колену. — Какой разговор! Можешь и совсем остаться. Напилишь дров и живи, пописывай. Вашему брату тишина больше подходит. Это нам надо пошумнее. А то прямо и двором топить можно. Ковыряй по бревну. Все едино погниет.

...И я поехал. Два часа самолетом — над Рыбинским туманным морем, над кучерявой зеленью тайги. От Вологды — поездом до какой-то станции за Сухоной, сплошь забитой сплавными кряжами. Потом растрепанным на лесных корчах автобусом, а там — на двуколой молоковозке, под звон пустых фляг и гуденье оводов. У дальней колхозной фермы я расстался с молоковозкой и пошел пешком через лесные поскотины и белесые северные ржи, проросшие понизу, у корневищ, маслятами, пока не показались зеленомшелая колоколенка с осыпавшимися шатрами и седые крыши изб на высоком взгорке между двух озер...

Ключей от дома он, разумеется, мне не вручал. Приехал, отдрал от сенных дверей наискось приколоченную плаху, робко поднялся по рассохшейся лестнице, вошел в избу, вздохнувшую навстречу стылой печью, толкнул створки ставней и присел на пустую кровать.

2

Где-то на болотах кричали журавли. Перед восходом солнца крик их был так гулок, что казалось, будто птицы кружатся над коньком избы. В который раз поддаваясь обману, я вскакивал с кровати, отдергивал забытую хозяевами, надувавшуюся внутрь избы занавеску и выглядывал из высокого, словно леток скворечни, окна.

Говорили, что журавли прилетали на гороховое поле — совсем близко. Но я их так ни разу и не видел. Кричали они все-таки за гривой на болотах. Лесное эхо подхватывало их клич, и он, усиленный и многократ отраженный гулкой органной звучностью сосновых стволов, окружавших болото, метался над топью. Крик этот не был резок и тороплив, нельзя было назвать его и трубным кличем. В нем было что-то глубинное, грудное, как в сильном женском меццо-сопрано, — какой-то русалочий полувоплъ, таинственный и печальный, невольно уносящий воображение в мир полузабытых сказок детства.

Да и все из моего окна виделось мне здесь сказочным: и эта горстка высоких теремных изб на горке между двух озер — иные зако-

лоченные, иные еще с живыми красными гераньками в нешироких резных оконцах; и поленницы березовых дров, сложенные у стен задымленных бань, заросшие вместе с банями высокой крапивой; и округлые, еще свежезеленые стожки, похожие на островерхие шлемы былинных витязей; и бесконечные изгороди-прясла с белобокими сороками на березовых кольях; и звон коровьих колокольцев, и мягкий голос рожка, искусно закрученного из длинного берестяного ремня, того самого старинного рожка, которым здешний пастух до сих пор скликает разбредшуюся по лесным тропам скотину. И леса, леса... Леса, в какую сторону ни глянь: черные, отвесные, с белыми мазками берез, с малинниками по сухим волокам, с россыпями рыжиков по опушкам, боры-брусничники, боры-моховики, глухаринные и медвежьи заломы, журавлиные топи.

Я глядел из окошка своей избы, слушал журавлей и думал, что конечно же не в степной соломенной Руси рождались сказки моего детства — про медведя, у которого березовая нога, про колобок, который выставили поостыть вот на такое именно окошко с замысловатой вязью по козырьку наличника, про репку, сладку и крепку, которую «тянут-потянут — вытянуть не могут» и которая так и мерещилась мне среди капустных кочанов, про сестрицу Аленушку и ее братца Иванушку и про то, как жили-были дед да баба и как у них была курочка-ряба...

Все это у меня на родине осталось только в памяти людей да в книжках. А здесь продолжало жить.

В этой деревеньке и на самом деле жили дед да баба. Только дед Михайла жил в хоромине по правую руку от моей, а бабка Евдокия — по левую, через две избы. Были они одни-одинешеньки, каждый сам по себе. В доме же напротив жили сестрица Верушка-сорожка с братцем Митькой. При них — и курочка-ряба, серенькая в белых крапушках, с цыплятками. Отец у Верушки-сорожки — Семен Лутков, колхозный бригадир, мать — телятница. Через несколько пустых изб, у самой околицы, окнами на раздерганный горбатый мосток стоял Марьин терем. Марья, надо считать, тоже сама по себе жила, поскольку меньшой сын Васька был шофером в колхозе, там при гараже и ночевал и завертывал домой разве что сменить засаленную рубаху.

Кроме этого люда — восемь душ на двенадцать изб, — в деревеньке больше никого. Но и то, рассказывают, густо. За соседним волоком в Тарутине и вовсе один старец остался. Уж и деревеньку ту из всех бумаг повычеркивали, и мостков туда не ладили, уличные тропки позарастили, и по брошенным огородам ельник прорезался, а он, старец тамошний, все еще держался.

3

Из окна в окно через дорогу было видно мне, как Семен Лутков пил чай. Поблескивал самовар, белела суровая скатерка, стучала чашками Семенова жена Параскева. Семен, еще в майке, прихлебывал из блюдца и читал перед закужкой листок из календаря-оторвыша. Потом, уже в пиджаке и сапогах, с дерматиновой сумкой-бригадиркой через плечо, выводил из ворот чалого мерина, бросал на него вчетверо сложенную попону, пристегивал широким брезентовым ремнем и неторопливо кричал в окно:

— Парань!

— Сичас... — отзывалась Семенова жена. — Малого утомоню...

Из глубины избы доносился капризный хнык братца Митьки и заспанный, просительно-ласковый голосок сестрицы Верушки-сорожки:

— Спи, Митька. Чего куксисси-то? Будешь реветь — на горох не возьму.

Наконец выбегала повязанная белым платочком Параскева, забиралась на сваленные под окном кряжи и уже оттуда, пока Семен придерживал повод, задрав повыше юбку, плюхалась животом на спину мерина.

— Подвинь-кошь, — просил Семен и тоже садился на мерина.

Каждое утро Семен подвозил Параскеву до ее телятника в четырех верстах за лесом и уже оттуда ехал бригадирствовать. Удельное княжество его состояло из шести — восьми сильно поредевших посадок, спрятанных друг от друга за долами, за лесами, и Семен, не слезая со своего мерина, объезжал пашенки и сенокосы до закатного солнца. В не столь давние времена в здешних местах был свой самостоятельный небольшой, но крепкий колхоз, объединявший ближайшие деревеньки. Но потом его влили в другой, а другой — в третий... Колхоз все уходил и уходил куда-то от здешних полей, как уходит вода, оставляющая после себя пересыхающие бочажки с кое-какой рыбешкой. Иные перебирались поближе вслед за непоседливым, кочующим колхозом, а иные, оказавшись на мели, разъехались.

Один Семен, стародавний бессменный бригадир, продолжал жить из упрямства на прежней насиженной кочке. А может быть, и не из одного только упрямства, а из тихой, бессловесной любви к здешней земле в надежде, что когда-нибудь опять полуднеют и заполнятся новыми избами поредевшие посадки.

— Верушко, цыплятам яичко скрошить не забудь-то, — уже отъезжая, говорила Параскева.

Завидев меня, оба кланялись: Семен чинно приподнимал кепку, выговаривал, припадая на буку «о»: «Доброго здоровья», Параскева — мягко, певуче, застенчиво: «Здрасьте».

— Бригадирствовать?

— Надо! — говорил Семен, и было видно, что нес он свою службу с обстоятельной деловитостью, подобно бывалому, втянувшемуся сержанту, которому доверили держать растянутый фланг порядком поредевшими силами...

Несколькими минутами позже прошмыгнула мимо моего окошка Марья. На ней Васькина пропачканная мазутом стеганка, перехваченная какой-то красной опояской, резиновые сапоги торопливо вышлепывали по икрам: фр-фр. На сгибе руки у локтя — старый, почернелый берестяной короб, на дне которого перекатывалась краюха хлеба. Марья тоже кланялась со словами:

— Побежать рыжики побрать.

— Уже есть?

— Как не быть... Вчера бежала одной палестиной — будто кто денежки просыпал. Приходи угощаться.

— Так ведь рыжики солить лучше всего. А мне уж и ехать скоро...

— Чего — солить-то! Рыжик долго не раздумывает. В день и просолится.

Марья прошлепала, профыркала большими сапогами, а вслед за нею посеялся через березу над окном мелкий дождичек.

Мне было видно из окна, как курочка-ряба спряталась от дождя подкрытие Семеновой избы и оттуда, из-под стены, из-за мелкой дождевой сетки, озабоченно принялась скликать свой непоседливый выводок, разбежавшийся по траве.

Из своего оконца высунулась Верушка, выставила под дождик руку, засмеялась. Потом увидела внизу курицу с цыплятами, убежала и вернулась с ножом и яичком. Высунулся и Митька, стал глядеть, как Верушка расколупывала яйцо и потом крошила его на подоконнике.

— Цып-цып, — приговаривала Верушка, брала щепоть желтой крошки и бросала вниз.

Митька тоже неловко, горстью, загребал крошки, выставлял из окна руку, разжимал кулачок, но яичко, прилипшее к пальцам, не сыпалось, и тогда он совал пальцы в рот.

— Митька, не смей есть! — говорила Верушка. — Я тебе другое расколупаю. А это цыплятам. Цып-цып-цып...

Желтые пуховички, тонко попискивая, копошились в просвирнике, гоняясь за едой, и курочка-ряба, вся распушенная, растопыренная, гомонила над каждой крупницей.

А дождик все сеялся, и по-прежнему печально выкликали кого-то за лесом журавли.

4

Как-то перед завтраком пришла ко мне баба Евдокия, принесла иконку.

В соседних деревнях попадались любопытные иконы, лет по двести — по триста каждой. Иногда встречались и того древнее:

суздальского письма, забредшие сюда с юга, и беломорские, сохранившие в росписи еще следы византийской манеры — пышной и торжественной, парадной. Суздальцы же писали своих святых и апостолов свободно и просто.

Расспрашивал я об иконах и бабу Евдокию с дедом Михайлой как самых стародавних обитателей деревушки. Но дед Михайла оказался неверующим и сказал, что иконок в доме давно уже не держит. Когда померла его старая, то иконки он, правда, не стал изничтожать ни топором, ни печкою, а пустил их по реке. Баба же Евдокия сказал, что есть у нее Пресвятая Дева с Младенцем удивительной работы и чтобы я непременно зашел посмотреть на ту Деву.

Но я никак не мог собраться, и вот она, стучая по лестнице пошком, пришла сама.

— Уж и не взойду, — сказала она с порога. — А бывало, бегала в эту вот избу-то... Козой! — Она была в веселеньком платочке с иностранными фестивальными словами по голубому полю.

Баба Евдокия присела на лавку передохнуть после лестницы.

Кофта на бабе Евдокии трикотажная, длинная юбка — с белым старинным передником. На ногах малонадеванные сельповские парусиновые туфельки с кожаными носками.

— А ты что так... батюшка, не идешь? Обещался, поди...

— Да вот... — Я развел руками.

Баба Евдокия оглядела избу: видно, давно тут не была. Глаза у нее на удивление молодые — голубенькие и ясные, не вылиняли, не заслезились. Видать, в молодости очень была собой пригожа. И седина под платком, и большие шишковатые руки с пергаментно-прозрачной коричневой кожей, под которой видна каждая синяя прожилка, — все к месту, ко времени.

— Принесла я тебе... батюшко... иконку-то... раз любопытно. — Голос у бабы Евдокии чистый, напевный, как в далеком детстве: «В некотором царстве, в некотором государстве, за долами, за лесами...» — И вареньица принесла дак...

Баба Евдокия развернула на коленях белый узелок, вынула баночку с вареньем, поставила на окошко, а потом уж показала и саму иконку.

— Ну, это и есть Пречистая с Младенцем. Погляди-ко.

Я взял в руки тяжелую дощечку, взглянул и смутился: на ней была наклеена огоньковская репродукция «Мадонны Литы» работы Леонардо да Винчи.

— Кротости и скорби необыкновенной... — сказала баба Евдокия, ревниво заглядывая из-за моего плеча в картину. — Знать, великий мастер писал, дак... Не иначе...

— Великий, бабушка, великий, — сказал я. — И давно она у тебя?

— Да годов осемь-девять... Наши ребятенки в озере изловили... Волнами в камыши прибило-от... Вот и мокла невесть сколько времени, а краски не потухли.

Я разглядывал икону, а про себя думал: кто это так подшутил над бабой Евдокией? И не деда ли Михайлы эта иконка, некогда пущенная им по реке, а затем изловленная и заклеенная репродукцией деревенскими озорниками?

— Бери, дак... ежели надобно, — мужественно сказала баба Евдокия и вздохнула. — У меня еще Микола Угодник остался... Хватит мне, однако, и Миколы...

Я опять принялся разглядывать склонившуюся над Младенцем Мадонну, от которой и на самом деле оторваться не было никакой возможности, а баба Евдокия, сидя на лавке и опершись подбородком на руки, крест-накрест лежащие на конце посошка, тем временем с горестной пристальностью разглядывала меня. Я спросил:

— Что, бабушка, так разглядываешь меня?

— Дак что разглядываю... Пошто один в избе живешь? Живи у меня... Чаю взогреть али стряпню. Я бы с превеликой охотой... А то во всем дому моем токмо и звуку, что ходики.

И мне стал понятен горестный взгляд бабы Евдокии, стосковавшейся по будничной домашней заботе о другом человеке. Великая потребность матери, не оставляющая ее до последнего дыхания, то самое священное чувство, которое и изобразил да Винчи в своей Лите.

— Что ж это мы как тараканы по углам: кажинный по себе, — сказала баба Евдокия. — Чай, люди-то...

— Спасибо, бабушка. Только уж и перебираться ни к чему — уезжать мне скоро...

— Ну хоть так заходи.

— Так — зайду. А что же сыны — пишут?

— А у меня, батюшка, не сыны, а дочки. Три, и все дочки.

— И тоже в разъезде?

— Одна, старшая, в Москве. За инженером замужем. Была я: справно живут. Прислугу содержат. Хотели меня при себе оставить. Зять было и прислуге отказал, чтобы, значит, ее койку мне отдать. Квартера у них хоть и об двух комнатах, а поглядели-поглядели — некуда еще одну койку пристраивать: все углы заняты. Вот и хотели было прислугу рассчитать-то... Ну я и возвернулась. Это Таисия. А Ольга за военным, на островах, уж и не выговорю названия. У тех не была: далеко. Самолетом надоть, а потом уж пароходом, да и то токмо летом — пароходом-то... Далеко. Ну а меньшенькая, Августа, при мне все жила. А как заневестилась, тоже полетела искать свою долю. Парней-то у нас тут и вовсе на погляд ни единого. Ну и полетела, голубушка, потому как что ж сидеть?.. Ну и я теперь

одна, как труба погорельская на пепелище... А ты, батюшко, заходи... Попиши-попиши свое да и заходи...

Баба Евдокия расслабленно встала и потопала к двери. Я проводил ее по лестнице до самого низа.

— А журавли-то все кричат, — сказал я.

Постояли, послушали.

— А я и не слышу, — сказала баба Евдокия. — Глуха стала. А то, может, и обвыклася. Всю-то жисть кричат дак...

5

Дождик тихо отсеялся. В окно дохнуло мокрыми стогами и повесенному горьким благоуханием осин. Мне было слышно, как моя соседка Верушка, выбежавшая на улицу после дождя, напевала:

*В жизни раз бы-ва-ет
Восемнадцать лет!*

Когда я приехал в деревушку и поселился напротив Семеновой избы, Верушка-сорожка, узнав про свежего человека, весь день толкалась с братцем Митькой на улице, стараясь привлечь мое внимание. На другой день она осмелела и пришла ко мне в избу. Она вошла неслышно — только качнулась занавеска на окне — и остановилась у порога, держа брата на закорках. Смущенно переступая на пороге тонкими, гусяно покрасневшими босыми ножками, облепленными мокрым травяным крошечком, она глядела на меня вопрошающе-пытливо, глядела как-то одним глазом, потому что второй ее глаз был закрыт свалившимися набок волосами, которые она не могла поправить, придерживая обеими руками Митьку под голый зад. Верхняя губа ее подковкой приподнялась над двумя редко расставленными зубами. На Верушке, худенькой и невесомой, висело не по росту старушечьи-длинное бумазейное платье. Митька насупленно выглядывал из-за плеча. Оба вели со мной как бы негласный разговор: «Ну вот мы и пришли. Прогонишь или не прогонишь? Ты не прогоняй нас, потому что отца с матерью нету дома и нам скучно одним в пустой деревне. Мы посмотрим на тебя, на твои вещи, на то, что ты тут делаешь, и уйдем себе потихоньку».

— А! Это вы! Ну проходите, проходите.

Верушка неловко потопталась.

— Как зовут-то тебя?

Она зарделась, потупилась и себе под ноги торопливо проговорила что-то вроде:

— Вершкасоршка.

— Как-как?

— Верушка-сорожка, — повторила она медленней и внятней.

— А почему же — сорожка?

— А я плаваю баско... Меня размахнут, кинут в озеро, я и поплыву.. Как сорожка.

— Ах ты рыбка красноперая! Что ж ты так у порога?

— А я, дядя, тебе гороху принесла, — сказала Верушка-сорожка. — Зелененький.

— Да ну! Я очень люблю зеленый горох.

Девочка ступила на середину избы, наказала Митьке, чтоб держался покрепче. Тот с готовностью обхватил ее толстыми ручонками за шею. Верушка-сорожка высвободила свои руки и проворно развязала пояс на платье. И тотчас на полу у Верушкиных ног набежал ворошок стручков.

— Да мне одному и за неделю не съесть! Давайте-ка вместе.

— Не... Мы на поле наелись, это тебе...

— Ну тогда я вам дам по карандашу, и вы будете рисовать. И по листу бумаги.

Дети присели на лавку.

Верушка-сорожка взяла свой карандаш, оглядела, послюнила — химический или простой? — бережно нагнула на него листок бумажки трубочкой и спрятала за пазуху. Братец же Митька схватил карандаш за концы кулачками, вытянул руки и вдруг, надув щеки, забибикал, натужно покраснев и пуская пузыри.

— Это он в шофера играет, — пояснила Верушка. — Он как палочку найдет, так начинает рулить. Папка говорит — шофером наш Митька будет.

Вот так мы познакомились в тот раз.

*В жизни раз бы-ва-ет
Восемнадцать лет! —*

продолжала напевать под окном Верушка-сорожка, и я не утерпел, выглянул из окна, чтобы посмотреть, чем она занята. Верушка, напевая, раскладывала под окном пучки какой-то мягкой травы. Она клала их ровными рядами, один к одному, и каждый пучок перехвачен был посередине травяным перевяслицем. Сверху мне не было видно Верушкиного лица, его закрывала белая косынка платишником, только проворно мелькали тонкие темные руки, и в этой косынке, в просторном, балахонистом платье и в своей игре-работе она походила на маленькую женщину. Рядом с ней ползал на четвереньках белоголовый Митька. Он хватал пучки и сосредоточенно раздвигал их по былинкам.

— Не смей теревить, Митька! — говорила Верушка. — Это же лен! Ты лучше расстилай со мной. А я потом тебе рубашечку сотку!

Братец Митька смотрел, как Верушка-сорожка расстилала «лен», пробовал и сам класть пучки, но, видно, клал их как-то не так, и Верушка говорила:

— На лучше тебе палочку. Шофером будешь.

Митька хватал палочку и начинал дудеть:

— Би-бип... би-бип... фр-фр...

— Поехал, поехал наш Митрий, — говорила Верушка. — Поезжай, Митрий, в Мурманск, к дяде Николаю. Будешь с ним шофером. Там пряники сладкие... Ты мне пряников сладких привези, а я тебе рубашечку сотку. Белую рубашечку с красной опояской.

6

Заметила меня в окошке Верушка-сорожка, окликнула, как обычно:

— Дядя Женя-я-я...

— А-а... — отозвался я, так же растягивая голос.

— Че делае-ешь?

— Пишу, Верушка...

— Все пишешь да пишешь!

— Вот я и думаю: не отложить ли пока? В гости к тебе пойти, что ли?

Верушка насторожилась, перестала расстилать свои снопки: правду ли я говорю?

— Самовар поставишь — так приду.

— А не обманываешь?

— Правда приду.

Верушка-сорожка некоторое время внимательно смотрела на меня, потом, вдруг просияв, широко, счастливо улыбнулась, подхватила Митьку и, распугивая цыплят, побежала к избе.

На пороге она еще раз оглянулась, и мне была видна ее белозубая улыбка.

Самовар гудел, приставленный трубой к душнику печки. Верушка набирала в тушилке угли и, приподняв трубу, бросала их в огненное жерло. Увидев меня на пороге, она выпрямилась и, держа угли, провела рукой по лбу, откидывая волосы.

— Проходите, — сказала она по-взрослому озабоченно и серьезно, называя меня на «вы» в знак торжественности момента.

Посередине комнаты висела глубокая и просторная зыбка, как морской баркас, раскрашенная в зеленое, с резьбой по кормам и бортам — красные лебеди и рыбки. Братец Митька, стоя в ней, выпятив голый живот, силился раскачать ее за веревки.

— Бип-бип! — сердито сигналил Митька и старательно фырчал.

— Он у нас шоферистый, — улыбнулась Верушка-сорожка. Нос у нее был выпачкан углем. — Он и в Мурманск поедет. В Мурманском много наших... И дядя Коля наш... И деда Михайлы Федор.

Она достала из сундука новую льняную скатерть, постелила ее поверх старой, узкими ладошками пригладила слежалые пружинистые сгибы, достала из ларца чашки, хлеб, баночки с вареньем и, подхватив самовар, поставила его на жестяной поднос.

— Садитесь, дядя Женя, — сказала она, зардевшись. — Чем богаты, тем рады, — прибавила она, подражая Параскеве.

Митька тоже попросился, и Верушка, выхватив его из зыбки, посадила к столу на лавку.

— Да вы пейте... — потчевала меня Верушка-сорожка. — Вот черничное, кисленькое... А это морошка. Я-то сама морошку не очень... Больно сладко... А вы попробуйте... Это у нас от прошлого году. Новое еще не варили...

Я пил с кисленьким черничным, с духовитым земляничным, пробовал желтое, медвяное морошковое. Верушка, прихлебывая из блюда, ревниво следила за мной и перехватывала мою опорожненную чашку:

— Давайте налью.

— Налей, голубушка. Что ж, скоро и в школу, а?

— Да уж скорей дак...

— Соскучилась?

— Ну да... Одна и одна. Все только с Митькою.

— А пойдешь — так Митьку-то куда?

— А мы его бабе Евдокии отдаем. Ей забавно даже... Одна дак... Дед Михайла тоже просит, чтобы ему отдавали... — Верушка развела руками. — Баба Евдокия сказывает, чтоб только ей, потому как дед Михайла курит...

— Школа-то далеко?

— А там. — Верушка-сорожка махнула в угол рукой. — В Маслячихе. Раньше, сказывают, дак здесь была... А потом перевели... Учеников не стало... У нас и теперь во втором только трое... А так все разные: кто в первом, кто в четвертом... Говорят, в этот... как его... будут забирать...

— В интернат?

— Ага.

— В интернате хорошо тебе будет.

Верушка посмотрела на меня, что-то обдумывая, и вдруг поспешно заговорила:

— Да вы пейте, пейте! Я еще налью.

— Да уж запарился. Передохну малость.

Я отдернул занавеску, чтобы протянуло свежим ветерком.

На подоконнике рядом с цветочным горшком стоял маленький деревянный человечек. Вырезанный из куска ольхи, он был кирпично-красен и своей большой головой, плутоватой ухмылкой и сложенными на животе короткими ручками напоминал какого-то языческого божка.

— Кто же такой?

— А это моя кукла Катька, — сказала Верушка-сорожка.

— Ну какая же это Катька! — удивился я, разглядывая божка. — Это старичок-лесовичок.

— Нет, Катька. — рассмеялась Верушка.

— Ну ладно, пусть будет Катька. Кто же тебе сладил такого?

— А это все дедушка Михайла. Он и рожки мастерить может.

— Хочешь, я тебе подарю настоящую куклу? С косичками, в платьице?

Верушка потупилась.

— Завтра пойдем с тобой в магазин и купим. Тут есть магазин?

— Есть. В Маслочихе.

— Ну вот, завтра же и пойдем.

— Ой, Митька! — спохватилась она. — Ты опять весь измазался вареньем. На тебя никак не настираешься. — И, стараясь спрятать радость, озабоченно принялась вытирать Митькины черничные щеки.

Над избой далеко, шумелино загудело.

— Самолет, — сказала Верушка. — Архангельский.

— А ты как узнала?

— Самолет-то? Он всегда об эту пору летит.

Она соскочила с лавки и подбежала к ходикам, вставленным в специальный шкафчик — с дверцей и застекленным оконцем.

— Проверить часы дак... — сказала она, открывая дверцу. — Аккурат в двенадцать над нами пролетает.

Братец Митька, услышав самолет, насторожился, раскрыл рот бубликом. И, убедившись, что это вовсе не шумель, а настоящий мотор, счастливо заушмылялся.

Я взглянул на свои часы и тоже поправил: подвел на две минуты — по высокому заоблачному гулу.

7

Верушка-сорожка еще с утра отнесла братца Митьку к бабе Евдокии, и вот мы уже шли по деревеньке, направляясь в Маслочиху. Верушка была в новом розовом платье белым горошком, в пестренькой косынке, с носовым платочком, подоткнутым под резинку короткого рукава. Лицо строгое, озабоченное, а глаза так и сияют.

— Куда эдак вырядилась наша красавица, наша словутница?

На крышке колодезного сруба сидел дед Михайла, правая нога в сапоге, левая — в катанке. Дед Михайла воевал еще с Вильгельмой и вот уже полвека носит на левой ноге все тот же рыжий валенок с разрезанным и раздерганным голенищем. Дед Михайла перестал строгать березовый чурбан и хитро сощурился на Верушку-сорожку — совсем так, как ее деревянная кукла Катька.

— И куда так важно путь держим?

— В Маслочиху. — ответила Верушка.

— За пряниками-конфетами?

— За куклой!

— За куклой? — всплеснул руками дед Михайла. — А я как раз тебе новую лажу.

— А то — с косицами.

— Так я тебе и косицы вырежу.

— А то — в платье.

— Дак и в платье...

— А то платье раздевать можно.

— А! Ну это другое дело. Ступай-ступай... А не прикупила бы ты мне макарон да песку-сахару?

— Прикуплю.

— А то у меня все макароны повыходили. А нога-то у меня — Вильгельма окаянная — не бегают.

Марья тоже выглянула в окошко:

— И куда наша Верушка так бежит?

— За куклой!

Выбежали за околицу, прошли горбатым мостиком, что сразу за Марьиной избой, прошли зеленой отавой со стожком, синими льнами, белесыми ржами — все выше, выше на горушку к лесному волоку. Во ржи, на темной молодой елке, на самом торчке раскачивалась тетерка.

И жаворонки звенели над головой будто по весне. Один, должно быть самый бойкий, свалился из поднебесья, сел на большой замшелый камень у дороги с чистым озерком воды во вмятине и долго пил, запрокидывая головку.

Взошли на горушку, оглянулись. Темные леса разбежались во все стороны. На бутре между двух озерков — Верушки-сорожки деревенька. И такая она маленькая издали, будто кучка спичечных коробков на гривенник. А подальше, в стороне, на другом бугорке, еще кучка коробков — то Ворониха, а за вон той высокой гривой с темными ольхами понизу — Параскевина ферма, а за этой гривой — Тарутино, а до Маслючихи еще бежать и бежать.

Потом шли волоком в чуткой тишине леса. Верушка все бежала и бежала, и круглые ямочки от ее пяток отпечатывались на влажной лесной дороге. Любопытная белка, должно быть заметив розовое Верушкино платье, два раза взад-вперед перемахнула вверху над просекой. Рыжие маслята толпами высыпали из-под мелкого ельничка, будто тоже хотели посмотреть, кто и куда идет по лесу в таком розовом платье с белыми горошинами.

— Побежим быстрее, а то на перерыв закроется, — озабоченно говорила Верушка-сорожка. — Или на базу уедет..

И вот открылась Маслючиха и сельповский магазинчик у околицы. В магазин заходили и выходили люди. Увидела Верушка, что люди заходят и выходят, и того пуще заторопила:

— Пойдемте, пойдемте, а то пока добежим, дак...

Добежали, успели. На тесовых порожках магазина сидели какие-то бабушки. Все в новых платочках, и у всех большие узловатые руки — как у бабы Евдокии. Пришли, видно, посидеть на сель-

повском крыльце, поговорить, повидаться. Раньше в церковь ходили, теперь вот в сельпо: дело стариковское — лишь бы на люди.

— Чья ж такая ягодка-росинка? — враз заговорили-запели бабушки, увидев Верушку-сорожку.

— Чай, из Тарутина? — спросила одна бабушка.

— Что ты, девушка, кой из Тарутина? В Тарутине ноне никого из ребятенков-то и нет. Один старец Митрофан, да и то не знаю, жив ли? — сказала вторая бабушка.

— Из Воронихи, чай? — сказала третья бабушка.

— И не из Воронихи. В Воронихе кому такой быть? У Алпаты двое мальцов да у Саввичны внук из Архангельску живет. Дочка-то ее оступилась, грех вышел, ну вот и внука к бабке отправила. А больше там и рожать-то некому, в Воронихе-то.

— Луткова я, — сказала Веришка.

— Бригадирова! — сказала первая бабушка. — Вытянулась-то как! И не узнать. Ах, золотишка ты моя! Что там бабка Евдокия, жива ли? Топает?

— Жива.

— И дед Михайла?

— Жив и дедушка Михайла.

— Гли-кось, парень лихой!

В магазинчике, заставленном панцирными кроватными сетками и ящиками с болгарскими помидорами, толпились люди: должны были привезти хлеб. Пахло новыми резиновыми плащами, керосином и селедкой. Веришка-сорожка мышью пробралась под ногами к прилавку, зорко обежала глазами полки — керосиновые фонари, электрические чайники, соломенные шляпы — и нетерпеливо обернулась. Я тоже протиснулся.

— Вам чего? — спросила меня тучная приземистая продавщица, увидев в моей руке пятерку. — Только белая.

— Да нет. Нам куклу.

— Куртку?

— Куклу.

— Какую куклу? — не поняла продавщица. — Ах, куклу? Игрушку? — обрадовалась она знакомому, но как-то выскочившему из головы слову. И уже с облегчением сказала: — А кукол нет.

— Как нет?

— Не завозили.

— Что — на базе нет?

— На базе, может, и есть, да мы не завозили.

— Почему? — удивился я. — Кукла — первое дело.

— А у нас кукла — неходовой товар.

— Да почему ж неходовой?

— Вы, гражданин, наперво детей нарожайте, — почему-то обиделась продавщица, — а потом и предъявляйте претензии к мага-

зину. Я кукол понавезу, а они будут на моей шее висеть. Мне и так некуда товар ложить.

Мы вышли из магазина. Вид у Верушки-сорожки был растерянный. Но в дороге она повеселела, а может быть, просто маленьким своим женским сердцем пересилила обиду и уже кричала мне из лесу: из густых завалов:

— Дядя Же-еня-я! Малины ско-оль! Иди щипа-ать!

8

Через неделю я уезжал.

Я вышел из избы, нашел старую плаху и принялся заколачивать сенную дверь. На стук топора прибежала Марья, выполз, подогнув рыжий валенок, дед Михайла. Выскочила Верушка-сорожка с братцем Митькой на закорках. С Семеном и Параскевой я попрощался еще до солнца, когда они седлали мерина.

— На дорожку, — сказала Марья и силком засунула в мой переполненный заплечный мешок банку свежесоленых рыжиков. Дед Михайла вручил мне выжженную ивовую дудочку с берестяным раструбом и тут же показал, как на ней играть. Дудочка пропела мягко и бархатисто. Прокуренные Михайловы пальцы дрожали.

— Пожил бы еще с нами, — сказал он, вытирая о ладонь мундштук дудочки. — Дак и песням бы тебя научил.

— Спасибо, дедушка... Что поделаешь? Надо ехать...

— Ну ехать так ехать... Только спрошу я тебя напоследок. Я вот супротив Вильгельмы воевал, а ты супротив Питлера. У тебя вот на груди планочки. И я тож Егория имею... Правда, не надеваю, потому как Егорий, а имею. Враг-неприятель один. А только за это мне никаких делов, одни неприятности. Полвека с сухой ногой. Кто я? Не рабочий я, не колхозник. Так, небокоптитель...

— А ты, дедушка, носи своего Егория. Теперь разрешено. Теперь это даже почетно, — сказал я.

— Дак Егорий Егорием... Мне бы пенсию какую-никакую... на табак... Будешь в Москве, вот и разузнай. Так, мол, и так. Есть такой дед Михайла. Нуждается в выяснении личности. Так и скажи Калинину.

— Калинин, дедушка, двадцать лет как умер.

— Ужли? — Дед Михайла задумчиво подергал бороду. — Двадцать лет? Ай-я-я... А в календарях все рисуют.

— Хороший был человек, вот и рисуют.

— Это верно, душевный... Беда-то какая... Ну да что теперь делать... Ты еще к кому следует зайди... А то напиши дак...

— Напишу, дедушка, непременно напишу.

Баба Евдокия принесла старинный льняной рушник с красной вышивкой. Подала на вытянутых руках с важным лицом, но тут же не выдержала, расплакалась и обхватила меня за шею.

— А мы все так привыкли... А теперь вот и от сердца живьем отрывать... Все провожаем да провожаем... Все едут да едут.

— Ну, будя тебе, девка... — насупился дед Михайла. — На дорожку-то ревить... Едут — стало быть, надо... Не тут теперь Расея, во лесу с медведями. Расея из лесу-то выбралася...

Распрощались мы, одна только Верушка-сорожка с братцем Митькой увязалась провожать меня. Вышли мы с ней за околицу, за березовые воротца, прошли горбатым мостиком...

— Ну, Верушка, ступай, а то ведь с Митькой-то тяжело тебе...

— Не... Я еще малость провожу.. Мы с ним по горох в поле бегаем...

Прошли лугом меж стожков, начались льны на взгорке.

— Ступай, ступай, Верушка...

— Еще немножко... Вон до той елки...

Прошли синими льнами, рыжими хлебами, мимо елки, на которой качалась тетерка, добрались до камня на горوشке с лужицей во вмятине, из которой в прошлый раз напился жаворонок. Возле камня мы попрощались.

Я пошел и все оглядывался на Верушку, на Митьку, на исчезающую в серой дали серую тесовую деревеньку: что-то не давало мне зашагать просто, не оглядываясь.

А Верушка-сорожка все стояла и стояла среди ржи на высоком камне, держа Митьку на закорках. В длинном балахонистом платье, в белой косынке шалашиком, с тонкими, как тростинки, ногами. Издали она еще больше походила на маленькую женщину.

И вдруг я услышал ее далекий тонкий голосок:

— Дядя Же-ня-а! Дядя Же-ня-а-а! Смотри-и!

Я обернулся.

Над лесом показались две большие, темные, четко вычерченные птицы. Они беззвучно махали широкими крыльями, время от времени гортанно перекликались, и голос их, протяжный и печальный, казалось, заполнял собой все небо и всю землю, проникал в самые глухие лесные чащи и в самые бездонные глубины озер.

1966

ШУБА

Засыревший большак, исполосованный колесами, выбирая, где поположе, широкой дугой поднимается на косогор. На дороге и пашне еще видны следы недавней бессонно-горячей работы, когда из земли выбиралось и выдиралось все, что она успела и сумела родить людям за недолгое лето. То попадалась в колее раздавленная колесами свекла, то звено от тракторной гусеницы или еще

какая неведомая железяка, оброненная впопыхах машиной, то в стороне, среди черного, белесые скирды молодой соломы. А у обочины торчал случайно не задетый плугом, сгорбившийся, как старик, сухой подсолнух. Ветер шуршал лохмотьями его листьев, а он все кивал и кланялся путникам непокрытой растрепанной головой.

Страда отшумела, и теперь по обе стороны большака чернела по-осеннему засмиревшая земля, комковато и неловко улегшаяся на покой.

Дуняшка и Пелагея, поспешая, шли обочь дороги. Опустевшие поля не вызывали у них никаких размышлений: они здесь жили, и все было привычным и незаметным, как этот осенний полевой воздух, которым дышали. Они шагали бок о бок и оживленно болтали о всяких своих житейских делах.

Пелагея, еще шустрая, сухощава баба, шла налегке в сером клетчатом платке и в Степкином ватном пиджачке с жестяными перекрещенными молотками в петлицах, — Степка учился в школе механизации, на воскресенье приехал домой, и Пелагея выпросила у него пиджак съездить в город. Из-под пиджака высывался белый, оборчатый, надетый по торжественному случаю передник, который встречный ветер то поддувал пузырями, то запихивал между худых Пелагеиных колен. Но она не одергивала, а так и шла, шлепая о тощие икры широкими голенищами резиновых сапог.

Дуняшка старалась не отставать. Она хоть и была выше матери, но подростковое пальтишко с короткими рукавами узило ее в плечах и как-то казалось и ниже ростом, и моложавее, скрадывая года два — именно те, в течение которых Дуняшка успела повзрослеть, похорошеть и уже кое-кому приглянуться.

Увлеченные разговором, они все прибавляли и прибавляли ходу, пока, запыхавшись, Пелагея уже не могла ничего связно сказать, кроме отдельных, перебитых частым дыханием слов, после чего она остановилась и удивленно оглядывалась на деревню, говоря:

— Чтой-то мы... так... бегём? Гляди, уже где... дворы. Небось... не на пожар.

Но, передохнув минутку, они снова поворачивались и шли скоро и торопко. Такая уж деревенская дорога: сызмальства не приучены ходить по ней вразвалочку. Всегда у бабы в конце этой дороги какое-то спешное дело: детишки ли, квашня ли с тестом, поросенок ли не кормленный, — если идти с поля, а если в поле, то и того пуще всяких дел, особенно когда подоспеет страда. Как ни богат колхоз техникой — и комбайны, и культиваторы, и сеялки-веялки всякие, и тракторы по восемьдесят лошадиных сил, — и все же еще столько промахов, что каждый умный председатель, если хочет, чтобы дело шло без сучка без задоринки, непременно бросит клич: «А ну, бабоньки,

подсобим! — И добавит для подбодрения: — Техника техникой, а все же бабы в колхозе — большая сила!» И бабы наваливаются. Мужики ездят на тракторе взад и вперед по свекловищу, дергают рычаги, руль крутят, выковыривают культиватором бураки. А бабы, будто галки за плугом, с галдецей, коли еще не притомились, или уже молча к закату дня, все собирают и собирают свеклу в корзины и подолы и таскают, и таскают ее, в комьях тяжелой земли по перепаханному полю в кучи. А после, собравшись в кружок, попеременно с пустыми разговорами и пересудами незаметно да и перевероят опять многие тонны бурака, обобьют от земли, отсекут ботву, обрежут хвосты и сложат в кучи. И лишь когда закатится и не разобрать, то ли это свекла, то ли просто грудка земли, поднимаются пестрой стаей и бегут, бегут полевой дорогой, на другом конце которой ждут их другие неотложные домашние заботы.

А на току разве обойтись без нее? Или на сенокосе? На ферме? Да где ты без нее обойдешься? Нехитрая машина — баба, простая в обращении, на еду непривередливая, не пьет, как мужик, и не кочевряжится при расчете. Мужик за кручение руля на тракторе полтора трудодня берет, хоть и со сменщиком работает, она без всякой смены и на половинную долю согласна, потому как понимает: руль с умом крутить надо. А где бабе ума взять? Ум-то весь мужикам достался.

Но особенно поспешает она, если, вырвавшись от дел, соберется в город. Не часто это случается, и поэтому побывать в городе — чуть ли не праздник. Потолкаться в магазинах, посмотреть на ситцы, а коли есть деньги, развернуть их колковатую, нетронутую, радостно-пеструю свежесть — ромашками да незабудками, — повыбирать и поволноваться, прикидывая в уме, как это подойдет подростке, а то и себе. Себе-то ведь тоже хочется!

А платки какие! За шелковый и взяться страшно: к рукам липнет. Руки-то шершавые, а материя что твой дым — дунул, и полетела! И обутка всякая, и гребенки. Конфет да пряников — аж в глазах рябит. Целый день ошалевшая, радостно-увлеченная, ходит она по лавкам да по лоткам, не поест, не присядет, потому как нет для нее ничего волнительнее, чем разные товары да обновы.

Купит ли картуз мальчонке или мужику — не прячет его в корзину, а наденет поверх платка и несет всю дорогу, чтобы не помялся часом, а больше — чтоб люди видели обнову. Картуз-то вся цена два рубля, а несет она его так, будто невесть что купила. А уж если ситчику или штапелю на платье, то всю дорогу останавливается, заглядывает в корзину, щупает, шепчет что-то над нею и вдруг зардеется смущенно, если застанут невзначай за этим таинством знакомые...

— Да вот обнову купила, — скажет посерьезнев. — И не знаю, то ли угодила, то ли нет? — Но тут же сама и порешит: — Сошьется — сносится. Не барыня.

А у Пелагеи и того важнее была причина торопиться: Дуняшке идут пальто покупать. Не какое-нибудь простенькое. А хорошее, настоящее зимнее. Чтоб с меховым воротником, на подкладке шелковой, да чтоб сукно было доброе. Не часто приходится такие дорогие обновы справлять. Себе-то уж и не помнит, когда покупала. С воротником — так и вовсе. Почитай, полсотни лет прожила, а ни разу мехового воротника не носила. Да их как-то раньше и не было, окромя овчинных. Платок наинула — вот и весь воротник. Теперь-то всякие пошли. Под разного зверя. Во всем их роду Дуняшка первая наденет. Подружки уже посправляли, а она до сих пор в этом куцем бегают. Против людей неловко. Да и то сказать — невеста уже. Третьего дня вышла Пелагея ввечеру корову подоить, глянула через плетень, а Дуняшка с парнем у калитки стоит. Это ничего, что с парнем. Уже самостоятельная. Нынче осенью тыщу двести в колхозе заработала. Пятьсот рублей уже разошлись. Поросяточка купили, сена копенку, да и так, по мелочам, потратилось. Если не купить — разойдутся. Тогда до будущего года ждать. А то уж одета будет.

Потому и частила сапогами Пелагея, будто сваха, озабоченная и взвинченная предстоящим нешуточным делом. Где-то там, как в сказке, за горами, за долами, невеста в каком магазине, в каком универмаге, неведомо еще какое — синее, черное или коричневое, а может, и еще краше, висит то, единственное, с меховым воротником, которое предстоит Пелагее разыскать, выбрать, да не прогадать ни в какой малости, чтобы в самый раз пришлось Дуняшке. Не так уж это и просто.

Все эти думки и заботы вихрились в Пелагеиной голове наряду с теми словами, которые выговаривала на ходу Дуняшка. Думы — сами по себе, слова — сами по себе.

Дуняшка, перекликаясь с матерью, тоже про свое думала. Прожитая жизнь ее покороче, забот поменьше, но зато с покупкой пальто у нее связано много своих девичьих мыслей, от которых всю дорогу радостно голубеют глаза и румяно горят щеки.

Взойдя на самую верхушку косогора, где дорога опять встретилась с телефонными столбами, взбежавшими на гору прямоком по самой крутизне, Пелагея остановилась глотнуть воздуха. Обе оглянулись и, отдыхая, смотрели на деревню. Она все еще виднелась серой полоской соломенных крыш среди черной зяби и просторных полос подросшей озими. Деревня казалась совсем маленькой меж необозримого уймаща земли, вздыбленной холмами, и еще большего неба, серо клубящегося осенними тучами.

Пелагея, пробежав глазами по ряду похожих одна на другую хат, безошибочно нашла свою и, озабочась, проговорила:

— Наказала Степке сходить в сельпо за керосином. Забегается — не сходит...

А Дуняшка нашла длинный белый брусочек своей птицефермы на отшибе деревни, подумала, догадается ли дед Алексей перетянуть под навес привезенную рыбную муку, вспомнила о пропавшей вчера любимой курице Моте, которую она умела отличать среди сотен других таких же белых. Мотя была нерасторопная и копуша, но несла крупные яйца. Потом Дуняшка тоже, как и Пелагея, стала перебирать глазами хаты. Но искала она не свою, а другую... Вот она, под молодым, еще не облетевшим рыжим тополком. Сердце кольнулось и пролилось теплом... Под этим тополком на лавочке прошлый раз — не дай бог, мать узнает! — поцеловал ее Сашка. Она, внутренне полыхая от стыда и счастья, сорвалась со скамейки и побежала, угнув голову. Только ноги не слушались, а сердце так гулко колотилось под пальтишком, что не слышала, как нагнал он ее и пошел рядом...

Дуняшка, забывшись, долго глядела затуманенными глазами на рыжий тополек, пока Пелагея не позвала:

— Пойдем, девка! Чтой-то ты?

А выйдя на ровное и разойдясь малость, спросила:

— Третьего дня ктой-то под нами стоял?

— Ты про кого, мам? — как могла простовато спросила Дуняшка, а сама так и пыхнула, благо что пыхать-то ж больше некуда было.

— Ну, не дури, — осерчала Пелагея. — Небось не глухая. Голос вроде знакомый, а признать не признала.

— Сашка стоял, — уклончиво сказала Дуняшка. — Так, мимо шел.

— Это чей же? Акимихин, что ли?

— Тетки Фроси... Что хата под тополем.

— А-а! Ну, ну!.. Отслужился, стало быть?

— В Германии служил.

— Что же, привез что-нибудь?

— Не знаю, не спрашивала. Мне-то что!

— Должон привезти, — решила Пелагея.

Обежали большую лужу, налитую дождями, в которой утонули обе тропочки, проторенные рядом: Пелагея — справа, Дуняшка — слева. А когда опять сошлись, Пелагея спросила:

— С матерью будет жить аль в город подастся?

— Не знаю я.

— А ты б спросила.

— Не спрашивала я.

— Как же об этом не спросить-то? — удивилась Пелагея.

— Он мне про Германию рассказывал. Интересно так! А про это разговору не было.

— Пляди-ка! — хлопнула себя Пелагея по переднику. — Да об этом вперворадь спрашивать надо. А так — что толку провожаться?

Дуняшка заморгала глазами, отвернувшись, глядя на голые придорожные кусты.

— Ну, ну! — примирительно сказала Пелагея. — А только, если опять придет, попробуй. Тут ничего зазорного нету.

— Не буду я спрашивать, — сердито мотнула головой Дуняшка.

— Не будешь, так я сама разузнаю, — решительно сказала Пелагея, ловко перепрыгивая через канаву.

— Стыд-то какой! И не смей! И не думай даже!

— Дура и есть дура.

— Пусть! А только не смей! Нужен он мне больно!

— У калитки стоишь — стало быть, нужен.

— Много я настояла! — дернула плечами Дуняшка и побежала вперед, норовя обогнать Пелагею, идти одной. — Только и знаю: на ферму и домой.

— Я аль запрещаю? Парень он тихий. На тракториста учился. Стой. А только стоять с умом надо. Девичье дело такое... Вот купим пальто...

Но Пелагея не договорила, потому что и сама не знала, что должно быть, когда купят они пальто.

На шоссе вышли как раз к самому автобусу, часа полтора ехали, разлученные теснотой, терпеливо вынося давку и тряску, и наконец вывалились на автостанции. Пелагея — без одной пары жестяных молоточков в петлице, Дуняшка — со взбившимся на затылок вязаным платком и такая, будто побанилась с березовым веником. Она тут же стала озираться по сторонам, дивясь пестрой городской сутолоке, а Пелагея сразу сунула руку за пазуху Степкиного пиджака и царапнула кофту под грудью: «Целы? Целы... Ох!»

Они вышли на главную улицу, и город захватил их своим хлестким людским водоворотом.

Мимо Дуняшки шли кепки и косынки, шинели и спецовки, шарфы и шарфики. Проходившие очки удивленно и близоруко косились на Пелагеин передник. Вертлявые береты больше поглядывали на Дуняшку. Она даже слышала, как один берет сказал другому: «Гляди, какая вишенка! Блеск! Натуральный напиток!» И она деревенела от робости и смущения. Проходили всякие шляпы — угрюмо надвинутые и лихо заломленные. И всякие шляпки. Дуняшка дивилась цветочным горшкам и горшочкам для гречневой каши, мелким тарелочкам и эмалированным мисочкам и просто ни на что не похожим. Шныряли авоськи с картошкой, плавно покачивались сетки с мандаринами, робко шаркали матерчатые боты, подпираемые костыликом. А над всем эти людским потоком каменными отвесными берегами высились дома.

Дуняшка редко бывала в городе, и каждый раз он открывался по-новому. Когда приезжала с матерью еще маленькой девочкой, ее так поразили вороха конфет, пряников и множество всяких ку-

кол, что ничего другого она не запомнила, и потом в деревне долго еще снился пряничный город, в котором жили веселые, красивые куклы. Постарше она читала вывески, заглядывалась на милиционера, как он размахивает полосатой палкой и поворачивается туда-сюда, и, пока Пелагея стояла за чем-нибудь в очереди, глядела на кассовую машину, выбивавшую чеки.

Но теперь больше всего ее занимали люди.

«Сколько их, и все разные!» — дивилась Дуняшка, проталкиваясь за матерью. Мимо прошли тысячи, а схожих нет! И не то чтобы лицом, одеждой или годами. А чем-то еще таким, чего Дуняшка понять не могла, но смутно чувствовала эту несхожесть. У них в деревне люди как-то ровные — и лицом, и одеждой, и жизнью.

По пути Пелагея и Дуняшка заходили в магазины, приглядывались к одежде, но примерять не брали. Пелагея говорила:

— Пойдем в главном посмотрим.

Ей казалось, что самое лучшее пальто должно быть в универмаге. Но идти туда ей не хотелось. Нельзя же так: прибежали, отвалили деньги — и до свидания! Кто так покупает? Пелагее было лестно, как продавщицы — красивые, белолицые — снимали с вешалки одно, другое пальто, выбрасывали перед ней на прилавок, а она хотя и знала, что покупать пока не будет, да и по цене подходящего не находилось, но деловито тормошила пальто, щупала верх, дула на воротник, разглядывала подкладку. А тем временем Дуняшка застаивалась в галантерее.

Бог ты мой, сколько тут всего! Чулки простые, чулки в резиночку, чулки тоненькие, в паутинку, как у ихней учительницы. Мониста! Голубые, в круглую бусинку, красной рябинкой, зеленым прозрачным крыжовником, и рубчатые, и граненые, и в одну нитку, и в целый пучок... А брошки! А сережки! Блузки какие! Гребенки и вовсе небывалые! Глядела на все это Дуняшка, и даже продавцы замечали, как разбегались глаза от красоты невиданной, как сами собой раскрывались пухлые Дуняшкины губы от восхищения. Подходила Пелагея, не торопясь разглядывала все это богатство, полная внутренней гордости, что если захочет, то все может купить.

Смотрели на Дуняшку продавцы, ждали, чего пожелает она, на чем остановит выбор. А Дуняшка торопливо шептала Пелагее:

— Плянь, какие сережки! Не дорого, а как золотые! — и моляще дергала мать за рукав.

— Пошли, пошли! Некогда тут! — озабоченно говорила Пелагея.

А Дуняшка:

— Мама, хоть гребенку!

Но Пелагея направлялась к выходу и лишь за порогом, чтоб не слышали люди, гусиным шепотом выговаривала:

— Гребенку купим, а на пальто не хватит. Понимать надо!

До универмага они добрались лишь после обеда. Правда, сами они еще ничего не ели: и некогда было, и не хотелось. У входа в магазин люд вертелся, как вода в мельничном омуте. Здесь засасывало, кружило и выбрасывало сразу десятки людей. Из дверей универмага доносился глухой непрерывный гул, будто там тяжело вращались жернова.

Пелагея и Дуняшка протолкались внутрь, наспех обежали первый этаж, но там продавалось не то, что нужно, и они пошли выше. На лестничной площадке, между первым и вторым этажами, они увидели себя в огромном зеркале, вделанном в стену. Зеркало молчаливо подсказывало каждому проходящему мимо, что именно надо ему заменить или чего не хватает в одежде.

Пелагея поднималась по лестнице, высоко подбивая коленями свой оборчатый фартук. Она отчужденно взглянула на себя и вдруг проговорила:

— Батюшки, молотки-то я потеряла! Теперь убьет малый...

Одной ступенькой ниже поднималась Дуняшка. Она глядела в зеркало во все глаза, потому что видела себя вот так, всю сразу, в первый раз в жизни. В своем вязаном платке, делавшем ее голову круглой и обыкновенной, в куцем, узкоплечем сереньком пальтишке, из-под которого торчали длинные, крепкие ноги в хромовых забрызганных сапогах, Дуняшка походила на молодую серенькую курочку, у которой еще как следует не прорезался нарядный гребешок, не округлился зобик, не поднялся кверху хвостик, зато уже отросли сильные, выносливые ноги. Но щеки ее по-прежнему неутомимо пылали, и зеркало шепнуло: «Разве можно в таком пальто ходить под рыжий тополек?»

В отделе верхней женской одежды было не очень много народу, за прилавком в огромном длинном салоне в благоговейной тишине и терпком запахе мехов и нафталина висели пальто и шубы. Они помещались длинными рядами, как коровы в стойлах на образцовой совхозной ферме, — рукав к рукаву, масть к масти, порода к породе. На каждом из них висели картонные бирки. Между рядами в торжественном почтении, разговаривая вполголоса, ходили покупатели, брали в ладони бирки, приценивались.

— Вам для девочки? — посмотрев внимательно на Дуняшку, спросила полная пожилая продавщица в очках и халате, похожая на ветврача из соседнего совхозного отделения. — Пожалуйста, пройдите. Сорок шестые направо.

Пелагея, а за ней Дуняшка несмело вошли за обитый красным плюшем барьер и начали осмотр с края. Но Дуняшка шепнула: «Черное не хочу», — и они прошли к бежевым. Бежевые были хороши. Большие роговые пуговицы. Мягкий коричневый воротник. Кремовая шелковая подкладка. Пелагея смяла в кулаке угол полы — не мнется.

— Дуня, ну-ка прочитай.

— Тысяча двести.

— Так-так, — сдвинула брови Пелагея. — Маркое дюже. Вон у агрономши. Ехала в машине — запятнала. А теперь хоть брось.

— Мама, смотри, вон темно-синие! — зашептала Дуняшка.

— Ничего сукнецо! — одобрила Пелагея.

— Воротник красивый! Просто пух! — шепнула Дуняшка.

— А цена? Ты цену прочитай.

— Тысяча девятьсот шестьдесят.

— Это небось год указан?

— Да нет... рубли.

— А-а... рубли... Уж больно дорого что-то. Пальто — так себе. И воротник небось собачий. Не лиса, не кот.

Дальше висели светло-серые. Они были почему-то без воротников, но зато с опушкой на рукавах. Пелагея недоверчиво покосилась на бирку, но просить Дуняшку прочесть не решилась. За серыми пошли шубы.

— Небось тоже дорогие, — сказала Пелагея, — тыщи на полторы, не меньше.

— Ну, подобрали что-нибудь? — спросила продавщица.

— Да что-то не нравятся, — озабоченно сказала Пелагея. — То маркие больно, то крою не нашенского.

Продавщица, бросив едва заметный взгляд на Пелагеин передник, спросила:

— Вы на какую цену хотели бы?

Пелагея задумалась.

— Да вот и сама не знаю, — сказала она. — Брать дорогое рискованно. Дочка еще будет расти. Пока б рублей за семьсот. А то можно и подешевле.

— Конечно, конечно, — понимающе закивала очками продавщица. — Девочка еще в росте.

— Вы уж, пожалуйста, постарайтесь.

— Есть у нас для нее великолепное пальто! — сказала продавщица. — Недорогое, но очень даже приличное. Пойдемте. Мы ее сейчас так разодедем.

Продавщица прошла в самый конец ряда и, покопавшись, подала:

— Вот, пожалуйста.

Пальто, и верно, было хорошее. Коричневое в елочку. Воротник черный. Вата настега не внатруску, а как следует. Теплое пальто! Пелагея дунула на воротник — мех заколыхался, провела по шерсти — прилег мех, заблестел вороновым крылом.

— Драп, воротничок под котик, — пояснила продавщица, поворачивая пальто на пальце. — Пожалуйста, подкладочка из шелковой саржи. Чистенько. Тебе нравится? — спросила она Дуняшку.

Дуняшка застенчиво улыбнулась.

— Ну вот и отличненько! — тоже улыбнулась продавщица. — Давайте примерим. Вот зеркало.

С радостным трепетом надевала Дуняшка пальто. От него пахло новой материей и мехом. Даже сквозь платье Дуняшка ощущала, какой гладкой была подкладка. Она была прохладной только сначала, но потом сразу же охватило тело уютным теплом. Вокруг шеи пушисто, ласково лег воротник. Дрожащими пальцами Дуняшка застегивала тугие пуговицы, и Пелагея, озабоченно раскрасневшаяся, кинулась ей помогать. Как только пуговицы были застегнуты, Дуняшка сразу почувствовала себя подтянутой и стройной. Грудь не давило, как в старом пальто, а на бедрах и в талии она ощутила ту самую ладность хорошо сидящей одежды, когда и не тесно и не свободно, а как раз в самую пору.

Посмотреть на примерку пришли почти все бывшие за барьером покупатели. Какой-то старичок с белой, будто выстиранной бородкой, летчик с женой. Дама в черном пальто и черно-дымчатой лисице и мужчина очень приличного вида в красном шарфике тоже подошли к примерочной.

Дуняшка посмотрела в зеркало и обомлела. Она и не она! Сразу повзрослела, выладнялась, округлилась, где положено. Она увидела свои собственные глаза, сиявшие счастливой голубизной, и впервые почувствовала себя взрослой!

— Прямо невеста! — сказал старичок.

— Вам очень к лицу, — заметила жена летчика. — Берите, не сомневайтесь.

— Ну что за прелесть девчонка! — улыбнулась дама в лисе. — Что значит одеть как следует человека! Недаром же говорят: «По одежде встречают...» Разреши, милая, я заправлю твою косичку. Вот так! Чудо, а не пальто!

— Выписывать? — наконец спросила продавщица и достала из кармана чековую книжку.

— Раз люди хвалят, то возьмем, — сказала Пелагея. — Восемнадцать годков дочке-то. Как не взять.

— Пожалуйста: шестьсот девяносто три рубля двадцать одна копейка. Касса рядом.

Пелагея побежала платить, а Дуняшка, неохотно расставшись с новым пальто, натянула на себя старенькое и повязала платок.

— Счастливая пора у этой девочки, — вздохнула дама. — Первое пальто, первые туфельки... Все впервые...

Продавщица ловко завернула покупку в бумагу, несколькими взмахами руки обмотала бечевкой и, щелкнув ножницами, подала Дуняшке.

— Носи на здоровье.

— Спасибо, — тихо поблагодарила Дуняшка.

— Спасибо вам, люди добрые, за совет и помощь, — сказала Пелагея. — Тебе, дочка, спасибо на ласковом слове, — сказала она даме.

— Ну что вы! — улыбнулась дама. — Приятно было посмотреть на вашу девочку. Ты в каком классе?

— На ферме я, — проговорила Дуняшка застенчиво и уставилась на свои большие красные руки, державшие покупку.

— Она у нас птичницей в колхозе работает, — пояснила Пелагея. — Триста ден выработала. На ее деньги пальто и справили.

— Ну, это совсем мило! — сказала дама и очарованно еще раз посмотрела на Дуняшку.

Сразу уходить из магазина не хотелось. Пелагея и Дуняшка еще не остыли от возбуждения и долго толкались по разным отделам. После покупки пальто, которое Дуняшка носила под мышкой, все время поглядывая на него, хотелось еще чего-нибудь. И они, разглядывая товары, говорили, что хорошо бы к такому пальто прикупить еще и боты. «Вон те, с опушкой». — «Говорят, они неноские». — «Как же неноские? Катька Аболдуева третью зиму носит». — «Ладно, купим. Такие у нас в сельпо есть». — «Мама, глянь, какие шляпы!» — «Ты что, спятила? Будешь ты ее носить!» — «Да я так просто». — «Тебе б платок теперь пуховый».

Так обошли они весь этаж и опять, проходя мимо отдела верхней одежды, остановились взглянуть на прощание на висевшие пальто.

За барьером они увидели даму, примерявшую шубу. Мужчина в красном шарфике стоял рядом. Он держал ее пальто.

Шуба была из каких-то мелких шкурок с темно-бурыми спинками и рыжими краями, отчего она выглядела полосатой. Продавщица, развернув шубу, набросила ее на даму, и та сразу потонула с головы до пят в горе рыжего легкого меха. Были видны только гребень взбитых на макушке волос цвета крепкого чая да снизу, из-под края шубы, — щиколотки ног и черные туфельки.

— Широкая дюже, — шепотом заметила Пелагея. — Совсем человека не видно.

Дуняшке шуба тоже показалась очень просторной и длинной. Она свисала с плеч волнистыми складками, рукава были широкие, с большими отворотами, а воротник разлегся от плеча до плеча. Может быть, так казалось после черного пальто, которое очень ладно сидело на даме?

Пальто это было очень хорошее, совсем новое — и материал, и лисий воротничок. Его еще можно носить и носить, и если бы у Дуняшки было такое, она не стала бы брать шубу, а купила бы пуховый платок и боты.

Дуняшке хотелось сказать об этом даме, хотелось проявить участие, посоветовать что-нибудь, как советовали только что во вре-

мя примерки ей самой. Но, конечно, она ни за что не решилась бы. Это она только так, про себя. Она не знала, какие надо говорить слова, и вообще робела перед этой хотя и приветливой, но все же в чем-то недоступной женщиной.

Дама передернула плечами, отчего шуба заходила на спине широкими складками, и посмотрела на себя в зеркало. Дуняшка увидела ее красивое, в этот момент слегка побледневшее лицо, охваченное широким рыжим воротником. Живые светло-коричневые глаза смотрели внимательно и строго, а подкрашенные губы чуть улыбались.

— Филипп, тебе нравится? — спросила дама, проводя выгнутой ладонью по щеке и волосам.

— В общем, ничего, — сказал мужчина. — Пожалуй, даже лучше той...

— Как сзади?

— Три складочки. Как раз то, что ты любишь.

— Может быть, не будем брать? Мне не очень нравится воротник.

— Отчего же? Шуба тебе к лицу. А воротник — пригласи Бориса Абрамовича. Переделает.

— Мне его что-то не хочется. Марина Михайловна говорила, что он ей испортил шубу. Я позвоню Покровской — у нее хороший скорняк.

Дама еще раз взглянула на себя в зеркало.

— Хорошо, я беру, — сказал она. — Если что — Элка сносит.

— Разрешите выписать? — учтиво спросила продавщица.

— Да, да, милая...

Мужчина пошел платить. Он расстегнул портфель и положил на кассовую тарелочку два серых кирпичика сотенных, перехваченных бумажной лентой.

— Это все за одну шубу?! — ахнула Дуняшка.

Шуба была завернута в бумагу. Продавщица с серьезным лицом, на котором была написана вся торжественность момента, несколькими привычными взмахами руки обмотала пакет бечевкой и, вручая даме, так же, как и Дуняшке, пожелала:

— Носите на здоровье.

— Благодарю вас.

— Вот мы с тобой и с обновками! — улыбнулась дама, заметив Дуняшку и ласково потрепала ее по щеке.

В ее руках был совсем такой же пакет, как и Дуняшкин, почти такого же размера, в той же белой бумаге с красными треугольниками, так же перехваченный крест-накрест бечевкой. Положить рядом — не различишь.

Мужчина взял у нее пакет, и они вышли.

На улице сыпал мелкий дождик. Асфальт блестел. Дуняшка и Пелагея видели, как дама и мужчина сели в мокрую блестяще-чер-

ную машину и поехали. В заднем окошечке мелькнула лисья мордочка воротника с красной пастью.

— Хорошие люди, — сказала Пелагея. — Обходительные.

Дуняшка посмотрела на свой пакет. Дождь дробью барабанил по обертке, и бумага покрылась пятнами. Дуняшка расстегнула пальто, спрятала покупку под полу.

— Мама, есть хочется, — сказала она.

На сдачу от пальто они купили у лоточницы по булке и по мороженому, остальную мелочь спрятали на дорогу. Зашли за газетную будку и стали есть. Они ели жадно и молча, потому что проголодались, и еще потому, что было неловко есть на людях. А мимо все шли и шли поднятые воротники и шляпы, кепки и спецовки, очки и береты, цокали туфельки и шаркали матерчатые боты. Время от времени проходили раздутые портфели, и Дуняшке казалось, что они набиты сотенными. Иногда проплывали лисы, уютно пристроившиеся под зонтиками. На них не капало.

— Ну, пошли, что ли? — сказала Пелагея, отряхивая с пиджака крошки. — Не знаю, купил ли Степка керосину..

С автобуса они сошли еще засветло. Дождь перестал, но большак осклиз и тускло поблескивал среди черной, тяжело осевшей влажной земли. Пелагея подоткнула под пиджак фартук и, разъезжаясь сапогами по убитой тропинке, зашагала впереди Дуняшки. Теперь она спешила домой, потому что надо еще успеть постирать Степкино белье. Завтра рано ему ехать в школу механизации. Дуняшка бежала следом. Ей тоже хотелось поскорее домой.

Уже перед самым косогором вдруг проглянуло солнце. Оно ударило пучком лучей в узкую прореху между землей и небом, и большак засверкал бесчисленными лужами и залитыми колеями.

Выйдя на самую кручу, они остановились передохнуть. После дождя потишело и потеплело. Горod притомил Дуняшку своей суетокой, а здесь, в поле, было тихо, хорошо и так все привычно. Возле подсолнуха, одиноко торчавшего у дороги, стоял теленок. Он обдергивал влажные, обмякшие листья и неторопливо жевал их, пересовывая языком черенок. Перестав есть и растопырив уши, он задумчиво уставился на Пелагею и Дуняшку. Недоеденный черенок торчал из его влажных розоватых губ.

— Скоро придем, — сказал Пелагея. — Ну-ка, дай сюда...

Она взяла у Дуняшки сверток и проткнула пальцем бумагу. В прорыв проглянула подкладка. Она была цвета молочной печенки и шелково переливалась на свету.

— Хорошая подкладка! — одобрила Пелагея. — Ну-ка, погляди.

— Хоть на платье! — сказала Дуняшка. — Мама, а верх какой? Я забыла...

Поковыряли бумагу в другом месте, добрались до верха.

— И верх хороший! — еще раз убедилась Дуняшка.

— Ну, верху — сносу нет! Говори, что тыщу отдали.

— За тыщу и хуже бывает. Помнишь, то висело, бежевое?

— И глядеть не на что!

— Мама, давай воротник посмотрим. Еще воротник не посмотрели.

Воротник был мягок и черен, как вороново крыло. Замечательный воротник!

— Как она сказала — какой воротник?

— Под котик.

— А-а... Ишь ты! Дорогой небось.

— Мама, и теплое!

— Теплое, дочка. — Пелагея прикинула сверток на руке. — На счет теплоты и говорить нечего. А что шуба? Одно только название. Ни греву, ни красы. Как зипун. Была б она целая. А то из латок. Того и гляди, лопнет на швах. Да и вытрется. А уж это — красота! И к лицу. И сидит ладно.

— Я в нем как взрослая, — застенчиво улыбнулась Дуняшка.

— Молчи, девонька, продадим теленка — платок пуховый справим.

— И ботики! — вся засветилась Дуняшка.

— Справим и боты! Справим!

Под горку бежалось легко. Чтоб сократить дорогу, пошли напрямки по травянистому склону. Впереди, выхваченная солнцем из темной пашни, белела хатами деревня. Дуняшка, млея от тихой тайной радости, отыскала глазами рыжий тополек.

1962

ШУРУП

Через апрельские поля и перелески, тронутые первой вешней зеленью, напрямик к горизонту уходили опорные мачты высоковольтки.

Рядом, постепенно забирая вправо, проселочной дорогой шагал Шуруп — конопатый, курносый парнишка, каких пачками выпускают ремесленные училища и всевозможные школы ФЗО. Зимний форменный бушлат нараспашку, в руке старенькая шапка-ушанка, подбитая загадочным сизо-голубым зверем. На ногах Шурупа обыкновенные рабочие ботинки с железными заклепками по бокам. В таких чечетку выколачивать, конечно, трудновато, но топтать по ненакатанному проселку даже очень ловко, особенно если хорошенько расшагаться.

Шуруп нес шапку-ушанку за одно ухо, как носят мальчишки подстреленную ворону, и шлепал ею по штанине при каждом шаге.

Белобрысый чуб его уже давно обсох на ветерке и теперь топорщился на голове без всякого порядка.

Денек с самого утра солнечный, веселый. Час от часу наливаются зеленью еще вчера бурые луговины и обочины, дрожит светлый парок над черной, распаханной землей, а по всему небу — то где-то под белыми мазками облаков, то совсем близко, над самым ухом, — звенят, заливаются жаворонки, а глянешь вверх — тут же зажмуришься от безудержного потока лучей и не увидишь никакого жаворонка, будто это не они поют, а сам небосвод звенит от весеннего тепла и света.

Идет Шуруп, помахивает шапкой, поддает ботинком все, что можно нафутболить, — сухой ком земли или старую консервную банку, останавливается на мостках через речушки, смотрит, как малявки гоняются за плевком, хорошее настроение у Шурупа!

За неделю до майских праздников их бригада высоковольтников закончила тянуть линию на своем участке, и Фролов, начальник участка, отпустил Шурупа домой на целых пять суток. «Вот тебе, — говорит, — два дня майских, один выходной и два дня от меня лично. За то, что в дело вникаешь».

Правда, Шуруп числится в бригаде даже и не монтажником, а всего только стажером. Но это по приказу, а если так, то никакой разницы нет. Дождь или там завируха какая, разрядов не признает — чихвостит всех без разбору. Да и спали в одном вагончике, и ели из одного котла. Какой может быть разговор? А если показать руки, так у Шурупа они что ни на есть рабочие: не с водянками, какие бывают у школьников от первой грядки, а с настоящими мозолями, обтянутыми желтой, зароговевшей кожей, такой твердой, что даже ногтем не уколупнешь. Сожмет Шуруп пальцы, и сразу внутри кулака чувствуется эта мозолистая жесткость, от которой рука тяжела, будто железная, и молоток в ней сидит как влитой.

«А все-таки здорово получилось! — думал Шуруп, хозяйственно посматривая на высоковольтку. — Даже красиво!»

Всю дорогу Шуруп ощущал, как в грудь ему упирался бумажный комок — пачка свернутых пополам трешек, вложенная в боковой карман бушлата. Это его первая получка за полтора месяца работы на линии. Шуруп в горячах даже и не посчитал, сколько там. Удержали подходящий, какие-то там холостяцкие, за харчи вычли (продукты привозят прямо на линию), пятерку одолжил лебедчику Ваньке Шелябову, и все равно осталась целая куча. По молодости Шуруп еще не умел вести хозяйственный счет деньгам, и потому ему не важно, сколько лежало этих самых трешек в кармане. Куда важнее было сознавать, что они наконец есть и что он заработал их собственными руками.

«Надо купить матери подарок к празднику, — размышлял Шуруп. — Приеду в город — сразу домой не пойду, а сперва похожу по

магазинам. Чтоб домой прямо с подарком. Только что купить? Конфет коробку? Каких-нибудь подороже. Чтоб лентой были перевязаны. Да разве она съест сама? Возьмет штучку-две, а остальные отдаст Витьке. А тому только подавай: в один раз все съест, как картошку, а коробку ножницами изрежет. Может быть, сумочку? Та, черная, совсем износилась, уже два раза чинили замок. Или платье?.. Красивое, цветами. Вот будет рада!» Шурупу было приятно мысленно одевать мать во все новое: он представил, как мать, волнуясь, розовея лицом, будет примерять подарки перед зеркалом, и от этих мысленных картин проникался к самому себе чувством честно заслуженного уважения. «Носи, мать, на здоровье, — скажет он. — Заработаю еще — лучше куплю».

На вокзал Шуруп пришел задолго до поезда. Старая Засека оказалась пустяковой, неказистой станцией: несколько товарных вагонов в тупике, два или три приземистых склада с крышами, заляпанными смолой, какие-то бревна под откосом. Но поезд здесь почему-то останавливался. Стоял недолго, не более двух минут, казалось, только затем, чтобы перед крутым изволоком дать паровозу плотнуть свежего воздуха в его прокуренные легкие.

Шуруп купил билет, прочитал расписание и всякие плакаты, с интересом потолкался в буфете, прицеляясь к разной еде, разложенной на тарелках. Выбрал бутерброд с темными, сухими пятками колбасы, прогнутыми, как медные биты, потом, подумав, попросил нацедить кружку пива, — все-таки с получки!

Сразу за Старой Засекой — жидкий дубовый лесок. До поезда было минут сорок. Посидев на солнышке на перроне, Шуруп побрел к лесу. Рощица стояла высокая и светлая, в крепком настое талой земли и ясной солнечной тишины. Звонко, ошалев от тепла и света, от сини неба и собственного бытия, цвикала синица-кузя. Шуруп походил по кучерявым дубовым листьям, хитрым свистом через оттопыренную губу подразнил кузю, ножом ковырнул у комля молодую березку и, прислонившись к стволу, терпеливо дожидаясь набегавшую капельку в подрезе, чтобы слизнуть ее языком. Потом глянул себе под ноги и радостно удивился: вся поляна была усыпана подснежниками — голубые блески на буром ковре прошлогодних листьев.

Ползая на коленях, Шуруп вдруг услышал паровозный гудок: пассажирский поезд подходил к Старой Засеке. Уже на бегу к вокзалу Шуруп сообразил, что не успеет, и, круто повернув, побежал к выходной стрелке. Едва он скатился по откосу глубокой выемки, как мимо поплыли длинные зеленые вагоны.

Шуруп побежал вдоль состава. Тяжелые рабочие башмаки грузно увязали в ракушечнике. Правой рукой он успел ухватиться за поручень последнего, двенадцатого, вагона, из открытой двери которого ему что-то кричала проводница. Он изо всех сил побежал рядом с

подножкой, не зная, что ему делать с подснежниками, которые мешали ему вцепиться в вагон обеими руками. Проводница больно колотила по руке свернутыми флажками, но Шуруп не выпустил поручня. Он бросил букетик в дверь, подпрыгнул и, согнувшись баранкой, повис на подножке. Рука проводницы вцепилась в воротник Шурупова бушлата, и он на четвереньках влетел в тамбур.

— Куда тебя, окаянного, несет? — Проводница в сердцах дала Шурупу подзатыльник.

Шуруп стал на ноги. Испарина мелкими бусинками осыпала редкий пушок на его верхней губе. Он снял шапку и вытер ею лицо. Из шапки шибануло распаренными волосами.

— Аж сердце захолонуло... — перевела дух проводница, толстая пожилая тетка, с трудом обтянутая черным казенным платьем. — Погляди: где тебя носило?

Шуруп посмотрел на ботинки. Они были облеплены вязкой лесной грязью.

— Весна! — улыбнулся Шуруп, уловив незлобивые нотки в ворчании проводницы.

— То-то — весна... С такими ногами в вагон не пущу.

— Я и тут постою.

— погоди, веник вынесу.

Проводница ушла, и Шуруп, присев на корточки, принялся собирать цветы. Непослушными пальцами, все еще дрожавшими от гулких толчков сердца, он брал с пола нежные зеленоватые стебли с голубыми колокольцами и складывал в шапку.

Из двери высунулась проводница, бросила Шурупу веник.

— Руку больно нахлестала флажками?

Кисть правой руки тупо ныла, но Шуруп не сознался.

— Надо было ногой, каблуком. Сразу бы отцепился. С вами, сорваньём, иначе и нельзя. Долго ли до греха! А ну, покажи цветы-то. Я уж и забыла, какие они, подснежники.

Она запустила пухлую красную руку в Шурупову ушанку и бережно, будто новорожденного цыпленка-пуховичка, выгребла и положила на ладонь горстку подснежников.

— Ишь ты какие! Голубоглазые... Лесом пахнут! — по-девичьи обрадовалась старая проводница. — Что ж ты их в шапку-то складываешь? Пойдем, стаканчик дам.

Шуруп прошел в вагон, выбрал себе место за свободным столиком в проходе, поставил стакан с подснежниками, огляделся. После свежего лесного воздуха в вагоне было жарко, как в бане. Сквозь двойные, плохо протертые стекла в упор било неистовое апрельское солнце. Недвижно-пыльный столб света пролег через купе, резко высвечивая многослойную корявую охру полок. В этой духоте, будто шмель, запутавшийся в паутине, зудел репродуктор поездного радио.

Шуруп снял бушлат, закинул шапку в рукав и пристроил одежду на крючке под верхней боковой полкой, на которой, свернувшись калачиком, спал какой-то паренек в черной спецовке, наверно, тоже из ихнего брата-фезеушника. За столиком у противоположного окна под тяжелый, засосный храп, долетавший с верхней полки, закусывали две женщины — старая и помоложе. Спавший мужчина лежал навзничь, натянув на голову обшитый сукном овчинный полушубок, из-под которого, свисая над проходом, торчали две босые мясистые ступни.

Старушка, сидевшая с правой стороны столика, нарезала на промасленной газете селедку, клала кусочки в рот и, погоняв языком по пустому беззубому рту, с бульканьем проглатывала, по-куриному вытягивая худую, жилистую шею. Несмотря на духоту, она сидела в теплом старомодном полусаке и только шаль сдвинула на плечи, оставив на голове белый ситцевый платочек, завязанный под остро выступавшим подбородком.

По другую сторону столика за стаканом чая, лениво дымящимся на солнце, сидела женщина в черном платке, низко и туго обтягивавшем широкий лоб. В черной раме платка четко желтело крупное неподвижное лицо, густо испещренное рябинами, которые не давали появляться ни складкам, ни морщинам, и оттого лицо казалось каменно-мертвым, будто высеченным из пористого, выветренного песчаника.

Как только Шуруп устроился, старушка, поедавшая селедку, попросила его забросить на самую верхнюю полку холщовый мешок, который лежал у ее ног под столиком.

— Мне-то он, родненький, не помеха, а кому может и помешать. Непорядок, скажут.

— Чеснок, что ли? — потянул носом Шуруп, закатывая не по старухе тяжелый мешок на полку.

— Чесночок, родненький, чесночок. Кормилец наш. Кабы не чесночок — хоть по миру ступай. У нас-то он промеж других овощей не виден. А есть такие местности, где он слаще меду-сахару. Привезу — спасибо скажут.

— Уж это на кого наскочишь! — неожиданно грубым, мужским голосом проговорила ряболицая.

— И то бывает, мать Маланья, — закивала старушка. — Иной берет — нахваливает, а иной и не берет и волком смотрит. Да еще и приструнит. А того не сообразит, что я ему добро делаю. От всякого недуга чеснок — первое снадобье. Мне-то, старой, благо ли в такую даль тащиться, кабы б не об ихней же пользе радела? Иной раз так расхвораюсь, так расхвораюсь в дороге-то, что, того и гляди, богу душу на чужой стороне отдам. Ан еду! Цветики-то небось барышне своей везешь? — спросила старушка.

— Матери, — сказал Шуруп.

— Матери? — умилилась старушка. — Ах, ласковый, ах, сердешный! Помнишь, стало быть, мать, почитаешь. Да ты бы, касатик, к этим-то цветам еще и вербочки нарезал. Сегодня Вербное воскресенье.

— У нас через два дня свой праздник, — сказал Шуруп.

— Так ведь то, касатик, выдуманный. А это настоящий. Испокон веков празднуется.

— Как это выдуманный? — Шуруп снисходительно посмотрел на старушку. — К Первому маю люди план свой перевыполняют, премии им дают, гуляют целых два дня. Как это выдуманный? Ты, бабуса, что-то загнула. Это ваш выдуманный...

— Да ты не серчай, касатик. Вам, молодым, абы погулять. Вот ты безо всякого разбору и празднуешь. Где пошумнее, туда и идешь. А что за тем праздником? Одна суета. Никакого очищения души. А Вербное воскресенье — великий праздник. Иисусу Христу нашему дорогу вербой выстилали. Вот я к тому и говорю: срезал бы вербочку и сvez матери во славу-то Божию.

— Тоже выдумала! — пробасила ряболицая. — Нынче вербу разве что на метлы режут. Забыли о Боге люди. Все забыли.

— На метлу, мать Маланья! — согласно закивала старушка. — Ох и на метлу! Да и то сказать: метлу собрать не из чего. Сколько раньше вербы-то было! Бывало, подходит праздник — каждый идет ломать. И малый и старый. Столько люду в Расее, и каждому надобно. А она, верба-то, не токмо не переводится, а еще пуще растет. Потому — на святое дело потребляется. Выйдешь на выгон об эту пору, а она кипенью кипит — пуховитая, медвяная. А ноне, гляжу я, нет вербы, вся пересохла.

— Потому и пересохла, — резонила ряболицая, прихлебывая из стакана жесткими, неподвижными губами, — потому, говорю, и пересохла, что земля грехом пропитана.

— Не может, стало быть, божья лоза в такой земле произрастать, — согласилась старушка.

— Вот дают! — усмехнулся Шуруп.

Все эти разговоры были для него очевидной нелепостью.

— Да этой вашей лозы хоть пруд пруди! — сказал он запальчиво. — Мы в Старой Засеке линию тянули, так пришлось бульдозером выкорчевывать: ступить некуда.

Но это возражение Шурупа не было принято всерьез, и он, махнув рукой, стал смотреть в окошко.

— А насчет земли это ты, мать Маланья, правду говоришь, — сказала старушка. — Возьми чеснок: никудышный пошел. Мелкий да уродливый какой-то. Прошлым летом копаю, а у одной головки кукишем зубья-то! Прямо кукиш вылитый! Не иначе, как с землей неладное что-то делается.

— Намедни Григорию моему сон привиделся, — заговорила с осанистой медлительностью ряболицая. — Будто среди лета в одну

ночь повсюду вода замерзла: и в реках, и в озерах, и в морях — до самого дна. И нигде не осталось ни единой капли, кроме святых источников.

— Прости, Господи, нас, грешных! — истово закрестилась старушка. — Все может случиться, мать Маланья. Все может, коли веру утратили.

— А я тебе скажу, что так оно и будет. Кинется люд к святой воде, да только та вода не про всякого.

— Не про всякого! — подхватила старушка.

— Кому она святая будет, а кому и камнем обернется. А этому быть — не миновать, — опустила глаза ряболицая. — Григорию моему просто так не привидится. Он через свою непорочность к самому Господу доступ имеет.

— Блажен, стало быть?

— Благостен, — степенно кивнула ряболицая. — Куда только я его ни привезу, отбою от людей нет.

— Да уж известно, коли дар такой редкий, — закивала старушка.

— Сейчас вот в Воронеж едем. На святую неделю. А потом в Ростов — запрос оттудова был.

— Ах ты, касатик белый! Скажи ты — запрос был! — умилилась старушка. — Что ж, он сам объявляет о видениях или как?

— Во сне проговаривается. Сонный. Он говорит, а я запоминаю. Сам-то он, когда проснется, ничего не помнит.

— Вот ведь чудо-то!

«Окно бы открыть», — с тоской подумал Шуруп, оглядывая плотно задраенную раму. Его начинали раздражать и пыльное вагонное солнце, и вид горячего чая на столике у старух, и металлическое дребезжание репродуктора.

Он вышел в тамбур, повернул железную щеколду и открыл наружную дверь. Ударил упругий ветер, торопливый грохот колес и вкусный, с детства любимый запах паровозного дыма, угля, сожженного в бушующей топке.

Поезд шел размашисто, слегка раскачиваясь. С разбегу он рассек пополам сонно дремавший перелесок, обнаженный и прозрачный, окатил тонкие деревца отработанным паром, прикрикнул на них зычным гудком, прогромыхал по чутунному мосту так, что в глазах зарябило от сплетений ферм, и вдруг выкатил на простор. Снова побежали поля — паханные и непаханные, матово-черные, торжественно-безлюдные и радостно-зеленые от первых всходов, над которыми, будто хлопья жженой бумаги, носились грачи.

Возле какого-то переезда, завалившись в придорожную канаву, стоял бензовоз. Водитель, парнишка с перепачканным лицом, ковырявший лопатой под колесами, выпрямился и с озабоченной завистью смотрел на поезд.

— Э, работяга! — озорно крикнул Шуруп. — Бросай трос — дернем!

Стоя у открытой двери, на хлестком встречном ветру, в гулком перестуке колес и рельсов, Шуруп весь растворился в радостном ощущении неудержимого движения.

После глубокой выемки к железнодорожному полотну снова подступила высоковольтка. Взгляд Шурупа перебегал от мачты к мачте, ему казалось, что они не стоят на месте, глубоко врытые в землю, а торопливо шагают куда-то, переставляя свои заостренные книзу «ноги». Одна еще только переступила через проселочную дорогу, а другая уже идет вспаханным полем, и на черной земле четко белеют ее бетонные башмаки. Следующие две опоры забрели в подросшую озимь, и ветерок полощет у их ног шелковистую зелень хлебов. Еще две другие пошагали кочковатым лугом, догоняя тех, кто впереди. А те уже спустились в глубокий распадок, закипающий кучерявым лозняком, и видно, как идут они долиной, по пояс утопая в зарослях. И вот уже мачты шагают по деревне, широко простирая траверсы-руки над домами и скворечнями...

Мчится поезд наперегонки с опорными мачтами, никак не может обогнать их торопливый бег по земле, и Шурупу пришлось высунуться из вагона, чтобы видеть те, что шагают далеко впереди, на самом горизонте, постепенно голубея и дрожа в струящемся воздухе. Поезд будет мчаться целый день, и все равно мачты придут в город первыми.

«А все-таки быстро мы управились», — горделиво думал Шуруп. Он знал «в лицо» каждого из этих стальных великанов от Терехова до Старой Засеки — на всем участке своей бригады. Вспомнилось, как по мартовскому распутью лазили по колено в ледяной каше, как на пустых бочках из-под солярки переправлялись через затопленные овраги, как жгли костры и сушили спецовки, и у него затеплилось к ребятам из третьей монтажной доброе чувство братства. Вспомнил и начальника участка Фролова. Хороший все-таки дядька! Это он первый в шутку назвал его Шурупом.

На ближайшей станции Шуруп купил за двугривенный теплую пшеничную лепешку на меду и вернулся к своему столику. Там уже сидел тот самый парень, что спал над Шурупом. Взлохмаченный и заспанный, позевывая и скребя грудь сквозь расстегнутую рубаху, он глядел в окно сонно-невидящими глазами.

— Здорово идет, а? — сказал Шуруп, кивнув за окно. — С ветерком!

— А-а? — переспросил парень.

— Быстро, говорю, едем.

Парень посмотрел в окно, но не ответил. Казалось, он все еще находился в дремотном оцепенении.

— А я в Старой Засеке сел, — сказал Шуруп, с аппетитом уминая лепешку. — Ты спал, не видел. Там наша бригада работает. Линию тянем. Вон, видишь, мачты? Это мы тянули.

Шуруп покосился на соседа, чтобы видеть, какое впечатление произведут его слова. Все-таки не каждому доводится работать на высоковольтке. Этот небось какой-нибудь каменщик или штукатур.

— Чего тянули? — спросил парень.

— Да ты что, глухой? Линию, говорю, тянули. Провода. Видишь в поле?

Парень с испуганным непониманием глядел в окно.

— Это вон те, железные?

— Ну да. Знаешь, какие высокие? Я лазил. Провода с палец толщиной. Это они отсюда паутинкой кажутся. Мы их сначала трактором по полю вытягивали. Руками ни за что не вытянешь. А потом лебедками к траверсам поднимали. Если от самой первой мачты считать, так, может, целых сто тонн провода в небе висит. А мачты несут его вон как легко. Будто это им пара пустяков.

— А зачем они? — спросил парень заспанно-пресным голосом.

— Как зачем? — удивился Шуруп. Он даже перестал жевать лепешку. — Ты что, не знаешь, зачем провода тянут?

Парень посмотрел на Шурупа боязливо мигающими глазами, словно ожидая, что его ударят.

— Чудной, — пожал плечами Шуруп. — Это же электричество: свет, энергия.

Первый раз Шуруп видел человека, который не знал, для чего существует электричество. Это было так странно, будто перед Шурупом сидел доисторический, пещерный житель. В парне и на самом деле было что-то пещерное: замутненные сонной одурью глаза глядели без интереса, будто перед ними не было ничего такого, на что стоило посмотреть; на пухлых щеках и скулах неприятно кучерявилась жидкая борода.

— Ты где работаешь-то? — спросил Шуруп.

— Отстань! — озлился парень. — Чего привязался?

— Да ты что? — удивился Шуруп. — Нужен ты мне больно!

Шуруп, обиженный, решительно отвернулся к окну. «Темнота», — презрительно подумал он о парне.

Над старушкой заворочался полушубок, и из-под него высунулась голова.

— Принеси-ка водицы, — сказала голова парню.

Парень поднялся, раскачиваясь от толчков вагона, побрел в тамбур.

Дюжий краснолицый мужчина, по самые глаза заросший рыжей стерней, сопя, слез с полки, сунул ноги в резиновые сапоги, подошел к Шурупу.

— Новый пассажир? — сказал он, оглядывая Шурупа красноватыми опухшими глазами. — Далече путь держишь?

— Домой еду.

— Так, так... Откуда?

— В Старой Засеке сел. Там наша бригада сейчас стоит.

— Тракторист, стало быть?

— Монтажник. Линию тянем.

— А-а!.. Трудишься, значит?

— Ага, работаю. В отпуск еду. Пять дней дали.

— Это дело хорошее, — одобрил рыжебородый. — А я, брат, от всякой должности отстранен. Видишь?

Рыжебородый вытряхнул из рукава пиджака деревяшку, окованную на конце железным обручем. В торец деревяшки был вбит железный крючок.

— Рад бы помочь обществу, да не могу, — сказал рыжебородый. — Как оттяпало под Смоленском, так больше и не выросла.

Шуруп с внутренним содроганием посмотрел на железный коготь, в нем шевельнулось сострадание к этой нечеловеческой, мертвой руке и к ее владельцу. Он покосился на другую руку рыжебородого, но на плечах у него висел внапашку полушубок, и другой руки не было видно.

Пришел парень с водой. Рыжебородый наклонился, ухватил стакан зубами и, постепенно поднимая его, высосал воду сквозь усы и зубы. Пролитые струйки воды сбежали по подбородку, растеклись по волосатой груди и отворотам полушубка. В эту минуту рыжебородый походил на огромного циркового медведя, который демонстрировал публике питье патоки из бутылки. Шуруп видел такой номер в одном заезжем цирке на базарной площади.

— Так вот, брат, и живем, — сказал рыжебородый и вытер усы концом деревяшки. — При случае и штанов не снимешь.

Шуруп не ответил. Говорить было нечего. Он уставился на свои подснежники, стоявшие перед ним в стакане.

— Может, найдется рублишко инвалиду Великой Отечественной войны? — спросил безрукий глухо.

Шуруп с готовностью полез в бушлат за деньгами. Это хоть как-то отпускало его сжавшуюся в комок чем-то виноватую совесть. Он достал пачку трешек, порылся в ней, отыскивая рубль.

— У меня рубля нет, — сказал он и покраснел, сообразив, что сказал глупость.

— Давай трешку, — сказал рыжебородый. — Клади-ка ее сюда.

Шуруп запихнул три рубля в карман его полушубка.

— Не жалеешь, что дал трешку участнику Великой Отечественной войны? — сказал рыжебородый, плечом поправляя полушубок.

— Ну что вы! — смутился Шуруп.

— И никогда не жалею, — наставительно сказал рыжебородый. — Сегодня я у тебя прошу, а завтра, глядишь, ты у меня. Потому — не знаешь, что с тобой будет. И никто не знает: под Богом ходим. Человек предполагает, а Бог располагает! Так-то, брат! Григорий, бери-ка стакан, — обратился он к парню. — Маланья, мы пройдем по вагонам.

— Вот видишь, — сказала старушка Шуруп. — Господь Бог и надоумил тебя сделать доброе дело — помочь калеке-воину. Ты воздал — и тебе воздастся. А как же! Так-то оно и делается в мире-то Божьем.

— Захотел, вот и дал, — сердито сказал Шуруп. Его начинала раздражать эта надоедливая старушенция.

— Э, касатик! — закрутила куриной головой старушка. — «Захотел»? Это тебе только кажется, что захотел. Сам бы небось и не дал. Поскупился. А Бог взял твою руку и разжал для благого деяния.

Шуруп промолчал. Он смотрел вслед удалявшимся по проходу рыжебородому и сопровождавшему его парню. Возле бачка с кипяченой водой парень наклонился и поставил под кран стакан. Шуруп видел, как из расстегнутой на груди парня рубахи вывалился сверкающий крест и закачался на шнурке, глухо звякнув по бачку с водой.

«Наверно, тот самый сновидец, про которого давеча рассказывала ряболицая», — вдруг догадался Шуруп и с неприязнью оглядел неряшливую, сонно-медлительную фигуру парня.

Потом Шуруп видел, как сновидец подал рыжебородому стакан с водой и тот, окруженный любопытными, опять пил воду, простерев вперед деревяшку и по-медвежьи запрокинув рыжую скуластую голову. Видеть все это было неприятно, и Шуруп вышел в тамбур.

Поезд приближался к городу. Шуруп догадался об этом по мачтам высоковольтки. Они теперь шагали по той стороне реки, высоко поднимаясь над темной зеленью молодых сосенок. Скоро на краю сосняка забелеет новый поселок химиков. Отсюда можно разглядеть даже дом, в котором живет Шуруп. Ему захотелось поскорее домой. В городе теперь готовятся к празднику — прибывают на фасадах зданий плакаты и лозунги, развешивают гирлянды цветных лампочек. А мать, наверное, уже поставила тесто на пироги, и Витька тайком макает палец в банку с вареньем, купленным для начинки. «Вот обрадуются, когда зайду! Они ведь не ждут. Только обязательно купить подарок...»

«Если поезд перед мостом пойдет тише, спрыгну, — подумал Шуруп. — Оттуда до поселка совсем пустяк, и незачем еще полчас тащиться до вокзала».

Меж деревьев осколком зеркала мелькнула река, опять скрылась, потом выбралась из зарослей на луг, и по кустам лозы было

видно, как она, петляя, пошла на сближение с поездом. Скоро должен быть мост. Шуруп побежал одеваться.

Еще из коридора он увидел свои подснежники. Кто-то вынул их из стакана и бросил на стол. Шуруп заглянул в купе, где сидели старухи. Кроме них там уже были Григорий и рыжебородый. На столе стояла недопитая бутылка водки в окружении моченых яблок и лежал кусок колбасы. Увидев Шурупа, ряболицая хотела было убрать водку, но безрукий перехватил бутылку.

— Чего там! Парень свой!

Сощутив медвежьи глазки, уютно устроившиеся в глубине мясистых век, он с усмешкой глядел на Шурупа.

— Мы тут стаканчик без тебя брали... Так ты не обессудь. Может, выпьешь за компанию, а? Ради праздничка?

— Чего на рожон лезешь! — пробасила ряболицая.

Шуруп снял с крюка бушлат, собрал со столика подснежники и побежал к выходу. Поезд притормаживал. Шуруп сошел на нижний порожек, выставил вперед ногу и, улучив момент, прыгнул. Поезд загрохотал по мосту.

Шуруп сбежал вниз по крутому откосу насыпи. У самых его ног тихо струилась вечеряющая река. Вымытые весенним половодьем, желтели пески, еще не истоптанные купальщиками. Здесь было все нетронуто-чисто: и песчаная отмель, и вода, и молодые стрелы осок у берега.

И Шурупу неодолимо захотелось в эту хрустальную чистую воду, захотелось смыть с себя ощущение чего-то липкого, что пристало к его рукам, телу, мыслям за этот долгий день в душном вагоне.

Он бросил в шапку букетик подснежников, торопливо разделся и побежал по отмели, высоко подбивая коленями студеную апрельскую воду. На глубоком он оттолкнулся ото дна, выпрыгнул по самый пояс и, выбросив вперед руки, нырнул в зеленоватый холод. Окунувшись несколько раз и поплавав, Шуруп с удовольствием оделся, ощущая на обожженном студеной водой теле уютную ладность спецовки, и пошел к мосту. Но, как бы вспомнив о чем-то, вернулся к реке и хорошенько выполоскал подснежники.

До первой автобусной остановки было недалеко, и Шуруп рассчитывал еще заехать в магазин.

«Конфет тоже надо, — размышлял он. — Лучше всего “Первомайских”: на коробке разноцветные шары и голуби. В самый раз, к случаю. И еще подснежники. Первые весенние цветы. Совсем неплохо: цветы и конфеты».

Он бодро шагал лугом, размышляя о подарке. Ему было приятно дарить матери разные хорошие вещи. Это было для него целое открытие. Раньше он этого не знал, потому что не был еще рабочим человеком. Он перебирал в уме множество разных вещей, которые хотелось бы принести матери.

В мире много всего хорошего, и все это хочется отдать сразу. Он еще не знал, что подарит матери одни только подснежники, потому что в его бушлате уже не было ни копейки.

Не знал Шуруп и того, что в этом большом, чудесном мире еще не все так хорошо.

1962

ПОДПАСОК

Жаркий августовский полдень.

Выжженный, порыжелый на буграх выгон залит недвижимым, дремотным зноем. Дрожит, зыбится горячий воздух, и спуют в нем медным, зудящим гулом остервенелые оводы.

Подпасок Митька в глубоко надвинутом картузе, так что донышко выперло острой макушкой, сидит на бутре, на солнцепеке. На плечах внапашку старая ватная стеганка, под ней спрятана от солнца сумка с едой. По бугру длинной серой змеей распластался кнут, тяжелый, грубо свитый из прорезиненных обрезков. Кнут не его — деда Сереги. Дед уже неделю как хворает, говорит, «перепекся али воды попил как неловко», и Митька попросил у него кнут в знак своего теперешнего старшинства и единовластия.

— Бери, бери, — прошамкал дед, мелко дрожа каждым волоском сивой клокастой бороды. — Вон он, под сараем на перемете висит... И бабушку мою бери... себе в подпаски... чтоб трудодни зазря не пропадали... А я тем делом, может, от хворобы опростаюсь.

Недвижно висит жидкое, оплавленное солнце в белесом небе, лениво течет скупое на бег пастушье время. Еще только полдень, а уж намаялся со скотиной Митька, ног под собой не чувствует. В нынешнем году никак не держат бестравные луга стада. Из всех мест эти болотца самые спокойные. Вода да зелень осок надолго приманивают скотину. Он и так ведет стадо осмотрительно, расчетливо, больше низами — по торфяникам да по лознякам: все укормистее, чем по суходолу.

«Оно, конечно, — размышляет Митька, — хорошо бы теперь свежей резки подвезти. Да где там! Нынче опять упустили кукурузу. Сорняк забил».

Вот и гоняет Митька скотину, изловчается, как может, день — так, день — этак, день по солнцу, а завтра — против. Больше на этой луговине ничего и не придумаешь. А если по совести, то один леший — что по солнцу, что против: мается от бестравия скотина.

Поглядит из-под картуза Митька, не балуют ли коровы, на бабушку на дальнем бутре по ту сторону стада — стоит бабушка, подперев клюкой подбородок, сухоногая, в белой, низко спущенной косынке, издали похожая на черногузку; переведет взгляд на сосняк, окаймля-

ющий выгон, даже отсюда душный и неприятный своей жаркой сухостью, потом на курган с плоской макушкой, соломисто-желтый от выжженной травы на склонах, — и опять устремляет глаза в землю. Сколько раз за лето глядел-переглядел и на курган, и на лес, так что теперь они вроде пустого места. А окромя и глянуть не на что. Разве на самолет лениво вскинет голову Митька, день за днем об эту пору пролетающий над выгоном. Высоко-высоко над всем этим ма-ревом прохладно проблестит с натуженным гулом серебряный крестик и опять истает в полинялом небе — загадочный и, как звезда, далекий от Митькиных забот и жизни.

А проводив самолет, долго ковыряет ногтем бесчисленные занозы от татарника в своих задубелых ногах или глядит, как, упоенная зноем, стрекочет на кнуте серая кобылка. От этого жаркого стрекота Митьке еще больше хочется пить, но он притерпелся и лишь облизывает корявые, в белых ошметках, заветренные губы. Ждет, пока скотина вволю налазается по осокам.

Через четверть часа коровы, истоптав вдоль и поперек болотце, обглодав корявые, уже не раз обглоданные лозняки, начинают разбредаться, и Митька расслабленно поднимается, нетерпеливо идет впереди стада, волоча за собой длинный, пыльно змеящийся кнут. Вслед за ним с дальнего косогора молчаливо, как тень, снимается бабка.

К обеду Митька наконец выгоняет стадо к реке, на дойку. Доярок еще не видать. Коровы забредают поглубже, пряча брюхо от оводов, долго и пристально тянут теплую на песках воду. Митька, сбросив ватник и зайдя выше коров, тоже лезет в реку прямо в незакатанных штанах, зачерпывает картузом, пьет, а остаток выплескивает себе и в лицо, и за пазуху. Потом выбирает кручку повыше, садится, свесив ноги с обрыва.

Побединцы пригнали к реке свое стадо раньше. Двое старых пастухов уже храпят под ракитой, пастушата на песке режутся в карты. Одного, рыжего, Митька знает — это Карпуха, остальных двух не разобрать. Хохочут, макают друг друга за чубы в песок — в дурачки играют.

Митька с завистью глядит на реку. Весело там! И все в этой «Победе» получше ихнего. Что скот взять: кинул Митька наметанным глазом — побединское стадо раза в три больше, скотина справная. И заводу хорошего — почти сплошь черно-рябая. Вдалеке за лугом, под самыми дворами, два бруска белеют — новые коровники. А за деревней, среди желтого жнивья, еще три красных бруска — то уже побединские свинарники. Из кирпича набузовали, один в один. И деревня у них справная. Промеж зелени белеет черепица на крышах, а то и цинком есть покрытые. Вон блестит под солнцем, точно зеркалом выстлано. Это клуб. Радио слышно. Если бы не трактор, всю до слова песню разобрать можно.

Поискал Митька трактор, нашел: кукурузный силос возле фермы буртуют. Упрямым черным жуком ползет на крутую сизо-зеленую кукурузную гору, надрывно ревет мотором, а одолев, стихает довольно и сваливается за другой склон. И опять радио слышно, поет что-то веселое... Живут люди! Прямо на лугу «елочку» поставили. Митька, правда, сам не видел, только слышал, как она жужжит утром да вечером, но дед Серега ходил, смотрел: занятная, говорит, штука, коровы так и отскакивают. И дояркам, понятное дело, облегчение. Их, кроме того, еще и на машинах возят — как солдаты, в кузове.

Скосил Митька глаза на свою Покатиловку — скука смертная, а не деревня. Как есть вся под соломой. Коровник и тот камышом крытый. Только в одном месте, у ставка, кучерявятся ракитки, а так все голо, перед хатами рыжая ботва картошки да черные кучки торфа понизу. Да еще черное тырло на отшибе, а посреди черного два пестрых пятна — две заболевшие коровы.

Даже луг у поединцев кажется Митьке лучше, зеленее. Может, оттого, что ракиты по берегу тень бросают. Только дед Серега говорил, что они его весной чем-то посыпали. Может, и от этого.

Тем временем пастушата побросали карты, сели обедать. Из костерка выгребли печеные яйца, вытрясли из сумок помидоры, лепешки. Поевши, Карпуха выкопал из сырого песка под ракитой два огромных арбуза, ополоснул их в реке и, весь перегнувшись, потащил их в подоле рубахи товарищам. Разрезал арбуз на животе, поддел крышку — даже отсюда видно, что спелый.

«Ишь, жируют, черти мордастые, — незлобно подумал Митька, — на бахче натибрили». И сам тоже полез в сумку. Достал кусок мелко нарезанного старого сала, ломоть хлеба, два огурца, стал жевать безо всякой охоты.

На той стороне показывается грузовик, с верхом заваленный свежей кукурузной резкой. Выруливает к берегу, медленно петляет между ракитами. Две бабы, поочередно поддевая вилами, сбрасывают резку на землю. Стадо поднялось с песков, бредет следом. Поваяло мучняным, теплым кукурузным духом.

Митькины коровы тоже обеспокоились, подскочили. Тянут морды, нюхают воздух. И не успел Митька сообразить, как они валом полезли в воду. Митька забежал наперед по мелкому, яростно полоснул перед мордами кнутом, завернул стадо. А с другого края, с самого обрыва, плюхнулась и поплыла на ту сторону черноухая первотелка. Переплыла, отряхнулась на песке и побежала, нетерпеливо мыча, к машине.

— Не могли в другом месте посыпать! — сердито проворчал Митька. И, сложив ладони, крикнул: — Карпуха-а! А Карпуха! Пу-жани корову! Корова переплыла-а!

Карпуха задержал у рта большой ломоть арбуза, прислушался...

— Чего?!

— Корова переплыла!

Карпуха лениво перевалился на другой бок, с шумом выплюнул в воду струю арбузных семечек, крикнул ехидно:

— Спи больше!

— Да не спал я!.. Увидела машину и переплыла...

Карпуха опрокинулся на спину, замотал ногами:

— Ой, умора! Увидела машину... Ну, смехота!

— Пужани, Карпук! — просительно крикнул Митька, глотая насмешку. — Чего тебе стоит?

— Нам ничего не стоит. Нехай побудет у нас. На курорте. Харч подходящий.

Пастушата дружно захохотали.

— Да мы что, не кормим, что ли? — обиделся за коров Митька.

— Оно и видно! Могу отсюдова ребра пересчитать...

— У нас, может, побольше вашего кукурузы, — не очень смело соврал Митька.

Уж слишком обидно ему было слышать ядовитые Карпухины слова.

Карпуха опять запрокинулся на спину, загорланил нараспев:

*У меня есть сапоги,
Берегу их к лету...
А по правде вам сказать —
У меня их нету.*

Пастушата опять угодливо расхохотались, а Митька замолчал и долго с колючей горечью в горле смотрел на равнодушно бегущую воду.

— Эй, «Светлый путь»! Держи за свою корову! — Карпуха швырнул через реку недоеденные пол-арбуза. — Больше она не стоит.

Половинка шлепнулась в реку, напугав какую-то рыбью мелочь.

— Наворовали арбузов, а теперь расшвыриваете? — крикнул Митька, чтобы тоже сказать что-нибудь в отместку.

— А ты что за указчик? Ты в своем колхозе указывай, а на чужой берег носа не суй. Откусим. Мне председатель сам говорил: «Ежели надо — бери, сколько хочешь, не стесняйся». Понял?

Митька никак не мог поверить, чтобы ихний Трошин так-таки за мое почтение разрешил Карпухе шастать по бахче.

— Врешь все! — крикнул он.

— А хоть бы и наворовали! Это все едино! У себя ворует, не у вас, — задористо, с гордецей отбрехнулся Карпуха. — У нас этих арбузов — завались. Нам арбузы нипочем, мы миллионами ворочаем. Понял?

— Понял, — язвительно проговорил Митька, но кричать через реку ничего не стал: что зря с дуrolомом разговаривать?

— А ты рад бы украсть, — не унимался Карпуха, — да у вас нечего.

— А мне и не надо, — сам себе отвечал Митька. — Чем хвастается! Услыхал бы Трошин...

— Ага, заело? — Карпуха заложил два пальца в рот и засвистел. — Замолчал? Все вы там голопупые! В нашем сельпо селедку полопали!

Митька в бессильной обиде за своих односельчан облизал сухие губы, крепко сжав кнутовище.

Насчет селедки — по весне раз было. Ходили в ихнее сельпо. Потому как в покатиловский магазин ничего не завозили — дороги не было. Запомнил, гад! Только не ему, мордастому, говорить это... Тоже работник объявился! За чужими руками да ногами. Побегал бы он с Митькино. Им что! Вон засыпали резку — и часа два хоть в карты дуй, хоть под кустом дрыхни. Да и сам Карпуха не больно-то разгонится. Все норовит вместо себя ребятишек послать. Зануда малый! На той неделе рыбу глушил, мешок судаков выгреб. Все мало ему, куркулю рыжему.

— Ну, ладно тебе трепаться! — крикнул он, сдерживаясь. — Гони корову! Тебе — шалды-балды, а мне — скоро доярки подойдут, доить надо.

— Молоко — это уже дудки! Молоко — наше. Кукурузу жрет? Жрет! Смотри, как уминает! Значит, давай сюда молоко. А как же? По совести!

— Только тронь корову! — хмуро крикнул Митька.

— «Тронь», да? На спор? — Карпуха вызывающе осклабился.

— А вот попробуй...

— Ну, поглядим, поглядим... — И, обернувшись, крикнул пастушонку: — Степка, дуй за ведром!

Митька, закипая холодной, удушливой яростью, бледнея лицом, дрожащими пальцами расстегнул ремень штанов, стащил рубаху и, забыв о картузе, неожиданно нырнул с обрыва. Выплыл он на середке, на мелком, и, подбивая воду коленками, сразу пошел на ту сторону. Пятнадцатиметровый крученный кнут, пуская по воде усы, живой зловещей змеей волочился сзади.

— Ребята, не бойтесь, — рыкнул Карпуха, вскакивая с песка. — Пусть сунется...

Но Митька, бугаем нагнув голову и глядя на побединцев сузившимися глазами из-под обвисшего, мокрого картуза, не убавил шагу. Его гнала, подталкивала нестерпимая, гневом заклокотавшая обида и за себя, и за своих коров, и за «голопупых» покатиловцев, за «слопанную» селедку, за это сытое, самодовольное глумление, — будто и впрямь был виноват Карпуха во всех тех бедах и прорехах голой, соломенной Покатиловки.

У берега Митька приостановился, подождал, пока течение вытянет кнут, чтобы можно было в любую минуту поднять его в воздух.

Страшная эта штука — пастуший кнут! Похлестче дробового ружья. Полоснет вокруг ног, обожжет, свалит на землю...

Карпуха растерянno попятился.

— Ну гад, подступись! — сказал Митька решительно и угрюмо, выходя на берег.

И, не глядя больше на Карпуху, по берегу же, держа кнутовище в вытянутой назад руке, голым ошестиненным бесом пошел к корове.

Притихшие пастушата видели, как Митька обвязал кнутом рога первотелки, подтянул ее к воде и там толкнул в зад обеими руками.

В тени, под раkitой, проснулись старые пастухи — Иван и дед Коля, заспанные, крутят сигарки.

Митька, все еще не остывший от обиды, хотел было пройти мимо, но дед Коля закивал взлохмаченной головой, подзывая:

— Иди, милок, покурим!

Митька, подумав, подошел в чем был, голый, в мокром картузе.

— Опять поцапались, петухи? — сказал дед Коля, протягивая Митьке черной, костлявой рукой кисет, сытно пахнувший махоркой с донником.

Митька помолчал, не стал жаловаться.

— А чтой-то гляжу, деда Сереги твоего не видать?

— Не вышел нынче, — Митька крутил сигарку, просыпая желтую и крупитчатую махорку на мокрые коленки, — слег дед.

— Скажи ж ты! Ай-яй! — горько зажмурился дед Коля. — Не выдержал, стало быть. Сморился... Известное дело! По таким-то лугам, как ноне... Один, выходит, справляешься?

— С бабкой.

— Бяда! Чистая бяда!

Попыхтели сигарками, оглядели друг у друга кнуты. У побединцев ременные, обхлестанные о траву до блеска. Сухие, легкие кнуты, с желтыми латунными колечками.

— Слышь, а вашего Сорокина опять в районной газете пропесочили, — сказал Иван, насмешливо глядя на Митьку единственным глазом. — Не читал? Могу дать почитать. За брехню. Поглядишь — с виду птица: гимнастерка с карманами, ремень офицерский на пузе, сапоги начищенные, — а, выходит, брехун. Потеха!

— Не в ремнях краса, — сказал дед Коля. — Вот наш Трошин... Ни с заду, ни с фасаду... При нем только жилы. Да еще совесть...

— А что, Митька, — опять начал Иван, — все к тому склоняется, что присоединят к нам вашу Покатиловку.

Митька молчал, тоскливо посмотрел за реку, на свои луга.

— Пойдешь к нам в подпаски? — усмехнулся Иван.

— Ну чего липнешь к мальчонку? — перебил его дед Коля. — Нехорошо это... Разве он виноват? Он, может, больше ихнего Сорокина за колхоз думает...

— Ну, я пошел, — сказал Митька. — Доить скоро...

— Иди, иди, — закивал старик. — Как же это дед-то Серега? Ведь мы с ним, почитай, с самого начала колхозов в этих лугах...

Митька вошел в воду. Мелкая рябь бессильно теребила утонувшее одинокое облако. Митька поправил картуз и, поднырнув под облако, скорыми саженками поплыл к своему берегу.

1963

ВАРЬКА

Вот уже битый час Варька, мокрая и встрепанная, в куцем, выгоревшем за лето сарафане, гонялась по озеру за утками. Она упиралась широко расставленными ногами в борта полузатопленной плоскодонки, весло цепко увязало в иле, путалось в пухлых травянистых пластах. От каждого толчка лодка заваливалась набок, и в ее отсеках хлюпала и взбрызгивалась парная, цветлая вода. Комары столбом толклись над головой, и Варька, отмахиваясь, яростно шлепала себя то по остро выпиравшим лопаткам и темным худым плечам, то по мокрым и красным, исцарапанным камышами икрам.

— И шток я в другой раз вместо кого осталась! — кричала она злым, грубым голосом. — И пропади они все пропадом, те утки! Нашли дуру!

Птица нахально лезла в самое непролазное лопушье, набивалась в камыши, рассчитывая пересидеть там Варькино буйство и все-таки остаться ночевать на озере. Варька шуровала веслом в камышах, колотила плашмя по воде, взбивая розовые при закатном солнце брызги. Утки, тоже розовые, мельтешили в ее глазах вместе с ослепительными бликами взбаламученной воды. Устав махать веслом, Варька оглядела озеро, рукой заслоняясь от багрового солнца.

— И когда же вас, самураев, заберут от меня на птицекомбинат, навязались вы на мою головушку..

Сторож Емельян что-то кричал, командовал Варьке, но она в утином гомоне ничего не разбирала и только, оборачиваясь, видела, как Емельян, черный на светлом предвечернем небе, прыгал на своей деревяшке по крутому голому берегу, размахивая кисетом.

— А иди ты... — досадовала на него Варька. — Размахался!

Птичник стоял в лугах, верстах в семи от деревни, на берегу глубокой старицы с донными ключами. Построили его года четыре назад, когда пошла по колхозам мода на водоплавающую птицу. Пред-

седатель Парашечкин, круглый, коренастый мужичок в кепке с пуговкой, верхом на своем белом горбоносом жеребце, как Наполеон перед сражением, самолично выбирал позицию. Он долго петлял по лугам, среди неразберихи стариц, заросших ивняком и всякой дурной болотной всячиной, и под конец остановился на этом одиноком бугре. Будучи человеком осторожным и прижимистым, он не стал сразу разоряться на капитальное строительство, а поначалу распорядился сладить птичник на скорую руку — для пробы. «Так — дак так, а не так — дак и ладно», — приговаривал он, размечая бугор саженкой — откуда и докуда ладить постройку. Плотники сплели из лозы опояску в полметра высотой, сверху сомкнули жердяные стропильца и все это закидали соломой. С тех пор и стоит посреди лугов этот приземистый, безглавый балаган. Мода, однако, прижилась, утка оказалась доходной птицей, теперь можно было бы взамен шалаша поставить что-нибудь поосновательнее, тем более что колхоз при средствах, но Парашечкин что-то не спешил.

— Срамота-то какая! — донимали Парашечкина птичницы, когда тот появлялся на озере. — Против соседей совестно. В миллионерах ведь ходим.

Парашечкин, сощурясь, издали оглядывал птичник, вдруг, побагровев, начинал ругаться:

— Ну-к што, што в миллионерах! С красоты воды не пить. Птичник как птичник. Не капает. Утка тебе што? Утка тебе не курица. Ей хоромы не нужны. А если я сюда двести тыщ кирпича убухаю, посчитайте, во что кило птицы обернется, дуры!

— Да ведь мы-то не утки. Нам и переночевать негде. В деревню каждый раз не набегашься.

— Вон берите тракторную будку, хватит с вас.

По весне на птичник завозили с инкубатора две-три тысячи зеленовато-желтых пискунов, выпускали их на старицу, все лето полоскались они на полной природе, казенные харчи, правда, тоже были подходящие: подкармливали зерновыми отходами, мучной мешанкой, так что к концу августа, к тому моменту, когда надо закрутить дело, от уток на озере некуда было бросить камень. К этой поре все чаще навевался Парашечкин, хватал первую попавшуюся утку, прикидывал ее на руке, разгребал пух и тихо так, заискивающе говорил:

— Вы уж, девки, давайте пошуруйте эту недельку. Чтоб все по высшей категории пошло. А я, так и быть, помимо грамот... — он прищуривал один глаз и совсем так, как только что оглядывал уток, оценивающе посматривал на птичниц, — так и быть, я вам по набору духов преподнесу. По «Кармену». От себя лично.

Наконец объявляли сдачу, несколько дней на птичнике стоял гам, уток распикивали по клетушкам, грузили на машины и отправляли на птицекомбинат.

Остальное время балаган пустовал. Зимой по нему, занесенному сугробами, упиваясь утиным духом, шастали лисы. Весной же он одиноко торчал на бутре, со всех сторон облитый полый водой.

Варьку на птичнике называли приبلудной. Она объявилась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из школы домой, увидела возле правления грузовик, из которого доносился жалобный многоголосый писк, залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы утята.

«Ой, да какие же они!» — загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а когда распустили на каникулы, осталась там на все лето.

Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что они сманивают девку, отбивают ее от двора, и Варька пряталась от матери в камышах. Из-за этого птичницы сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом привыкли и даже не мыслили дела без Варькиной помощи.

Варька разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, когда те, узнав про соседнюю бахчу, улепетывали туда клевать помидоры, бегала с поручениями птичниц в контору, палила из дробовика по коршунам, с Емельяном ставила в лопушистых заводях верши. Сарафанишко висел на ней застиранной и вконец выгоревшей тряпицей, сама же она заветривала и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались до такой степени, что от выпиравших суставов походили на узловатые жерди.

К концу лета утки надоедали ей до крайности. Из нежных беспомощных пискунов они превращались в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей. Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал портиться характер, Варька становилась злой, как осенняя муха, и клялась широким остервенелым крестом, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибегала к озеру, с какой-то болезненной жадностью набрасывалась на недельных утят, прижималась к ним щекой, хватала ртом черные мягкие клювики и визжала, дрожа голосом:

— Ой, девчата, не могу! Какие же они хорошенькие!

И все начиналось сначала. Вот уже третье лето.

После обеда на птичник должны были привезти подкормку. Возил корм обычно Генка на газике. Но вместо него неожиданно прикатил на пароконке с тремя мешками комбикорма Сашка-цыган.

Года три назад в позднюю осеннюю распутицу Сашка прибил-ся к деревне вместе со своей матерью. Варька впервые увидела его

в тот день возле правления. Пока мать обговаривала свою просьбу в кабинете Парашечкина, Сашка, тогда еще щуплый, узкоплечий мальчонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на затоптанном осенней грязью крыльце правления и сторожил узелок с пожитками. На нем была какая-то замызганная, не по росту кацавейка с подвернутыми рукавами, из которых зябко торчали черные сухие пальцы с белесыми ногтями. Больше всего Варьке запомнилась Сашкина обувь — глубокие резиновые старушечьи боты, дырявые и переломленные в носках, отчего казались странно и неприятно пустыми. Варька, пока шла мимо, поминутно оглядывалась, дивясь не столько самому цыганенку, сколько его неприкаянному и равнодушно-покорному виду, и ей хотелось, чтобы Парашечкин принял их в колхоз.

Зимовали они на свиноферме, в общественной хате, служившей красным уголком и обогревалкой. Весной для них запахали кусок выгона на краю деревни, и до той поры, когда появится вольный материал на хату, плотники помогали сладить маленькую времянку в одно оконце. С первым теплым днем соседка-бабка выгребла из своего погреба мешок картошки, набрала в подол узелков и кулечков со всякими семенами и повела Сашкину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улыбаясь своей неумелости, неловко и терпеливо что-то сажала и сеяла, поглядывая на проворные и корявые бабкины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с ведрами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмотреть, как обживаются чужепришельцы. Иные, не скрывая своей стародавней крестьянской непримиримости к бродяжьей жизни, посмеивались, кивая.

— Сеять да пахать — не на карты брехать!

Однако постепенно все это изгладилось. Мария помаленьку обвыкла, привыкли и к ней. Она оказалась неназойливой женщиной, без нарочитой цыганской нахаляжки, на свинарнике работала с молчаливым терпением — одним словом, баба как баба. К тому ж и горе носила в себе самое обычное, бабье: бросил ее муж. Рассказывала, что цыган не смирился перед новым законом, не сдал коня государству, а в необдуманной горячности и глухой тоске по прежней кочевой жизни тайно забил его в лесу, мясо продал, а сам подался искать волпо в Молдавию, а может, и дальше куда, к сербам. Звал и ее с собой. Но одному, может, где и воля, а куда же ей с мальчонкой...

Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки то липли к нему, забавляясь его чужой необычностью, странным говором и привычками, то, вдруг, не поделив какой пустяк, дружно и наглухо чурались, лепили всякие обидные прозвища и по малолетству бездумно попрекали всем цыганским: Сашкиной кучерявостью, глазастостью. «Сыган, сыган, коску смыгал!» — выкрикивал из-за плет-

ня какой-нибудь сопливый бесштаный пацан, просто так, от нечего делать. Свистушки-девчонки, без семи лет невесты, тоже сочиняли про Сашку всякую обидную небывальщину, вроде того, что, мол, у него цыганские ненадежные глаза, многозначительно ахали и, пугая друг дружку Сашкиной неверностью, уговаривали «ни за что на свете» не водить с ним компанию.

Сашка держался хотя и не враждебно, но настороженно и замкнуто, больше вертелся возле взрослых мужиков и все дни пропадал на конюшне. На улице видели его редко, в дневную школу он не ходил, стеснялся своего роста, в вечерке же нужных ему по причине неграмотности начальных классов не нашлось. Ради него одного учреждать изначальное обучение в вечерней школе никто не стал, хотя завуч и уговорил Сашку по вечерам брать уроки у него на дому. Свалив мешки, Сашка закурил сигарету, присел у заднего колеса на корточки.

— Девчата, шестимесячный приехал! — крикнула птичница Нинка Арбузова, и вслед за ней все остальные высыпали из вагончика.

Сашка бывал на птичнике редко, и на него сбегались глядеть, как на диковинку. Сашкину голову покрывала буйная копна нестриженных волос, опутывавших шею сине-смоляными кольцами. Девчата завидовали этому даром доставшемуся нечесаному счастью и между собой называли Сашку шестимесячным.

— Саш, продай бигуди, — притворно серьезным тоном сказала Ленка Пряхина, присев перед цыганенком на корточки.

Птичницы томились знойной скукой августовского дня и обрадовались случаю побалагурить.

— Какие бигуди? — не понял Сашка.

Девчата прыснули. Сашка, смигивая черными ресницами, выжидающе поглядывал то на одну, то на другую.

— Он их на конюшню отнес, — вставила Нинка, подписывавшая на грядке телеги Сашкину накладную. — Кобылам на ночь хвосты накручивает.

Девчата снова дружно захохотали. Сашка отвернулся, пустил длинную струйку дыма на свои босые серопыльные ноги.

— Саш, а правду говорят, что ты девкам зелье подсыпаешь? — не унималась Ленка. — Девки выпьют и сразу дурочками становятся.

— Ты и без зелья дурочка, — огрызнулся Сашка.

Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня, как видела его на крыльце правления с узелком под мышкой, не принимала участия в балагурстве, топталась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата заметили Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой лад и бессовестно набросились на нее.

- Ты чего за спины прячешься?
- Девки, да она краснеть научилась...
- Одни глаза чего стоят!
- Берегись, Варька, он глазливый!

Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд, Варька совсем смешалась, еще больше пыхнула от жаркого и сладкого испуга и гнева и, чувствуя, как глаза наливаются слезами, нагнула голову и убежала за будку.

- Отдай накладную, — нахмурился Сашка.
- погоди! Куда ты спешишь! Побудь с нами.
- Сашечка, сплясал бы, что ли!
- Ага, Саш! Чего тебе стоит! А мы Парашечкина попросим, чтоб он тебе трудовень за это начислил. Как за художественную самодеятельность.

Сашка угрюмо зыркал из-под спутанных завитков, потом подскочил, хотел было выхватить накладную, но Нинка, увернувшись и подняв бумажку над головой, захохотала:

- Сперва спляши...
- Дай, говорю! Я на работе, поняла?
- Поняла... Твоя работа никуда не убежит. Вон как хвосты обвисли.

Сашка затравленно озирался. Не найдя слов, болезненно скривясь, он вдруг выхватил из повозки длинный кнут.

Девчата взвизгнули и рассыпались. Перевалившись через решетчатую дробину и огрев кнутом сонно выстаивавших жару лошадей, Сашка покатыл прочь в сухом грохоте растрепанной телеги.

— Ой! — спохватилась Ленка Пряхина, когда Сашка был уже за озером. — А что же мы про кино не спросили? Сегодня же четверг. В клубе кино должно быть.

...Варька весь остаток дня носила в себе обиду на девчат за давешнее и уже было настроилась вечером сходить в клуб, но к ней неожиданно подошла Ленка, обняла пухлой рукой за плечи и потащила в сторону от балагана.

- Пойдем, чегой-то скажу.
- Чего еще? Небось подежурить?
- Ага, Варь, золотце, побудь за меня!
- Больно нужно! — Варька сердито дернула плечами, но Ленка крепко и непрекословно обхватила ее за талию, прижала к своему мягкому и теплему бедру.
- Варь, ну ладно тебе... Ты чего, в кино собираешься?
- А хоть бы и в кино.
- Ну что тебе кино? Успеешь еще, находишься.
- А тебе больно нужно?

— Сама знаешь... Ну просто аж душа сохнет. Ну, хочешь, я тебя поцелую?

Варька знала, что у Ленки любовь, и давно тайно и пытливо приглядывалась к птичнице. Ленка ходила то улыбчивой и потерянной дурочкой, то рассеянной и молчаливой, но все равно было заметно, что ей хорошо. Это было чем-то вроде странной и счастливой болезни. Варьку и самое от одного этого слова охватывало щемяще-сладким ознобом, и она начинала смотреть куда-то далеко-далеко, за деревню, за край земли. Все это было как-то неопределенно и ничем не похоже на Ленкину любовь, к тому же бесследно проходило, как только она начинала возиться с утками. Но через эти смутные наплывы сладостной грусти Варька понимала, что происходит с Ленкой, и то сочувствовала ей, то вдруг упрямо и вызывающе грубила ей.

— Побудь, а, Варь... — вкрадчиво шептала Ленка. — Дай доходить... Теперь уж недолго осталось...

— Да что ты на меня виснешь! — Варька рванулась, но, не вырвавшись, задвигала острым и жестким локтем. — Нашли дуру! Я и так за вас все лето тут сижу.

— Варь, ты же хорошая, чего же ты орешь дурным голосом?

— Как хочу, так и кричу! Отпусти, говорю!

— Тебе уже пора за собой последить. Вон как давеча на тебя Сашка глядел... Парни — они все примечают: и как ходишь, и как с людьми обращаешься. А ты орешь как скаженная...

— Больно нужен мне твой Сашка! — протестующе выкрикнула Варька, снова закипая обидой на девчат за их досужую проницательность.

Она вдруг рванулась и убежала, стукотя пятками по убитому, высохшему бутру.

— Вот чумовая!

Через час, когда птичницы уже ушли, Варьке стало жалко неприкаянно бродившую возле балагана Ленку, и она, подкравшись, виновато сказала:

— Ладно, иди уж...

Ленка обернулась, вся просияв, сцапала Варьку, сдавила своими цепкими, удушливыми ручищами.

— Опять тискать! — завопила Варька, задыхаясь в сдобной Ленкиной груди. — Чуть что — прямо на ше...ею. Гляди, промахнешь...ся... не на ту повиснешь...

— Ах ты язва сухоребрая! — взвизгнула Ленка.

— Уйди, говорю, а то ушибу!

Варька, вскидывая коленки, начала топать, норовя наступить Ленке на ноги, та неуклюже запрыгала, отдергивая ступни, запнулась о корыто, и они шлепнулись и раскатились, хохоча: Ленка — тоненько, молодым барашком, Варька — раскатисто и басовито.

Ленка стала собираться. Она стащила старенькую блузку и, продев локти в спущенные лямки нижней сорочки, оголилась до пояса, круглотелая и ладная, белея крепкими грудями. Она, ни чуточки не смущаясь Варьки, в сознании собственного превосходства, неспешно оглядела самое себя и, поглаживая нежно-розовые соски, попросила полить умыться. Варька с готовностью подхватила ведро, стала лить на мониста, в то место, где темный загар от выреза воротника четко переходил в чистую белизну спины. Ленка вздрагивала, радостно придыхала от ледяной ключевой воды, поводила литыми, сразу порозовевшими плечами, и Варьке была приятна здоровая и красивая Ленкина нежность, которой она искренне и открыто завидовала.

— Лен, а ты справная! — сказала она и тут же, отвернувшись, трижды поплевала себе под ноги.

— Тоже... выдумаешь! — передыхая, отозвалась Ленка.

— Ей-богу, Лен!

Умывшись, Ленка ушла в тракторную будку, покопалась там в сундуке, стала одеваться в чистое. Варька неотступно ходила следом.

— Варь, застегни.

И Варька, озабоченно волнуясь, неловко и торопливо застегивала настоящий лифчик, туго перерезавший Ленкину спину узкой белой полоской.

Ей было любопытно и сладко наблюдать все эти таинства девичьих сборов: как Ленка неспешным движением плавных, красивых рук расчесывала влажные после умывания волосы, встряхивала и откидывала распушенную голову, как прищлепывала комочком ваты, будто крестясь, — сначала на лоб, потом на подбородок, а затем уже на обе щеки — душистую пудру, как потом, растерев ее приученными движениями, облизала запорошенные губы, вдруг блеснувшие свежо и ярко, и как послюнила палец и провела по бровям, словно расправила два птичьих крыла. От всего этого Ленка сразу несказанно похорошела, и никак нельзя было подумать, что совсем недавно она месила утиные отруби. Варьке было немножко грустно, что все эти превращения происходят не с нею самой и что, если бы в клуб пошла она, Варька, то никому до этого не было бы дела, а просто сидела бы в первых рядах вместе с такими же, как она, девчонками, грызла бы семечки в подол, отпускала тумачи сопливым ребятишкам, которые в темноте суют за воротник раздавленный шиповник, а потом, после кино, отирались бы с подружками возле уличной гармошки, держась от нее в стороне, с независимым видом, громко и без дела смеясь и подтрунивая над старшими. И все же Варька радовалась за Ленку, радовалась ее праздничной нарядности и тому, что ожидает ее сегодня в деревне. Ей хотелось, чтобы все у Ленки было хорошо и счастливо.

— А целоваться будешь? — жарким шепотом спросила Варька. Ленка, сощурясь, посмотрела строго и осуждающе, но, не выдержав Варькиной искренней простоты и влюбленности, самодовольно хохотнула:

— Ну и дура же ты!

— Нет, Лен, правда?

— Отстань!

Ленка ушла.

Прислоняясь щекой к дверной притолоке тракторной будки, Варька долго глядела, как она шла торопким, кокетливым мелкошагьем, помахивая в руке белыми босоножками, то пропадая в ложбинах, то снова появляясь на открытом.

...Емельян и Варька наконец собрали уток в плетеный загончик вокруг балагана. Продираясь сквозь густо облепившие ее базарно горланящие утиные шеи, поддавая под них ногой, чтобы расчистить корыто, Варька вываливала из ведер теплое мучное месиво и бежала опять к кормозапарнику. С полчаса у корыт творились галдеж и толчея, жадное чавканье и прихлебывание, потом гомон постепенно стихал, враз отяжелевшие утки, волоча зобы, разбредались от корыт, начиналась чистка перьев, прихорашивание, и наконец все успокаивалось. Спрятав головы под мышки или зарыв носы в грудастые, распушенные зобы, улегшиеся утки недвижно белели в загоне плотной булыжной мостовой.

Тем временем Варька, перевалившись через край, задрав голые, искусанные комарами ноги, выскребала и споласкивала котел, потом таскала воду, чтобы утром, к моменту, когда проснется вся эта орава и поднимет голодный крик, снова заполнить корыта свежей мешанкой.

После молчаливого ужина за тесовым столиком возле тракторной будки Емельян, неспешно выкурив самокрутку, полез, побряхтывая, в свою каморку, прилаженную сбоку к балагану, такую же безоконную, соломенную, с узким лазом, выстланную сухой осокой.

Оставшись одна и не зная, что больше делать, Варька длинной тенью бродила по притихшему птичнику. После ухода разнаряженной и откровенно счастливой Ленки, взбудоражившей Варьку своими сборами, ею все больше овладевало чувство своей никому ненужности и неотвязно росла смутная, беспокойная потребность что-то делать с собой. Солнце уже зашло, малиновым шаром, будто медный пятак в дорожную пыль, зарылось в сизую мглу на горизонте. На луга пала грустная сумеречная синева. На ближних и дальних старицах лениво и равнодушно, со старческой хрипотцой квакали матерые лягушки, нагоняя тоску и скуку.

Походив вокруг балагана в одуряющем томлении и так и не найдя себе дела, Варька вернулась в тракторный загончик. В буд-

ке еще плавало хмельное облако духов, оставшееся от Ленки. Она произвольно и жадно потянула носом этот манящий в какие-то светлые, обманчивые царства запах, от которого все вокруг — и этот соломенный балаган, и вытоптанный выгон, и разбросанные по нему корыта — начинало казаться ненужным, угнетающим своей трезвой равнодушной обыденностью.

Варька прокралась к Ленкиному сундуку, нетерпеливо и воровато покопалась в его темном нутре и выгребла себе в подол зеркальце, причудливо ограненный флакон духов и коробочку с пудрой. С гулко колотящимся сердцем она расставила все это на откидном столике у маленького, еще светлого оконца, перед которым недавно сидела Ленка. Пристроив зеркальце, она разглядывала себя, поворачивая лицо и кося глаза, потом открыла пудру, мазнула ватой по облупленному редисочному носу.

Нос мучнисто-бело проступил на темном остроскулом лице, и тогда Варька, будто испугавшись, стала торопливо заляпывать все остальное. Из квадрата зеркала на нее смотрело безбровое большеротое существо. У существа было странно бледное, мертвое лицо и почти черные оттопыренные уши. Оно поворачивало голову на длинной, тонкой и тоже почти черной шее и косило круглые, болотно-зеленые глаза с отчужденно и испуганно расширенными зрачками, после чего ненавидяще, со злобной растяжкой сказало:

— У, зан-н-нуда!

Она выскочила из будки, сбегала к озеру, сдернула через голову сарафан и вышагнула из трусов. Берег был илист, истоптан крестиками утиных лап. Варька голышом, горбясь побежала вдоль берега к круче и с ходу, высоко вскинув пятки, бухнулась вниз головой. Над ней взбурлил пенный бурун, затухая, он расплылся по озеру тяжелыми ленивыми кругами, разнося на изгибах прибрежную черноту воды. Она долго и сильно гребла в придонной глубине, пугаясь невидимых трав, трогавших ее живот мягкими, вкрадчивыми лапами, и вынырнула далеко от берега, задохнувшись, оглохшая от шума воды в ушах. Коротким нырком Варька смыла с глаз прилипшие волосы, шумно отфыркалась, потерла по лицу ладонями и поплыла ребячьими размашистыми саженками. Вода охладила и успокоила Варьку. Уморившись, она опрокинулась на спину, вытянулась плашмя и замерла. Над поверхностью виднелись только нос и подбородок да еще два буторка грудей, то проступавших, то погружавшихся в ритме Варькиного дыхания.

Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только сама вода была еще светла. Лежа на спине на середине озера, Варька не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она видела только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно вы-

соким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине, на неподвижно замерших кучеряшках облаков еще розовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинавшуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством, и нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира, вода и небо, охваченные вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино, и ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками. Она наслаждалась простором, легкостью, почти неосязаемостью своего тела, и все ее недавние томления и горести казались нелепыми и смешными. Здесь не было ни балагана, ни Ленки, ни деревни, — все это ушло из ее сознания и стало почти нереальным, а была только одна она, Варька, в своем гордом и высоком одиночестве. И она завопила как можно громче, для одной только себя, не стесняясь своей безголосости:

*Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины.*

И так же нараспев, затянжно выкрикнула:

— Я-я-я-я! Эге-ей!

Своего голоса Варька не услышала, потому что уши находились под водой. Она смутилась, взбила ногами шумный фонтан и поплыла к берегу. На ходу она обрывала белые лилии, уже закрывшиеся на ночь. Лилии волочились за ней на длинных гибких стеблях, концы которых Варька придерживала зубами. Она любила делать из них мониста, надламывая стебелек то в одну, то в другую сторону. Получалось что-то вроде цепочки с тяжелым цветком на конце.

Одевшись и сполоснув в лодке ноги, Варька расстелила на берегу, на высоком месте, телогрейку, бросила на нее пучок лилий, принесла и разложила рядом полдюжины крепких приплюснутых помидоров, краюху хлеба и соли на лопушке. Помидоры еще хранили в себе тепло знойного дня, Варька, озябшая после купания, радовалась этому живому теплу, некоторое время держала помидоры в ковшиках ладошек и лишь потом, надавливая большими пальцами на черенковую ямочку, разламывала пополам. Положив половинку в рот, она запрокидывала голову, досылала щепотку соли и, пожевав, прикусывала краюшкой. Она ела не спеша, радуясь вкусу хлеба, с удовольствием хрустя крупинками соли, ела, поглядывая, как в лугах зарождались туманы. Сизое курево проступало

откуда-то из низин, слоилось тонкими лоскутами, обозначая все неровности земли, старицы и ложбины. Постепенно туманы перемешались с загустевшей сумеречной синевой, упрятались горбатые спины стогов, темные островки лозняка, далекие деревеньки на суходолах, а затем и сами суходолы, скрылись все следы человеческого бытия. Размылся и пропал из виду горизонт, раскованная перед сном, отпущенная на волю земля беспредельно разбежалась во все стороны, таинственно уходила краями в глубину ночи и простиралась перед Варькой в величаво-спокойной тишине и безлюдье.

Варька доела помидоры, легла на живот, подперла голову кулаками. Она лежала просто так, умиротворенно глядя и прислушиваясь к лугам. Именно в эти минуты прихода ночи Варька испытывала наибольшую близость и свое слияние с простой и ничем не приметной круговиной земли, простершейся вокруг нее. Она чувствовала себя тоже раскованной и отпущенной на волю, в такую пору луга всегда манили ее куда-то. Они манили ее своей новой незнакомостью, когда даже стог, много раз виденный днем, вдруг неузнанно выплывал из темноты и воспринимался с удивлением и легким испугом, манили своей таинственной оборванностью тропинок, которые, казалось, были протоптаны не просто к балагану или к бахчевым шалашам, а вели к неразгаданному и где-то совсем близко заплутавшему счастью, заставляя чутко прислушиваться при каждом шаге и держать настороже свое тихо и радостно бодрствующее сердце, учащенное острым ощущением бытия.

Между тем вошла поздняя, натужно-красная луна. Пробившись сквозь сдвинутые к горизонту плоские и вытянутые облака, она очистилась от багровости, пролилась рассеянным, не оставляющим теней голубоватым светом. В загустевшей было темноте наступил перелом. Варька знала, что теперь уже до самого утра в лугах будет брезжить эта призрачная голубизна. За озером на просяном поле глухо заворочался трактор — начали перепаживать под зиму. Поле это не имело правильной формы, оно причудливо изгибалось меж обступивших низин, и трактор, светя себе единственной фарой, будто зеркальцем, мерцал издалика на поворотах. «Сбежать посмотреть!» — обрадовалась Варька возможности пойти куда-нибудь.

Но пока она обходила озеро и шла лугом, трактор успел обогнуть поле и теперь удалялся по другому его краю. Свежая пахота опоясала белесое при луне просяное поле. Варька пожалела, что не перехватила трактор и не посмотрела, кого прислали распахивать просо, и некоторое время шла следом, по борозде, босыми ногами ощущая влажный холодок перевернутого пласта. Но, вдруг заметив слева от поля огонек, которого раньше не видела, остановилась. Огонек то исчезал, то опять вспыхивал, и Варька сначала подумала-

ла, что кто-то идет лугом и курит, и лишь когда он вскинулся ярким высоким пламенем, она поняла, что разжигали костер. Еще сама не зная, что собирается там делать, Варька выбралась из борозды и свернула влево. Она шла, не обходя глубоких низин, держась на свет костра. Старицы запутанными петлями избороздили луг, вода в них держалась недолго, только после половодья, а остальное время стояли сухими, иные лишь с вязкой мокрецей, вокруг которой безудержно бушевали травы и лозняки. Только немногие питали себя подземными ключами. Но Варька еще издали определяла их по лягушачьему кваканью. Низины до краев были заполнены серебристым при лунном свете туманом. Варька входила в него, как в воду, сначала по пояс, а потом и вовсе с головой. Твердь земли внезапно убегала, почти проваливалась под ногами, тело охватывал овражный холодок, и Варька с приостановившимся дыханием продиралась сквозь брызжущие росой заросли, разрывая сомкнувшиеся стебли коленками и спеша поскорее выбраться на открытое. А выбравшись, оглядывалась и с поздним веселым страхом удивлялась самой себе, как это она прошла через этот распадок, такой жуткий и затаенно-невидимый под седой гладью тумана. Уже неподалеку от костра в одной из таких низин Варька повстречала лошадей. Они паслись на дне, под туманом. Были слышны только сочное хрумканье и тяжелый переступ спутанных ног. Из серой пелены то проступал темный круп, то показывалась поднятая голова, будто кони всплывали из озерных глубин, и тогда они казались Варьке фантастическими чудищами, что бродили по земле в далекие времена.

У костра Варька никого не встретила. В мерцающей круговине света стоял только белый Парашечкин конь, задумчиво и недвижно глядевший на желтые языки пламени. Казалось, что это он распалил костер, чтобы просушиться от низинной сырости и обдумать какие-то свои лошадиные думы.

Варька поглядела по сторонам, застысь от света ладошкой. Удивленно хмыкнув безлюдью, она приподняла сарафан, поставила под горячий дым мокрые озябшие коленки. Мерин за ее спиной переступил несколько шагов, потянулся шеей, стал обнюхивать и тыкаться мягкими губами в Варькины лопатки, обдавая теплым травяным дыханием и щекоча шею усатой мордой.

— Отстань, дурак, — незлобно передернулась Варька и, обернувшись, увидела бредущего к костру человека.

Варька ойкнула, поспешно опустила густо паривший подол. В круг костра вошел Сашка в наброшенной на плечи стеганке, с жестяным чайником в руке. Варька замерла от неожиданности.

Весь сегодняшний вечер она наполнилась какой-то радостно-беспокойной смутой, странным и непонятным ожиданием, отчего было просто невозможно свернуться калачиком в тракторной буд-

ке и проспать эту ночь, и ноги сами бежали и несли ее в туманные, затаившиеся дали лугов. Она не знала, кого встретит у этого одиноко мерцавшего костерика, не думала ни о ком и ни о чем и шла сюда в неосознанном стремлении идти куда-то. И вдруг этот Сашка. Его будто нарочно кто подослал во второй раз за сегодняшний день. Она замерла, охваченная мгновенно налетевшим чувством сладкого и знобкого смятения. Тотчас припомнился внимательно-тягучий Сашкин взгляд, каким он посмотрел на нее давеча возле тракторной будки и который Варькина память помимо ее желания, оказывается, ревниво припрятала в своих самых тайных глубинах — припрятала даже от нее самой, еще не умевшей ничего беречь долго и серьезно.

Сашка сбросил с себя телогрейку и, оставшись в красной майке, сливаясь чернотой обнаженных рук и плеч с чернотой ночи, загущенной светом огня, подсел к костру. Он молча закопал в угли чайник, подложил сушняку, потом, припав на четвереньки, стал раздувать пламя. Он дул в малиновый переливчатый жар, медно блестел лицом от пламени и, отстраняясь, чтобы глотнуть свежего воздуха, обнажал сахарно-белые, клыкастые зубы. Варька глядела на Сашку, так и не поняв, обрадовалась она ему или испугалась.

На нее же он не обращал ни малейшего внимания, будто ее вовсе тут и не было, и это его непонятное молчание еще больше смущало Варьку.

Она хотела было уйти, исчезнуть так же тихо в ночи, как и появилась, но за спиной был длинный, запутанный и нехоженный путь к озеру, через отяжелевшие от студеной сырости луга, а здесь горел огонь, и он притягивал иззябшую Варьку веселым, обжитым теплом. Но еще больше притягивали вдруг открывшееся тайное Сашкино одиночество и сам Сашка, такой непонятный и ни на кого не похожий. Все еще не поборов робости, она тихо присела по другую сторону костра, отгородившись от Сашки ярко заплескавшим пламенем.

— А ты чего тут?

Сашка оторвался от огня и долгим прищуром посмотрел на нее, будто увидел только теперь.

Внутренне холодея, ожидая какого-то страшного гипноза от Сашкиных сливово-черных глаз, чувствуя, что деревенеет лицом, Варька, однако, выдержала взгляд. Сашка отвернулся первым, и она сказала как можно небрежнее:

— Костра, что ли, жалко?

Охватив колени руками и чуть откинувшись, она с независимым видом стала следить за искрами, торопливо, в неверном, трепетном лёте исчезающими в темноте.

— Куда идешь?

— Кино смотрела, — соврала Варька. — На птичник иду.

— Тут дороги нету.

— А я напрямки.

Сашка покосился на мокрый подол сарафана.

— Смелая...

Отвалившись, он вытащил из куста котомку, выложил из нее жестяную самодельную кружку и, покопавшись, выгреб горсть черной ягоды вместе с листьями и мелкими веточками. Все это, не очищая, он натолкал в чайник.

— Чай кипятишь? — дружелюбно спросила Варька.

Сашка хмуро усмехнулся:

— Зелье завариваю.

Было видно, что в нем еще не улеглась обида на птичниц, а может быть, заодно и на нее тоже.

Сашка на ощупь брал из вороха несколько веток и не спеша выкладывал их колодцем по бокам чайника. Огонь то вспыхивал, жадно набрасываясь на одеревенелые былки прошлогоднего бурьяна, то опять затаивался под шевелящимся пеплом. Ночь топталась и ходила вокруг костра, отступая перед огнем на несколько шагов и снова сужая круг, и тогда Варька спиной чувствовала ее влажное прикосновение. Глядя, как Сашка, большеголовый в непроглядной черни спутанных завитков, весь в пляске багровых бликов, с молчаливой сосредоточенностью возился с чайником, взбудораженная всей этой таинственностью глухого, затерянного места, она и сама была готова поверить, что он на самом деле заваривал что-нибудь небывалое и колдовское. Но она только передернула плечами:

— Так уж и зелье...

— Не веришь?

подавляя неприятный холодок сомнения, Варька вызывающе встряхнула головой:

— Дай попробовать.

Сашка молча снял с огня вскипевший чайник, не спеша, с какой-то устрашающей медлительностью нацедил отвару и, подняв смоляную бровь, поставил кружку в траву рядом с Варькой.

— Дурочкой станешь, — предупредил он, насмешливо блестя глазами.

— Так уж и дурочкой! — передернула плечами Варька. — Держи карман!

Кружка жгла руки, Варька завернула ее в холодные листья конского щавеля. Вытянув сторожок губы и кося к носу глаза, она легонько потянула крепко пахнущий кипяток.

— А, испугалась! — Сашка вдруг весело захохотал, довольный, что подурачил Варьку.

— И ни чуточки! — сконфузилась Варька.

— Видел, видел! — смеялся Сашка, прихлопывая по коленкам.

— Подумаешь! Обыкновенная смородина. — То, что кипяток был заварен самой обыкновенной черной смородиной, даже разочаровало Варьку. — Думаешь, не знаю, где рвал? Возле Белых ключей. А я знаю, где ежевика.

— Сам знаю.

— А терн?

— Какой такой терн? — не понял Сашка.

— Синяя ягодка. С косточкой.

— Колючий такой? Знаю. Сколько хочешь.

— А свербига где, знаешь?

Сашка замигал мохнатыми ресницами.

— И не знаешь! — обрадовалась Варька.

Она прихлебывала чай маленькими жаркими глотками, поглядывая на Сашку сквозь душистый парок и торжествуя, что Сашка не знает свербигу.

Сашка достал кусочек пиленого сахара, небрежно бросил в Варькин подол. Потом вытащил желтую, в пятнистых подпалинах лепешку, разломил на коленке и положил на траву возле Варьки.

Ободренная Сашкиным угощением, она принялась за лепешку. Лепешка оказалась свежей, с хрусткой, поджаристой корочкой, и было вкусно запивать ее смородиновым чаем. Ее первая сковывающая робость перед Сашкой прошла, да и сам Сашка больше не смотрел на нее с пугающей настороженностью, и ей стало легко и хорошо.

Примечая в Сашке все цыганское — его буйную черноту волос, дикий, летучий взгляд, гортанную картавость речи, все то, что вызывало у деревенских девчонок непонятную ей самой настороженную неприязнь. — Варька поглядывала на Сашку с добрым участием, дивясь его притягивающей необычности. К нему как-то особенно шли и длинные, затоптанные на отворотах штаны, и жарко-красная майка, и этот огонь, игравший на каштаново-черных плечах влажными блуждающими бликами, и даже сама ночь, которую он коротал неспешно и деловито.

— Саш, а ты откуда? — спросила она, думая о том, где он жил и вырос до того, как объявился в деревне.

— Как откуда? — не понял Сашка.

— Ну, где жил раньше?

— А нигде...

— Как это?

— А так... Ездил.

— Ну а родился-то ты где?

— А не знаю, — сказал Сашка с небрежным безразличием. —

Тебе зачем?

— Так просто... Чудно как-то...

Та его жизнь была для Варьки загадочной и непонятной и казалась зря потраченной.

— И в школу не ходил?

— Какая школа? Говорю — ездил...

— А что делал, когда ездил?

— Что делал, что делал... Когда дождь — из кибитки смотрел. Когда вечер — у костра сидел. Когда на базар ходил — плясал. — И, усмехнувшись, добавил: — На пузе, на голове...

— Как это? — удивилась Варька. — Покажи.

— Что ты как муха... жж-жж... Чаю — дай, как жил — скажи, плясать — покажи... Музыку надо. Я без музыки не могу.

Варька пошарила позади себя рукой, нащупала узкий листок лисохвоста, сорвала и, заложив между двух больших пальцев, поднесла к губам. В ее ладонях родился негромкий бархатистый звук. Белый конь приподнял жесткие изогнутые ресницы и сторожко шевельнул ушами. Набрав побольше воздуха и раздув щеки, Варька заиграла «Яблочко». Она дудела, покачиваясь из стороны в сторону, раскрывая и прикрывая ладошки и весело посмеивалась одними только глазами. Лисохвост пел совсем как дудочка — нежно и чисто.

Сашка некоторое время удивленно смотрел и слушал, губы его непроизвольно раздвигались и раздвигались, пока не прорезалась широкая белозубая улыбка. И вдруг, будто решившись на отчаянный поступок, он подскочил, утробно гикнул и частой дробью прошелся ладошками по коленкам.

— Давай.

В следующее мгновение он уже вострепанным бесом выстукивал пятками, пришлепывая и пришаркивая длинными обтоптан-ными штанинами, бубня себе под нос какие-то слова, то ли просто так балабоня языком.

Варьке было забавно и весело глядеть, как в красных отблесках огня смешно подскакивал Сашка, колотил себя с неистовой яростью то по выпяченному животу, то по надутым щекам. Вдруг он быстро нагнулся, уткнул голову в траву и, упершись в землю руками, задрал ноги. Сделав на голове несколько неуклюжих прыжков, Сашка опрокинулся на живот, и изогнувшись рыбой, завертелся на животе, подминая метелки травы. Наконец он подскочил, часто дыша и улыбаясь открытым ртом.

Варька хохотала, пригнув голову к коленкам.

— Чего смеешься? — спросил Сашка, сам хохоча и пьяно пошатываясь. — Тут плохо... трава мешает... И давно не плясал... разучился малость.

Он отхлебнул из кружки остывшего чая и пошел собирать сушняк.

Откинувшись на траву, Варька слушала, как где-то совсем рядом, за ближайшими кустиками бессмертника, деревянно поскрипывал коростель: кр-икр, кр-икр... Варьке чудилось, что это вовсе не птица, а сторож Емельян скрипит своей деревяшкой, ковыляет в лугах, ищет ее, Варьку, хочет загнать в тракторную будку. Но ей не хочется в будку и совсем не хочется спать. Вот даже ни капельки! И Варька, тихо посмеиваясь, загребла обеими руками и пригнула себе на грудь, на лицо гибкие шелковинки мятлика. Пусть Емельян пройдет мимо. Он не должен ее найти. Она глядела сквозь кружево тонких метелок в небо, вдруг проступившее после костра. Ночь сияла, искрилась щедрым, непрерывно струящимся лунно-голубым свечением, в логу звенели путами кони, и пьяняще пахло аиром, раздавленным конскими копытами. От этого ощущения ночной светлой земли Варька испытывала в себе радостную легкость и тихое ответное ликование.

Пришел Сашка, сбросил вязанку сушняка, стал подкладывать и раздувать огонь.

— Не надо, — тихо попросила Варька. — Давай посидим так.

Сашка послушно присел на вязанку.

Они молчали, прислушиваясь друг к другу.

— Это твои лошади в логу? — спросила наконец Варька.

— Мои. А что?

— Просто так... Мало их осталось.

— Четыре пары. И две на конюшне.

— Что станешь делать, когда и этих сдадут? Тебе жалко, что лошадей не будет?

Сашка захрустел вязанкой.

— Я на трактор уйду, — глухо сказал он.

— На трактор так не возьмут. Надо учиться.

— А сколько надо? — с боязливой надеждой отозвался Сашка.

— Семь классов.

— Семь? Много... А у тебя сколько?

— Девять...

— Девять! — не поверил Сашка.

— Сдам уток — в десятый пойду.

— Зачем тебе столько?

— Не знаю... Буду уток считать, — засмеялась Варька.

— А у меня только два, — не сразу ответил Сашка. — Осенью в третий буду ходить. Три будет. Я в сельмаге книжку купил про трактор. Когда коней пасу — картинки гляжу. А слова не понимаю.

Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огорчился.

— А ты пока сказки читай, стихи, — посоветовала Варька. — Тогда и про тракторы поймешь.

— Я читаю...

Сашка потянулся к котомке, вытащил и подал Варьке маленькую книжечку.

— Вот...

Открыв книжку и повернув ее к лунному свету, Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их как-то сразу, еще до того, как разглядела название. — одним только беглым взглядом на стройные, точеные колонны стихов. Она перебирала страницы, и в ней непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то неуловимая, светлая и высокая музыка. Совсем так, как звучно начинала петь для нее одной та самая скрипка, которую она каждый раз видит на гвоздике в сельмаге.

— Эту читать легко. — Сашка ревниво следил за Варькиными пальцами, перелистывающими страницы. — Про цыган написано. Сандро Пушкин писал.

— Александр Пушкин, — поправила Варька.

— Н-нет! — Сашка упрямо тряхнул кудрями. — Сандро! Как я. Я Сандро, и он Сандро. Цыган тоже. Тут есть его портрет. Я глядел — цыган.

Варька вовсе не собиралась уступать Пушкина, но спорить не захотела. Она была сегодня добрая и не стала разрушать Сашкину наивную и гордую веру. Пусть думает. Она только сказала:

— Это тоже Пушкин написал...

И негромко, бережно отставляя друг от друга слова, сама завораживаясь торжественностью вещей стихов, стала читать «Памятник».

*Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.*

— Пушкин — он для всех, — сказала Варька, дочитав стихотворение до конца.

Сашка молчал, задумавшись.

В двух шагах от нее по-прежнему дремал конь. Он стоял против лунного света и теперь виделся не белым, а будто высеченным из серого камня. Варька глядела на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над ней узловатой, глыбистой громадой. Над его хребтом висела, почти касаясь, луна, и шерсть на крупе голубовато блестела горным слежалым снегом.

— Давай покатаемся, — сказала Варька, радостно замирая.

— Ты что?

— Давай, Саш! Смотри, как хорошо!

Сашка промолчал.

— Ну дай мне лошадь. Я одна поеду.

— Ты что, дурочка?

— Ничего ты не понимаешь!

Она поднялась и вдруг, тихо чему-то засмеявшись, кошачьим прыжком подскочила к лошади, подхватила свисавший повод и вскинулась, переломившись, животом на спину. Испуганный конь шарахнулся и понес прочь в тяжелом галопе.

— Догоня-я-ай! — донесся ее азартно-радостный голос.

Сквозь всплески белой гривы Варька видела, как проносились мимо лунно-серые купы лозняков, тускло и бездонно мерцала вода в низинах и как все бежало и бежало навстречу нестройно рассыпавшееся в мокрых травах черное войско конских щавелей. Перемахнув топкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чабрецом песчаный бугор и придержала повод. И сразу до нее донесся торопливый галоп. Сашка! Она почти наверняка знала, что он пустился в погоню. Ей даже хотелось, чтобы он за нею погнался. Она только не знала, какой скачет за нею Сашка: то ли обозленный ее своеволием, то ли задетый ее насмешливым вызовом... Пронизанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собою живую, доверчивую силу, тепло боков под своими коленками, терпкий и горячий запах бегущего коня и, радуясь охотной резвости понявшего Варькин порыв животного, припала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес ее гребнем суходола между двух темнеющих зарослями стариц. Он нес ее к вольнице покосом в неоглядной россыпи темных стогов.

Оглянувшись, Варька с жутким замиранием заметила позади себя на залитой светом луговине черное пятно всадника. Она поняла всю невыгодность белой масти своего коня и, доскакав до первых выступавших на пути лозняков, обогнула кусты и свернула к старице. Мокрые ветки захлестали ее по ногам. Она подобрала ноги, собралась в комок на самом крупе. Под копытами захлюпала вязкая грязь. Дремавшая на черной воде луна лениво закачалась и, уродливо растягиваясь, разорвалась на маслено-золотые ломти. Крепко ударил из-под копыт запах застоялой болотной прели. Из темных прогалов в лозняках с сухим треском вылетела какая-то птица. Мелькнув белым, она исчезла за выступом противоположного берега. Конь вздрогнул всей кожей, прянул в сторону. «Не бойся, не бойся, родненький!» — приговаривала Варька, сама замирая и не дыша, и похлопала лошадь по вздрагивавшей лопатке. Она направила коня на ту сторону и, почти повиснув на его гриве, выбралась на обрывистый берег.

Едва переведя дух и приглядевшись, Варька снова увидела Сашку. Он разгадал ее уловку и тоже успел где-то перебраться через старицу. Она снова вскачь пустила лошадь, хотела было про-

скочить к стогам, но Сашка, заметив ее белое мельканье, стал забирать левее, тесня ее в открытые луга. И тогда, тоненько, пощечьями скуля, то ли всхлипывая, то ли захлебываясь загнанным смехом, сама не замечая этого смеха, она поскакала напрямую. Встречный ветер взбил сарафан и до трусов оголил ее ноги. Где-то уже давно потерялась гребенка, и волосы били по лицу и набивались в рот. Она скакала теперь к трактору и в прорези конских ушей, как на мушке прицела, старалась удержать плясавший от скачки светлячок тракторной фары. Оглядываясь, она видела из-за плеча черную глыбу всадника, с молчаливым упорством преследовавшего ее.

Сашка нагнал ее у самого просяного поля.

Варька услышала за спиной топот и тяжелый, отрывистый всхрап Сашкиного вороного. Метнув глазами, она увидела у самого локтя вспененный оскал конской головы. Она заколотила пятками, рванула повод, но горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас что-то крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варька вскрикнула и зажмурилась.

— Ну?.. Ну?.. Догнал? — задыхаясь и давясь словами, спрашивал Сашка. Он втащил ее на свою лошадь и, больно, в горячности обхватив свободной рукой шею, придавил голову к груди. — Будешь еще? Будешь?

— Пусти! Сумасшедший!

Сашка прерывисто дышал ей в шею, и она слышала тугие и гулкие удары его сердца под майкой. И вдруг, нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными вихрами, впился в губы торопливым, жадным поцелуем.

— Да ты... что?! — завопила Варька, вцепившись в Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя.

— А зачем убегала? Зачем? — горячим, обжигающим шепотом бессвязно твердил Сашка. — Думала, не догоню, да?

Варька, полыхая стыдом, забилась в его руках и угрем скользнула с лошади.

— Потому что цыган, да? — глухо пробормотал Сашка.

— Потому что... дурак!

Не оглядываясь, Варька рысцой побежала к черневшей впереди пахоте. Она бежала, студенья росой ноги, прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди руками. «Чего ж это он? — взбудораженно думала она, силясь понять случившееся. — Чего ж я-то?..»

Она выбежала к просянному полю и пошла по борозде к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то позади нее он обшаривал развороченную землю длинным косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал в Варьке успокаивающее чувство близости человека. После ледяной росы вспаханное поле казалось теплым, и

она пошла по крайней борозде, отогревая в мягкой рассыпчатой земле окоченевшие ступни.

На одном из поворотов луч трактора внезапно выхватил из темноты лошадей, и Варька тут же увидела Сашку. Он сидел на бочке из-под горючего, брошенной на закраине поля, и держал в поводу обоих коней — белого и черного. Но вот трактор снова чуть повернул, и видение исчезло.

Варька, нагнув голову, торопко шла в ярком пучке света мимо этого места. Она знала, что Сашка ее видит, и ей было не по себе идти вот так, у него на виду. Хмельно путались мысли, почему-то не шли, деревенели ноги, и губы все еще обожженно и стыдливо горели и казались недвижимыми и чужими.

Наконец она выбралась из борозды и, набредя на знакомую тропку, побежала к озеру. Она бежала, чтобы согреться, сначала неходко, вялой трусцой, но потом все прибавляла и прибавляла ходу. Она бежала, не останавливаясь и не передыхая, глубоко и жадно дыша тугим студеным ветром, зажигаясь горячей радостью бега.

Край неба на востоке слегка позеленел, когда Варька, еще издали выглядывая Емельяна, прокралась к балагану. На берегу по-прежнему валялись отсыревшая за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала цветы и прошла к загону.

— Ну, как вы тут без меня, мои родненькие? — ласково заговорила она, перегнувшись через прясло. — Сейчас я вам каши запарю. Просяной. Это вам Сашка привез. Три мешка. Знаете Сашку?

«Сказать Ленке или не сказать?» — уже без испуга, с запоздалым счастливым откликом думала она в то же время о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безумной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо, одной только себе, прошептала:

— Низачтошеньки!

Утки понимающе кланялись, согласно и дружно прядая желтоклювыми головками.

1964

ДЁЖКА

Заплутались мы было в мрачноватом Жерновецком лесу: сунемся по одной дороге — завал, ветролом навалял старых трухлявых осин, свернем на другую — уводит в низкий, сырой распадок, заросший мелкой кабаньей чащобой. В какой уже раз хватались за лопату, крошили сухостой, гатили провальные колеи, залитые черной сметаной, и так угваздались колесными выбросами, что и сами стали походить на лешаков. От долгой и бестолковой возни с машиной мы почти не разговаривали, из колеи несло удушливой сер-

нистой вонью, источаемой, казалось, самой преисподней, а тут еще лес давил на нервы своей равнодушной, глухой, колодезной замкнутостью пространства, в котором резкий, разносимый эхом сорочий вскрик еще больше порождал щемящее чувство непролазного одиночества.

Родившись на открытых холмах, я с детства ощущал себя в лесу лишь гостем, робким и присмирившим, озираясь, невольно ожидал какой-то таившейся внезапности, а шлепки переспелых желудей, падающих с дубов на сухую подстилку, чудились мне вкрадчивыми шагами. Это потом закрепилось на всю жизнь, и я не смог бы поселиться в лесу добровольно, как живут, скажем, костромские молчаливые лесовики, довольствуясь всего только клочком неба над избушкой.

Мне же подавай небеса от края до края, всю их устоявшуюся погоду синь или всю уймищу облаков, которые вдруг объявятся у горизонта и потом, гонимые дохнувшей прохладой, много дней подряд бредут и бредут разрозненно и вольно, будто нескончаемые небесные овны. Или же апокалипсическое боренье туч-великанов, косматых, вострепанных, волочащих по земле изодранные рубища, в порыве титанических страстей подминающих одна другую с утробным и натужным ворчаньем и вдруг потрясающих Вселенную громовым многообвальным хохотом, от которого и на тебя, застигнутое ливнем ничтожно малое существо среди необъятности земли и неба, нисходит возвышающая душу причастность к буйству стихий. И ты счастлив, что испытал и пережил такое. Может, потому и не терплю я плотных заборов, теснящей дачной огороженности, за которой всегда мнится чье-то незримое око, и убежден, что никакая душевная песня не сможет зародиться в лесу, в загороди, а только там, где «степь да степь кругом» и «далеко, далеко степь за Волгу ушла...»

И когда наконец выбрались из лесу и, заглушив издерганный и перегретый мотор, взбежали на ближайшую горюшку и повалились на залитую солнцем упругую траву, мы распростали свои тела с таким блаженством, какое испытал, наверное, толстовский Жилин, вырвавшись на свободу. После сырого сумеречного леса здесь, на высоком полевом угоре, было необыкновенно светло и просторно, над нами бездонно и умиротворенно млело вечеряющее небо, а в придорожных клеверах и кашках разморенно и упоенно стрекотали кузнечики и каждая былка, каждый полынок и богородничек, обласканные теплом и светом, щедро источали свои сокровенные запахи, которые подхватывал и разносил окрест сухой, прогретый ветер.

Мы не знали, где находимся, в какое место выехали, но из всего того, что нас окружало — из простора, горьковатого веяния трав и сияния солнца, — возникло успокаивающее чувство дома и родины, и мы беспечно задремали.

Поначалу показалось, будто это причудилось мне во сне, но когда я открыл глаза и снова увидел живое небо, стало отчетливо слышать детский голосок, звеневший бесхитростно и ломко:

*И без страха отряд поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва...*

Я приподнялся над травами: неподалеку, в сизом от ягод терновнике, бродили коровы, трескали ветками, прочесывая бока о колючий кустарник, а чуть поодаль, верхом на крепком чернявом коньке, в самодельном тряпичном седле, восседал годов десяти пастушонок. На нем была синяя школьная олимпийка и мягкая буденновка с большой красной звездой. Не замечая нашего присутствия, вдохновляемый простором и вольным безлюдьем, он-то и распевал во всю мальчишескую мочь, никого не стесняясь:

*Он упал возле ног вороного коня
И закрыл свои карие очи...
«Ты, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих...»*

Я встал и пошел расспросить про дорогу. Завидев меня, заляпанного грязью, пастушок оборвал песню, диковато набычился. И только вблизи я разглядел, что из-под буденновки торчали девчачьи солоmistые косицы, оплетенные голубыми лентами.

— Не бойся, — сказал я как можно дружелюбней. — Это я в лесу так выпачкался. Машину толкал... А я думал, ты — мальчишка... Тебя как зовут-то?

— Дёжка я.

— Как это?

— Ну, Надежда. А если по-простому, то Дёжка.

— А-а, теперь ясно. Значит, чья-то надежда. Мамкина небось?

— Ага, — просто согласилась пастушонка.

— И папкина?

— А папки нету.

— Ах так... — смутился я.

Молодой конь нетерпеливо переступал передними ногами, повитыми бутристыми жгутами мышц, отмахивая мух, гулко бил по животу задним копытом, с волосяным посвистом сек себя хвостом, нервно подергивал холкой, и темная шелковистая шкура на нем антрацитно лоснилась, играла на солнце живыми слепящими бликами. От коня крепко, хорошо и почти забыто пахло здоровой силой (как давно не был я вот так рядом с лошадьё, какой неожиданный пласт воспоминаний всколыхнула ее близость!), и, счастливо хмелея от этого конского духа, я дружески взял конька, беспрестанно мотавшего мордой, под самодельные веревочные уздцы. Конь не потерпел моей руки и норовисто дернул и вырвал уздечку,

едва не свалив меня с ног. Дёжка, однако, чувствовала себя на его беспокойной, ходившей ходуном бочкоподобной спине вполне уютно и непринужденно, будто прилипшая к телу муха.

— Значит, пастушничаете?

— Ага.

— По очереди?

— А я и вчера пасла, и позавчера... Кажин день.

— Что так?

— Люди за себя просят. Кто заболел, кому просто день нужен. Вечером постучатся: Дёжка, попаси за меня завтра. Да и мамка говорит: уважь, доча. Чего зря дома сидеть? А у меня каникулы. Ну, я и согласна. Не за так, конечно.

— За что же?

— А-а, не знаю... Мамка сама договаривается. Говорит, теплые сапожки к зиме в школу надо и платок. А я лучше б проигрыватель...

— А не боязно тебе здесь?

— Не-к!

— Ну, одна все-таки...

— Я не одна, я — с конем...

— Да, хороший у тебя конек. — Я протянул было ладошку, чтобы потрепать по гривастой шее, но конь так недобро, неприязненно покосился закровенным глазом, что я невольно убрал руку. — Как зовут-то?

— Никак... Просто конь, и всё.

— Ну, как это — просто конь? У каждой лошади должно быть имя. Ведь оно в колхозной инвентарной книге значится.

— А он в колхозе не живет.

— То есть как это — не живет? А где же?

— А нигде...

— Как же так — нигде?

— Так вот... Где ночь застанет, там и ночует. Это мамка его заловила и на двор к нам привела. Хлебца, хлебца ему — он и зашел. Потому как мне пасти надо. Без коня пасти уморно. Не сдюжаешь. Поначалу мамка на него мешок с картошкой клала, чтоб привык. Сперва маленько насыпала, а потом побольше, потяжелей. А там и я залазить научилась. А больше никого не подпускает. Я мамке говорю, давай насовсем себе оставим. Нет, не хочет, говорит, не выдумывай. Вот до школы попасешь, а там и отпустим.

— И как же зимой, где он будет?

— А нигде... В поле...

— Один?

Дёжка неопределенно передернула плечами и посмотрела поверх меня, куда-то далеко.

— Ну а пасти коров не скучно ли?

— Не-к... Мне нравится. Кругом — воля. Далеко видать. Самолеты летают, ленты по небу делают. Облака разные: только что было такое, а отвернулся — оно уже по-другому. А вчера цапли летали. Четыре штуки, высоко-высоко. И всё — кругами... А еще хорошо песни петь. Въедешь на горку, глядишь, глядишь вокруг — красота! Так бы и полетела... Ну, полететь не полетишь, а покричать охота. Песни сами находят.

— И какие же?

— А всякие.

— Ну а все-таки?

— «По Дону гуляет...» — слышали такую?

— «Казак молодой»?

— Вот-вот! — обрадованно закивала Дёжка. — Эту. А еще — «Выхожу один я на дорогу» — знаете?

— А как же!

— «Белеет парус одинокий»?

— Тоже знаю.

— «Пуховый платок»? — теперь уже Дёжка экзаменовала меня.

— Знаю.

— А про калину?

— «Что стоишь, качаясь...»?

— Не-е! — торжествующе засмеялась она. — То про рябину. А про калину так... — И она, придав лицу строгую отрешенность, напомнила голосом:

*Калина красная, калина вызрела,
Я у залеточки характер вызнала.
Характер вызнала, характер вон какой:
Я не уважила, а он пошел с другой...*

— Да, это совсем другая, — рассмеялся я. — И откуда ты все это берешь?

— От бабушки. «Позарастили стежки-дорожки», «Зачем тебя я, милый мой, узнала» — это я от бабушки. Она у нас не ходила, все лежала. И голосу почти не стало. Едва слышно. А все равно пела мне. Возьмет за руку и тихо так напевает... Полежит-полежит, отдохнет и еще споет. Это, говорит, чтоб ты меня помнила... А я, верно, я все ее песни помню, ни одной не забыла...

— Теперь уже не забудешь никогда.

Дёжка внимательно посмотрела на меня, осмысливая мои слова.

— Вот... А «Калину красную» — это я уже без бабушки, по телевизору. А еще Аллу Пугачеву знаю.

— «Все могут короли»?

— Ага! — кивнула Дёжка.

— Нет, бабушкины песни лучше.

— А то еще про маэстро. — И пояснила скороговоркой: «Я в восьмом ряду, в восьмом ряду...»

— Покажи-ка нам все-таки, — перебил я Дёжку, — как на большую дорогу выбраться. Не пойму, куда мы заехали.

— А тут недалеко. Сейчас покажу, — готовно согласилась она. — Вы только за мной поезжайте.

Я крикнул своим, чтобы сошли к машине. Насунув покрепче буденновку, взмахивая оттопыренными локтями в лад гулкому на сухой убитой дороге копытному скоку, Дёжка пустила конька впереди нас.

На маковке холма конь нетерпеливо затанцевал и зафыркал от выхлопов рядом работающего мотора, а она, натягивая поводья и обводя взглядом открывшиеся окрестности, принялась пояснять:

— Во-он, видите, от леса лог пошел?

— Так, так...

— Там наша речка Виногробль начинается.

— Ага, ага...

— Ее нигде не переедете до самой плотины.

— Так, а как же на плотину попасть?

— А вы вон по той кукурузе ступайте. Все прямо и прямо. Там дорога ведет на плотину.

— Ну, спасибо тебе, Дёжка! — помахал я рукой в открытое автомобильное оконце. — Хорошее у тебя имя! Ты и впрямь мамина надежда.

Дёжка, раскачиваясь на вертлявом, никак не желаям стоять коньке, смущенно и счастливо заулыбалась.

— В нашем селе не я одна, — прокричала она. — Многих девочек так называют. И маму мою Надеждой зовут.

— Вот как!

— Это, сказывают, еще от Надежды Васильевны пошло. По ее имю.

— Кто такая? Какая-нибудь колхозная знаменитость?

Дёжка что-то ответила, но нетерпеливый конь заплясал, застучал копытами и вдруг понес ее прочь от машины.

Я еще раз помахал ей рукой.

За кукурузой, по ту сторону холма, вдруг открылось большое, широко раскинувшееся село с целой системой прудов по логам и развилкам, позолоченно блестящих при закатном солнце. И по этим давно мне знакомым прудам я догадался, что перед нами знаменитое Винниково.

— Братцы! — крикнул я. — Это же Винниково!

Да, это отсюда почти век назад вывезли на неуклюжей крестьянской колымаге четырнадцатилетнюю девочку, обладавшую дивным голосом, дабы по бедности определить ее за монастырские

харчи в хорошее пение. Оттуда она вскоре бежала в большой песенный мир, к Собинову и Шаляпину, чтобы стать Надеждой Плевицкой.

И уже на большой асфальтированной дороге, перебирая впечатления минувшего дня, вспомнил, что и знаменитую певицу в босоном винниковском детстве тоже кликали Дёжкой...

Нет, все же есть, есть что-то песнотворное в этих открытых небу и ветру холмах!

1985

МОЯ ДЖОМОЛУНГМА

1

С того дня как меня привезли из больницы с загипсованной ногой и уложили в постель без права вставать до особого распоряжения, я понял, какая это скверная штука — дни и ночи валяться безвылазно. Нога меня не беспокоила, как в первые дни перелома. И вообще перелом оказался, в сущности, не таким ужасным событием, как это представляешь, когда еще ни разу не ломал себе костей. Все, кому случалось навестить меня, беспокоились гораздо больше. У них делались такие болезненно-горькие лица, будто им самим перебили конечности. Их совершенно невозможно было уверить в том, что мне не больно. Закованная в белый тяжелый панцирь, нога была в бесконечном от меня удалении. Теперь мы жили с ней порознь, как два разных существа: она занята своим переломом, где-то под толщей гипса тупо и глухо ноет, я занят своей неподвижностью и мыслями о вынужденной неволе.

Когда мать уходила на работу и оставляла меня на весь день одного, я подолгу глядел в единственное окно нашей комнаты, из которого, если смотреть с койки, были видны клочок весеннего неба и верхушка старого тополя, одиноко возвышавшегося над двором и домом. Ночью же, когда не спалось, смотреть было некуда, и тогда я слушал. Это тоже занимало время. Даже было интересно, потому что за каждым звуком что-то скрывалось.

Когда я был здоров, я не подозревал, что в мире столько разнообразных звуков. Наверно, оттого, что я больше воспринимал окружающее глазами. Теперь глаза не могли проникнуть за стены комнаты, и слух поневоле обострился. Если бы существовал специальный справочник или толкователь всяких шумов и шорохов, то мне первоначально понадобилось бы почти всякий раз заглядывать туда, чтобы найти объяснения всего того, что долетело до моего слуха. Но такого справочника не было, и мне пришлось терпеливо изучать сложный язык шумов, подобно тому как ученые

разгадывают узелковое письмо древних инков. Развязывание таких узелков и было моим главным занятием ночью, да и днем тоже. Теперь я достаточно овладел этой грамотой и могу прочесть многое из жизни нашего дома и его обитателей.

Наш старый деревянный дом всегда полон таинственных звуков. Поминутно что-то потрескивает, поскрипывает, позвякивает. Всю ночь дом кряхтит, как ревматический старик. Какая-то неведомая сила гнет и корежит, пробует на прочность каждое его бревно, каждый гвоздь. Идет непрерывная борьба. Время атакует, дом отбивается. Время хочет, чтобы не было на земле этого дома, чтобы он уступил место новому. Дом уступать не хочет. Он все еще тужится устоять, но постепенно и незаметно сдает, все больше кособочась рамами, потолками, кладовками, лестницами. Может быть, когда-то он и был красивый, но теперь только портит нашу улицу, особенно после того, как ее переименовали в улицу Энтузиастов, а старую булыжную мостовую покрыли асфальтом и вдоль тротуаров разбили цветники. Рядом с этими новшествами дом выглядит отчужденно и каким-то еще больше состарившимся, будто чистота и порядок улицы окончательно подорвали его здоровье.

К болезненным звукам старого дома примешиваются иные. Все, что обитает на его чердаках, в межэтажных перекрытиях и в самих бревнах — одичавшие коты, мыши, всякие жуки-древоточцы, — наполняет его беспрестанной возней, удесятеренной ночной акустикой. Маленький огрызок сахара мыши перекатывают за панелью с таким грохотом, будто бригада грузчиков кантует тяжелые ящики.

Слушая живой шум, окружающий мою комнату, и то, что происходит в нашем доме, и то, что долетает до меня из-за его пределов, я понял, что звуки, как и слова, могут обозначать важное, значительное и, наоборот, мелкое, ничтожное.

По ночам с нашей станции доносятся гудки паровозов. Ночью они слышны удивительно ясно. Иные — короткие, озабоченные: наверно, паровозы сортируют составы, разговаривают между собой, подобно тому как разговаривают люди, занятые делом. Иные же — долгие-долгие, какие-то радостно-призывные, и я думаю, что так трубит паровоз, собираясь в дальнюю дорогу.

Я люблю слушать паровозные гудки. Они волнуют, от них приходят хорошие мысли. Но слушать гудки мне порой мешает жук-часовщик, засевший где-то в бревне. Сухо и однообразно стрекочет он в своей темной трухлявой шахте, и звук этот раздражает, как настриженные волосы за воротом рубахи. Они приходят ко мне одновременно — паровозные гудки и стрекот букашки. Но жук точит бревно громче, и странно, что такое ничтожество забивает паровозные гудки.

Вообще же, как я заметил, все важное, значительное, что будоражит мое воображение, происходит вдалеке от нашего дома, а сам дом погружен в шорохи и шумы скучной обыденности: скребется мышь, звякает помойное ведро на лестнице, шипит примус за перегородкой, — как будто дом сторонится настоящих, больших шумов.

2

Я лежу на своей койке и дожидаясь, когда окно нальется дневным светом. Оно уже сине-черное, и видны только сучья на тополе и черные грачиные гнезда.

Под окном чиркает метла. Метет сам Никифор. Я узнаю его по почерку. Метла у него обтрепанная, жесткая. Взмахи резкие, сердитые. Я не вижу, как метет Никифор, но легко представляю его мысленно. Работает он почему-то на полусогнутых ногах. Сперва занесет левый сапог, грузно утвердит его на асфальте, потом замахнется метлой, чуть помедлив, сильно скребнет по тротуару и лишь после всего этого переставит правый сапог. Цок! — топают левая нога. Вж-жик! — шаркает метла. Цок! — топают правая нога. Вж-жик! — опять шаркает метла. Метет — будто косит. Может быть, за работой Никифор вспоминает свою деревню, сенокос. Я представляю его среди буйных трав, тяжелых от утренней росы... Узкой, изогнутой рыбой выплескивается коса из трав, жарко сверкает под солнцем и опять ныряет в зеленые волны, обдавая сапоги росными брызгами. Я до сих пор не могу понять, почему Никифор ушел из своей деревни. Разве это веселее — скрести метлой асфальт?

Раза два в неделю метла чиркает суетливо, без всякой размеренности. И я уже знаю: Никифор пьян, отсыпается. Вместо него метет его жена, тетка Нюня. Она работает в школе нянечкой, ей бежать к семи, а потому метет-поспешает. В рассветной тишине пустой улицы я хорошо слышу, как тетка Нюня ругает Никифора: «Навязался на мою шею, дьявол щетинный!»

Никифор со мной никогда не разговаривал. Он меня просто не замечал. И вообще на все окружающее смотрит из-под своей лохматой бараньей шапки, сдвинутой на лоб так, что торчат одни только сивые, прокуренные усы. Разве перед праздником попросит повесить на воротах флаг: «Полезь, нацепи эту штуковину».

Вслед за Никифором постепенно просыпаются и все остальные жильцы дома.

Ровно в шесть раздаётся металлическое рычание цепочки стальных часов: бухгалтер Симон Александрович подтягивает гирьку. Проделывает он это каждое утро с неусыпной аккуратностью, будто заводит свой собственный механизм, такой же ветхий, как и его фамильные куранты. Кажется, хоть однажды не потяни он за эту

цепочку, как сам остановится в нерешительности перед наступающим днем, оцепенеют какие-то колесики в его голове, вздрогнут и замрут пружинки его счетного бухгалтерского устройства, нарушится раз и навсегда заведенный почасовой распорядок его существования.

Все остальное утро, от подтягивания цепочки до ухода на службу, Симон Александрович отводит на чаепитие, к которому относится с особенным пристрастием. Не меньше двадцати минут за стеной слышится пощелкивание щипчиков для колки сахара. Я представляю эту церемонию во всех подробностях. Симон Александрович, уже прибранный, в черном жилете и галстуке, причесанный смоченным водой гребешком, оставившим на его редких волосах ровные полосы, разлиновывающие череп справа налево, достает из шкафа большую жестяную банку. Разостлав на скатерти газетку и надев очки, он открывает банку, искусно сделанную под сундучок, на маленьких медных колесиках, после чего, несколько отстранившись и придерживая очки за дужку, внимательно перебирает куски рафинада. Он делает это так, как если бы это была редкая коллекция самоцветов.

Выбрав кусок, Симон Александрович вооружается щипчиками и на ладони раскалывает его на более мелкие кусочки, которые в свою очередь обрабатывает особо, придавая им кубическую форму, всякий раз сметая крошки на середину газеты.

Иногда кусочек сахара ускользает от Симона Александровича на пол, и Симон Александрович, присев на корточки, ищет его под столом и стульями, добродушно, почти приятельски поругивая беглеца: «Ах ты бестия! Куда же ты запропастился?»

Если потом, ночью, я слышу, как мыши громыхают за панелью, это значит, что Симон Александрович так и не нашел утерянный кусочек сахара.

Он не признает ничего другого, кроме рафинада. Случалось, Симон Александрович просил меня оказать ему услугу — купить в магазине сахару. Вручая деньги, он почти слезно умолял не ошибиться: «Пожалуйста, ради бога! Только не этот, в синих пачках! Я не знаю, из чего его делают. Совершенно несладкий. Так, пожалуйста, голубчик». Когда же я приносил ему рафинад, он с видом навсегда потерянного счастья восклицал: «Ах, какой раньше был рафинад! Крепчайший. Колешь — полыхает голубым огнем. Весь в электричестве!..»

Пока Симон Александрович за стеной колет сахар, в коридоре раздаются энергичные, как удары мухобоек, шлепки ночных туфель. Это проснулась коридорная соседка Акулина Львовна — тучная, решительного вида женщина. Когда на стуле перед моей койкой дрожит в стакане остывший чай, я всегда знаю, что сегодня Акулина Львовна дома. Она работает в родильном доме и в свобод-

ное от дежурства время принимает на квартире. Сегодня у Акулины Львовны приемный день. Она называет себя врачом, но тетка Нюня в разговоре с моей матерью сказала, что Акулина Львовна морочит людям головы и что все это может плохо кончиться, а мы все молчим и не заявляем куда следует.

— Откуда же я знала, что к ней ходят! — удивилась мать.

— Ходят, еще как ходят!

Теперь я тоже знаю, что к ней ходят, потому что иногда в мою дверь стучат по ошибке и спрашивают, не здесь ли живет Самохина.

Шлепая туфлями, Акулина Львовна проходит мимо моей двери, спускается по лестнице. Скрипит уличная калитка. После некоторой паузы слышится хлесткий всплеск.

— А еще дама... — укоризненно говорит Никифор.

— Вот еще! Никого же нет! — удивляется Акулина Львовна.

— Так что ж, что никого нет?

— Тоже мне, суется! — Акулина Львовна оскорблена.

— Все равно нехорошо это...

— Это же чистое, без мусора. Просохнет.

Между тем голубеет окно в моей комнате, оживает улица, все чаще и гуще шаги на тротуаре. Люди торопятся на работу. Они всегда идут в одну сторону — к трамвайной остановке. Оттуда они разъезжаются по своим местам работы. Это дружное движение в одну сторону множества людей рождает во мне смутную возбужденность, желание присоединиться и шагать рядом. Я, конечно, не вскакиваю и не хватаюсь за шапку. Я по-прежнему лежу на своей койке неподвижно. Но во мне что-то оживает. Наверно, такое же чувство испытывает раненая птица, когда видит в небе торопливые косяки своих собратьев.

— Ти-па, ти-па, ти-па! — во дворе раздается напевный голос Степанихи.

Она выкрикивает с ленцой и благодушием, как-то особенно сладко растягивая «а», да и сама вся — круглолицая, розовощекая, коренастая и тучная, обтянутая широченной юбкой — так и пышет блинным, самоварным, бубличным благодушием. Сколько помню, она все такая же, не стареющая, замершая на одной точке, — кажется, время не задевает ее, бежит мимо. Вечная бабка Степаниха! Даже валенки на ней все те же, по щиколотку облитые серой автомобильной резиной. Ни мороз, ни слякоть — не сокрушимые базарные валенки. Каждую пятницу и воскресенье отправляется бабка Степаниха на толкучку со всевозможным товаром, какой удастся собрать по домам, и вот так же, как сейчас, скликает кур, напевным, благодушным голосом сзывает покупателей:

— Купи-те, купи-те, ку-пи-те-е!

Возвращаясь с базара и встречая меня во дворе, когда я был поменьше, бабка Степаниха непременно лезла в карман фартука и угощала сахарным петушком на палочке. А однажды, помню, принесла даже леденцовый паровоз.

— Кушай, касатик, кушай, сиротушка, только ты уж с мячиком на огород не надо... Долго ли поизмывать....

Когда меня привезли из больницы в гипсе, бабка заходила навестить, принесла пяток яичек и, поглядев на белый слепок с кончиками посиневших пальцев, заплакала.

— Ну, ты не кручинься. Бог даст, все обойдется. Нет худа без добра. В солдаты не возьмут. По такому-то времени хроменькому спокойнее...

Попив чаю и подхватив под мышку портфель, уходит из дому и Симон Александрович. Он уходит неслышно, будто выпархивает. Даже по скрипучей лестнице спускается совершенно беззвучно.

Завидев спустившегося по лестнице Симона Александровича, Степаниха приветствует его обычным вопросом:

— На работу, Семен Саныч?

— Да, пора! — бодро откликается Симон Александрович. — Служба, ничего не поделаешь!

— И не говори! — вздыхает Степаниха. — Я тоже сейчас пойду.

— Разве сегодня пятница?

— Пятница, батюшка, пятница.

— Ну что ж, час добрый, Степанида Андреевна.

— Да уж кой там добрый! — взмаливается Степаниха. — Что удумали, басурманы! Базар за город перенесли. Благо-то с моими ногами добираться?

— Разве на Сергиевке теперь нет толкучего?

— Закрыли, батюшка, начисто закрыли. Цирк приехал. Балаган на том месте натягивают. А нас всех за город. Двумя трамваями езжу. Туда шесть копеек да обратно шесть.

За калиткой Симон Александрович бочком втискивается в общий поток, и его бежевая, хорошо сохранившаяся шляпа с круглыми, ни в какую сторону не заломленными полями бесшумно лавирует среди рабочих шапок и кепок.

Иногда у калитки Симон Александрович сталкивается с кем-нибудь из жильцов. Его лицо морщится приветливой улыбкой, а бежевая шляпа бережно, на одно мгновение обнажает голову. Похоже, что шляпа действует автоматически, от какого-то реле, невидимо подключенного к улыбке Симона Александровича.

Опять хлопает калитка, еще кто-то выходит из нашего дома. По отрывочному глухому жужжанию я догадываюсь, что это Иван Воскобойников. Так жужжат на асфальте шарикоподшипниковые колеса его тележки. Выбрасывая вперед обе руки с зажатыми в кулаках деревяшками, он толчками подтягивает свое большое без-

ное тело, пристегнутое ремнями к низкой, вровень с землей, коляске. Иван — бывший минер. Он из тех минеров, которые в конце концов ошибаются. Иван подорвался в Будапеште, когда разминировал дома. В одном подвале он нашел тяжело раненного русского солдата. Он хотел вынести его наверх и не знал, что снизу к брючному ремню раненого была привязана проволочка от мины.

Теперь Иван работает в артели инвалидов. Каждое утро он выбирается за калитку и, отталкиваясь от земли руками, едет среди общего потока людей. Лишь в самые ненастные дни, когда идет дождь или улицу заметает снег, жена не выпускает Ивана из дому.

— Послушайте, Иван Васильевич, — сказал однажды Симон Александрович, столкнувшись в калитке с Иваном. — Вы не обижайтесь, голубчик. Но мне, право, больно глядеть на вас. Такая клятая погода, а вы едете. И зачем вам все это! Возьмите на худой конец патент. У вас уважительные обстоятельства. Всё будет по закону. Это же лучше, чем каждый день вот так...

Но Иван не поворотил обратно, а покатил в свою артель, смущая совесть доброго Симона Александровича, который после этого разговора даже чуть поотстал, очевидно считая, что шагать на собственных ногах рядом с инвалидской коляской весьма неприлично.

Когда наступали праздники, Иван, старательно выбритый, пахнувший одеколоном, в чистой рубашке и в новом пиджаке с подшитыми лацканами, выезжал за калитку. На лацкане пиджака поблескивали его боевые ордена. Иван забирался на крылечко, доставал новенькую пачку «Казбека», не спеша распечатывал и закуривал. Дымя папиросой, он поглядывал на прохожих, спешивших в город, прислушивался к праздничному гулу, доносившемуся из центра, ловил музыку духовых оркестров, весело и неожиданно вспыхивающую то здесь, то там.

Постояв так, Иван возвращался домой или сидел под топодем. В такие дни я ни разу не встречал его в центре города, будто он нарочно избегал показываться там, чтобы не обратить на себя внимания. Зато однажды я видел его в праздничном номере «Красной звезды». Он был снят крупно, до пояса, в военной гимнастерке, при всех трех орденах Славы. У него было суровое, озабоченное лицо солдата, в память которого пожизненно врезалась война. Потом я проходил в первомайской колонне с нашей школой и видел дядю Ваню в газетных витринах на всем протяжении улицы. Казалось, что он, подтянутый и сильный, тоже шагал с нами через весь город, а никто из наших ребят, кроме Тони, не знал, что фотограф, сняв Ивана до пояса, сфотографировал его почти в полный рост.

Иван тоже навел меня после возвращения из больницы. Я слышал, как он долго, медленно поднимался по лестнице. Наши

ступеньки круты и очень узки. За все время Иван ни разу не был на втором этаже. Он появился в комнате по-домашнему, без коляски, и остановился у двери, будто вросший в пол. Я видел, как он смотрел на мой гипс — молча, нахмурясь.

Я немного растерялся: Иван — гость необычный. Даже сказать «присаживайся, дядя Ваня» неловко. Он и так сидел, больше некуда. Но Иван сам пододвинул стул к койке и, взявшись за края сиденья, легко поднял себя на руках.

— Знакомая штука, — сказал Иван. — Нагляделся. Но ты не смущайся. Через два месяца опять будешь гонять. Сейчас костоправы хорошие. За войну научились. Если весь гипс, в который люди были замурованы, свалить в кучу — Казбек получится. Дорого эта наука обошлась... Болит?

— Да нет, ничего...

— Мне-то в этой глине лежать не пришлось. А лежал со мной один летчик-таранщик. Так на нем пуда два. И грудь до пояса. Посмотришь со стороны — не человек, каменная мумия. Один нос да кончики пальцев торчали. Думали, не вылезти ему из этой скорлупы. Вылез! Тогда вылезали. Кажется, ну совсем сломали человека, не собрать. А он свинчивался. Время, брат, такое было! Отмобилизованное до последнего нерва. Медицина только ахала. Да и не только медицина... Весь мир ахал.

Иван достал папиросы, закурил, бережно выпуская дым тонкой струйкой к потолку.

— Я ведь тоже когда-то в школе, как и ты, изучал человека, — сказал он, усмехнувшись. — Зубрил всякие позвонки, внутренности. Разбирали всего по косточкам. Малая берцовая, большая берцовая... Всего обшарили на макете. Черта с два! Разве из этого состоит человек! Он, брат, из чего-то другого.

Иван сидел передо мной, как птица, жилистыми пальцами обхватив края стула, и я, размышляя над его словами, вдруг поразился остроте его мыслей: в нем самом не осталось ни большой, ни малой берцовой, а человек в нем остался.

3

Около семи просыпается моя мать. Босиком, едва набросив платье, она встревоженно подбегает ко мне, прикладывает теплую со сна ладонь к моему лбу, потом приподнимает угол одеяла и, как всегда, испуганно смотрит на толстый, холодно-белый слепок моей ноги. Она глядит на него, как на бомбу, которую я притащил в дом и спрятал под одеяло, — бомбу, начиненную несчастьем.

— Ну как ты?

Я ловлю ее руку и стараюсь улыбнуться. Мне неловко за причиняемые ей тревоги, за то, что моя нога так пугает ее окаменелой неподвижностью.

С того дня как это со мной случилось, мать сильно похудела. Она даже брала бюллетень, чтобы все время быть возле меня. Я у нее единственный сын, и вообще, кроме меня, у нее нет никого. Я с трудом уговорил ее выйти на работу. Она работает на резиновом заводе, в цехе детских игрушек. Там делают мячи, всяких матрешек, айболитов, заек, незнаек. Это интереснее того, чем она занималась прежде. Раньше она печатала на пишущей машинке в городской филармонии, и я видел, как смертельно надоело ей это скучное занятие. Она и сама говорила, что на клоунов и копирование чужих мыслей истратила свои лучшие годы. Я не знаю, что она имела в виду, говоря так, но мой отец был эстрадным комиком. Он уехал от нас с проезжей труппой.

Я наблюдаю, как мать собирается на работу. В первые дни она не знала, как ей одеться. Она привыкла ходить в филармонию одетой прилично, даже немного нарядной: ведь туда приезжали знаменитости и она все-таки имела отношение к артистическому миру. Ее даже приглашали на банкеты. Теперь она носит простую юбку и ситцевую кофту без рукавов: все равно приходится надевать халат, и к тому же в цехе жарко — вулканизируют резину. Она не пудрится, не подкрашивает губы, как прежде, — наверное, потому, что напудренной неприятно стоять возле жаркой машины. Раньше она уходила из дому иной, чем я знал ее дома. Она уходила как на какое-то представление. Одно время даже покупала сигареты. Теперь все, что делало ее для меня чужой, само собой отпало. Глядя на ее свежее умытое, строго-озабоченное лицо, на гладко причесанные, собранные в пучок волосы, влажные от воды на висках, на ее округлую шею в отворотах простенькой кофточки, на то, как она хлопочет, готовя мне еду на целый день: варит на электроплитке яйца, наливает в термос чай, намазывает бутерброды, — я чувствую теперь к ней то, что можно выразить только словами: «самый близкий человек». Такой она теперь и уходит из дому, моя мама.

Мы завтракаем вместе на стуле, приставленном к моей койке. Мать дает мне обычные ежедневные наставления:

- Ты обязательно все съешь, что я тебе приготовила.
 - Ладно, мама, не беспокойся.
 - Когда будет очень необходимо, постучи в пол. Я обо всем договоришься с Ивановой женой.
 - Хорошо.
 - Ты ее не стесняйся, она очень добрая женщина.
 - Я знаю.
 - Да, чуть не забыла. Придет к тебе Тонечка?
 - Обещала прийти.
 - Попроси ее согреть бульон. Ты при ней совсем ничего не ешь.
- Я молчу.

— Сегодня у нас профсоюзное собрание, но я, может быть, отпущусь.

— Не надо. Со мной ничего не случится. А тебе, наверно, будет интересно.

— Не знаю, но я еще ни разу не была на рабочем собрании.

— Вот и побудь.

— Возможно, нам скоро дадут комнату в новом поселке, и мы тогда сможем уехать отсюда. Как мне здесь надоело!

Мать уходит, и я мысленно провожаю ее. Мы шагаем с ней по улице в общем утреннем людском потоке, садимся в переполненный рабочими трамвай и едем на окраину, в новый район, где недавно построили ее завод. У ворот она достает свой рабочий пропуск — маленькую синюю книжечку с фотокарточкой какой-то молоденькой девчонки, у которой глаза моей матери, и мы минуем проходную. Я вижу, как мать еще не совсем смело кивает своим новым знакомым, как пробегает глазами какое-то клубное объявление, как потом входит в раздевалку, торопливо сбрасывает плащ, натягивает синий сатиновый халат и идет в цех, на ходу закатывая рукава. Халат уже не новый, уже притертый к рабочему месту, в масляных пятнах на полах, в серебристых блестках талька. И вот я вижу, как моя мать входит в цех, где делают детскую радость. Делают ее всерьез, большими, сложными машинами.

4

На полу рядом с койкой лежит стопка книг и учебников. Я протягиваю руку и на ощупь выбираю нужную. За окном барабанит капель. Весна растревожила сосульки даже на нашей, северной стороне дома. Они теперь просыпаются рано, как всегда, оживает сначала одна, самая нетерпеливая. Я заметил ее: она висит как раз над форточкой. Я не знаю, на чем она пристроилась, на желобе или на деревянном карнизе, — все они родились без меня и исчезнут раньше, чем я встану, но именно эта, что начинала барабанить по железу, прибитому под окном, была самая чувствительная к зарождающемуся дню. Ранним утром она ведет себя очень осторожно. Она будто боится морозца, что притаился в тени дома. Уронит каплю и потом долго молчит, прислушивается. Между двумя каплями я успеваю прочитать целую страницу. Постепенно она смелеет и ускоряет свою капель сначала на строчку в моей книге, а потом на две, на три, пока между ее двумя ударами не вклинится третий. Это подает голос ее соседка. Теперь уже барабанят две сосульки. Одна чаще, другая только пробует. Одна успевает обронить две капли, ее соседка — одну. Две — одна, две — одна... Нехитрая мелодия раннего весеннего утра. Из капель воды и куска железа. Но скоро в оркестр вступают новые сосульки, и вот уже, обгоняя друг друга, звенят торопливые капли не только на железке, они

отбивают такты на дереве, на кирпичах, на задернутой тонким ледяным стеклом лужице под водосточной трубой. Все убыстряется танец весны, все веселее и звонче музыка, и уже не разберешь, где первая скрипка, кто солист.

Моя семнадцатая весна...

Я уже не читаю. Даже не знаю, когда книга распахнутыми страницами легла мне на грудь. Я гляжу в окно, забыв о времени, гляжу и слушаю, как свершается самое удивительное чудо на земле — приход дня, возвращение весны.

Мое окно выходит на север. В него никогда не заглядывает солнце. Тем голубее и чище в раме окна квадратик неба. Тем ярче в нем свечение растворенных солнечных лучей. Я вижу его будто со дна глубокого колодца. Наверно, только из его сумеречной глубины можно почувствовать, как это здорово — ходить под таким небом. Почему люди не радуются этой возможности? Почему порой их больше радуют какие-то пустяки?

За окном я вижу наш старый тополь. Только одну вершину в черной короне грачиных гнезд. Толстые ветви золотисты от солнца. Они как руки великана — узловатые и сильные. Сквозь кору проступают крученые жгуты мускулов.

Дерево поднимает свои руки к солнцу, отогревает большое, сильное тело в его лучах.

Я один в этой комнате. Дом затих в сонном оцепенении. Даже жучки-древоточцы затаились в его бревнах. Только на стене в квартире Симона Александровича вяло, как старое, изношенное сердце, стучат часы. У меня много времени думать о себе, о людях, с которыми я живу, обо всем живом и неживом. Никогда бы раньше не поверил, что эта маленькая картина живого мира в темной раме окна может вызвать столько мыслей и занять столько времени.

Я подолгу разговариваю с тополем. Я не произношу никаких слов, не задаю вопросов, просто лежу на своей койке с распахнутой книгой на груди, с заложенными под голову руками и гляжу в окно. Может быть, я один и гляжу на тополь. Я беседую с ним молча. У меня с ним давний разговор.

Когда я был меньше, я спрашивал его о простом — что он такое? Живой он или мертвый? Что такое корни и листья? В нем всегда я находил непонятное и удивительное. Потом я спрашивал его не о том, что он, а зачем он. Зачем вырос такой огромный? Для чего ему нужна такая высота, такие могучие ветви, такие глубокие корни? Для чего он изо всех сил тянется к небу? Просто жадничает? Просто греется на солнце? Зачем ему надо каждую весну разворачивать огромный шатер листьев, чтобы потом сбросить их под ноги прохожим? Для чего жизнь ему дала такую форму, такую судьбу? Почему она не сделала его слоном, буйволом, человеком? Доволен

ли он тем, что он тополь, а не что другое? Всю жизнь ему стоять на этом месте, над этим домом. Он даже не сможет отойти в сторону, если загорится дом. Не сможет пожаловаться, если в него вобьют гвоздь, не сможет прогнать обидчиков.

Я спросил однажды у Никифора, когда он был в хорошем настроении:

— Дядя Никифор, зачем растет дерево?

— Энта вот? — Никифор долго глядел на тополь из-под своей лохматой шапки. — Энта ни за чем. Пустое дерево. Будь бы яблоня или груша, компоту наварить можно. Опять же, если дуб: на постройку. А энта — сплошная морока. Один сор от него. Весной грачи донимают, всякий хлам сыплется, мести не успеваешь. Осенью — листья. Поразбрасает по всей улице — соседние дворники ругаются. «Твой, говорят, тополь — ты и мети». А по мне — хоть сейчас его на дрова. Пустое дерево.

А для меня оно не было пустым. Я излазил его до последнего сучка, который только мог меня выдержать. Я знаю на ощупь каждый сантиметр его могучего ствола, морщинистого, в глубоких складках, как кожа старого слона, и все его исполинские ветви: бархатисто-гладкие, золотисто-зеленоватые, с черными бородавками отмерших сучков, согретые внутренним теплом, которое ощущаешь, если приложиться щекой. Его ветви сами по себе уже целые деревья. На них можно лежать на спине и ни за что не держаться. Они собраны вместе вокруг одного ствола, как тополевая роща.

Этот тополь — моя Джомолунгма. Я истратил на восхождение на нее многие годы. Когда-то я, привалившись к стволу и раскинув руки, только глядел на нее от подножия. Потом мне удалось забраться на самый нижний сук, который простирался над забором. Я не помнил себя от радости, сидя на суку верхом. С этого сука двор и улица казались совсем не такими, как прежде. Они были внизу. И это удивительно. Но скоро я научился забираться на этот сук так же ловко, как к матери на колени, и, сидя там, уже поглядывал наверх, на новые высоты. Сначала я поднялся над забором, потом над домом, и вот уже рядом со мной кружили птицы. Я теперь думаю: наверное, так вот, с дерева, начинал подниматься над землею человек. Дерево первым подарило ему ощущение высоты. Оно было его первыми крыльями, которые подняли его над миром.

Недавно мы с Тоней спорили, является ли чувство высоты человеческим чувством, или оно свойственно только птице. Мне кажется, что оно больше человеческое, чем птичье... А если точнее, то у птицы его вовсе нет. Птица воспринимает высоту как должное. Для человека же — это осознанная радость достигнутого. Чувство высоты возвышает его над всем мелким и обыденным, порождает мечту и тягу к познанию. Я, конечно, не ручаюсь за логич-

ность моих размышлений, но, мне кажется, человек в небе больше птица, чем сама птица.

Для меня тополь стал Джомолунгмой. Я убегал в эту поднебесную страну, в ее вольные зеленые просторы, где шумел в листьях ветер и тихо нашептывал дождь, где кричали птицы и ползали муравьи. Это уймище листьев и веток было моими джунглями. Толстые сучья — тропами. У каждой тропы — свой характер. Были тропы легкие, проторенные, были трудные, почти непроходимые, были коварные. Для каждой тропы-ветви я придумал название: Грачиная — с густым, тесным поселением грачей, похожим на тропическую деревню, Седло — с удобной развилкой, где можно было отдохнуть, Шея жирафа — голый отвесный сук, где не за что ухватиться, Люлька — причудливое сплетение веток и сучьев, в котором я лежал, как в гамаке.

Я убегал туда с нашего тесного двора, где каждый его клочок разделен между жильцами. Там были личные беседки и личные палисаднички, куриные дворики за проволоочной сеткой и маленькие огородики с луком и картошкой. Общей была только тропинка, которая вела к уборной. У этой тропы, на ничейной земле, и стоял мой тополь.

Во время войны, когда фашисты обстреливали город, в тополь попал снаряд. Он угодил в самую гущу и снес макушку. И до сих пор там зияет страшная рваная рана, трухлявится обнаженная, размочаленная древесина, черными полосами отстает кора. Снаряд обрушил эту ветвь, а соседние осыпал осколками. Особенно их много на одной ветви. Ее я назвал Осколочной.

— Тоже порох нюхал, — сказал однажды о тополе Иван Воскобойников. — Мы с ним вроде побратимов. Ему голову снесло, а мне ноги отшибло. — И задумчиво прибавил: — Вот бы нас с ним скомбинировать. На его корни да меня бы привить. Охота постоять под облаками. А то всякий прыщ на тебя сверху вниз смотрит.

Когда на дереве видел меня Никифор, он ворчал:

— Вот свернешь себе шею...

Когда там заставляла меня мать, она требовала, чтобы я слез немедленно. Она стояла внизу до тех пор, пока я не спускался на землю. И я спускался из сказочной своей страны, где ближе облака и птицы, небо и солнце, откуда далеко и широко видно, где сердце стучит совсем не так, как на нашем дворе, истоптанном курами бабки Степанихи.

Меня понимала только Тоня. При ней я залезал на самые неприступные ветви — Осколочную и Шею жирафа. Она тоже кричала, чтоб я не лез дальше, называла меня сумасшедшим, когда я повисал на одних руках и раскачивался, но я сквозь ее страх понимал, что ей это приятно.

5

Около одиннадцати на лестнице слышатся тихие, неуверенные шаги. Я приподнимаюсь на подушке: я научился на слух различать людей, которые приходят с улицы. В наш дом они входят осторожно, осваиваясь с сумеречным коридором и приспособлявая свои шаги к узким, крутым ступенькам. Так приходят почтальоны с редкими письмами, так навещает теперь меня участковый врач.

В дверь торопливо и негромко стучат косточкой согнутого пальца. У меня радостно вздрагивает сердце: это стучит Тоня. Я откликаюсь. Тоня входит, прикрывает дверь спиной, останавливается у порога. Я вижу, как от частого дыхания поднимаются и опускаются прижатые красными варежками у груди книги. Тоня смущается, когда идет по лестнице и потом пробегает по коридору до моей двери. Она стоит у порога, справляясь со своим смущением, а я гляжу на нее в каком-то радостном оцепенении. Так бывает со мной, когда совсем близко опустится на ветку снегирь. У меня захватывает сердце от этой его близости, оттого, что я вижу на нем каждое перышко, вижу, как часто колышется его малиновая грудка, как в темной глубине глаз отражается искорка солнца. Наконец я спохватываюсь:

— Проходи, что же ты?

Тоня отрывается от двери, проходит быстрыми шагами, почти перебегает комнату.

— Я совсем на секундочку, — говорит она, складывая на стул книги.

Одна из косичек выпадает из-за плеча и качается над ее руками. Тоня нетерпеливо забрасывает ее за спину. От Тониных быстрых движений, от серенького пальто с узким меховым воротничком вокруг шеи, от порозовевшего лица веет талым снегом, весенней уличной свежестью. На шерстинках красной вязаной шапочки, пристроенной на самой макушке, еще блестят бусинки рассыпавшихся капель. Наверно, Тоня только что прошла под моими сосульками. Вся она какая-то свежая и праздничная. Может быть, потому, что сняла свое зимнее пальто, в котором приходила в прошлый раз, и надела это, серенькое. И хотя я знал его еще с седьмого класса и теперь оно стало совсем коротко, даже не прикрывает колен, Тоня в нем другая, какой я ее не видел никогда раньше.

— Сколько книг! Я ведь еще те не прочитал.

— Ничего. Это не библиотечные. Наши ребята передали. А еще я принесла контрольную по алгебре. Мы вчера ее писали. Ты попробуй. А я потом проверю.

— Да ты раздевайся, Тоня!

— Ой, нет! Мне долго нельзя...

— Ты сейчас уйдешь?

Тоня растерянно смотрит на дверь.

— Хорошо... Я побуду немного.

— Пожалуйста, разденься.

— Нет, я посижу так... А знаешь, на улице такая теплынь — уходить не хочется. В голове какой-то хмельной звон — от капли, от ручьев, от воробьев. Будто праздник. Солнца полным-полно! Куда ни посмотришь — всюду солнце. Плянешь в окна — солнце! В лужах — солнце! В машинах — солнце! Не знаю, как мы будем доучиваться в четвертой четверти. Мы и так: чуть что — уже на улице...

Тоня сидит напротив, на краешке стула. Она говорит быстро, словно торопится выговориться. И это тоже новое, необыкновенное в Тоне. Смущение так и не сходит с ее лица. Пальцы теребят завязку на варежке.

Если б я мог знать, что смотрю на Тоню не отрываясь, я бы устыдился. Но я об этом не знал. Я просто забыл, что я тоже есть в этой комнате. Я гляжу на нее так, как смотрят на огонь или звезды. На них можно смотреть неотрывно, забыв о времени. Они завораживают.

— Мне почему-то кажется, что ты не на катке сломал ногу...

Тоня всего на одну секунду заливает меня синим светом своих глаз, которого я не выдерживаю и начинаю глядеть в окно.

— Только честно: упал с дерева?

— Да, — неохотно сознался я.

— Сумасшедший! Мама тоже не знает?

— Вам только скажи...

— И никто не видел, как это случилось?

— Нет.

— Как же ты добирался домой? У вас такая страшная лестница!

— Сначала не больно было. Я даже не знал, что сломал ногу.

— Сумасшедший! — Тоня болезненно поморщилась. — Хорошо, если все обойдется.

— Она у меня совсем уже не болит.

— Ты вешал скворечник?

— Нет.

— Тогда зачем тебе понадобилось лезть на этот тополь зимой?

— Зачем, зачем...

Я отбросил подушку, отвернул матрац и выгреб на одеяло кучу рваного, бесформенного железа.

— Что это? — не понимает Тоня.

— Осколки.

— Столько много?

— Это еще не все. Там осталось больше.

Тоня боязливо протягивает руку. Я понимаю ее неприязнь.

От этих ржавых уродливых кусков и до сих пор веет жутковатым холодком смерти. Они такими останутся навсегда. И через сто,

и через двести лет. Как тевтонский меч, найденный под Псковом. На него глядишь так же неприязненно, сколько бы ни прошло времени. Эти ржавые куски железа ни на что не похожи. Ни на какие другие предметы. Они ничего другого не напоминают, кроме того, что должны напоминать.

— Старые занозы войны, — грустно говорит Тоня.

Я знаю, она сейчас думает о своем отце. Он долго носил в себе осколок. Возле самого сердца. Но потом не выдюжил...

— Бедное дерево, — говорит Тоня. — Как оно еще живо!

— Борется, как умеет.

Я взял из кучи большой, с мою ладонь, осколок.

— Вот этот был затянут толстым, мозолистым наростом. Тополь не мог от них избавиться, и он старался их изолировать. Но некоторые ветки уже начинают сохнуть. Я хотел вырубить до весны все, пока дерево еще не проснулось.

— Можно, я возьму один?

— Конечно.

— Правда, если увидит мама...

— Тогда не стоит. Лишнее напоминание.

— Нет, нет, я возьму. Я спрячу. Никому не буду показывать. Для себя только.

Тоня вырывает из тетрадки чистый листок, заворачивает в него осколок, кладет в карман пальто.

— Это в память об отце. И обо всех погибших, — говорит она. — И на тот случай, если я когда-нибудь распущу нюни.

В коридоре слышатся шлепки туфель Акулины Львовны. У нашей двери они затихают: скверная привычка подслушивать под дверь. Потом раздается вкрадчивый стук и вслед, до половины своего мощного бюста, просовывается сама Акулина Львовна в извечном халате с малиновыми пионами.

Когда я упал с дерева и добрался домой, мама испугалась и побежала за Акулиной Львовной: все-таки свой врач в доме. Она осмотрела распухшую лодыжку, сказала, что, скорее всего, вывих, и, взявшись одной рукой за пятку, а другой за стопу, начала тянуть. Я вскрикнул. «Ну, ну, тоже мне мужчина!» — цыкнула на меня Акулина Львовна. «Может быть, вызвать "скорую помощь"?» — спросила мама. «А вы думаете, "скорая помощь" сделает другое? — обиделась Акулина Львовна. — К утру станет легче». Но утром моя нога еще больше распухла и почернела. Как потом объяснили в больнице, произошло внутреннее кровоизлияние. Акулина Львовна от чрезмерного усердия вправить вывих еще больше увеличила травму.

— А, у тебя гости! — округляет глаза Акулина Львовна. — Извиняюсь. Я думала, что ты разговариваешь с матерью.

Но, сказав это, Акулина Львовна не уходит. Деланно играя подкрашенными глазами, стараясь скрыть неутолимое любопытство,

она быстро осматривает комнату, койку, стул, прикрытый салфеткой, под которой хранятся моя еда, термос с чаем.

— А ведь знаешь, мы с ней почти знакомы, — говорит Акулина Львовна, разглядывая Тоню. — Я ее часто встречаю на лестнице. Милая девочка... Просто милашка...

Низкий голос Акулины Львовны, когда она хочет произвести впечатление, обретает шоколадную обливку.

— Очень, очень приятно... Ну, не буду вам мешать, молодежь!

Акулина Львовна, многозначительно подняв брови и противно глядя на меня, втягивает голову за дверь.

Тоня растерянно приподнимается:

— Я пойду!

— Ну что ты!

— Нет, нет, я пойду.

Я понимаю, что все из-за Акулины Львовны. Что за человек! Всегда сумеет плюнуть в самую душу.

Тоня уходит. Ей к часу в школу. Я снова остаюсь один. Я закладываю руки под голову и смотрю, как над своими за зиму обветшалыми гнездами суетятся грачи. Одни выдергивают старые черные прутья, на которых клочьями висит сгнившая кора, и бесцеремонно сбрасывают вниз. Другие улетают куда-то, приносят новые веточки. Я гляжу на грачей, на глубокое голубое небо за ними и думаю о Тоне. Я теперь всегда думаю о ней, даже когда читаю, когда разговариваю с мамой. Иногда это совершенно неотчетливые мысли, которые нельзя облечь ни в какие слова. Они где-то в глубине сознания, но они всегда во мне, каждую секунду, как биение пульса. Я не знаю, как это назвать, но это похоже на излучение, на радиоволны. Я их все время сознательно и бессознательно посылаю в мировое пространство. Я думаю о многих вещах, о человеческих поступках, мысленно облетаю материки, землю, мчусь к звездным мирам, — мало ли где ни бываешь и о чем ни передумаешь за долгий день одиночества, — и все время, пока во мне бьется мысль, в мир летит, как мои позывные: «Тоня, Тоня, Тоня!»

Наверное, у каждого человека есть свои позывные, каждый выбирает их сообразно с тем, как он представляет себе счастье.

6

Я просыпаюсь оттого, что во дворе пилят дрова. Пила рычит глухо, захлебываясь опилками. Наверно, режут толстое, сырое бревно.

— Не придерживай! — сердится Никифор. — Пила слободу любит.

Мне нравилось смотреть, как Никифор пилит дрова. Пила у него холеная, отшлифованная до глубокой стальной синевы. Зубья, крупные и редкие, разведены широко и отточены остро, а сама пила

изогнута татарской саблей, и от этой лихой изогнутости кажется, что какой-то мастер делал ее с веселой и жутковатой ухмылкой.

Когда Никифору загоралось выпить, он доставал из-под кровати пилу, обернутую мешковиной, и, подбив в напарники кого-нибудь из соседних дворников, уходил на весь день. Возвращались навеселе и потом еще в Никифоровой каморке допивали дневную выручку.

Иногда, обычно в воскресный день, Никифор устраивал генеральную пилку на своем дворе. Первым нанимал его Симон Александрович, потом приспичивало всем остальным.

Отмыкались бесчисленные сарайчики и клетушки, и Никифор в паре с теткой Нюней в каком-то молчаливом азарте расхватывали на полуметровые чурбаки все, что выбрасывали им из сараев.

Сняв ватник и сдвинув на глаза баранью вислошерстную шапку, Никифор водил пилу широкой и ровной розмашью. Под просторной рубахой так же ровно ходило крепкое мужицкое тело, и всякий раз, повторяясь точь-в-точь, промеж лопаток заламывались цыплячьей трехпалой лапкой складки выцветшего сатина. Никифор не выказывал ни малейшего усилия, он только чуть придерживал рукоятку, положив указательный палец на стальную пятку пилы. Казалось, Никифор лишь делает вид, будто пилит, в то время как главную работу выполняет тетка Нюня. Маленькая, щуплая, она юрко топталась по другую сторону козел, хватаясь за пилу то правой рукой, то левой, то обеими сразу.

Пила с всхрапом вспарывала белую бересту берез и в два-три взмаха почти на полполотна погружалась в горбушку. По мере того как она врезалась в полено, звон ее становился все выше, все тоньше, на середине доходил до бабьей жалобности, но потом, под конец снова мужал, обретал нотки самодовольства, и от бревна отваливалась березовая колбаска. Когда же попадалась сосна, пила глохла в ее парной, рыхлой глубине, из широкого распила зубьев выплескивали обильные струи, темными ржаными отрубями падали они поверх белых березовых опилок, рыжели под ними Никифоровы сапоги, а мы, мальчишки, украдкой подставляли руки, и тотчас ладошки наполнялись теплой пушистой размочаленной древесиной, от которой возбуждающе остро пахло живым дремучим лесом.

В такие дни в нашем дворе бывало оживленно. Простая, как хлеб, работа Никифора почему-то взбудораживала всех, будто был случайно обнаружен праздничный день в серой массе календаря, в похожих друг на друга буднях обитателей нашего дома. Жильцы целый день толпились возле Никифора и тетки Нюни. Симон Александрович, надев по этому случаю старенький пиджак и кепку да еще рукавицы, чтобы не занозить руки, и оставив от своего бухгалтерского туалета один галстук, с веселой озабо-

ченностью таскал по три-четыре расколотых полешка в сарай. Вид у Симона Александровича был совершенно счастливый, но при этом он не забывал следить, чтоб Никифор выкраивал из каждой двухметровки ровно семь кусков, а никак не шесть, потому что из семи кусков могло получиться значительно больше дров, чем из шести.

Иногда кто-нибудь, соблазненный веселой ходкостью пилы, выхватывал у тетки Ньюни рукоятку и пускался в единоборство с Никифором. Но Никифор нимало не обращал внимания на горячность нового напарника. Он продолжал двигать своими широкими, округлыми плечами все в том же ровном, неумолимом ритме, от которого очень скоро напарник бледнел лицом и уже не пилил, а бестолково болтался за пилой.

После пяти-шести кругляшей Никифор снисходительно хмыкал:

— Подь, парень, просохни.

Оказывалось, никто из них не мог более десяти минут продержаться на этом нехитром деле. Это редкая вспышка удали в молчаливом Никифоре манила и обжигала своей недоступностью. Жильцы суетились возле него, а вернее — возле его горячей работы, будто мошка вокруг пылающей головешки.

— Однако силен еще, старый!

— Вот где талант зря пропадает, — ехидно замечал Пашка, Степанихин сын.

— Как это пропадает? — Никифор недоверчиво прищурился под рыжими бараньими висюльками.

— В колхозе-то своем трудодни лопатой загребал бы...

— А ты пойдй попробуй...

— Я что! Я тромбонист. Там этого не оценят.

— За тебя и здесь не больно дадут, — огрызался Никифор. — Разве что на похоронах трешку схватишь.

— Не бойся, с тебя не возьму, за так оттромбоню, — хохотал Пашка. — По-соседски. Под Шопена. Хочешь под Шопена? Как выдающегося деятеля.

Никифор зверовато глядел на Пашку, соображая, что значит такое «под Шопена».

— Чего привязался? — вступалась за Никифора тетка Ньюня. — Давеча Степаниха жаловалась — опять кто-то в курятнике яйца покрал. Кому же, кроме тебя? Молчал бы уж... Трамбол!

— А хоть бы и я. Не у чужих... А твой, говорят, колхоз обворовал, а потом в город смылся.

— Не гавкай бобиком! — вскидывалась на Пашку тетка Ньюня, сразу белея глазами. — Пьяница Никишка, верно, самое всю пьянкой измучил. Но чтоб чужое взял... Бреешь!

Еще в давние времена, в первые годы после войны, пришел в город Никифор из какой-то деревни и осел возле тетки Ньюни, тоже

вдовой и одинокой женщины. Осел в ее сырой, окнами на тротуар, комнатухе, как-то само собой объявился дворником. Разное про него говорят, но никто так и не знал толком, что подняло этого здорового, ладного в работе мужика с деревенского подворья, что заставило вести эту безликую, полупьяную и полусонную жизнь, наложившую на него отпечаток угрюмого равнодушия ко всему окружающему. Когда Никифора спрашивали по-хорошему, почему бы ему не вернуться в деревню обратно, он махал рукой на такие разговоры:

— Чего там... Отрезанный ломоть к хлебу не прилепишь.

— Не понимаю, из-за чего ссориться, — качал головой Симон Александрович, выкладывая на полусогнутой руке пирамидку из трех полешек. — Этак о каждом можно несуразного наговорить. У нас одна крыша над головой. Надо ладить.

— То-то и есть, что крыша, — ворчала тетка Нюня. — Эх, подпалить бы с угла! — с недоброй веселостью вдруг восклицала она, оглядываясь на дом.

Дом возвышался во всем великолепии своих живописных задворков. Когда-то это было частное владение Симона Александровича. Добрый Симон Александрович своевременно передал его в коммунальное хозяйство, оставив себе скромную квартиру, и поступил на государственную службу. С первыми жильцами дом стал обрастать пристройками. Каждый что-нибудь прилаживал потихоньку: кухню, чулан, веранду или, если захотелось отдельно от соседа, лестницу. Жильцы сменялись и перестраивались на новый лад. Из кладовой делали кухню. Из веранды — кладовую. Забивали старые окна, прорубали новые. Все эти непрочные прилепки тоже успели обветшать и скособочиться. Летом они еще кое-как скрывались под зеленью дикого винограда и за стебельками повилики, поднимавшейся по бечевкам. Но как только спадали все эти фиговые листки, дом оставался в неприкрытой тесовой серости и своими переходами, дверями, окнами и оконцами напоминал старый, трухлявый пень, изъеденный муравьями.

— Это вы опрометчиво, Анна Алексеевна, — смеялся козелком Симон Александрович, обращая душевный вскрик тетки Нюни насчет «подпалить» в шутку. — Где жить будем?

— «Где, где»... Вон Иван нашел где! И я не барыня.

Все знали, что Иванова жена уже второй год отрабатывает за Ивана положенные часы на кооперативной стройке.

— Теперь уже, любезная Анна Алексеевна, нет расчета вступать в кооператив. Иван Васильевич, между нами говоря, дал маху.

— Это почему же?

— А я вам скажу почему! — Симон Александрович доверительно взял тетку Нюню под локоть. — Дом наш подлежит слому. Так?

А сломавшие обязаны предоставить площадь. Зачем же соваться в кооператив, гнуть спину, если и так дадут?

— Не знаю, как там выходит по вашей бухгалтерии, — вырвала локоть тетка Нюня, — а по моей так: выгадывать некогда. Мне жить-то с гулькин нос осталось. Хоть напоследок отдохнуть от вас, иродов! Вот скоро на пенсию иду. Разве с вами отдохнешь? Ведь вы готовы поесть друг друга. Кто куда пошел, да с кем пошел, да что понес... Тьфу!

— Ну, это вы напрасно, напрасно! Люди как люди. А где они лучше?

Как-то мне попалась наша домовая книга. Я тогда еще не знал, что держу любопытную летопись. Я листал ее ради мальчишеской забавы, выискивал диковинные фамилии. Но кое-что удержалось в моей памяти. Я, например, еще тогда заметил, что в нашем доме перебивало довольно много людей. Жильцы сменялись, как сменяют друг друга живые организмы в бурные геологические периоды. Но некоторые упорно держались, несмотря ни на какие встряски. С незапамятных времен обитает здесь бабка Степаниха. Симон Александрович даже родился в этом доме. Странно, но у нас почему-то уживались рабочие. На нашем этаже, справа по коридору, жил фрезеровщик Матвей Иванович Щур. Я еще захватил этого Щура. Не прожив года, он ушел, и в его квартире поселилась Акулина Львовна. Сами мы въезжали в квартиру, оставленную Шатохиным. Он работал в трампарке аварийным монтером. Теперь вот уедет Иван Воскобойников. Эти события случаются все реже в нашем доме. Потихоньку определяется устойчивый состав его обитателей. Кажется, сама жизнь упорно и беспристрастно подбирала их.

Я теперь часто думаю, что наш дом всю свою коммунальную историю был чем-то вроде карантина на общественную полезность. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Ведь Симон Александрович давно и исправно служит и даже получает почетные грамоты.

Мы с мамой, наверно, тоже переедем. Мама говорила, что ей обещают комнату в техгородке. Поскорей бы! Надоело это окно без солнца. Если бы отец остался с нами, не знаю, сколько еще мы жили бы здесь. Все зависело от него. Отец глотал шпаги и вытаскивал из ушей пестрые ленты. Шпаги были сделаны так же, как трубчатые ножки штатива. Он упирал конец шпаги в стиснутые зубы и надавливал на рукоятку. Я иногда бывал на представлениях в рабочих клубах. Все восхищались и доверчиво хлопали, но я знал, как это делается, и мне было очень не по себе. Отец тоже вырвался из нашего дома. Только он бежал через черный ход. Это нечестный прием. Он ведь и сейчас глотает шпаги где-то в целинном крае.

Вообще-то говоря, исключая подобные внезапные стычки, навешившие меня на все эти размышления, пилка дров в нашем доме всегда была радостным событием, особенно для нас, мальчишек. Ведь во дворе интереснее этого, пожалуй, ничего и не происходило. Разве что когда весной на тополь прилетают грачи.

7

Во дворе сразу два события — пилят дрова и летают грачи. И еще без удержу барабанит капель. Она разбивается о железный подоконник так, что нижние стекла в раме совсем забрызганы. Денек окончательно разгулялся. Грачи с суматошным гамом носятся над тополем. Лишь на один миг присаживаются они на вершине дерева, и тогда видно, как на сложенных крыльях вспыхивают солнечные блики.

Тополь тоже озарен солнцем. Толстые обнаженные ветви светлокоро выделяются на весенней синеве. Ветви заканчиваются сплошной путаницей мельчайших веточек. Из глубины комнаты я любуюсь могучим устремлением дерева в небо. Моя Джомолунгма!

Всю долгую жизнь тополь тянется к солнцу. Он протягивает ветви на восток, чтобы встретить светило в самые первые мгновения, как только оно покажется над краем земли. На юг простерто ветвей больше, чем в любую другую сторону, потому что в полуденные часы солнце очень щедро. Даже на заходе тополь не упускает момента воспользоваться последним теплом и светом. Но и северная сторона тоже во всеоружии. Дерево и туда простерло свои ветви на всякий случай, если солнце вздумает заглянуть с этого края. Каждый год тополь наращивает самые тонкие веточки новыми побегами, чтобы еще приблизиться к светилу. Он не выглядывает из-за заборов и сараев, он поднялся над всем этим, чтобы ничто не мешало видеть источник света и первым встречать его на восходе. Каждый год он старательно располагает свои листья так, чтобы ни один луч, упавший на него, не пролетел мимо в какую-нибудь прореху в его кроне. Он раскинул над собой такой шатер, что даже капля дождя не сможет упасть на землю, не задев листа. А чтобы случайная буря не разрушила вековой работы, год от года он наращивает мощь ветвей и все глубже уходит корнями в землю. Ему еще многие десятилетия держать на себе свое обширное поднебесное царство.

Джомолунгма дремлет в тепле весенних лучей. Но жрецы Джомолунгмы уже готовятся к майскому обряду пробуждения. Этот день сопровождается большим фейерверком. Сейчас жрецы старательно начинают взрывчаткой каждую почку для праздничного салюта. Чтобы ни одна не дала осечки. Все должно быть готово к условленному сигналу. Сигнал к торжеству пробуждения придет

однажды тихой майской ночью, и жрецы подожгут фитили. Это будет большой праздник на вершине Джомолунгмы. Он произойдет высоко, под самыми звездами, так что люди, занятые своими собственными делами, ничего не услышат. Лишь самое чуткое ухо уловит невнятные звуки, похожие на шелест теплого дождя. Так лопаются почки. Они будут распахиваться с легким хлопком до самого восхода солнца. А утром обряд уже будет закончен. Вершина Джомолунгмы окутается тонким зеленым благоуханным дымком ночного фейерверка, а у ее подножия прохожие увидят вороха стреляных почек. С этого дня там, наверху, начинается новое восхождение к солнцу. На самой конечной веточке самая последняя почка выбросит в небо новый побег. Все выше и выше. Жрецы Джомолунгмы знают, как изловить и удержать солнечный луч. В их руках — золотой ключик ко всему живущему. Эти мудрецы безраздельно отдают себя священному служению жизни. И всемогущий Человек в знак уважения почтительно преклоняет свою голову перед неутомимыми созидателями жизни.

— Пущай слободней! — слышится сердитый голос Никифора. — Чего повис на пиле?

Пила вязнет, задыхается.

Я прислушиваюсь к голосам, и мне тоже хочется на улицу. Я, конечно, не в том возрасте, чтобы подставлять ладошку под струю опилок. Но я с удовольствием попилил бы с Никифором, если бы он мне позволил. Или хорошо бы ломом поколоть лед.

— Подсовывай, подсовывай топор! Вишь, пилу прихватило.

— Я и так подсовываю. Разорался! — огрызается Пашка.

— Семен! К сараю оттягивай. Пляди, чтоб не вывернуло.

Вдруг качнулось окно. Или мне это показалось? Нет, я вижу, я хорошо вижу, как оно медленно уходит куда-то влево. Дом неотвратимо заваливается набок. Я невольно хватаюсь за края койки. С вершины тополя черными хлопьями срываются грачи. От них рябит в глазах. Тревожный крик заглушает какие-то крики внизу. Дом кренится все быстрее, и я закрываю глаза, чтобы смягчить этот внезапный приступ головокружения. Со мной такое бывало в первые дни болезни.

— Поше-ол! — доносится сквозь грачиный грай голос.

Что-то медленно и тяжело трещит, надламываясь. Слышится свист ветра. В доме одна за другой захлопываются форточки.

Всем телом я ощущаю, как тяжело ахает земля. По стене у самой моей головы сыплется труха, наеденная древоточцами.

Я понял, что случилось во дворе.

Я стучу кулаками в стену. Есть же кто-нибудь в доме? Я колочу в стену, совсем забыв, что Симон Александрович еще не пришел. От моих кулаков в его квартире срывается гирька часов, и я слышу, как она, раскачиваясь, стучит в перегородку, постепенно зати-

хая. Люди! Где же вы?! Ну хоть кто-нибудь! Помогите мне подняться! Выпустите меня туда!.. Но в доме глухая тишина.

Мною овладевает бессильное бешенство. Я закладываю два мизинца в рот и набираю полные легкие воздуха. Оглушительный свист клокочет в комнате, бьется о стены, нестерпимо звенит в голове.

Никто не приходит. Ну конечно, они все там. Они собрались возле дерева. Интересное зрелище... Тополь лежит теперь в глубине двора, среди покосившихся сараев и ворохов грязного снега, накрыл вершиной прошлогодние капустные кочерыжки. Он лежит с туго набитыми почками, еще живыми, еще теплыми от недавнего солнца. Теперь совсем просто дотянуться до каждой из них, как просто потрогать убитую птицу...

Передо мной странно пустое окно. Будто рама, из которой вынут привычный знакомый портрет. Кончилась Джомолунгма!..

— Ну что, ребята, — наконец подает голос Никифор, — свалить свалили, давай разделявать.

Тяпают топоры, трещат подрубленные сучья.

— А крепкий еще. Без дупла... — Это голос Семена, дворника из нового трехэтажного дома, который недавно построили на соседнем перекрестке. Семен часто пилил с Никифором дрова по окрестным улицам и теперь, наверно, тоже забежал на звон пилы. — Сколько ему годов-то? Небось сотни две...

— Велика фигура, да дура, — вставляет слово Пашка. — Не дрова, а солома.

Все, наверно, сидят на поваленном стволе. Так заведено. Убьют лося — зачем-то ставят на него сапог. Иначе нет ощущения полной победы.

— Кубов двадцать, не меньше.

— Может, и поболее. Вон какой дурила! Едва во двор уложился.

— А разрешение есть? — спрашивает Семен.

— Какое такое разрешение?

— А как же? На порубку.

По голосу Семена трудно понять, то ли он серьезно, то ли подтрунивает над Никифором.

Никифор, видно, тоже не понимает, а потому начинает сердиться:

— Кабы на улице рос, тогда, может, и надо...

— Все едино, на улице, во дворе ли. Раз дом государственный, то и дерево, выходит, тоже...

— А подь ты! — озлился Никифор. — Ты-то что за указчик? Мое дело таковское. Вон они, хозяева, им виднее, что государственное, а что нет...

Никифор, наверно, кивнул на Степаниху, Пашкину мать, потому что вслед раздался ее раскатистый, напевный голос:

— Ти-па, ти-па, ти-па!

Она выкликает так, будто ничего не случилось.

— Мам, дай рубль! — кричит Пашка Степанихе.

— Какой такой рубль?

— Ты ж нынче с базара...

— Так что ж, что с базара? Все назад принесла. Толкалась, толкалась, а дела — одно платишко насилу спихнула. Да и то вполцены.

— Мам, дай...

— Подь ты к лешему, — добродушно, как от мухи, отмахивается Степаниха. — Твой-то где? Ты только позавчера с поминок.

— Мама, честное слово, такой жмурик попался... Почти ничего, кроме обеда.

Жмуриками Пашка называл покойников.

Степаниха не сочла нужным разговаривать с Пашкой, обращается к Никифору:

— Ну и бог с ним. Распилить его, да и к месту. Только огород застит. Я давно говорила. Какую картошечку или помидорчик посадишь — чахнут. Опять зацветет — потом две недели пух из щей выбираешь. А то хоть на истоп — и то польза.

— Что пух! — хохочет Пашка. — Позавчера Симону нашему грач на шляпу капнул. Вот была потеха! Симон чуть не заплакал. Вон он идет, легок на помине.

— Симону Александровичу наше почтение! — весело гаркает Семен.

Я так и вижу, как Симон Александрович в ответ бережно приподнял свою шляпу.

— Что это вы трудитесь?

— Да вот дармоеда свалили, — хохочет Пашка. — Прошлый раз вам так шляпу разукрасили. А шляпа небось дорогая!

— Этакая пакость! — негодует Симон Александрович. — А шляпа в тысяча девятьсот шестнадцатом году куплена, в Ревеле.

— Скажи ты! — удивился Семен. — Сколько лет, а как новая!

— Что же вы хотите: английский фетр... И потом — я ее долго не носил. Надевал кепку. До тридцатых годов...

— Это что ж, погода неподходящая? — спрашивает Семен.

— Однако шутник! — весело смеется Симон Александрович. — А ведь в самом деле — одно время носить шляпу было даже опасно. Могли быть всякие недоразумения. Человек в шляпе вызывал подозрение. Вы знаете, даже мальчишки кричали вслед: «Буржуй!», «Чилиндра!» Какой я «буржуй», сами видите. Наоборот, всячески проявлял внимание... Гм... Но шляпу пришлось все-таки временно спрятать... Сейчас страсти, слава богу, улеглись... Товарищи, товарищи! Вы же помяли мою беседку!

— Неужто?

— Поглядите!

— Может, малость и зацепили, — усмехается Семен. — Лес рубят — щепки летят...

— Как же малость! Как же малость! Смотрите: вот планка оторвана, и вот тоже...

— Пашка, пойді пришепни планки-то! — басит Никифор. — Дело невеликое.

Снова тяпают топоры. Вечереет. Я слышу, как по тротуару идут люди от трамвайной остановки, с заводов. Мама, наверно, сегодня задержится. У нее собрание.

На улице жужжат колесики Ивановой тележки. Он возвращается домой всегда после того, как спадет поток людей, сошедших с трамваев. Он замыкает вечернее шествие. Рукава пиджака закатаны по локоть, колени обернуты дерматиновым фартуком, чтоб не мокли. Кепка надвинута глубоко, до самых глаз, козырьком назад. Козырек мешает оглядывать улицу. Ведь Иван не пешеход. Он, скорее, транспорт. Надо посматривать за автомашинами, которые могут не только окатить грязью, но и наехать.

От трамвайной остановки на пути Ивана четыре перекрестка. Четыре переправы. Сейчас на этих переправах шумно мчатся ручьи. Они увлекают за собой ребячьи бумажные корабли, окурки, всякий мусор, что накопился в толще снега по дворам за долгую зиму. Кофейно-серый поток пенится в подшипниках, кулаки посинели от воды. На горку тележка ползет тяжело, рывками. У калитки Иван всегда останавливается передохнуть.

Но сегодня Иван не задержался у калитки. Она хлопает сразу, как только коляска к ней подъехала. Подшипники взвизгивают на мокрой ледяной дорожке двора. Нет, Иван не завернул домой. Он пробирается дальше по двору.

Стихают топоры и разговоры. Слышно только, как рывками передвигается тележка. Руки вперед, потом — журчание колесиков, и опять руки вперед...

— Одолели-таки? — наконец говорит Иван.

— Так мы же не себе. На всех и поделим.

— Помешал?.. Красоту-то какую по сараям растащите... Тараканы!

— Жильцы порешили. Больно, говорят, застил.

— Кто кому застил?.. Немцы из пушек палили — выстоял. А вы враз разделались.

— Так то немец! У него кишка тонка!

— Дурак ты, Пашка!

— Ну ладно, Иван, — говорит Никифор, — чего уж там... Пай-то свой возмешь? Комель выделим. Как инвалиду войны.

По двору заверещали ролики Ивановой коляски.

— Чего-то он нынче...

— Небось выпимши, — говорит Никифор. — Ладно, ребята, навались, а то темнеет.

Возвращаются грачи. В криках птиц испуг и смятение. В глубине двора они видят распластанный тополь, теперь уже, наверно, обезглавленный. Для птиц это катастрофа. Они кружат в пустом окне, как в безбрежном океане, на дно которого рухнул их зеленый остров. Им летать еще долго. Потемнеет небо, зажгутся огни, но птицы будут все еще беспорядочно кружить над нашим домом, сталкиваясь впотьмах друг с другом. И лишь когда выбьются из сил, обездоленными беженцами улетят искать себе пристанища. Там, на чужих ветках, тревожно вздрагивая крыльями при каждом шорохе, устало задремывая и спохватываясь, будут дожидаться рассвета. И среди ночи нет-нет да и вскрикнет кто-нибудь из них отчаянным криком. А чуть засереет, снова прилетят сюда в тайной надежде...

— Кыш, зануды! — кричит Пашка и пронзительно свистит в два пальца.

8

Я уже передвигаюсь на костылях.

Сначала я добирался до окна. Я распахивал его настежь и проводил почти все время на подоконнике. Но из окна ничего не видно, кроме глухой кирпичной стены соседнего дома и вереницы сараев на заднем конце двора.

Стоят теплые, солнечные дни. В небе висят белые, чистые кипы облаков. Облака похожи на хлопья только что распакованной и нащипанной ваты. Уже несколько дней где-то совсем близко ворчит бульдозер, громыхают бревна и пронзительно взвизгивают гвоздями отдираемые доски. Наверно, разбирают еще один старый дом. Все это доносится сквозь кудахтанье кур на нашем дворе. Они кричат просто так, в истомном упоении теплынью.

Я радуюсь наступлению бульдозера на ветхую рухлядь и мысленно подбадриваю машину:

«Давай, давай! Кроши!»

Я соскучился по солнцу. Я видел его свет только на вершине тополя и на облаках. Когда же я стал добираться до подоконника, я мог видеть его на стене соседнего дома и сараях, на какой-то острой травке, пробившейся под забором. Но это был только свет, а не само солнце, к тому же он никогда не падал в комнату.

Рано утром солнце еще заглядывало в наш закоулок. В какие-то минуты его лучи проходили совсем близко от окна. Я ложился на подоконник и выбрасывал вперед руки. Я проделывал это много раз подряд, пока не дотрагивался до лучей кончиками пальцев. И тогда я чувствовал их прикосновение. Мне казалось, что лучи

даже чуточку надавливают на пальцы. Это было моим ежедневным рукопожатием. Потом лучи начинали постепенно удаляться. Вечером они снова приближались к окну с другой стороны двора, но не так близко, как утром.

Зато солнце целый день светит в кирпичную стену соседнего дома. Этот дом тоже деревянный, такой же старый, как и наш, но он еще бодрится, опираясь на единственную кирпичную стену. В ней нет ни одного окна, и потому дом кажется отчужденным, повернувшись спиной к своему соседу. Целый день на глухой кирпичной стене греются синие мухи. Так они греются десятилетиями.

Когда соседний дом наконец сломают и на его месте построят новый, его обязательно повернут окнами на юг. А может быть, новый дом построят даже на месте обоих.

Теперь каждый день прямо подо мной слышится ленивый, тягучий лай тромбона. Это Пашка, забаррикадировавшийся в пустой Ивановой комнате, разучивает свою черную нотную тетрадку. Иван уехал перед майскими праздниками. Он перебрался в новый дом. У нас не любили Ивана, но его отъезд почему-то поверг жильцов в уныние. Будто это были похороны. Из форточек и коридоров молча следили, как Иванова жена выносила вещи. Только Никифор помог погрузиться в автомашину.

— Ну, не поминайте лихом, — сказал дядя Ваня.

— Да чего уж... В добрый час, — пробурчал Никифор и притворил дверцу.

— Везет же людям! — говорила спустившаяся вниз Акулина Львовна.

— Бог с ним, бог с ним! — крестилась Степаниха. — Колготной был мужик. Без него спокойнее.

В тот же вечер Пашка перетащил в Иванову комнату свой матрац и длинный черный футляр с тромбоном, похожий на детский гробик. «Мы жертвою пали в борьбе роковой...» — орал он в пустой комнате. Вчера приходила Тоня. Она, как всегда, робко поцарапала дверь, но, войдя, быстро подбежала и сунула мне мороженое.

— Ешь скорей. Еле донесла.

— Спасибо. Давай вместе.

— Ой, я свое уже съела по дороге! Совсем растопилось.

Тоня уже успела загореть. Она вся пропитана солнцем — и платье, и волосы. Она прибежала из другого мира, к которому я только по утрам мог прикасаться кончиками пальцев.

И опять я глядел на нее, забыв о своем существовании.

— Да ешь же ты! Смотри, потекло по руке.

— Откуси немножко...

— Вот чудак! Ну хорошо!

Она взяла мою руку вместе с мороженым и поднесла ко рту. Мне было радостно ее прикосновение. Много лет сижу с ней за одной партой. Не всегда мирно. Я даже однажды грубо толкнул ее в бок за кляксу на моей тетрадке. А теперь...

— Ну, я побегу. Ботаничка велела прийти пораньше. Будем сажать деревья.

Она ушла. А я... Я больше не мог оставаться в этой комнате. Я взял костыли и запрыгал к двери. Теперь я знаю, сколько ступенек на нашей лестнице: вытянув гипсовую ногу вперед, я спустился вниз, присаживаясь на каждом порожке.

Я перебрался через три метра тени, что отбрасывал наш дом в полдень, и с наслаждением подставил спину солнцу.

Двор показался мне странно пустым и обширным. Заднюю его половину уже перекопали на грядки. В этом году дорожку еще больше подрыли с обеих сторон, и теперь она похожа на межу.

Возле своего сарайчика возится Степаниха. Она выносит колотые дрова и складывает на солнышке колодцем.

— Плянь-косы! — всплескивает она руками. — Выполз! Ну и слава богу, ну и слава богу! Погрейся, касатик, погрейся на солнышке, присядь, присядь на пенек, что ж с больной ногой стоишь-то? Экий пнище оставили! Ходи запинайся, надо сказать, чтобы выкопали корчу-то.

Я опускаюсь на тополевы пень, обкопанный с обеих сторон. Срез еще не успел потемнеть от дождя и солнца. Он тепел и шершав. Там, где древесина смыкается с корой, местами пенится пузырьками сок. Он горек и пахуч, как тополевые почки. Могучие насосы дерева еще продолжают подавать этот сок из глубины земли. Они, наверно, не знают, что тот, для кого они так стараются, распилен и расколот на полуметровые поленья, растащен по сараям. Я ощущаю тепло срезанного под корень дерева. Это вовсе не то тепло, которое исходит от нагретого солнцем мертвого полена. Оно идет откуда-то, оно схоже с теплом человеческой крови. Я почти осязаемо чувствую, как где-то в глубине земли клокочет возмущенная сила. Тополь не смирился со своей участью. Он снова будет искать дорогу к солнцу. Он ее уже ищет. Его корень пенится от натуги, упорно нащупывает лазейку к свету. Вот-вот, где-нибудь у самой земли, в грубых, слоновых складках коры, проклюнется багровая почка и радостно брызнет вверх стремительным побегом...

Надо было тебе родиться по другую сторону забора. Но ты не выбирал себе место. Ты не знаешь, какую роль играют у нас, у людей, заборы.

Я сижу на пне, отнимаю у него солнце и немножко задержу рождение нового побега. Но я тоже соскучился по солнцу! Я посижу и уйду. А может быть, он примет меня своим побегом? Ког-

да-то Иван мечтал привить себя на эти корни. Они сильные, глубоко уходят в землю. Это наша с ними общая земля. Пусть подняли бы меня своим побегом высоко-высоко над этими заборами. Я тоже хочу встречать солнце, входящее в день над чистым горизонтом.

1963

АЛИМ ЕДЕТ НА КАВКАЗ

От перрона маленькой азиатской станции вправо и влево разлетаются накатанные до слепящего блеска рельсы Турксиба. Над ними жидким стеклом зыбится воздух. Пахнет горячими шпалами и мазутом.

За путями, в зарослях пыльной кукурузы, желтеют плоские крыши саманных мазанок. На пустыре среди навесов, арб и дынных ворохов пестро копошится воскресный базарчик. А дальше, за поселком, дремлют задымленные маревом Джунгары.

Солнце давит землю тяжелым полуденным зноем. Серый асфальт перрона змеисто прогибается под ногами. Он горяч и вязок, и воробьи, склевывая крошки, поднимают то одну, то другую лапу.

По перрону юлой вертится семилетний мальчишка, тоненький и глянцево-черный, как стручок акации. Из-под завитков смоляных волос фиолетово мерцают большие, округлые, чуть навывкате глаза. Мальчишка весь в подчинении этих глаз: куда они посмотрят, туда и бегут его голенастые, с узелками суставов ноги.

Вот он сует ногу под тяжелый жгут водопроводной струи, вода бьет в лицо колкими искрами, мальчишка смеется, фыркает, а в окне будки появляется сердитая физиономия дежурной тетки. Он показывает ей язык, соскакивает с перрона, бежит, вихляясь, расставив руки, по раскаленной нитке рельсов, и вот он уже снова на перроне и, присев на корточки, осколком стекла выковыривает втоптанные в горячий асфальт старые проездные билеты.

— Алим! Алим! Поди сюда!

Под раскидистым карагачем, в косматую крону которого набился сине-кислый дым базарных мангалов, на багажной тележке сидит чеченка. Желто-пестрый платок козырьком надвинут на лоб. Видны только остро выступающий подбородок и сухой горбатый нос, янтарно просвечивающий, как копченый балык. Она кормит ребенка, завернутого в лоскутное одеяло, прикрывая грудь длинной бахромой платка. За ее спиной на багажной тележке лежит узел, к которому приторочен высокий медный чайник с неясной чеканкой на боках.

— Алим!

— Мама, я нашел билеты! — радостно кричит мальчишка.

— Глупый, это же старые билеты, — усмехается чеченка.

— Нет! — упрямо трясет кудрявой головой Алим. — Один только старый, в смоле. А два совсем новые.

Мальчишка протягивает матери три кусочка картона.

— Вот, смотри. Теперь мы поедem.

— Какой глупый! — отмахивается чеченка и ласково щурит глаза.

— Почему говоришь — глупый? — горячится мальчишка. — Почему глупый? Они совсем хорошие. Один — тебе, другой — мне. А этот... он немножко в смоле. Этот — ему... — Он ткнул пальцем в лоскутное одеяло. — Мама, а куда мы поедem?

— Я ж тебе говорила. Мы едем домой.

— А разве где мы жили — не дом? Этот дом, где мы жили, — не дом? Это плохой дом, да?

— Дом хороший. Но это не наш дом. Мы жили на квартире.

— А где наш дом? Наш? Понимаешь?

— Наш дом далеко.

— Где, мама? Где? — Алим дергает мать за козырек платка.

— Отстань! — сердится чеченка, свободной рукой поправляет платок и подсовывает под него выбившиеся волосы. — Я тебе уже говорила. Наш дом на Кавказе.

— Что такое — на Кавказе?

— Это где я родилась.

— Ты родилась дома?

— Да.

Алим думает, разглядывая на ладони билеты.

— А я родился на квартире? Да?

— Отстань, Алим. Не мешай спать маленькому. — Чеченка лезет за пазуху, достает деньги. — Сбегай лучше на базар.

— Давай! — Алим хватается за деньги, собирается бежать.

— Подожди! Купишь чебуреков и дыню.

— Ага! — кричит Алим, перепрыгивая через рельсы.

Он бежит к базарной площади, размахивая руками и выкрикивая:

— Чебуреков и дыню! Чебуреков и ды...

Запнувшись, шлепается на землю и, прихрамывая, ныряет в толпу.

— Ай, бесенок! — цокает языком чеченка.

Полуденный зной лениво перемещивает полосатые чапаны, белые войлочные шляпы, пестрые платки. Среди арб и навесов пчелино гудят голоса. Изредка — обиженные вскрики ишака. Он кричит дико, навзрыд, всем животом втягивая воздух. Но, продув свое горло, добродушно помахивает хвостом и сует мягкие подвижные губы в недоеденные арбузные корки.

Из-за арбы выныривает Алим. Рот у него до ушей от довольной улыбки. Он скачет через рельсы, часто мелькая коленками и прижимая к животу румяные чебуреки. За спиной на карагачевой палке упруго покачивается желто-крапчатая дыня.

— Мама, еще горячие! — радостно кричит Алим. Он сбрасывает чебуреки на цветастую юбку чеченки и торопливо трет ладошкой по жирному пятну на животе.

— Куда же ты бросаешь? — сердится мать.

— Обжегся! Бежал, бежал — хотел бросить.

Чеченка расстилает тряпочку и перекладывает чебуреки.

— А вот еще дыня! Понюхай!

— Алим, — чеченка подозрительно оглядывает сына, — а ты ел мороженое?!

— Да? — бесхитростно удивляется Алим. Он высовывает язык и старательно слизывает с подбородка мутноватые капли.

— Я же вижу — ты ел мороженое!

Алим вопросительно смотрит на мать большими фиолетовыми глазами: он никак не может понять — плохо или хорошо, что съел мороженое? На его лице то вспыхивает, то гаснет неуверенная улыбка.

— Я сказала — купи дыню и чебуреки!

— Я принес дыню и чебуреки.

— Но ты еще купил мороженое!

Алим опускает голову, часто мигает черными щетками ресниц. Над ним сердито петляют осы. Они садятся на истекающую соком дыню, бестолково ползают, насканивая друг на друга. С кончика согнутой палки падают на горячий асфальт торопливые капли. Алим, понутив голову, водит по асфальту большим пальцем ноги.

— Что же ты молчишь? — вспыхивает чеченка. — Иди сюда...

Алим отпрыгивает от протянутой руки.

Дыня съезжает на палке к самому концу, палка сгибается полудугой и вдруг, освободившись от груза, высоко вскидывается. Гулко крикнув, дыня шлепается на перрон. От неожиданности Алим втягивает шею, будто дыня обрушилась ему на голову.

— Что же ты сделал! — вскакивает с тележки чеченка.

— Она сама... — бормочет Алим, присев на корточки и торопливо составляя сахаристо-влажные ломтики. — Я сейчас сделаю...

Чеченка хватает мокрый от сока прут:

— Шайтан! Ты потратил деньги! Ты разбил дыню! На тебе! На... на...

Алим визжит, старается схватить палку. Наконец ему удастся вырваться. Он прячется за угол багажного сарая, опускается на землю и, прижавшись к стене, плачет, вздрагивая острыми плечиками.

Чеченка баюкает раскричавшегося малыша, кладет его на тележку и собирает куски дыни.

Платок сползает на затылок, открывая смутное, узкое, некрасивое лицо, еще не остывшее от вспышки гнева, и большой вислый нос. Он, как горный хребет, отделяет друг от друга глубоко утопленные озера-глаза, переполненные влажностью и синью. От сидящих висков к глазам протянулись ручейки морщин, незаметно прорытых в прочной породе молодости. И только губы, еще совсем свежие, не утратили наивного девичьего склада.

Положив куски дыни рядом с чебуреками, чеченка развязывает узел, достает белый дырчатый кусок брынзы.

— Шайтан! Нам еще ехать далеко, а ты меня совсем измучил.

— Да? — всхлипывает Алим. — Да?

— Нам надо беречь деньги.

— А дыню я не купил...

— Ты ее стащил?

— Нет! Я подошел к деду. У него много дынь. Я сказал: «Почем дыня?»

— Ну?

— Он сказал: «Есть у тебя деньги?» Я показал ему деньги, — дергая плечиками, выговаривает Алим.

— Ну?

— Он сказал, где я взял-ал. Я сказал, что ты дала. Я показал, где ты сид-дишь. Он спросил, куда мы едем. Я сказал — на Кавказ. Он спросил, где мой отец.

— А ты?

— Я сказал, что ему нельзя ехать с нами. Он ум-мер.

Алим выглядывает из-за угла мокрыми сливовыми глазами. Мать, опустив нож, смотрит куда-то далеко, на сизые хребты Джунгар, где остался отец. Он зарыт в старом рудничном отвале среди гор. Кладбище из черной отработанной породы. Ни травы, ни кустика, только железные конусы над могилами. Там хоронят силикозников. Алим всхлипывает, изредка дергаясь всем маленьким черным тельцем.

— Тогда дед погладил меня по голове, — сказал Алим.

Что-то черное, мягкое шлепается рядом с ним на асфальт.

Алим, еще не поняв, что такое упало, машинально накрывает серый комок рукой. В его кулаке оказывается молодой воробышек. Он вздрагивает сдавленными крыльями, силясь разжать кулак. Мокрые ресницы Алима широко распахиваются от удивления. Он даже не заметил, как очутилась в его руке эта птичка.

— Он погладил тебя по голове? — вздохнув, переспрашивает чеченка, продолжая нарезать брынзу.

— Ага. Он погладил и сказал: «Расти большой» — и дал мне дыню... И я купил мороженое.

— Значит, ты ему не платил?

«Чи-слив!..» — вдруг громко выкрикивает воробышек.

Алим вздрагивает от неожиданности.

— Алим! И он не взял денег?

Но Алим не отвечает. Он не слышит, что говорит мать. В его руках маленький настоящий воробышек с желтой оторочкой в уголках рта. Он громко чивикает и щиплет за палец. На щеках Алима еще блестят мокрые полосы, но обида уже забыта, и большие глаза снова сияют радостью. Той самой радостью узнавания и удивления, с какой, отбиваясь от всех огорчений, смотрит всякий мальчишка на наш старый большой мир.

— Мама, а у меня воробышек! У меня воробышек! — вскрикивает Алим и, подняв над растрепанной головой птенца, бежит по перрону. — Посмотри, какой! Кусается!

— Ах, Алим, какой ты у меня! — качает головой чеченка.

— Мама, дай ему кусочек чебурека!

— Он не будет есть чебуреков! Поешь ты. Они совсем остыли. Поешь, сынок.

— Я возьму воробышка с собой на Кавказ.

— Нет, Алим, его надо выпустить.

— Нет! Мы с ним играем.

— Если тебя отнять у матери, тебе это хорошо?

Алим долго, внимательно смотрит на мать, будто видит ее впервые. Смотрит, думает.

— Если тебя вот так будут держать в кулаке, тебе будет хорошо?

Алим переводит взгляд на птенчика. Воробей беспомощно вертит головой в цепких пальцах Алима, широко раскрывая клюв.

— Каждый должен жить: воробей — на своем дереве, человек — на своей земле. Отпусти его, Алим. Забрось на крышу. К нему прилетит его мать.

Алим подходит к багажному сараю, размахивается и бросает птенца на крышу. Воробей срывается с карниза и, вытянув шею, летит к далекой для него ветке. Он отчаянно работает крыльями, помогает себе громким чивиканьем — вот уже ветка совсем близко, — но, не дотянув самую малость, поворачивает и летит косо, снижаясь, над перроном, над железнодорожными путями...

Алим, вытянувшись в струнку, следит за ним и вдруг, прыгнув с перрона, бежит следом.

Гулкий железный лязг, горячий песчаный вихрь и рев гудка обрушиваются на платформу.

— Алим! Алим! — дико вскрикивает чеченка.

Грохочущая стена вагонов перегораживает путь. Человек в красной фуражке хватается женщину поперек. Чеченка колотит его локтем в лицо, сбивает фуражку.

— Пусти! — кричит она, оскалив зубы. — Пусти!

Визг тормозов заглушает крик. Колеса скрываются в едком дыме жженого чугуна. По вагонам проносится гулкая судорога. Последний вагон, открыв пути, останавливается у конца платформы.

— Алим! — кричит чеченка в тисках рук железнодорожника.

Прыгая через пути, к перрону бежит Алим.

— Поймал! — радостно горланит он. — Вот он...

Чеченка обессиленно опускается на багажную тележку, закрывает лицо сухими черными пальцами. Вокруг нее собираются люди. Старая казашка с водокачки подхватывает проснувшегося малыша.

Алим протискивается среди людей и непонимающе глядит на мать.

— Мама! Чего ты плачешь? Я ведь его поймал...

— Ах Алим!.. — Она отнимает руки и жадно-печальными глазами глядит на сына. — Какой ты! А нам еще так далеко ехать...

Повесть о детстве



КАРТОШКА С МАЛОСОЛЬНЫМИ ОГУРЦАМИ

Юрка гостевал у своей деревенской бабушки, сидел у окна на лавке, дожидаясь, когда в печи поспеет молодая, недавно убранная картошка. В эту пору она так хороша, что вовсе не обязательно было есть ее с хлебом, а только прикусывать с зеленым лучком, кругляшами белой щипучей редьки, сдобренной конопляным маслом, а еще лучше — с малосольными огурцами, которые, как только их принесут из погреба, враз полнили избу чесноком, укропом и смородиновым листом.

Набирая из распущенного снопа пучки ржаной соломы, бабушка скручивала из них перевяслица. Делалось это для того, чтобы солома сразу не пыхала, а горела подольше, поддерживая в печи ровный непрерывный жар. В нашем полустепном краю не всяк день топили дровами, а пока держалось тепло, обходились разной подножной всячиной: лозняком, полынком, обмолоченной соломой, тем паче на дворе нежится бабье лето, в голубом, погожем безветрии дремотно плавится паутина, а в подзаборной мураве благодатно зинзикают кузнечики. Так что до заветных дров было еще далеко.

Однако же топить соломой было колготно: от печки не отойти, не опустить руки, пока не сварится еда. Соломенные закрутки, будто живые, норовили развиваться. Бабушка прижимала локтем, гася их змеиный порыв и, выждав момент, подсовывала жгуты в печь. Веселый, светлый соломенный пламень уже в который раз принимался лизать черный, запотело лоснящийся чутунок, накрытый такой же черной сковородкой. Однако, казалось, чутунку все было нипочем, будто и не ведал он робости перед огнем, тем более соломенным, и вовсе не думал закипать. Но бабушка все подбрасывала, все обкладывала его перевяслицами, не давая огню иссякнуть, спрятаться под легкую кружевную золу. И вот наконец-то из-под сковороды вышмыгнула робкая струйка, потом рядом — другая, чутунок нехотя принялся что-то бормотать и побулькивать и вскоре уже неудержимо захвастался: «Бульба я, бульба я, бульба!» — и

пустился выфукивать пузыри и выплескивать на свои округлые бока пахучую картофельную юшку.

— Ага, проняла-таки мазурика! — торжествующе объявила бабушка и сковырнула чапельником с чугунка сковородку. — Пусть еще чуток побулькотит, да и сливать будем. Картошка еще не застарелая, варки немного требует.

Проголодавшись, Юрка нетерпеливо мтел в ожидании, когда бабушка наконец-то вывалит в глиняную черепушку объятые паром картофелины. В лопнувших от внутренней натуги сермяжных одежках, с сахарно-зернистыми разломами, картофелины будут исходить неистовым жаром, от которого если в нетерпении куснешь перебрасываемую с ладони на ладонь каленую барабульку, то мигом перехватит дыхание, а по щекам побегут нечаянные слезы. Тут-то в самую пору гасить пожар в распаханном рту холодными бочковыми огурчиками, еще молоденькими, пупырчатыми и хлестко хрумкающими на зубах. Пожалуй, нет еды азартнее пылающей картошки с малосольными огурцами, особенно когда за стол сядут с полдюжины едоков и примутся наперегонки скубить кожурки, дуть в ладони, запястьями утирать невидящие глаза и дышать порыбьи округлыми ртами. «Ай, хорошо! — вырывается то тут, то там за столом. — Вот это дак пропарило, будто побывал в бане!»

— Ай, чтой-то в поясницу вступило! — взмолилась бабушка. — Дай хоть присяду. Небось опять прострелило. Дак и не диво: столь картошки перебрать да в погреб перетаскать. А подмоги — ниоткуда. Ты вот что, Юрко! Сбегай-ка в погреб да набери огурцов. А то я, раскоряка, и по лестнице не спущусь. А спущусь, дак и не выберусь обратно. Эко скрутило! Печку истопила — ничего, а чугунок подняла чаплями, меня и садануло. Аж не вздохнуть. Сходи, голубь, уважь старую.

— Кто? Я-а? — не поверил бабушке Юрка.

— Да кто ж у нас еще, кроме тебя?

— Во что набирать? — готовно спохватился Юрка.

Никогда еще не бывал он в бабушкином погребе. На чердаке избы бывал — ничего особенного: хлам да паутина, на сеновал лазил, тоже неинтересно, даже на старое дерево, что под окном, забирался поглядеть, кто там пищит в дупле? Но его клонула в макушку галка, и он едва не сверзился на землю. А вот в погреб, да еще одному, — такого никогда не бывало. Он даже почуял, как полыхнул ушами — так пришлась ему бабушкина просьба.

— Так во что набирать? — теребил Юрка бабушку.

— Вот тебе миска, наклади полную, чтоб и к обеду осталось.

Юрка схватил эмалированную миску и хотел было выскочить во двор, но бабушка удержала за руку:

— Да смотри не ошмыгнись, лестница там крутая, я и то не раз с нее падала. Особенно когда руки поклажей заняты. Ты перекла-

дину-то ногами пощупай. Сперва подошвкой уверься, а тогда только переступай. Понял?

— Понял! — кивнул Юрка, порываясь высвободиться.

— Да погоди ты, егоза! — волновалась бабушка. — Экий ему нетерпеж! Ох, грех на душу беру... Лучше я сама как-нибудь спущусь. Дай-кось сюда миску...

— Не дам... — набычился Юрка и спрятал посудину под рубаху.

— Какой натурный! Вылитый дед! Тот, бывало, так вот упрется... Да ты хоть творило осилишь поднять? Оно ить в три доски-пятидесятки...

— Оси-и-лю! — заверил Юрка на всякий случай, чтоб отпустила только.

— Ну ладно, егоз, ступай... Немочи мои ходу не дают, куда от них денешься. Я и так печку едва выстояла, в ногах не стало державы. А ить скоро зима, печку кажен день обряжать. Однако ж спичек тебе не дам: дверцу отворишь пошире — оно и без спичек станет видать. Солнца еще звон сколь.

— Ладно, — согласился Юрка идти без спичек

— Стало быть, слушай и запоминай: как, значит, спустишься, так сразу по правую руку и будет кадка с огурцами. Она сверху рогожкой прикрыта. Ты огурцы-то не буровь, а под укроп подсунься и бери с краю, какие попадутся. Где у тебя правая рука?

Юрка не знал, где у него правая, а где левая, и так просто, ни за чем переместил миску из одной руки в другую, протянув бабушке ту, которая оказалась свободной.

— Ну вот тебе! — огорчилась бабушка. — Какая же это правая?! Грамотей! Так-то посылай тебя в темноту без спичек... Правая — вот она, запомни. — Бабушка задергала Юрку за правый рукав. — Потому и правая, что она всяким делом правит. Что бы ты ни взялся делать, первым-наперво правая рука за это дело берется. Уроки ли писать или ложкой хлебать — все правой. И крест Божий только она творит... А левая — она вроде как в помощниках. Запомнил?

— А я все вот этой делаю, — не согласился Юрка.

— Да уж знаю, заметила... Потому и неслух такой, — смиряясь, вздохнула бабушка и зачем-то погладила Юрку по стриженной голове. — И откуда эта несправедность у тебя? Надо бы к Мелентьихе сводить, пока еще малой, слову податливый. Пусть бы пошептала чего да попрыскала святой водицей.

— Никуда я не пойду! — нагнул Юрка голову, похожую на свернувшегося ежика.

— Ну ладно, ступай! — отпустила бабушка внука. — Да смотри там, не озорничай, не оступись часом...

Распутывая кур, набившихся в сумеречные сени, должно быть, в ожидании картофельных кожурок или еще чего-либо съестного, Юрка вылетел во двор, полный ликующего солнца. Сквозь рубаху

сразу почувствовалось его приятное прикосновение. Над двором с азартным визгом носились молодые, вылетевшие из гнезд вилохвостые касатки, гоняясь за слепнями и всякой прочей мошкой, а по ветхому, иссохшему плетню, переваливаясь на бабушкину сторону, вилась и без усталости пускала загребущие усы соседская тыква и все еще норовила цвести, протягивая к солнцу оранжевые пустоцветы.

Погреб находился как раз возле плетня. Над его лазом высился ивовый шалашик, закиданный сверху картофельной ботвой. Здесь, на погребице, в знойный летний полдень любили сиживать и охорашиваться бабушкины куры, а сегодня, когда Юрка заглянул под навес, на теплом твориле блаженно нежился тоже, как и тыква, соседский кот Кудря. Он плоско, как будто одна только пустая рыжая шкурка, возлежал на боку, отбросив в сторону все четыре лапы и подставляя утреннему солнцу розовые пятнашки подушечек. При этом Кудря сладостно поигрывал коготками, то выпуская их наружу во всей цап-царапающей красе, то снова убирая в рыжую меховую пушистость. «Муры-муры», — удовлетворенно наигрывал он невесть каким способом — то ли когда вдыхал, то ли когда выдыхал воздух из своего слежалого нутра.

Коту очень не хотелось покидать укромное местечко, и он, не поднимая головы, а лишь слегка разомкнув веки, недвижно поглядывал за Юркой, не уберется ли он прочь. Чтобы не занимать рук, Юрка определил миску себе на макушку и крадучись, осторожно потянул из шалаша хворостинку. Кудря сразу все понял, внезапно вскинулся и опрометью прощмыгнул меж Юркиных ног, так что тот даже не успел их вовремя сомкнуть, чтобы прихлопнуть этого любителя чужих погребов. Это же он, конечно, на той неделе опрокинул кувшин с топленным молоком, когда бабушка забыла притворить погребную крышку. Кто ж еще? И цыплят таскал, пока те не подросли и не перестали путать кота со старой цигейковой шапкой.

«Вот погоди, — пригрозил Юрка, — привяжу к хвосту жестяную банку, тогда узнаешь, как шастать по чужим дворам».

Поднатужась, Юрка с первой же попытки отвалил дубовый притвор на ременных петлях и, опустившись на четвереньки, заглянул в квадратную дыру. Оттуда сперто, холодно шибануло сырой землей и терпким укропным духом. Обмирая от неизвестности и любопытства, Юрка пытался разглядеть что-либо внизу, чтобы определиться, но, кроме нескольких изначальных ступеней жердяной лестницы, терявшейся другим концом где-то в пустоте, ничего больше со свету не увидел. Казалось, что там не было дна, твердой опоры, и разило холодом и клеклой землей вовсе не из погреба, а из прохладной пустоты, из самого разверзшегося земного чрева, где обитают те самые «кабиясы», о которых не раз так жутко рассказывала бабушка. Она вовсе не хотела запутивать Юрку, а просто не знала, что придет черед, когда надо будет и ему спускаться в это «кабиясное» подземелье.

Юрка сел на край, боязливо свесил в лаз босые ноги. Погребная стылость неприятно лизнула подошвы, он поспешил убрать ступни под себя, после чего, скованный оторопью, долго сидел вот так у края погреба с миской на голове и поджатыми под себя ногами. Его даже посетила убедительная мысль, что картошку вовсе не обязательно есть с огурцами. Очень даже неплохо макнуть ее в постное масло, а затем присыпать солью.

Юрка украдкой оглянулся на кухонное окошко, не смотрит ли на него бабушка. Ему очень не хотелось, чтобы она видела его все еще сидящим на погребице. Но в окне никого не было, зато в спину ободряюще глядело солнце, и это наконец-то вывело Юрку из нерешительности. Он снова спустил ноги, зависнув в проеме на врозь раскинутых руках, стараясь нащупать под собой лестничную перекладину. Утвердясь на ней и переведя дух, он спустился на следующую, потом таким же образом еще на одну... Погребной холод охватно стеснил его тело, казалось, он погружался в колодец с холодной водой. Все его существо онемело, напряглось в ожидании, что вот-вот кто-то неведомый и мерзкий выскочит из глубины и когтисто вцепится в голые ноги. Но никто его пока не трогал, а над головой, в квадрате лаза, все так же ободряюще голубело солнечное небо, и Юрка, перестав прощупывать перекладины, разом, как в омут, скользнул вниз и раньше, чем ожидалось, с радостным узнаванием стукнулся пятками о земную твердь.

Здесь, на дне погреба, оказалось не столь кромешно: брезжило как будто в серое ненастное предвечерье. Пообвыкнув, Юрка даже стал различать окружавшие стены и отдельные предметы. Обозначилась, замерцала стеклом земляная печурка, заставленная тускло-пыльными банками и бутылками. Сквозь стекло проглядывали рыжие шляпки каких-то грибов, трехкопеечным размером и округлым видом похожие на засоленные пальтовые пуговицы, в посудинках поменьше узнавались улыбчивая смородина, с колким отблесковым лучиком на каждой чернявой ягоде, и багряно-алая малина, хранимая на случай простудных хворей, и припасы ягоды черемы, из которой получают отменные пироги и которые можно жевать прямо с косточками, придающими печеву особую лесную горчинку, — все это, должно, еще от тех времен, от тех сборов, когда бабушка сама хаживала и по грибы и по ягоды. Этим летом она уже нигде не была, кроме своего огорода.

Ниже печурки, на дощатой полке, теснились глиняные горшки и горшочки и совсем крошечные махоточки с округлыми — продеть только палец — черепняными держальцами, уже отслужившие в наземной надобности, но еще пригодные здесь для хранения каких-то бабушкиных лекарственных секретов — от надсады, золотухи, черного ногтя, бородавок, застарелых цыпок, что Юрка уже заимел или мог подцепить, поскольку был великий «неслух» и ба-

бушкина досада, как порой говаривала она в сердцах. Среди этой глиняной мелкоты выступали рослые дородные кринки, темно-кирпичные от печного загара, повязанные белыми марличками, будто платочками, делавшими их похожими на загорелых крутобедрых молочниц, пропахших пенками и смутлым топленным молоком. Прямо же перед Юркой, до уровня его подбородка высился тесовый закром, доверху засыпанный картошкой. Бабушка перебрала ее по штучке, очистила от огородной земли, раскатала по утопанному токовищу на ветерке. И вот она, кóтом спущенная по деревянному лотку, теперь лежит в закроме. Картофелины все чистые, светлокорые, налитые молодой сытой спелостью, с густым пасленовым духом. Но Юрке почему-то жаль картошку. Может, оттого, что там, наверху, было еще тепло, солнечно, и ей можно было сколько-то времени пожить на воле, как живут еще многие травы и даже цветут себе на здоровье. Впрочем, картошка сама виновата, что ее раньше времени упрятали подземь: вместо того чтобы еще зеленеть да радоваться погожим денькам, она, глупая, зачем-то принялась хиреть и чезнуть листьями. И солнце ей не впрок, и воля не по нутру. Вроде сама со свету запросилась в погреб. «Ну и чего хорошего, — рассуждал у закрома Юрка, — лежать вот так навалом, друг на дружке, в темноте и холоде? Особенно худо нижним. Уж и надавят бока тем, кто на самом дне! Хотя, если разобраться, верхним картошкам и того хуже. Их первыми нагребут в корзину, снесут в избу, ножом соскребут шкуру и сварят в печи: которые покрупнее — людям на прокорм, а которые помельче да ушибленные — курам и поросенку». Если бы Юрка был картошкой, он забился бы на самое дно — подальше от бабушкиного ножика и чугушка. Как-нибудь перетерпел тесноту, зато долежал бы до весны, до ростепели. И тогда его снова отнесут в огород, выроют лопатой ямку и присыпят сверху теплой землицей. А он полежит-полежит, согреется после холодного погреба да и высунется ростком — поглядеть, что нового на белом свете? И примется пускать листья и цветы, станет снова жить да поживать. Ведь впереди — целое лето! Расти да радуйся! А когда осенью опять выкопают, он, не будь дурак, снова — на самое дно, и так до следующей весны, до новой ямки на огороде...

В соседней дощатой отгородке хранились ворошки всякой огородной всячины: оранжевые морковки, напоминавшие вареных раков, как и те — тоже усатые и клещастые; загадочные округло-приплюснутые репы, похожие на одинаково выточенные юлы, казалось, выросшие затем только, чтобы бесконечно долго, до полного слияния с окружающим воздухом вращаться на своих тонких хвостиках-ножках. А еще были редьки, покрытые грубой черной кожей, однако хранящие под этой бычачьей юфтью белоснежную мякоть, пропитанную острым кочерыжным соком, нацедив кото-

рого в ложку и зажав в коленях Юркину голову, бабушка закапывала ему в ноздри, когда тот ознабливался и начинал хлюпать носом.

Отдельно от всех, в стареньком лукошке, как бы пребывая в особых почестях, хранилась свекла — на Юркин тогдашний вкус совершенно никчемный овощ, который он тайком выковыривал из винегрета. Однако же бабушка почтительно величала свеклу египетской варенкой, и на ее лице проступало благостное просветление. Она непременно говаривала, что будто бы этот красный бурлак не просто так, а помянут в Священном Писании, и потому, должно быть, готовила винегрет только по церковным праздникам и никогда не выбрасывала остатки курам.

Огурцы оказались в приземистой, расклешенной книзу кадке. Юрка не сразу нашел их, а сперва запустил руку в соседнюю бочку. Но сколь ни вертел туда-сюда растопыренной пятерней, никаких огурцов, ни единой бубочки в бочке не оказалось, а только холодная вспененная вода. Юрка лизнул мокрые кислые пальцы, и ему почудилось в этой влаге что-то знакомое. Тогда для верности он зачерпнул миской, осторожно испробовал, и все больше уверяясь в своей догадке, отпил несколько глотков этой постреливающей пузырьками жидкости. В носу тотчас же защекотало, как если бы туда сунули травинку, а глаза позадернуло наволочью, так что он снова перестал различать, где право, а где лево. «Точно, квас! — не сразу прозрел он. — Вот это так кваси-и-ище!» — удостоверился Юрка окончательно. Вспомнилось, как бабушка сказала, что огуречная кадушка накрыта рогожей. Юрка допил из миски квас и, еще как следует отморгавшись после колкой шипучести, принялся вылавливать из-под рогожи холодные пупырчатые огурчики, источавшие аппетитный дух. Но тут где-то между банок, шурша и позвякивая о стекло, посыпалась сухая земля. Юрка невольно обернулся и вдруг на краю припечка увидел большую серую жабу... Поначалу он принял ее за ком земли и даже подумал отбросить прочь, чтобы этот ком не попал в кадушку с квасом. Но, присмотревшись, заметил, что эта серая, шишковатая глыба дышит, равномерно поднимая и опуская бока, а из-под надбровий внимательно, как-то прицельно, взирают желтые, немигающие глаза с косыми, как у кошки, черными зрачками.

Юрка оторопел. Это потом он будет хвастать, что нисколько не забоялся. Но если честно, то, конечно, маленько сдрейфил: а вдруг прыгнет на него или еще чего сделает нехорошее? Мгновенно вспомнилось все, что было слыхано о таких вот страшилищах, когда деревенская ребятня, окрестные Юркины сверстники, собираясь коротать вечер на перевернутой лодке, говорили, что если прикоснуться к лягушке, когда она раздувает свои пузыри на горле, то на руках непременно выскочат бородавки, и в подтверждение показывали друг дружке пальцы и запястья с этими таинственными вздутиями. Сказывали также, будто лягушка может так брыз-

нуть сами знаете чем, что если вовремя не зажмуриться, то в глазу может появиться порча, а то и вовсе можно ослепнуть.

Юрка хотел было стрекануть наверх, но в эту минуту жаба раздула шею и скрипуче, но вполне отчетливо произнесла его имя.

«Юр-р-ра!» — сказала она с расстановкой, нажимая на «р». Это было так неожиданно, что Юрка, оторопев, не улепетнул вверх по лестнице, а остался у ее подножья как вкопанный.

«Юр-р-ра!» — повторила жаба, и прозвучало это вполне миролюбиво, даже как-то просяще, будто в недомогании.

— Чего тебе? — отозвался Юрка, догадываясь, что лягушке что-то от него надо и что она вовсе не собирается на него нападать.

«Юр-р-ра! Юр-р-ра!» — твердила она, будто жевала крутую резину.

— Ну чего? — совсем освоился Юрка и заговорил с жабой как с давнишней знакомой. — Ты что? Тут живешь?

Жаба, будто подтверждая, приподняла нижние веки и задернула ими оранжевые ободки зрачков.

— Дак тут же холодно! И никогда не бывает солнца, — содрогнулся Юрка. — Как в тюрьме.

— Я так-кова, я так-кова, — вздымая бока, проскрипела жаба.

— А что ты ешь? Тут же есть нечего! Одни малосольные огурцы да картоха. А банки все закрыты...

Юрка пошарил вокруг глазами в намерении отыскать что-либо подходящее для лягушки, но ничего не увидел: ни мухи, ни маломальского комарика, никто из них не хотел залетать сюда, в погреб, где всегда было холодно и темно. Юрке стало жаль жабу, такую малоподвижную неумеху, которая безысходно живет в этом погребном неуют.

В ответ жаба подняла свою медлительную переднюю лапу и, закрыв один глаз, поскребла желтым ногтем там, где должно было быть ухо, но — которого никогда не было на этом месте.

В дверном проеме вдруг сделалось темно: кто-то заслонил солнечное небо. Юрка поднял голову, а это бабушка.

— Ты пошто не идешь-то? — зашумела она. — Жду-пожду, а его домовой нанюхал! Ну, лихо же мое! Уж думаю, не сверзился ли с лестницы, не переломал руки-ноги? Лучше б сама доползла. Хоть огурцов-то набрал?

— Набрал...

— Давай сюды.

Юрка передал огурцы и побрел следом за прихрамывающей и кряхтящей бабушкой.

— Все ладом поделал? Не начередил чего? Варенья не пооткрывал?

— Все, как было. — Юрка нехотя плелся за бабушкой, за ее обширной юбкой, ходившей туда-сюда вокруг ног в пустых, шаркающих галошах.

- Дак чего долго-то? — допытывалась она.
 - Да-а... Там лягушка.
 - Ну и что — лягушка? Экая невидаль. Я еще в девках ходила, а она уже там жила. Это эвон сколь годов!
 - Ей там есть нечего... — возразил Юрка.
 - Ежели доси жива — стало быть, находит.
 - И пить нечего...
 - И пить находит.
 - А давай мы ее к себе заберем?
 - Это зачем еще?
 - Будет жить с нами.
 - В избе, что ли?
 - Ага... у нас тепло: печка топится.
 - Не выдумывай. В избе святые иконы висят, а мы в дом — нечисть всякую. Польза-то от нее какая?
 - Она хо-ро-о-шая!
 - Да чего ж в ней хорошего-то? Небось в руки брал эту непотребу? Иди сейчас же сполосни, а то так и за стол сядешь. Признавайся: брал ай нет?
 - Не брал я! — осерчал Юрка.
 - А то так-то бородавок нахватаешь...
 - Ее тоже Бог слепил?
 - А то как же!
 - А зачем, если она плохая?
 - А Он всякой твари налепил по паре.
 - А зачем?
 - Чтобы было.
 - А Он из чего их всех лепил? Из глины?
 - Из глины, из глины! — отмахнулась бабушка.
 - Неправда! А вот глаза — не из глины!
- Вместо ответа бабушка выждала, когда Юрка поравнялся с ней, и отпустила ему подзатыльник.
- Ладно тебе! — пресекла она Юркины происки. — Фома сыскался.
 - А вот не из глины!!! — упирался Юрка.
- Бабушка отпустила ему еще одну затрещину, и тот, полыхнув обидой, вдруг сорвался, опрометью пустился со двора и скрылся в жарких и шершавых рядах огородной кукурузы.
- Отыскался Юрка на вечернем закате, запеченный на солнце, исцарапанный цепкими кукурузными листьями. Он снял изодранные на коленке штаны, залез на топчан под косяковое одеяло.
- И не поевши... — сокрушилась бабушка.
- Когда он сморенно раскидался по подушке, бабушка примирительно огладила его жаркую пшеничную головенку и, надев очки и пристроившись возле абажура, принялась штопать Юр-

кины штаны, попутно сощипывая с них цепкие кужучки. Из единственного кармана на попе штанишек выпал стеклянный патрончик от валидола, который она прикончила еще на той неделе, а порожнюю посудинку вместе с домашним сором выбросила за сарайку. Было видно, как внутри трубочки все еще ползали две синие мухи и неутомонно царапался по стеклу желтенький кузнечик...

1989

АЗ-БУКИ...

Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и в наслажденье...

А. Пушкин

В ту весну распустило рано, чуть ли не в половине марта, или, как определила моя бабушка Варя, аж на самого Федота, будто бы хранителя санного пути.

Возле бабушкиной избы уличный порядок прерывался никем не занятой излогой, езжий путь прогибался здесь так, что от подводы оставалась видна только одна дуга, мелькавшая в лад с конской побежкой. Днями в эту ложбину забрела из реки ранняя вода, подтопила зимник, и бабушкину избу возницы стали объезжать стороной, огородами.

— Чево деется! — поглядывала она в кухонное оконце, выходящее как раз в излогу. — Это же надо: сам Хведот штаны замочил! Еще недели две опосля Хведота мимо нас на санях ездить бы...

Святочтимого Федота она величала без всякого почтения вроде как обыкновенного деревенского мужика, что-то там не сумевшего спроворить, и не на церковную букву «ферт», а на простоволосый манер: Хведот. Так же, как фонарь называла хвонарем, фуфайку — кухвайкой, а ругательное «финтифлюшка» произносила как «клинтиклюшка». За этот ее косноязычный выговор я, стыдясь за нее, потом долго считал бабушку деревенской темнотой и лишь много спустя открыл для себя, что, оказывается, в исконно славянском языке не было слов на букву «эф» и что все слова с такой буквой в своем начале и даже внутри — чужие, пришлые, не свойственные нашему звукоречию, а потому истинно славянский говор долго сопротивлялся инородному новшеству и переиначивал привнесенные звуки на свой лад. И получилось так, что славяно-русские города всех раньше сдались на милость чужестранного ферта, тогда как удаленные от книжности запредельные селеньица и деревеньки и по сей день упрямятся, не приемлют чужое, двухперстно, раскольно твердя: Хведор! Хвиллип! Анхвиса! Или: хверма, хвля-

га, хвуражка, тухли, квасоль, картоха... И было мне, глупому, невдомек, что все эти искажения не от невежества, а следствие естественного, произвольного отторжения органов чужого слова, и проистекало оно на уровне православного раскола: тремя перстами осенять душу или двумя? С буквой «эф» осмысливать бытие или без нее?

Тем временем, поглядывая в оконце, баба Варя вовсе не сокрушалась из-за нагрянувшей распутицы, разделившей деревенскую улицу на два конца, и, кажется, была даже рада тому, что какой-то Хведот влез в лужу и замочил штаны. Помянув же о скорых «сорока мучениках», она и тут не померкла лицом в канонической скорби, а как-то озоровато воссияла всеми своими морщинками, верно, своей языческой сущностью больше тяготее не к строгим порталам храма, требующим смирения, а ища и не находя своего Бога в родных займищах и кулигах, день ото дня полнившихся внешним лучезарьем, каплезвонким снеготалом, гамом, вскриками и пересвистом сорока сороков сорок, сарычей, грачей и подсорочников.

— Не успел на двор Хведот, а его уже Герасим взащей толкает, — протерла запотевшее стекло бабушка. — А Герасима — Конон, а Конона Василий поторапливает, своего места хочет... У каждого особ норов. На Василья с крыш капает, а за нос еще цапает. Ну, да цапай — не цапай, а там уж и сороки — вот они. Знай, готовь квашню, солоди жито... Кулики-сороки полетят...

Был я тогда лет пяти или в начале шестого, медово рыж, острижен наголо, со следами золотушного крапа, ушаст, безбров и конопат, с болтавшимся на единой жилке верхним молозивным зубом — словом, этакое посконное «чевокало». У бабы Вари я числился внуком-первенцем, так что если прикинуть, то какая же она бабушка в свои от силы пятьдесят годов? По нынешним временам такие румянят тыквенно округлые щеки и носят вздыбленные гофрированные юбки выше оплывших колен. Моя же баба Варя уже тогда казалась мне законченной бабулей, Варварой Ионовной: под белым косым платочком — желтенькие швыдкие глазки в прищуре, нос утицей, привядшие губы, будто сдернутые шнурочком, чтоб, казалось, не говорила, не просыпала лишнего... Кофтенка на ней неприметная, из ситцевого мелкотравья — мышиный горошек с вязелем, но зато юбка — из грубого волосяного тканья, о которое бабушка походя наводила блеск на всякой меди, — и впрямь первая на ней одежда: без определенных размеров, вся в вольных складках, готовых во всякий миг ринуться вправо ли, влево ли вокруг нее, и все это почти до пола, и если меня спросить, во что обувалась баба Варя, то я, пожалуй, не вспомню, потому что под этими складками, кажется, ни разу не видел ее обуви. Зато памятен ветер, который, сама будучи неказистой, ростом деду Алексею по грудную пуговицу, взвихривала своей юбкой, когда принималась

домовничать, шастая бесшумно, словно витая от печи в сени, из сеней снова к печи с беремком лозовой поруби и опять за порог с переполненной лоханью, на погребницу за капустой или в горницу, к лампаде, за огоньком.

— А сороки — это чево?

— Это когда со всех деревень в урёму слетятся сорок сороков сорок да почнут гнезда ладить.

— А урёма — это чево?

— Лесная чащоба, которую весной половодьем заливают. Урёма, стало быть...

— Дак и чево?

— Ну, слетятся, почнут хлопотать свои хлопоты. Бывалая сорока — та прежний свой домик принимается прихорашивать, а которая впервой — той приходится новый заводить. Сорочье гнездо — не так себе, а затейливое. На него много надо палочек. Сорок прутиков — это токмо на донце, два раза по сорок — на застенки, да еще сорок — на кровлю, чтоб невзгода не досаждала. Сорочин палочки носит, а сорочица их кладет, тот принесет — та положит, опять принесет — опять положит. Эдак с утра до вечера. Толечки заря наклюнется, а они уже за свое. И вот тебе затопорщится по болотным гривам, на недоступных деревьях, в калиновой чаще сколь пар сорок, столь и птичьих починков.

— И чево?

— Как это — чево? Вылупятся сорочата, начнут на весь свет сорочить, есть просить — вот тебе и весна! Птичья забота.

— А кулики — чево?

— А кулики, знай себе, полетят. Каждый кулик со своей куличихой. В одну ночь сорок да в другую сорок, да еще сорок. Сколь пар, столь надобно и кулижек. Пи-и-ти — пить! — эдак они с дороги просят. Издалека, поди, летели, уж намахались-то! Присядут на песочек, засунут в тинку сорок пар носов, напьются вдосталь и давай дудеть, выдувать пузыри: бу да бу, бу да бу! И оттого у них, у куликов, своя весна получается, свои хлопоты. А от птичьей весны и нам чего ни то перепадет — хлопот и веселья.

По бабушкиным счетам до сороков оставалось еще два дня, а мне хотелось, чтобы все делалось сразу, и потому время мне короталось в томлении, похожем на скрытое недомогание. Все эти дни дедушки Алексея не было дома, с ранним светом он уходил к мужикам на деревню смолить чью-то лодку, приходил потемну, от него дегтярно разило варом, а от усов пахло водкой и сырым головчатым луком. Он ершил мою сонную голову, цокал нескладным языком и шел спать на поостывшую печь.

Бабушка, опасаясь, что я непременно залезу в мокреть и замочу ноги, не выпускала меня за порог, и я, скучный, готовый реветь, весь остатный день обретался дома, отыскивая себе сколько-ни-

будь подходящие шкоды. Больше всего я торчал у окна, примечая внешние перемены. Бабушка ставила передо мной блюдо с зеленым конопляным маслом, посыпанным солью, возле клала ржаной ломоть — для моей занятости, а сама, набросив на плечи ватную одежку, в который уже раз шла кликать, заманивать в сени гусыню по прозвищу Матвевна, или просто Мотя, чтобы посадить ее на гнездо. Матвевна — серая, дородная, медлительная гусыня, вдруг засвоевольничала, не хотела вылезать из большой замоины перед избой и вместе с соседскими гусями в гомоне и перебранке истово макалась в набрякшую снежную кашу, наплескивала на себя воду изворотами шеи и, довольная, вскидывалась на пунцовых ногах, восторженно простирая крылья, как бы просушивая их на хватком весеннем сквозняке.

От кухонного окна я перебирался вместе с хлебом и блюдцем к окнам безлюдной горницы, где в сумеречном углу перед невнятно мерцавшими образами разновеликих икон ровно, без вздрагиваний и колебаний, процеженный и хранимый синим стеклом лампы, блекло мерещился голубоватый пламенек, вызывавший у меня, непосвященного, трепетную робость и желание поскорее пройти мимо. И ничуть не перечая этой смиренной горничной тишине и отрешенному свечению негасимо бдящего камелька, бойко, озабоченно маятили ходики, пересчитывая и распределяя секунды: «туда-зюда, туда-зюда...», металлически подскаргыкивая, вернее, подзюкивая на правом качке.

Эти ходики считались единовластной собственностью дедушки Алексея. Всем остальным раз и навсегда воспрещалось к ним прикасаться. Он единственный во всем доме и даже в деревенском роду имел право подтягивать гирю, запускать маятник, двигать стрелками, поверяя их верность ходом харьковского экспресса, ровно в полдень громыхавшего по гулкому чугунному мосту в трех верстах от деревни и полнившего заречный лес раскатистым ревом, многократ повторенным дубравным эхом.

Ходики были приобретены в самый расцвет нэпа на одной из многочисленных тогдашних ярмарок, ломившихся от изобилия еды и добра, и сами имели весьма веселый, «процветающий» вид, который придавала им лицевая цифирьная доска, окрашенная белой эмалью с разбросом по ней синих васильков.

Перед каким-либо большим праздником, когда бабушка Варя устраивала вселенскую стирку, выскребку горшков, чугушков, черепух и черепушек, кислым тестом обмазывала оба самовара — чайный и постирушный, а потом драила их шерстяной рукавичкой, дедушка Алексей тоже ввязывался в уборку: снимал с гвоздя свои ходики и шел с ними к горничному столу, всегда заправленному скатертью. Там он отдергивал ситцевую занавеску, чтобы было виднее, и, надев очки в тонкой проволочной оправе, каковые на-

шивал Добролюбов, и напустив на себя значимости и чина, принимался обстоятельно изучать часовой механизм, время от времени дотрагиваясь ногтем до какого-либо колесика или винтика, пробуя их на долговечность. Не найдя, что следовало бы исправить, дедушка доставал запрятанное на божнице специальное гусиное перышко, на котором оперенье в виде лопаточки было оставлено лишь на самом конце ости, макал им в пузырек с деревянным маслом и дотрагивался прозрачной капелькой до всех причинных мест в механизме, где происходило какое-либо верчение, качание или иная полезная работа.

— Ну, теперь будем ждать харьковца, — удовлетворенно говорил дедушка, водворяя часы на прежний гвоздь.

Из двух горничных окошек виделась близкая река. Она грозно вздыбилась поднятым льдом с долгими зияющими разломами. Ледовое поле отделилось от берега сплошной черной полыньей, которая исподволь, день ото дня скрадывала береговую отлогость и уже подступила к нижним огородам, подтопила плетни, капустные гряды с торчащими кочерыгами, и было видно, как межгрядные тропы уходили прямо в темную глубину.

— Не сёдня-завтра вода сорвет лед, — говорила бабушка. — Того гляди, поперет во дворы...

— И чево?

— А тово! На печи будем сидеть...

В горнице я не задерживался подолгу: быстро наскучивали пустынная затаенность реки, неуют протаявших берегов, и я опять возвращался на кухню, откуда по ту сторону затопленной излоги виделось несколько деревенских дворов. Там всегда находилось что-либо живое. Вон в затишке у забора под надзором осанистого, в золоченых позументах петуха копошились куры, дружно, всей артелью выгребали что-то из-под куста, взмелькивая желтыми голеньями. По тесовой крыше соседнего сарая, по самому ее гребню, поддерживая равновесие отвесно задраным распушённым хвостом, пробирался тетки Затеихи рыжий котище. Он воровато озирался, надолго замирал в неловкой позе, должно быть, мня, будто его никто не видит, тогда как этот ворох огненной шерсти с белой помаркой на носу уже давно приметили все окрестные воробьи, и даже мне издали было видно, что крадется к скворешне неисправимый пройдоха и плут. Сама же тетка Затеиха в тени сарая, на синем куске оставшегося снега, налегке, с оголенными до плеч руками, истово, будто провинившегося, колотила веником полосатый половичок. А у воды толпились пацаны, краснолице гаддели, меряли заберегу шестами, пускали скачущие «блинцы»... И время от времени все летели и летели на ту сторону, в лесное заречье, взмелькивали белым, будто вспыхивали при каждом взмахе, долгохвостые сороки.

Иногда перед окном, когда я ел свой хлеб, появлялся дедушкин пес Сысой — неловкий лопоухий увалень желтоватого телячьего окраса. Ему было всего только семь не то восемь месяцев, а он уже сшибал с меня шапку дружеским помахиванием хвоста. Дедушка Алексей под веселую руку привез его от знакомого лесничего как гончего щенка. Ружья, однако, у дедушки не имелось и никогда не было, тем паче что к зайцам из-за торчащих желтых резцов он относился с брезгливой опаской и сроду не ел их мяса. Для чего понадобился дедушке именно гончак, начисто не способный что-либо охранять по двору, никто не знал, да и сам дедушка тоже.

— А-а, ладно! — Он с добродушной виной махал от себя ладонью, будто кого-то отпихивал, и, смеясь, разрешал все недоумения. — Пускай себе бегают...

Сысой глядел на меня, склоняя свою огромную голову с ложбинкой посередине из стороны в сторону, обвисая то правым ухом, то левым, нетерпеливо пританцовывал передними лапами или же присаживался на зад и скреб жесткой когтистой пятерней дощатую завалинку. Глаза у него тоже тяжелые, теплые, совсем как у бабушки Вари, в них не было ни капешки злости, а лишь открытый и ясный свет доверчивой души щенка, верящего, как и все мы, что он рожден для счастья и все ему друзья, а еще — желание пообщаться, дружески лизнуть щеку. Над каждым его глазом бугрилась темная родинка с пучком длинных волос, время от времени он вздергивал эти родинки, удивленно морщил лоб, будто недоумевал, почему я, его лучший друг, не отвечаю... И как бы испробовав все способы пробудить мое внимание, приоткрывал алую, истекающую слюной пасть, встряхивал оборками щек, коротко и резко выдыхал: «Дай!»

А как я мог дать, если был отгорожен двойной оконной рамой? Хлеб я уже доел, осталось только немного масла на самом донце блюдечка, которое я пытался собрать согнутым пальцем. Давать было нечего, и я замахнулся на Сысою, пробормотав слышанное от взрослых: «Бог подаст!»

Сысой не понял и еще раз встрянул брылами: «Дай!»

— Сказано, нету-у! — осерчал я и повернул к нему пустое блюдо. — Видишь, нету ничего? Какой беспонятный!

— С кем это ты балакаешь? — В дверях горницы появилась бабушка Варя.

— Да вон... вытаращился... Лапой скребет...

— А-а, Сысойка! Щас, щас я ему щец вчорошних... А то, говорят, нехорошо, ежели собака так-то глядит да в свое окно лается...

— А чево — нехорошо?

— Говорят, не к добру это... Будто к неурожаю, к бесхлебице...

Поди, и верно это: на другой год бабушка уже не выдергивала лебеду у плетня да по-за сараем, а берегла ее и даже поливала — в хлеб добавлять. Это — в тысяча девятьсот тридцать втором...

И еще она сказывала, будто перед самой войной точно так же скребся в окно Сысой, уже взрослой собакой, с понятием... Вынесли ему похлебать, а он только понюхал, но есть не стал и сизнова принялся скрести под окном завалинку.

А после войны, в самый раз на День Победы, увидел Сысой в открытом окне дедушку Алексея, сел перед ним и завыл, срываясь, иссякшим голосом. А вскоре сбежал со двора и больше не вернулся... В том же году по осени ушел из дому и дедушка Алексей — просить милостыню...

В самый канун сороков я проснулся среди ночи от ощущения неуютта, как если бы со мной что-то случилось. Провел языком по тому месту, где еще днем телепался передний зуб, но язык беспрпятственно провалился в ужасающую пустоту. Казалось, что дыра простиралась от уха до уха, будто настежь распахнутые ворота. Большого унижения я никогда прежде не испытывал. Я почувствовал себя таким несчастным, что, отрешившись от всего, одинокий и жалкий, ткнулся ничком в подушку и заревел. Это была моя первая серьезная потеря, ринувшая меня в бездну предчувствия собственной бренности.

— Што ты? Што ты? — сонной торопью отозвалась из своего угла бабушка.

Я продолжал гундеть в подушку, дергаться оголенными плечами.

Бабушка свесила босые ноги с лежанки:

— Иду, голубь мой! Иду...

В просторной полотняной рубахе с выпавшим на грудь крестиком она присела на край моего топчана.

— Приснилось чево?

— Да-а! — заревел я опять, на этот раз обидевшись на бабушку, на ее непонятливость, и сердито вытрубил: — Зу-у-б!

— Ах ты, мой голубчик белый! — Бабушка шершаво огладила мое плечо. — Ну, будя, будя... Юре твое не горькое. Зубки еще нарастут... Уж не проглотил ли часом?

Она запустила под меня руку, провела ею по простыне и радостно объявила:

— Ан вот он, зубок-то! Нашелся! Махонький, как зернышко! Как пошаничка! На-кось, взгляни!

Глядеть на свой зуб я брезгливо не захотел, и бабушка сказала:

— А вот мы ево щас под печку забросим...

Придерживая щепотью долгую ночную рубаху, она прытко, бо-соного прошлепала в кухню, тускло озаренную каганцом на при-печке, что-то там пробубнила, черной тенью отражаясь в простен-ке, и вернулась веселая:

— Ну вот, отдала зубок... Подарочек сделала...

— Кому? — не понял я.

— А старичку-домовичку, што в подпечи живет... На тебе, говорю, зуб старый, а ты нам за то дашь новый. Зубок новый, каленый, стойчей злата, прочней булата. Не будешь ослушником — дак и даст...

— А он — кто?

— Дак старичок, говорю. Этакой, меньше пальца. Но не гляди, што мал, зато серди-и-ит бывает! Коль не уважишь. Ежли што не так, ни за што печь не истопишь. Будет дымить, глаза выест. Топишь, топишь — а картошка в чугушке сырьем грохтит... Потому как огонь без силы: руки в него сунешь — и хоть бы што... Это когда он рассерчает... А ежли уважишь — ну, тогда и хлеб спечется на славу, и каша духовита да рассыпчата... Вот завтра увидим, когда куликов начнем печь... Доволен ли твоим зубом?..

Прикорнув рядом, бабушка Варя еще долго наговаривала что-то, ее негромкие, шелестящие слова лились обволакивающей струйкой, размягчая тело, затуманивая мысли, и я покатился, покатился было куда-то в заполненное теплой тишиной пристанище, как вдруг в покинутом мной мире раздался резкий и жесткий вскрик, от которого я вздрогнул, напрягся тревогой.

— Ба-а! — позвал я, потянувшись рукой.

— Вот она я, вот она... — обняла меня бабушка.

— Это — чево? Чево кричало?

— Дак это Матвевна... Спи давай, спи...

— Какая Матвевна? — начисто запамятовал я.

— Да гусыня наша, Мотька! Никак не угомонится, оглашенная. Только сѣдни на гнездо посадила. Под лавкой в лукошке сидит. Ишь как гагакнула, аж ведра зазвенели.

— Чево ей?

— Гусей чуе. Теперь там в темноте дикие гуси летят. Переговариваются между собой, штоб не потеряться. Я не слышу отсюда, из хаты, а Мотя слышит. И как гомонят на лету, и как крыльями посвистывают. Ей ведь тоже с ними охота. Все воли хотят, да каждого свое бремя держит...

— Ке-ге-х! — опять призывно, остро, со стальной звонцой вскрикнула Мотя, и желтый косячок ночника на выступе печи закачался ответно.

Проснулся я поздно, разморенно, с ленью во всем теле и не сразу вспомнил, какой ныне день. А вспомнив, подскочил как подстегнутый, спрыгнул с топчана и кинулся к горничным окнам в предвкушении увидеть что-то необыкновенное, что ожидалось все эти дни. Но за окном клубился серый туман, заполнивший все пространство будничностью и скукой. Порой его ватные рулоны подкатывались к самой избе, отчего в горнице делалось сумеречно, как в зимнюю вьюгу. И только когда мятущиеся клубы отступали вспять и туманная толща редела, обозначая просветленные разводы, по

скоротечному золоченому сиянию в них угадывалось, что где-то в заречье, по-над лесом уже воспряло солнце и принялось за свои неотложные дела.

За космами тумана я не сразу заметил устрашающую близость полый воды. Зловеще темная под сизой наволочью, она уже не подбиралась вкрадчиво, а, вся в разводах пенных завитков и воронок, истово, напористо мчалась в нескольких шагах от завалинки, так что я поначалу даже отпрянул, устрашась этой ее близости.

— Видал, чево деется? — окликнула меня бабушка, громыхтевшая на кухне утварью. — Не упомяну такой воды. А теперь вот туман доест последний снежок — того боле прибавит. Хоть берись вязать узлы да на чердак стаскивать... А дедка наш и не ночевал ноне. Все чужие лодки смолит. А своя небось щелястая...

В избе было натоплено, половицы ласково теплили босые ноги, сама же печь, уже прикрытая заслонкой, умиротворенно, вся в знойной истоме, еще издали двошила сухим крепким жаром, источая дух каленых кирпичей с пряной примесью ржаного хлеба.

Вид большой деревенской дёжи, уже опорожненной, заляпанной остатками теста, и это живое обволакивающее дыхание истопленной печи вернули мне чувство праздничной необыкновенности. И в то же время холодом полоснуло при мысли, что все уже состоялось без меня, что самое главное я проспал...

— А где кулики? — поспешил я выяснить в испуге.

— Ишо и не думала, — обидно сообщила бабушка.

— Как не думала? — враз разлюбил я ее. — Ты же говорила.

— Ну да не пришел черед. Сперва хлеб надобно. Буден день правит всякий праздник. В будни не поешь, дак и в святой день калачом не наешься. Вот токмо хлебушко посадила, помогай Господь. Ну-ка, семь ковриг вымесить: две взаймы брато, еще две — тоже не себе, остальные — наши. Это же кажную вынянчить да огладить, да на под высадить... Жаркая это затея, небось кувшин квасу испила... Так што, голубь мой, за куликов ишо не бралась. Вот передохну маненько, да и примемся с тобой за свистульки.

Бабушка присела на лавку, сложила в колени расслабленные руки с грубыми, онемело замершими пальцами, и я, глядя на них, тайно удивлялся, как можно такими корявыми пальцами что-либо вылепить из непослушного теста.

И уже убрав со стола все лишнее, выскребя ножом столешницу и высевая пшеничную муку тонким волосяным ситом, она наговаривала мне, восторженно следившему за каждым ее действием:

— Кулик — это тебе не то да се да энто самое... Ево из хлебного остатка, из одольев не вот-то скварнакаешь. Сиволапый получится. Кулик — он ба-а-а-рин. Штоб лепился-то ладно да послаже был... Вот берегла запасец на случай хвори, избавь, Матерь Божья, ну да ладно, коли слово дала.

Ситечко, величиной с обеденную тарелку, часто, монотонно мелькало в ее руках. Бабушка удерживала посудинку одними только пальцами, тогда как сами ладони оставались свободными, которыми она и подталкивала лубяной обод то вправо, то влево и так часто, что казалось, будто это вовсе не сито, а веселый плясовой бубен в ее оживших руках: та-ти, та-ти, та-ти, та-ти...

Белый ворошок просеянной муки постепенно нарастал на середине стола, мучная пороша тонко рассеивалась вокруг. Я выставил указательный палец и провел по столешнице произвольную зигзагу.

— Эт ты чево нахудожничал?

— Так просто...

— Уж большой просто так пальцем водить, — осуждающе сказала бабушка.

— А как? — я не понял строгости в ее голосе.

— Ты давай учись буквы писать. Знаешь буквы?

— Н-не-к...

— Вот тебе раз! Выходит, я — темень и ты не больно-то грамотей.

Бабушка стерла ладонью мою прежнюю загогулину и на том месте подсеяла свежей муки.

— Вот и давай... И бумаги не надо, и карандаш при тебе.

Я этим самым карандашом почесал в раздумье макушку.

— «Аз» знаешь?

— Это чево?

— Буква такая. Самая первая.

— Н-не-к...

— Пиши палочку.

Одолевая робость, я неуверенно выставил указательный палец, тогда как остальные собрал в кулак. Поразмыслив, как писать: по-вдоль или поперек? — я наконец решился, опустил подушечку пальца в нетронутую мучную целину и потянул на себя, образуя первую, не очень ровную линию для будущей своей науки.

— Так! — одобрила бабушка. — Теперича энту самую орясину да подопри другой... Чтобы та не упала. Понял как?

— Угу-у! — готовно кивнул я, сообразив, что от меня надобно.

— Подпер?

— Ага-а!

— Так. А теперича прибай между ними посередине тесовину. Одним гвоздем прибай к левому столбу, а другим — к правому.

— Готово! — кивал я азартно, принимая бабушкину игру и в гвозди и в молоток...

— Ну, вот тебе и «аз»! — она перестала нашлапывать сито и оглядела меня с пристрастием. — Запомнил?

— Ага! — поспешил я заверить, и это была правда: бабушкиного мучного аза, самую первую букву моих долгих дальнейших университетов, я запомнил навсегда.

— А теперича пиши «буки»...

— Где писать?

— Рядком и пиши, сперва «аз», потом «буки»...

На «глаголе» — этом суровом аскетическом знаке, всегда потом казавшемся мне орудием Голгофы или Аппиевой дороги, у бабушки закончилась белая мука, и мое учение само собой оборвалось. Я сбегал в горницу взглянуть, оставалась ли вода в прежней поре или еще ближе подобралась к дому. Бабушка же принялась подмешивать в дёже остатное от хлеба тесто, после чего выложила колоб на стол и заходила по нему обоими кулаками, ловко, со шлепками подтетешкивая и подминая один край под другой.

Но вот тесто готово, бабушка нащипала от него несколько комков, затем, все так же неуловимо мелькая и шелестя ладошками, бесформенные комья превратила в аккуратные яблочки, которые, в свою очередь приклепнув на столе, раскатала в удлинённые лепешки, похожие на подошвы — носочек пошире, пяточка поуже. На широкой части подошвы бабушка сделала несколько просечек ножом, обозначивших перья распушенного хвоста, такие бывают у голубей, когда они парят на одном месте. Два боковых отростка, там, где должна быть талия, один справа, другой слева, она отогнула на спину, уложила друг на друга и в этом месте пальцем сделала вмятину — получились как бы сложенные на спине крылья. Узкую же часть подошвы бабушка приподняла кверху, отчего птица тотчас вскинула шею и насторожилась, после чего ловкими, быстрыми щипками она обрамила птичью головку узорчатым кокошником, а двуперстиями каждой руки одновременно оттянула и округлила немного теста, так что у кулика получилось сразу два носа — один спереди, как и положено, а другой — на затылке, вроде как запасной.

— У-ух! — шумным выдохом подытожила бабушка и бережно приподняла на руке кулика. — Ну, здравствуй!

И что-то еще поправив на фигурке, сказала:

— Сбегай-ка в сени, там калина висит, глаза сделаем...

— Ух ты! — еще больше завосхищался я, и, как был босый, вышмыгнул в дверь.

От вставленных на месте глаз калиновых ягод кулик и вовсе ожил, воспрял каким-то азартом бытия, словно был готов вскочить на лапки, побежать спорыми строчками, затрепетать крыльями, а то и запустить один из носов в миску с водой и протрубить свою весну. Ах, как мне не терпелось схватить птицу и помчаться с ней куда-нибудь на волю, на теплые проталины!

Тем временем бабушка принялась за следующего кулика, а я, опершись о стол подбородком, очарованно созерцал только что родившуюся птицу, полонившую мое воображение.

Единственное, что не очень нравилось мне в кулике, — это два его клюва. Как так? Почему? — недоумевал я и робко поведал бабушке о ее ошибке.

— Неуж? — удивилась она весело, уже живя праздником, родившимся от работы, от чудотворности ее рук.

— А вот смотри: один нос тут, а другой тут, — указал я на оба клюва.

— Какой приметливый! — восхитилась бабушка. — А я дак и без внимания. Леплю да леплю. Этак вроде ладнее: щипнул-крутнул и — на тебе.

— Так неправильно! — убежденно уличал я искусство во святой лжи.

— Матушка моя этак лепила и ее матушка... Спокон веку.

— Ну неправильно же! — горячился я.

— И пусть себе... — благодушествовала бабушка. — Лишнего не склюет...

— Ну ба-а! — совсем заобижался я оттого, что не хотели понять очевидное. — Ведь так не бы-ва-е-ет!

— А как, голубь мой?

— Все птицы должны быть с одним носом! — провозгласил я истину, обязательную для всех.

— Ну, ладно, ладно, — закивала она согласно. — Ты уж прости меня, глупую. Все так делали, и я так... Это ж все для веселья, для праздника.

И, приподняв на ладони еще одного готового кулика, запричитала напевно:

*Куличок-веснячок!
На тебе зиму,
А нам лето!
На тебе сани,
А нам телегу!*

Голос у бабушки тонкий, паутинчатый, с переливной звенью, пела она не шевеля губами, отчего казалось, будто пение помимо нее возникало из самой тишины. Особенно любил я слушать ее пение, когда она строчила на своем «Зингере»: ее негромкая звонца вкрадчиво переплетала мерный шелест швейного челнока.

*Кулики куликали.
На кугиклах пикали.
Пикали, пикали,
Красну весну кликали.*

Бабушка тронула меня за плечо: «Давай, запоминай, прилаживайся» — и продолжила закликать Весну:

*Ты приди, красна девица,
Дай из рук твоих напиться.
Наконец пришла пора хлеба!*

Взглянув на ходики, бабушка Варя всплеснула руками: «Ох, заигралась я!» Она даже переменилась в лице, посерьезнела, губы сдернула суровым шнурком и не проронила ни единого слова до самого конца хлебного дела. А дело было такое. Из вороха рогачей и ухватов бабушка выбрала нужное орудие — большую кочергу на долгом древке и, повернувшись к Николе, осенила себя знамением, словно собиралась предстать не перед печным устьем, а пред огненной пастью самого Змея Ёрыныча. Еще раз мелко покрестив пазуху, она решительно потянула на себя заслонку, следом за которой хлынула волна крутого жара. В черном печном нутре завиднелись глянцевитые маковки тучных ржанных ковриг, и в нос ударило помрачающим бражным хлебным духом.

Крюком кочерги бабушка подцепила крайнюю ковригу, вытащив ее на загнетку, поворочала туда-сюда, похлопывала и вдруг припала к ней лицом — оказывается, затем, чтобы определить, удалась ли выпечка. Если нос терпит, стало быть, хлеб не клёклый и уже не содержит избытка обжигающего пара. Теперь ковриги можно смело извлекать из печи, раскладывать по свободной деревянной лавке, с чистого гусиного крыла побрызгать водицей, чтобы смягчить корочку, накрыть холщовыми рушником, после чего оставить хлебушко благостно отдыхать и вызреть окончательно, набираться силы, сладости и смаку. Хорошо, говорила бабушка Варя, ежели бы при этом не топали ногами, не грохали топором, не хлопали дверью, не устраивали сквозняков и вообще лучше, ежели дверь притворить и хлеб оставить наедине, без посторонних. Потому как от всяких помех хлеб никнет и мрет, как ушибленная душа.

— Ну, слава те... — выдохнула бабушка. Она обникла на лавке рядом с хлебными кругляшами, разбросала снова ставшие ненужными руки, недвижно уставилась долу и вдруг воспрянула, воссияла, как прежде: — Чево я сижу, непутевая?! Чево дожидаюся! Покамест ослабнет? Пора куликов румянить!

Бабушкина юбка опять заволнобродила по кухне, и поди, через полчаса одна из свежееиспеченных птах уже была в моих руках. С рубиновыми глазами из калины, сиявшими пуще, чем прежде, весь еще хрупкий, неотвердевший, пламенный, куличок радостно обжигал пальцы, и я перебрасывал его шершавое ореховое тельце с вкусными подпалинами на боках с ладони на ладонь, терпя жар, ликуя и пролепetyвая бабушкино присловье:

*Куличок-веснячок!
На тебе зиму,
А нам лето!*

Я сразу полюбил его, проникся родством и соучастием в вешнем таинстве, напрочь забыв, что у него два носа, не положенных одному едоку. И мы помчались по избе отыскивать благодать. За-

летели в горницу, где все так же озабоченно прихрамывали ходики с жестяной гирькой, внутрь которой было что-то насыпано. В простенке на одиноком гвозде висели черные ножницы, похожие на присевшую передохнуть острокрылую ласточку-касатку. Бабушка кроила ими косячки для лоскутного одеяла, а дедушка Алексей под праздники обравнивал себе бороду, выворачивая глаза, будто его конек Мальчик в упряжке, косо заглядывая в квадратик зеркальца, зажато в большой разлатой ладони, и неловко, криволапо, чаще всего мимо чвыркая стальными крыловидными лезвиями.

Мы присели на сундук, застеленный грубой домотканой попоной, ярко игравшей сочетанием черно-белых полос и красных, зеленых и голубых квадратов между ними. Для обители мы выбрали себе зеленое и голубое, потому что зеленое означало долгожданную зеленую травку, а голубое — чистую светлую воду, заречное Линево озеро, где, по правде, я и сам еще ни разу не был, а только слышивал...

Потом перепорхнули на окно, где действительно уже воцарилось лето, потому что там росли настоящие живые цветы, бабушкины фуксии. С подпирающими лесенками из сосновых лучинок, с синими китайскими фонариками самих цветов, выстланными изнутри чем-то розовым, нежным, сияющим, отчего казалось, будто там, внутри, и в самом деле горели, светились маленькие восковые свечи.

А за окном празднично сияло солнце. Оно наконец-то одолело туман и вовсю голубило небо и воду, слепяще взблескивая на оторочках облаков, клочьях уцелевшего снега, на изломах мимо проносящихся льдин и чешуйчатой ряби под вешним ветром. И не удержалась душа:

— Ба-а! А ба-а! Ладно, я на улицу?..

— Не выдумывай! — решительно отвергла бабушка.

— Ну ладно?..

— Знаю я тебя: враз по гузку залезешь.

К бабушке я приехал во всем зимнем, а главное — в валенках. Кто же знал, что «Хведот» потопнет у ворот...

— Ну ба-а?..

— Токмо штоб с крыльца ни-ни-ни!..

...Не бывает на свете стран слаще крыльца отчего дома вешней порой!

Двор неистово сверкал бесчисленными бриллиантами, вытяжавшими из подзаборных снегов. С огородов на улицу сквозь щелястый плетень мчался гомонливый поток, полный такого же неудержимого живого сверкания.

С навеса над крыльцом, из водоотводного ковшика бегло, спеша успеть, срывалась бесконечными четками слепящая капель и била, била в выдолбленную ледышку у порога. Само же крыльцо,

залитое солнцем, курилось ленивым парком, и от подсыхающих досок невнятно веяло солодовым запахом ивовой колоды.

*Ты приди, краса-девица,
Дай из рук твоих напиться! —*

завопил я от крыльца от невозможности молчать и воздел кулика к солнцу. — О-й-о-й-о-ё!

Видимо, услышав мое истинно языческое обращение к небесам, с теплой погребницы поднялся и, потянувшись, вякнув пустым нутром, прямо по всем этим хрусталам и алмазам, кроша зыбкие сверкающие мироздания огромными когтистыми лапами, ко мне побрел вялый, заспанный Сысой, вовсе не подозревавший, что сегодня такой необыкновенный день. Впрочем, на середине двора он что-то заподозрил, поводил башкой и, уставясь на трубу, откуда, должно быть, все еще тянуло печевом, долго, старательно нюхал воздух, шевеля мокрой нащепкой носа, время от времени медленно приоткрывая пасть и как бы перекладывая бесполезные челюсти в более удобное положение.

В чем-то убедившись, Сысой присел прямо в отраженное солнце, почесал задней лапой за обвислым ухом, после чего пошлепал ко мне беспечной развалочкой, еще издали завиляв хвостом. И чем ближе подходил он, тем вилял все ретивей, так что перед самым порогом принялся вихлять и всем задом.

— Привет! — сказал я ему горделиво с высоты крыльца.

Тот еще больше завихлялся и, льстиво прижимая уши, ткнулся в мой живот, потом осторожно, деликатно понюхал кулика в моей руке.

— Нельзя! — сказал я неодобрительно.

Сысой неохотно отстранился и уставился на мою руку, не сводя с нее теплых подсолнечных глаз с черными бусинками зрачков. Но не утерпел и опять потянулся мордой.

— Не лезь, дурак! — я спрятал кулика за спину.

Сысой передними лапами заступил на крыльцо и заглянул за мою спину.

— Говорю, не лезь! — повысил я голос, с трудом отворачивая прочь голову Сысою.

Сысой нехотя попятился с крыльца и, усевшись напротив, нетерпеливо, вожаденно лизнул свой пупырчатый нос длинным и мокрым языком.

— Дай! — произнес он не очень уверенно.

— Не дам! — решительно отказал я. — Его не едят. С ним играют. Он нам лето принесет! Травку и теплое солнышко!

— Дай хоть понюхать... — ерзнул задом Сысой.

— Сказано, не дам! Иди, дурак, если простых человеческих слов не понимаешь. Был балбес, балбесом и остался.

Сысой вздернул темные шишки над глазами, отчего морда его обрела скорбное выражение, и заглянул мне в глаза внимательным, смущающим взглядом.

— Ба-а! — загунял я, не поняв этого взгляда, и на всякий случай приподнял кулика над своей головой. — Сысой кулика нюхает!

На мою беду Сысой откликнулся мгновенно и решительно: слегка привстав на задних лапах, он дотянулся до кулика и мгновенно сцапал его вместе с моей рукой. Я лишь успел почувствовать жаркий хват влажной пасти и какое-то kloкочущее всасывание воздуха, а когда Сысой снова опустился на прежнее место, кулика как не бывало. А главное, на моей обслюнявленной ладони, только что побывавшей между ослепительно белыми зубами, я не увидел ни единой царапины. Оторопело, не в состоянии ничего промолвить, я глядел то на свою руку, то на Сысою, а он, обмахнув себя долгим пламенным язычком, удовлетворенно переступил передними лапами и добродушно заухмылялся во всю свою безразмерную пасть, как бы подводя общий итог нашим препирательствам: «Ну вот! Теперь все справедливо: сам есть не хочешь — отдай другому».

И тут меня прорвало. Я заревел — заревел некрасиво, каким-то утробным ревом на самых низких басовых и сиплых нотах — так мне сделалось обидно от этой неожиданной выходки Сысои, от грубого его насилия.

На крыльцо выбежала встревоженная бабушка, принялась тербить меня расспросами.

— Да-а-а... — ревел я. — Сы-со-о-ой...

— Сысой? Укусил?! Покажи где...

— Кулика съе-е-ел...

— Ах ты, проклятуций! — Бабушка схватила в сенях метлу.

Сысой взвизгнул по-щенячьи и, подобрав хвост, опрометью рванул в огороды.

— Вот я т-тя! Наказание на нашу голову! — Бабушка гневно постучала комлем метлы о порог. — Попадись мне! Никак не наглотаешься! Я ж токмо те картоху отдала. Да сам к поросенку залез, мешанину полопал... Какова ишо рожна?

Сысой, спрятавшись за плетень, опасно заглядывал в дырку, виновато, понуро слушал попреки.

— Ну, будя, будя... — Бабушка щепотью цапнула за мой мокрый нос и повела в избу.

— Мэ-э... — ревел я бычком.

— Не плачь: я те другова кулика дам... Ну хочешь, я кулика вареньем намажу?

Я заревел еще пуще, потому что мне нужен был не кулик-еда, а кулик-праздник, которого я полюбил и которого мне было неутешно жалко. Другого кулика я не хотел, даже намазанного вареньем. Но этой своей утраты я тогда объяснить не мог и только отвергал

все бабушкины посулы и увещевания, отказался и от обеда и, забившись под косой столик в красном углу горницы, где располагался киот и горела лампада, горестно оплакивал невосполнимое, что на языке взрослых называлось «не хлебом единым»...

— А вот повой, повой, — ссорилась уже со мной бабушка, утратившая надежду выманить меня из-под стола. — Бог услышит твое вытье и накажет. Ибо сказано: грешен тот, кто плачется о самом себе... Понял?

Дедушка Алексей объявился надвечер, по косому солнцу. Он тут же вытащил меня из-под столика, пяткой ладони отер мое набрякшее лицо и молча усадил есть с ним парящие щи с сушеными опенками. Это сразу сняло все мои напряжения, и я стал ровнее дышать и видеть предметы. Перед тем как почать новую ковригу, он тоже перекрестился в моментной строгости, после чего отрезал добрую зажаристую горбушку, посолил круто, встал и вышел на крыльцо. Я слышал, как он посвистел Сысою, тот обрадованно прибежал, начал визгливо подпрыгивать, но, получив хлеб, сразу же убежал и затих на погребнице.

— Пойдем настоящих куликов смотреть, — сказал дедушка за обедом. Мы ели из одной большой черепушки, каждый со своего края, и когда дедушке попадались черные верткие опята, он перекладывал их в мою неловкую ложку.

Собирал он меня по-своему: запеленал в свой старенький полушубок, опоясал суконным кушаком и в таком шубном, пахнущем овчиной куле отнес на бревна, что лежали у ворот на улице.

Вода наливалась зарей в двух саженьях от бревен. Первым делом дедушка воткнул прутик у ее кромки. Он опасался дальнейшей прибылости и потому принес моток колючей проволоки, топор, битый кувшин с гвоздями и принялся опутывать подо мной бревна, чтобы не растащило половодьем.

— Проволока-то эта еще от Колчака, — говорил дедушка сквозь усы, из которых торчал гвоздь. — Тут ее полно было намотано. Особенно по тому берегу. Токмо ленивый не натаскал. — И засмеялся: — Теперя друг от друга городимся.

Иногда совсем близко проплывала заблудившаяся льдина, и было слышно, как она пахала и скребла дно, сотрясая берег и бревна, на которых я обретался, спеленутый и недвижимый. Я пугался ее близости и сокрытой мощи, и чудилось мне, будто это не просто лед, а огромное животное брело по дну, выставив только спину, грязную, затрушенную соломой и конскими катышами, и я окликал в тревоге:

— Деда-а!

— Тут я, тут...

Дедушка хватал острогу на долгом шесте и, упершись трезубой остью в льдину, отводил ее зад под струю. Течение медленно воротило громадину, сволакивало с мели и, подхватив, уносило прочь.

— Нечево ей тут делать, — провожал льдину глазами дедушка. — От них потом грязь одна...

Прибежал Сысой, похлебал возле воткнутого прутика, полил на него и улегся под бревнами.

Постепенно засумерило, утонул во мгле, истаял тот берег с лесным загривком на краю неба. И чем заметнее угасал день, тем ярче расцветала зоревой позолотой речная гладь с резкими прочерками бегущих льдин, кругами сыгравшей случайной рыбы.

Вот в светоносном вечереющем небе слышался гортанный переклик. Усталые звуки, иссякая, бесследно таяли в просторах безоблачной выси.

— Гуси! — Дедушка восторженно замер, прижав к темени шапку.

Я распахнул пошире полушубок и в просвет ворота увидел долгую вереницу больших тяжелых птиц, бронзово сиявших крыльями на неспешном махе. Должно быть, заведев воду, стая начала разворачиваться, заметно убавляя высоту. Тысячная цепь, все время менявшая очертания, наконец порвалась на две ватаги, и обе, снижаясь порознь — одна все еще бронзовея в закатном трепете зари, другая — уже подернутая мгlistой синью, — перекликались с тревожной озабоченностью, как бы боясь потерять друг друга.

— Уморились... Шутка ли — Расею перелететь! — сочувственно и уважительно сказал дедушка. — Ночлег ищут. Остров али мелкую снежницу на лугу. Вот ведь как у них строго: все лягут без сил, а сторожа будут стоять на часах, тянуть шею, зыркать туда-сюда, пока не сменит свежая вахта. Чтоб никто не подкрался.

— И волк?

— Дак и волк.

— И лисица?

— Куда ж ей, ежели кругом вода...

— А снежница — это чево?

— А это и есть снежная вода. Она хоть и мелкая, а не подойти: шаги далеко слышно.

А между тем река незаметно догорала, невесть когда сошла с нее позолоченная фольга, и вода взялась сизой окалиной, переходящей в бархатную тьму по кутным местам.

На подоконнике горничного окна желтым язычком затеплилась керосиновая лампа. Это бабушка выставила ее подсветить нашему делу.

Но дело уже было закончено, и мы оставались на бревнах просто так, отходя в ночь вместе с окружающим пространством. Мир, погружаясь в темноту, не утихал и даже, казалось, являл свое бытие с новым усердием. Невидимо струилась, всплескивала, тербила затопленные ивняки, звенела льдистой осыпью и где-то тяжело ухала земляными подмывами ночная река, тысячеголосо квохтало, цвикало, утино побрякивало, попискивало мелкой птичьей

бездонное небо, и тихо прорезался, обозначив восток, ясный коготок молодого месяца.

Совсем низко, так, что мне почудилось прохладное опаханье на щеках, пролетели какие-то птицы, и донеслись охватистые взмахи широких крыл: вах, вах, вах, вах...

— Чибиса пошли. — Дедушкин голос почему-то отдалился.

— А чибис — это чево?

В темной утробе полушубка было тепло, дремотно, и я уже не знал, было ли то явью, когда почудилось свыше: «Братцы, туда ли мы летим?» — «Туда, туда!» — «Тут где-то Чевокало живет...» — «Да тут он, тут! Вон окно в его избе светится!..»

Летели кулики...

1995

КТО ТАКИЕ?..

1

Дедушка Алексей ходил куда-то с пешней, вернулся надвечер — оживленный, пахнувший морозом, в белом окладе инея.

— Все! Стало болото! — оповестил он мальчишески радостно. — Лед аж на вершок. Хоть пляши!

— В самый раз к самовару, — ровно, не оборачиваясь, сказала от стола бабушка. — Садись, чайком обогрейся.

— Завтра, говорю, по камыш надо бы... — возвысил голос дедушка, не отходя от порога. — Будем эдак чаевничать, дак и промешкаемся. Всяк того только ждет, чтоб болото схватилось.

Он пересунул на голове вислую баранью шапку, застившую глаза, и вышел обратно в сени, опахнув меня стылым бодрящим предзимьем, повеявшим от его одежды. И оттого, что канавы и лужи сковало льдом и что дедушка пришел весь в инее — и усы, и бахрома его хаджи-муратской шапки, — мне тоже сделалось радостно, как бывает только на праздники.

В оконную продушину было видно, как дедушка выволок из-под навеса салазки, похожие на заправдашние розвальни. Он смастерил их после того, как свел в колхоз свою лошадь. Сперва переживал, с печи не слазил, даже от еды отказывался. Но потом, отмолчавшись, принес из амбара рундучок с инструментом, наострил топор и принялся тесать копылки, ладить полозья — точь-в-точь как у настоящих саней, только все поменьше, полегче, словно бы для маленькой лошадки. Этой лошадкой и становился сам дедушка Алексей, впрягаясь в санки по разным дворовым надобностям: то по воду, то по хворост в заречную кулигу...

В салазки он положил топор, мотки веревки и уже в сумеречном полусвете, усевшись верхом на козелки, взялся отбивать косу.

Пройдясь по лезвию еще и оселком, он уложил косу вдоль древка, обмотал мешком и тоже упрятал в санки.

Потом дедушка, измятый морозом, испариной, дорогой, неспешно, отдыхая, ужинал, зачерпывал деревянной ложкой капустные щи с грибами, а я все вертелся поблизости, томимый неизвестностью: возьмет ли он меня на болото завтра или не возьмет. Спросить напрямую я не решался, боясь получить такой же прямой отказ, а так хоть теплилась надежда, что он все же заметит мою неприкаянность и скажет, смягчаясь: «Ну, ладно, что с тобой делать...» Но дедушка не замечал...

Проснулся я от какого-то беспокойства, докучавшего всю ночь, и, едва открыл глаза, как сразу же испугался, что все проспал. Отбросив одеяло, я подскочил, как ванька-встанька. В проеме кухонной двери оранжево метался отсвет, а на дальней озаренной стене время от времени промелькивала угловая тень: это бабушка уже растопила печь и орудовала рогаками, переставляя и пододвигая к огню горшки и чутунки. Но дедушки не было ни слышно, ни видно. «Уехал!» — похолодел я и, босый и голопопый, испуганно выбежал на кухонный свет.

— Гляди-ка! Воробей из-под застрехи! На огонь залетел! — восклицал, заудивлялся дедушка. Он сидел на припечке и в неверном свете пылающей печи пришивал к полушубку пуговицу.

— Пошто в этакую-то рань? Еще и петухи, поди, не кукарекали, а он уже — здрасьте вам. А-а?

Вместо ответа я залетел прямо на распластанный по коленям овчинный кожух и обхватил дедушку за шею.

— Ты чегой-то, чего?! — Дедушка отвел в сторону руку с иглой. — Все мое шитье перебил. А ежели б укололся? Или чего нехорошее приснилось? Гляди, волосенки все мокрые, не иначе как напугался.

— Возьми меня с собой! — жарким, захлебывающимся шепотом выпалил я свою истому. — Возьми, деда!

— Ох ты! — изумился дедушка, силясь разъять мои обвитые руки. — Как это — возьми? Небось не крендель: в карман не положишь.

— Я сам... сам побегу.. своими ногами, — лепетал я в дедушкину бороду. — Ну деда — а!

— Дак это, голубь ты мой, не ближний свет. Это — эвон куда, аж на Буканово болото. Никаких твоих ног не хватит.

— Хватит! — уверял я.

— Ой ли! Это ж туда да таким же порядком обратно. А обратно не с пустыми руками. Ну-ка, раскинь умной головой.

— Ну деда-а... — затряс я дедушку обеими руками.

— Куда это? Куда? — прослышала бабушка.

— Да вот, сорви-голова на болото просится.

— Еще чего! Какое болото? — слышалось из-за печи. — Вот и кошка на мороз лижется, заднюю лапу задирает. А ты — на болото...

Все мои доводы кончились, и я заревел.

— Ну вот... — смутился дедушка. — Ну будя, будя!

Сквозь слезы я смотрел на кошку, которая, сидя на лавке, старательно вылизывала себе брюхо, прямо высоко выставив из-за уха заднюю лапку.

— Да-а-а... — озлился я на кошку, подтверждавшую какую-то неприятную для меня истину, и это короткое «да» исходило из меня столь нескончаемо и беспросветно, что дедушка еще больше смутился и, огладив мои взъерошенные волосы, заговорил нетвердо:

— Ну ладно, ладно... Что с тобой делать... Ну ша, ша, говорю... Баб, где его теплые чулки?

2

Высокое морозное небо, полное зоревых светов, глубоко и торжественно сияло уже без единой звезды, и все, что попадало в это озарение — серп ли припозднившегося месяца, легкая поднебесная гряда облаков или проснувшаяся сорока, торопливо пересекавшая эту пустынную рань, — все было подсвечено и степлено процеженно-чистым отсветом близкого утра.

Здесь же внизу, у земли, еще было сумеречно и сонно: густо синела под ногами первая снежная наметь, таинственно проступали опушённые морозной синевой ивняки, в низинах синели припорошенные кочки и высились заиндевелые изваяния чертополоха, похожие на причудливые подсвечники, кем-то расставленные по всему подсиненному лугу. А если оглянуться назад, то на синем береговом откосе виднелась наша деревня под синеватыми заснеженными крышами, выпускавшими из труб густые синие дымы, долго и прямо устремленные в еще заспанное в той стороне аспидно-мглистое небо.

Мы споро вышагивали, подбадриваемые щипучим морозом, — дедушка в рыжем, с заплатой на спине, бараньем кожухе, охваченном красной опояской, я — в своей ватной одежке, перекрещенной на груди и под мышками шерстяным платком, и в бабушкиных разлтых валенках, набитых по этому случаю соломой и отвернутых для ловкости ходьбы. Под ногами хрустко рушилась смерзшаяся пороша, и в звонкой луговой тишине на каждую пару дедушкиных протяжно-скрипучих шагов откликались три-четыре моих торопливых побежки. Дедушка скрипел свое: «Шак-шак», я свое выскрипывал: «Шаки-шаки, шаки-шаки». Пляжу на деревню — далеко ушакали!

— Уморился? — окликал дедушка.

— Не-к!

— А то садись в санки.

— Не-к! — бодро не соглашался я.

В санки мне, конечно, хотелось, но вовсе не от усталости, а просто так, ради интереса. Однако я упорствовал и не садился, поставив перед собой задачу доказать всем и дойти до болота своими силами.

— Смотри, нос не прозевай, — наставлял дедушка, сам успешный мохнато заиндеветь, особенно шапка, сделавшаяся похожей на побелевшую головку чертополоха. — Три рукавичкой. А то эвон как прихватывает! В момент отморозишь пипку.

В лугах было сухо и звонко, мороз законопатил все засыренные места, все застойные мочажинки, озерки и лужицы, накопившиеся от осенних дождей, которые прежде пришлось бы докучливо обходить, а ныне, напротив, все они стали даже желанны, поскольку и санки по ним катились играючи, и мы сами — сперва дедушка, а за ним и я, прокатывались с разбега, весело скользили на подошвах. Так что можно было бежать, не глядя под ноги, и дедушка, на самом деле не выбирая дороги, правил напрямки, на все золотей, все огнистей занимавшуюся зарю.

«Кру, кру...» — вдруг послышалось сверху басово, глуховато и опять: — «Кру, кру...» Я даже не сразу понял, откуда это шло, но дедушка, остановившись и сдвинув на затылок шапку, сказал, как о давно знакомом:

— А-а! Дозор пожаловал!

Две большие черные птицы, отсвечивающие багряными бликами, с неторопливым, размеренным посвистом крыльев делали вокруг широкий облет. Мы глядели на них, тоже поворачиваясь, переступая на месте.

— Вóроны! — как-то уважительно проговорил дедушка. — Прилетели посмотреть, кто такие объявились в их угодьях.

«Кру, кру...» — доносилось, как дознание. — «Кто? Кто?»

— Запоминай: без единой пестринки, клюв и тот черный. А под клювом вишь вон — борода. Не ворона, а во-о-орон! Большая, братка, разница. Ворона — та и на забор сядет, и по отхожим местам охоча пошарить, в свином корыте поклевать. А ворон — никогда! Гордая птица! И заметь: завсегда парой летает. Не шайкой, как вороны, не базаром во все небо, как грачи, а только вдвоем: он и она. И никого больше им не надо. Он выбирает себе подругу на всю жисть. Хорошая попалась али плохая — никогда не меняет. Ему все равно хорошая. А жисть у них до-о-олгая. Сколь я бываю в этих местах, считай, от самого детства их вижу. Привыкают друг к другу, как два сапога пара: один сапог без другого не ходок, так и они. Вишь, ладно летают, будто одной веревочкой связаны.

Вóроны сделали над нами полный широкий круг и, в чем-то в своем удостоверившись, все так же степенно и слаженно снова повернули к лесу, растворившись в багряном разливе зари.

А солнце было уже совсем близко. Раскаленным углем оно прожигало себе ход в стылой неразберихе ветвей и сучьев приближающейся кулиги. Вскоре и вовсе словно бы пожаром занялся, воспылал лес в том месте. Над верхушками старых ракит вдруг вырызнулись лучи, а следом красно взбугрилось и само солнце. Оно выкатилось огромное, багровое и вовсе не жаркое, не ослепляющее, каким бывало летом, а как бы уже по-зимнему поостывшее, примирелое, позволяющее смотреть на себя не застясь, не щуря глаза. Я никогда не видел светила так близко. Казалось, будто оно и на самом деле почивало где-то поблизости, в кулижных дебрях, в пожухлых зарослях дягиля и куманики, и оттого, наверно, не очень хорошо выспалось. Но и полусонное и как бы подзябшее солнце все еще было полно царственной власти над силами тьмы: едва оно приподнялось и выглянуло поверх леса, как по луку, по всей обозримой округе побежал разлив пробуждающего озарения, от которого румяно вспыхнули снега, дотоль синевшие предрассветно, воссияла морозная опушь прозрачных кустов и ожила, обозначила себя и даже хрустально, празднично вырядилась каждая былинка, всякая травяная бубочка, казалось, уже забытая всеми и не нужная никому. Но пуще всего всполыхнули чистые бесснежные льды в лужицах и озерковых блюдцах, еще недавно жутковато черневшие под ногами. И высветилась золоченой дорогой дренажная канава, прямо пролегшая в самую тайную сердцевину Букановых болот.

«Кру, кру?» — снова завопрошали вóроны. — «Кто такие? Кто такие?»

3

Дренажная канава служила нам хорошей дорогой, но вот и она поиссякла, занепроходимела: чернотал, калина, черемушник, вымахавшие по обеим сторонам канавы, чувствовали себя здесь, на бровке, столь привольно, что правобережные заросли местами принялись жить в обнимку с левобережными. А все это кулижное братство еще и опутано повоем и поползухой да пронизано пиками камыша, который вымахал тут, тягаясь в росте с ивняками. Пришлось дедушке извлечь из санок топор, чтобы править дорогу.

В одном месте канаву перегородил почти упавший ствол древней ракиты, некогда, должно быть, поверженной грозой, потерявшей вершину, с пустым гулким остовом, из которого гнило веяло погребом. Опершись на уцелевшие нижние, упористо расставленные ветви, дерево как бы пыталось привстать, приподняться над гибельной топью, но так и не смогло воспрянуть, и от долгой этой попытки приземленные ветви сами успели пустить корни и прорасти прогонис-



Деревня Толмачево под Курском. Изба деда писателя — 2-я справа.
Фотография 1960-х гг.



Иван Георгиевич Носов,
отец писателя. 1923



На обороте фотографии рукой матери
написано: «Снимался в гор. Курске
16/8 1930 года. Жене Носову от роду 5½ лет»



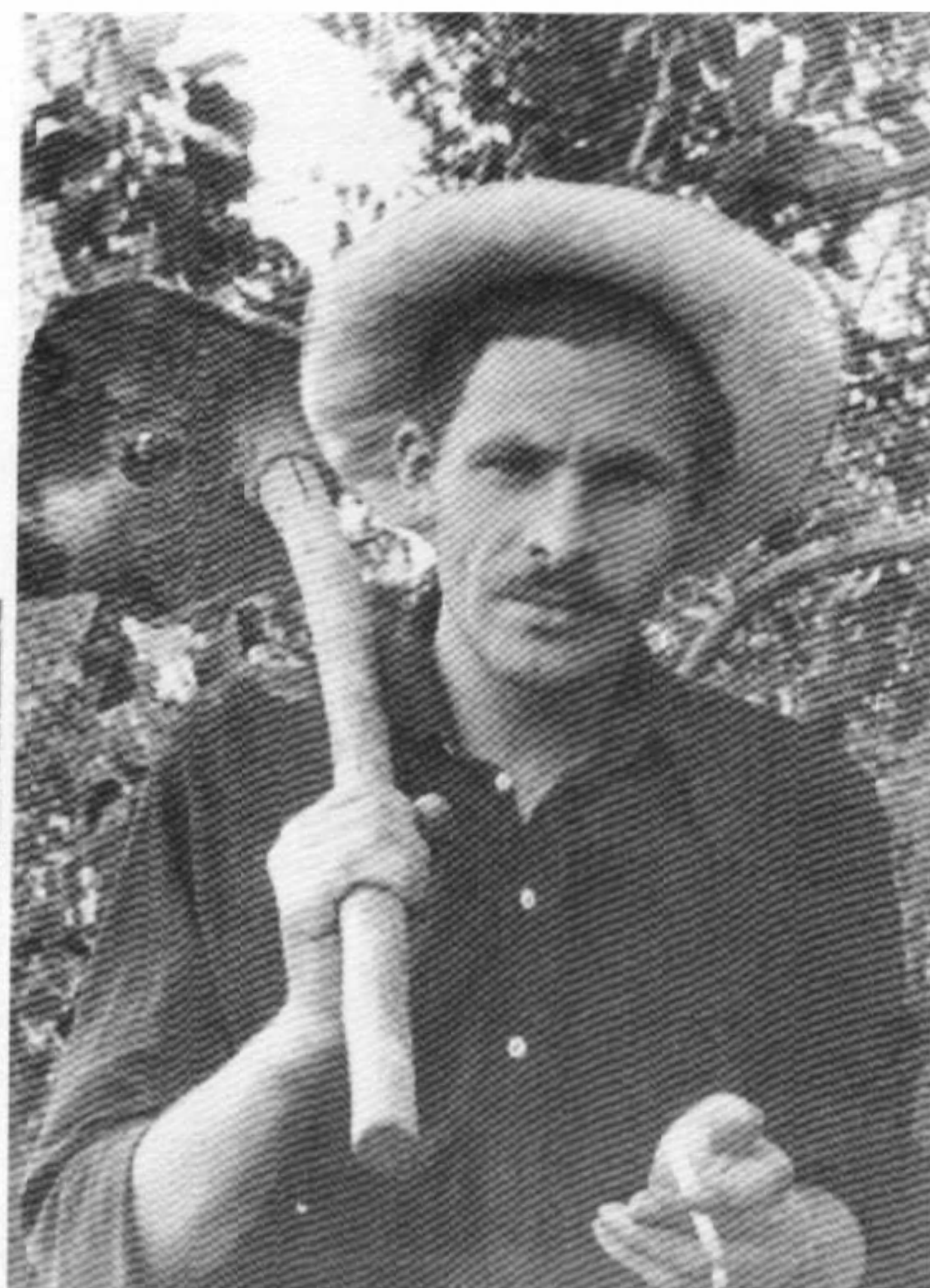
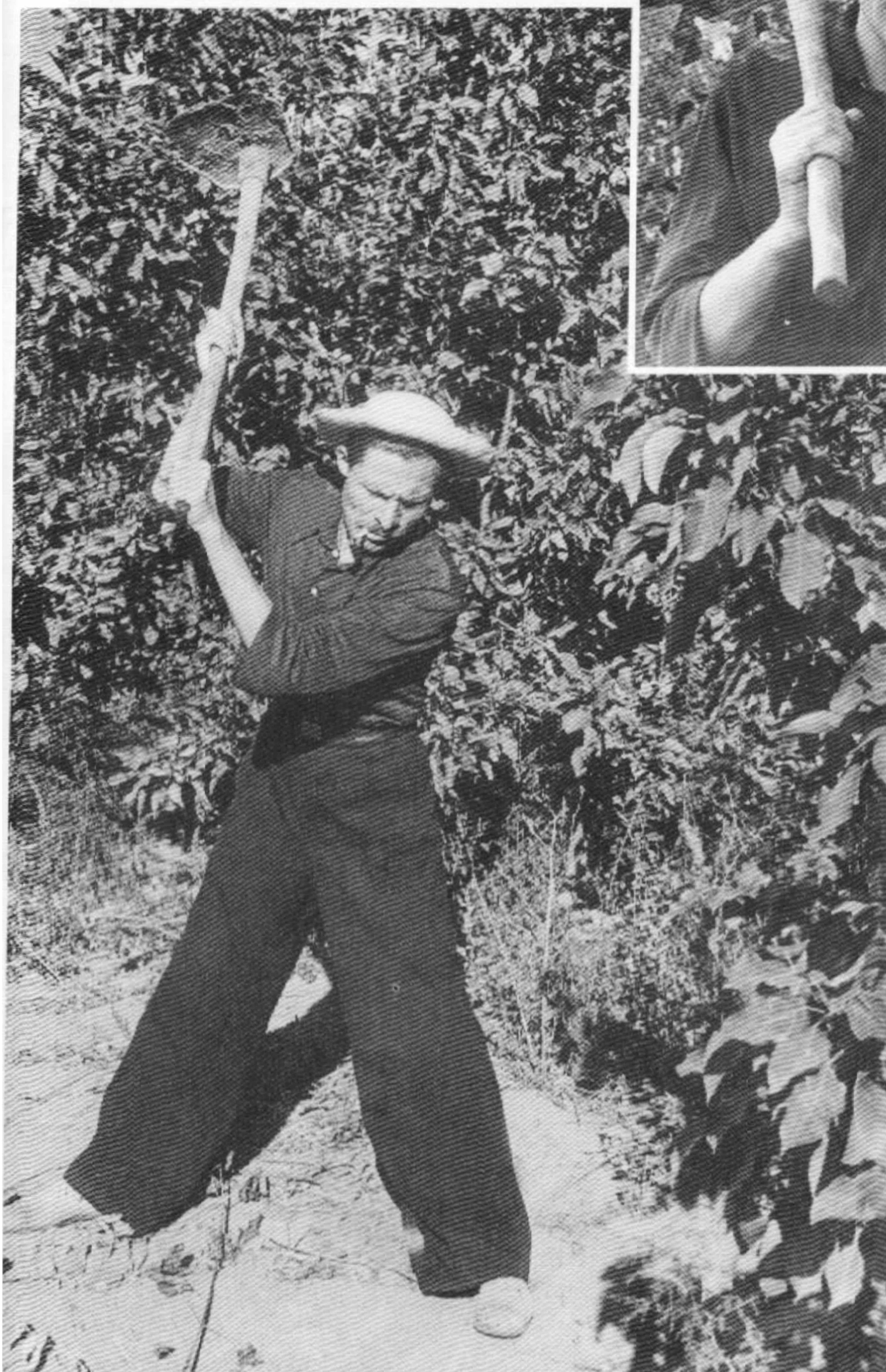
Крым, Артек. 1938



Привет из
Крыма.
Женя Носов —
слева. 1938



Школа № 9, где до войны учился будущий писатель.
Курск. Фотография 1990 г.



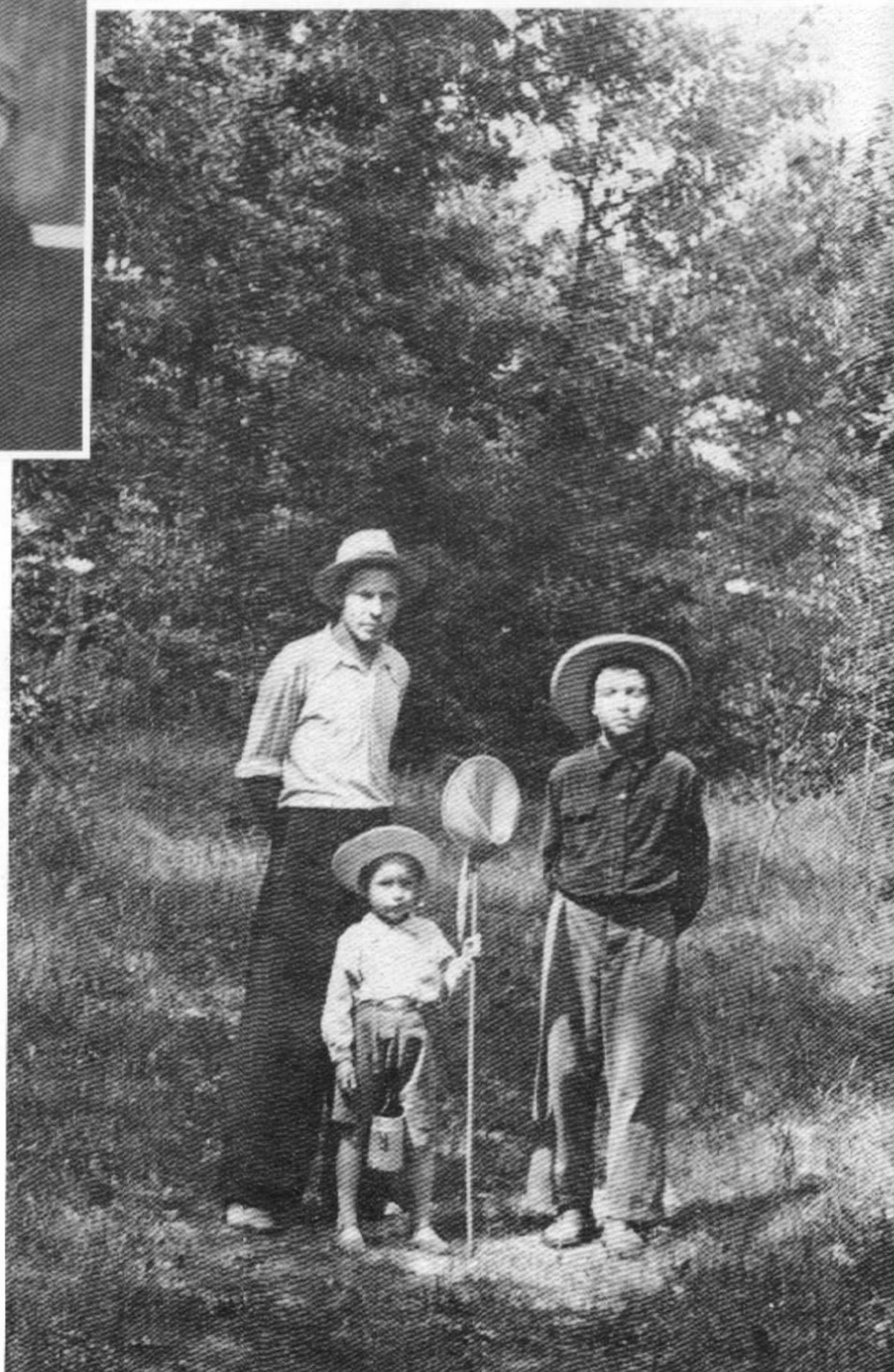
Казахстан, Талды-Курган. 1950



С женой Валентиной Родионовной
и сыном Женей. Талды-Курган. 1950



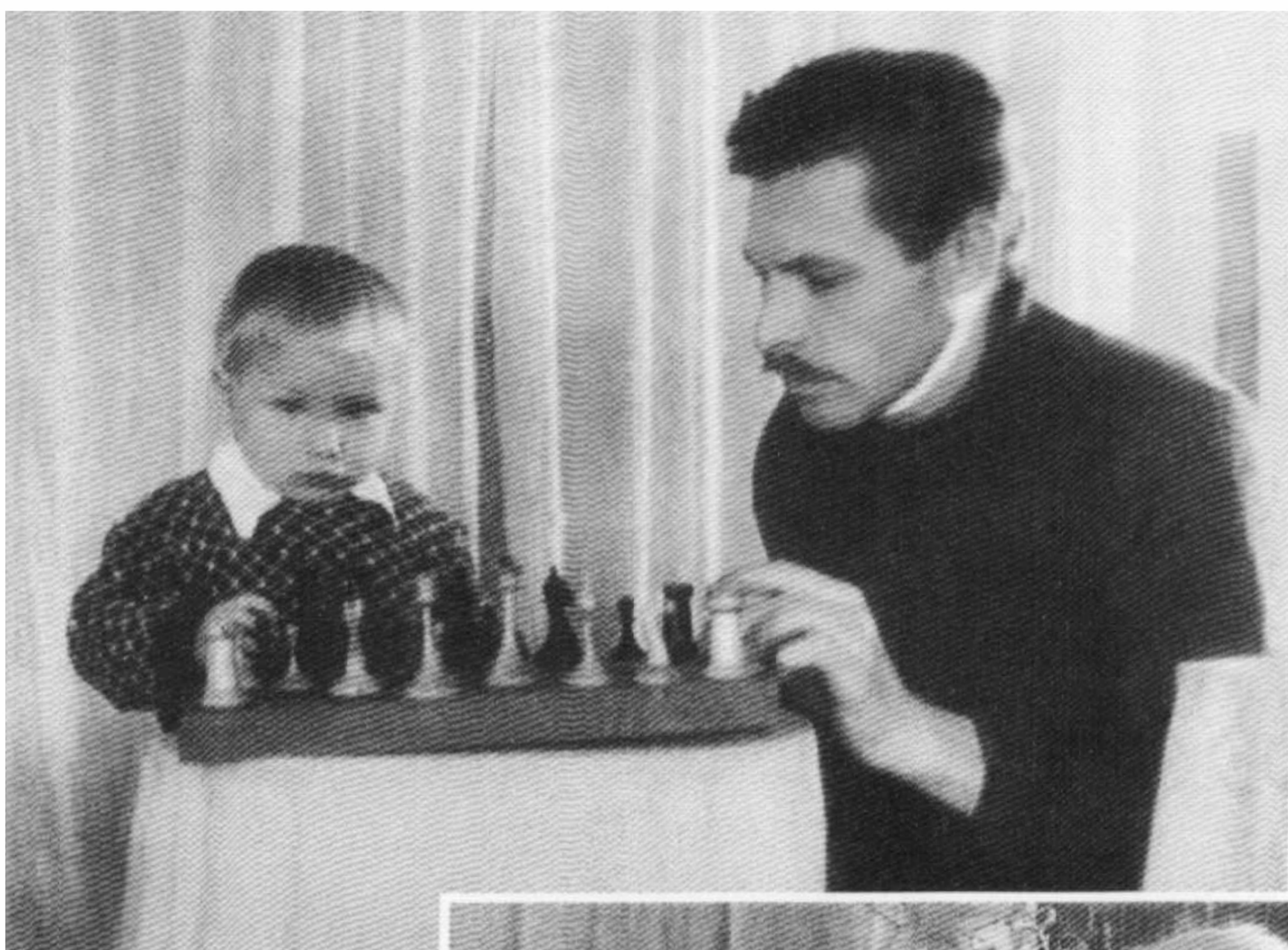
В молодости
была мечта
о мореходном
училище,
но помешало
ранение. 1947



В окрестностях
Курска.
С сачком —
сын Женя. 1952



Талды-Курган. 1950



Кажется, папе шах... 1950

Любимая пластинка... 1950



1956



В газете «Молодая гвардия». Ку



С детьми Ирой и Женей. Курск. 1964



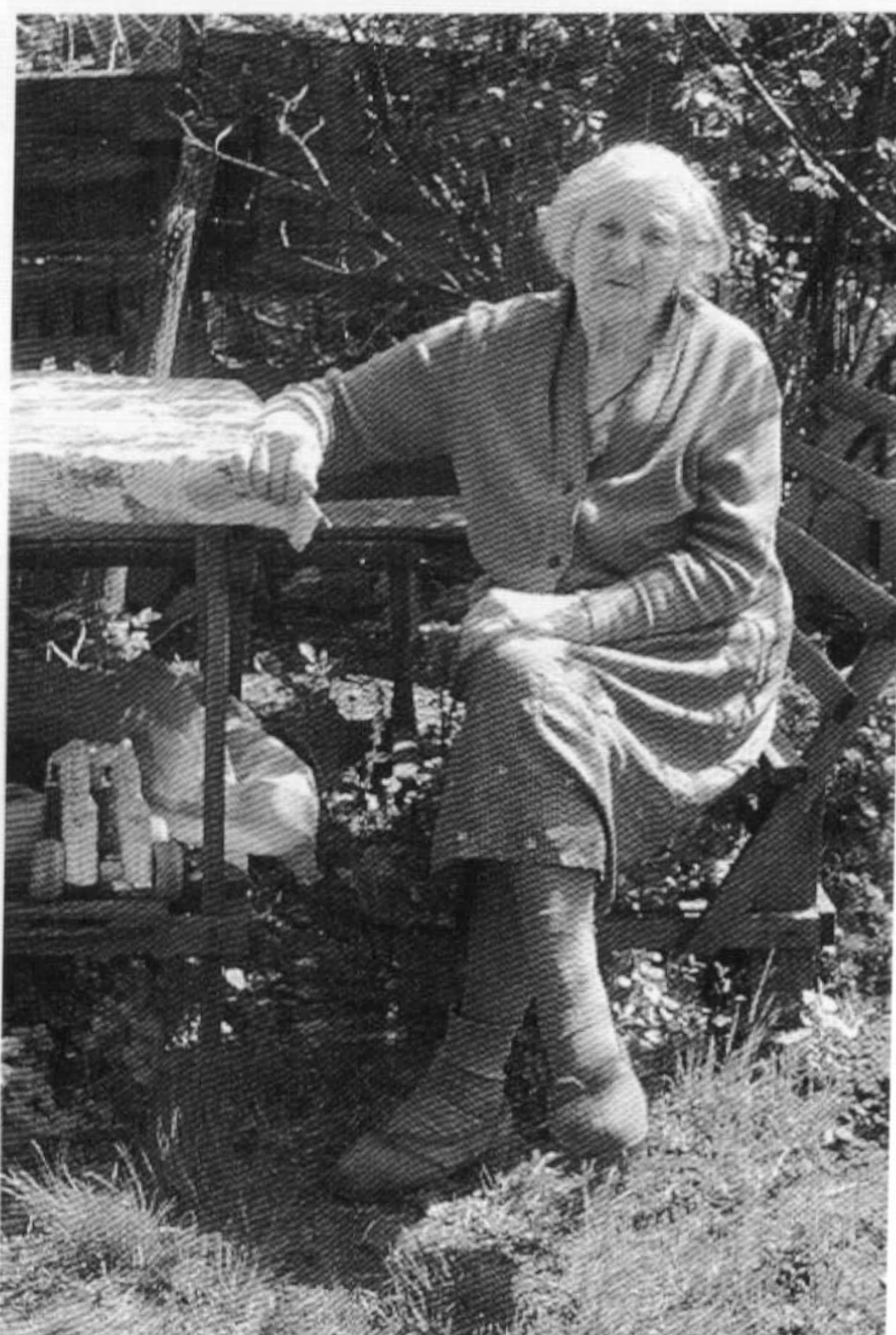
С внуком Романом. Июльск. 1980



Во дворе материнского дома. Курск, ул. Ломоносова. 1981



С матерью Полиной Алексеевной. Курск. 1988



Отдых...



С юными читателями. Курск. 1980



С преподавательницей А.П. Юрченко. Курск. 1987



П.Г. Сальников и Е.И. Носов в школе № 80.
Курск. 1979



С учителями школы № 29. Курск. 1987



внучком Дрюней. 1992

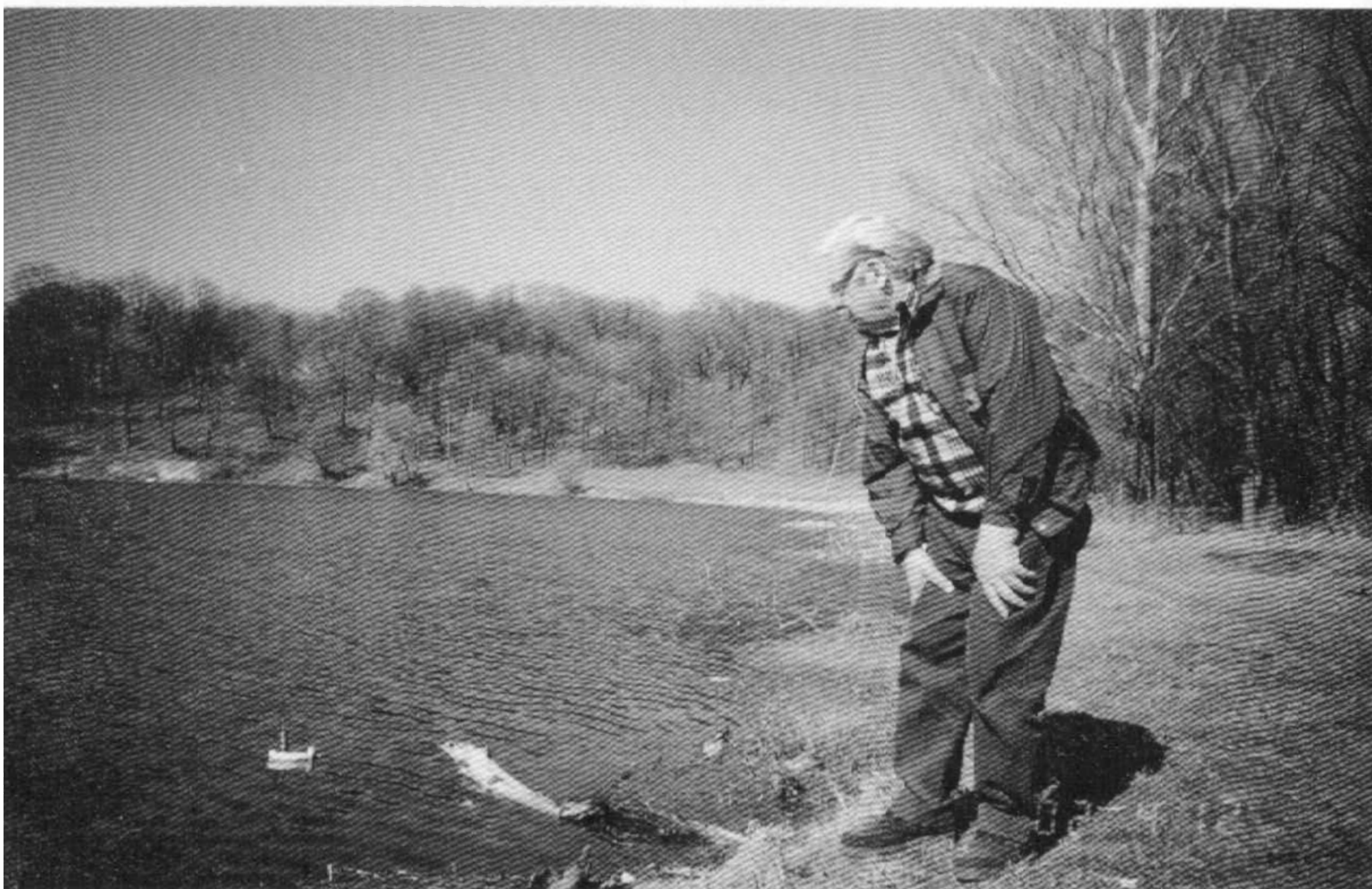


Настя, внучка писателя. 1993

С правнуком Тёмкой. 2002



Игрушка, сделанная Е. Носовым для сына. 1950



Одна из последних фотографий. 2002

тым молодняком — доверчивыми и беззащитными побегами. Даже в эту пору проростки не успели расстаться с листвой, по наивности полагая, должно быть, что лето длится вечно... Разглядывая ракиту, что-то бормоча и прицокивая языком, дедушка, наверное, думал, как мне теперь кажется, о том, что, мол, когда-нибудь материнский ствол смирится со своей судьбой, обессиленно рухнет, обратится в труху, которую доедят грибы и короеды, и обретшие самостоятельность побеги наперегонки метнутся вверх, тесня друг друга, захватывая место под солнцем. Кто-то из них, возможно, вознесется настоящим деревом, вымахнет шумной ракитой, радующейся своей молодой силе, упругой гнучести ветвей и неусыпному плеску гомонливой листвы на ветру под солнечной синью. И, может быть, это будущее дерево облюбует залетная и тоже еще не родившаяся кукушка и просчитает отпущенные годы тому, кого тоже еще нет на свете...

— Да-а! — сокрушался дедушка, заглядывая в черное дупло ракиты. — Вот как жисть уломала. Земля она и вознесет, но и пригнет обратно. Все в свой черед.

Чем дальше мы пробирались, тем все гуще простреливали чащобу камыши. Их мягко опушённые метелки кивали от малейшего дуновения, роняя долу искрящуюся под солнцем морозную пыльцу. И вот наконец ивняки дружно разбежались по сторонам и перед ними сплошной непроглядной стеной встало рыжее камышовое воинство — таинственное, жутковатое, вгоняющее в оторопь, как все, что кажется необъятным и неисчислимым.

— Ну, дак и пришли-и... — с благоговейной торжественностью оповестил дедушка и бросил ненужный теперь топор в санки. — Это и есть Буканово болото.

Переводя дух, он долго озира́л камыши, от которых даже в безветрие исходил едва слышный ропот.

— А почему его зовут Букановым? — спросил я.

— Букалище тут живет. Потому и Буканово.

— Какое Букалище? — не понял я, невольно озираясь по сторонам.

— Ну... которое букает. Летом, когда солнце сядет, оно и начинает: «бу» да «бу»...

— А кто это? — допытывался я опасливо.

— Ну, как кто?

— Какое оно — Букалище? — Ко мне начал подбираться нешуточный страх, однако желание узнать было нестерпимо, как влещущ становится свет обжигающего огня для узревшей его комашки. — А, деда? Какое оно бывает?

— Этого я, голубь, не знаю, — признался дедушка. — Сам я не видел, а только слышал, как оно букает.

От этой неизвестности, недосказанности мне стало еще боязней.

— А чего оно сейчас не букает?

— Ну, дак мороз, холодно, потому и не букает. Теперь оно где-нибудь спит.

— А где?

— Ну, кто ж это знает... Может, в том дупле, что мы давеча видели. А то дак и в камышах, в самой гущине. Сгородит себе хатку, натаскает внутрь чего ни то теплого, свернется и спит себе до весны, чтоб опять букать. Ну да ладно, до лета еще не скоро, а зима — вот она. Давай, братка, начнем с Божьей помощью. Где там наша коса? Не обронули б часом по дороге...

Дедушка собрал косу, для пробы цапнул ею несколько близстоящих камышовых тростинки, и те, словно бы не поверив, что их уже подрезали, некоторое время продолжали, как и все другие, стоять, и лишь после того, медленно паруся метелками, нехотя легли к дедушкиным ногам.

— А камыш весь целехонек! Никто ничего! — обрадованно удивлялся он. — То-то, смотрю, когда еще шли, ни единого следа. Выходит, мы с тобой первые. Ты не озяб ли? Нос цел? Шевелится?

— Шевелится!

— Тогда вот тебе аржаной сухарик, погрызи. А я почну помаленьку.

— А можно я камыш таскать буду? — попросил я.

— Дак ты и так, поди, пристал? Ай нет?

— Не-е!

— Ежели нет, то ладно. Вот сюда будешь складывать. — Дедушка указал место на чистом ледовом плесе. — Комель с комлем, а метелку с метелкой, понял?

Лед под ногами казался настолько чистым и прозрачным, что поначалу даже было боязно по нему ступать, словно бы его и вовсе не существовало. Стайки мальков безбоязненно проплывали прямо под моими валенками, лишая меня ощущения какой-либо тверди под собой. Иногда проступали заросли каких-то недвижных, будто увиденных во сне, таинственных растений с распластанными листьями, по которым ползали рогатые улитки, волоча на себе витые остроконечные убежища. И только местами пузырьки болотного газа, вмерзшие на разных уровнях, выдавали присутствие льда и помогали осознать его надежную толщу.

Дедушка, позванивая о лед косой, успел сделать первый прокос по самому краю камышовой чащобы, всякий раз вымахивая стебли на чистое место. Коса легко скользила по гладкой ледяной столешнице, срезая под самое основание вмерзшие дудки, так что после них во льду оставались одни только дырочки, и было удивительно, что через эти отверстия не выплескивалась на лед болотная вода. Тем временем я подхватывал посильные беремки, оттаскивал их в указанное место и там ладил и ровнял, как было велено, в одну общую вязанку.

Тут впору сказать, что в наших местах камышом называют все не то, что в некоторых ученых книжках. По-нашему камыш — это трубчатое растение, перехваченное особыми узелками, какие бывают у хлебной соломы или бамбука. Этим-то камышом у нас кроют крыши, забирают стенки деревенских надворных построек, смазывая их глиной, топят лежанки и печи, а ребяташки мастерят из него певучие дудочки и свистульки. А еще — стрелы для самодельных луков, утяжеляя конец камышинки лодочной смолой. Мальчишки постарше в смоляной наконечник заделывали гвоздь. С такой стрелой шли на какой-нибудь выгон, очерчивали круг и начинали соревноваться в меткости. Стрелу запускали строго вверх, чтобы она потом впилась в землю там, откуда ее выстреливали. Важно было уследить, когда стрела высоко в небе иссякнет в полете, остановится и повернет обратно. И когда она устремится вниз, вооруженная острым гвоздем, только тогда стрелок может покинуть круг. Потерять из виду стрелу было опасно, потому что в таком случае не знаешь, куда лучше бежать.

Со временем я вырос, научился читать книжки, и вот тут-то и обнаружилась путаница. Бывало, загляну в ботанический справочник: тростник! Приеду в свою деревню: камыш, говорят. А что тогда, недоумеваю, тростник? Не знаем, говорят, у нас такого нету, не водится. Ну как же не водится: а который на Букановом болоте? Долгий такой, пустой внутри, с кисточкой на конце? Это что? Дак это, смеются, и есть камыш! Что же тут непонятного?

Что-то путают мои земляки, думал я в растерянности, должно, не в ногу с наукой шагают. От прежней, поди, неграмотности. Тычинок да пестиков ведь не изучали...

Спустя много лет оказался я в сырдарьинских плавнях. Вот где заросли! Дудки в палец толщиной, едет всадник, так султаны выше его головы полощутся. Спрашиваю у местных жителей, казахов, что это за растение? — Камыш, слышай, камыш эта. — А может, тростник? — Нэт, камыш эта. — А тростник какой? — Эта я не знаю, какой, эта у нас нэт такой.

Вот, оказывается, в чем дело: одно и то же растение имеет два разноязычных названия, как, например, карп и сазан, рынок и базар. Тростник — это славянское название, а камыш — тюркское. Мы, куряне, бывшие соседи степных кочевников, тоже не говорим «рынок», а всякое торжище называем по-восточному — «базар». Оказывается, не мои земляки, в древности порубежники дикой степи, ошибались, а напутали книжники: для пущей учености принялись тростник и камыш считать разными растениями.

А давайте заглянем в Даля, не раз он выручал в подобных запутанных делах. Читаем: «Камыш, тростник; болотное, дудочное, коленчатое растение. Ошибочно путают с рогозой, ситником и пр.». Видите: растение-то одно и то же, но его «ошибочно путают»... Уж

само собой, не народ путает, не мои толмачи из деревни Толмачево (кстати, толмач по-тюркски — переводчик, посредник в языке), а те, кто занимается наукой в стороне от Буканова болота.

Но я отклонился от описания похода за камышом. А тем временем дедушка навалял его столько, что сам остановился и объявил, часто выдыхая клубы морозного пара:

— Ну, пока будя! Давай малость передохнём.

Признаться, мне уже давно наскучило таскать охапки, и я делал это уже без прежнего рвения, часто останавливался, зевал по сторонам и даже успел изгрызть дедушкин сухарик. Но дедушка не замечал моей наступившей лени или делал вид, что не замечал. Он оглядел меня всего и, сняв рукавицу, запястьем потрогал мои щеки.

— Не озяб?

— Нет...

— А ну помаши руками, погрейся! — Дедушка принялся высоко вскидывать разом обе руки и затем крест-накрест шлепать себя по бокам. — Вот так, вот так надо! — приговаривал он. — А ну, делай, делай так-то, погрейся!

Я и на самом деле не смерз нисколечко, но глядеть на дедушку было весело, и потому я тоже запрыгал, замахал руками.

— Ага, ага! — смеялся дедушка, прихлопывая большими шубными рукавицами, обшитыми синим сукном. — Ага! Поддай, братка, жару! Это мы так-то на царской войне. Мороз как прижмет, а ты на посту. Сапог о сапог колотишь. А то уж и мочи нет, стужа под шинелку начинает пробираться. Отставишь ружье, да и давай так-то руками махать да подпрыгивать. Ну как, теплее стало?

— Ага!

— Знай наперед, ежели когда озябнешь — верное дело так вот охлопаться.

Дедушка предугадал: пришлось, пришлось потом и нам на войне вот так же охлопываться... Пригодилась его наука.

Он расстелил поверх накопленного ворошка мешковину, достал из торбочки сало с хлебом, и мы сели перекусить.

К полудню солнце так и не поднялось над камышами, однако пригрело настолько, что осыпало с кустов и метелок морозную опушь, и та запорошила, забелила чистый лед. Стали заметны каждая черноточинка, каждое прикосновение, будто на свежем листе бумаги, и уже успела наследить на нем, настрочить мелким бисером то ли птаха, то ли болотная мышка. И тут же на выбеленную прогалину вышмыгнула из рыжих осок белая продолговатая зверушка не более рукавички, перебежала открытое место и скрылась в камышах. Я увидел сперва не ее самое, почти невидимую на беспредметной белизне осыпавшегося инея, а промелькнувшую голубую тень, нечаянно задевшую мое зрение, и лишь потом, насторо-

жившись, увидел три черных точки — нос и бусинки глаз. Зверушка шустро прошла туда-сюда заросли, снова метнулась по чьему-то следу и за последними стеблями обмерла столбиком, свесив на груди лапки с черными ноготками.

— Деда! — прошептал я заворуженно. — Кто это?

Зверушку будто сдуло этим моим жарким шепотом, и дедушка поглядел окрест уже впустую:

— Ты про что?

— Да вот... там... кто-то был...

— Кто, не пойму?

В этот момент зверушка снова вышмыгнула из камышей и встала столбушкой ровно на том месте, где только что была.

— А-а! Ну так это ластвица! Мышковка! Ишь ты!

И опять зверушка от дедушкиных слов умчалась в чащу, откуда спустя объявилась снова, любопытно вытягиваясь, обращаясь в недвижный столбик.

— Это она сальце учуяла. Эвон кожица лежит. Я давеча отбросил. Ну, бери, бери, не бойся. Ах ты, лапушка!

Ласка, словно послушавшись, сделала несколько поскоков в сторону кожуры, внезапно остановилась настороженно, после чего в последнем прыжке схватила кожицу и молниеносно исчезла в камышах.

— Ну бедова! — шурился дедушка, тепло глядя в то место, где только что сидел зверек: был и нет его, будто сновидение. — А лето придет — у нее опять свой наряд. Вот как льнет к земле, к годовому времени, вот как ластится: и зимой ее вроде нет, и летом не видно. Потому небось лаской, ластвицей зовут. Осьмушка весу, а тоже живая душа. Все про тебя знает, что ты за птица, каков гусь. А мы, братка, в суете своей да в гордыне про нее — ничего. Да-а... За это с нас и спросится, придет время... Живем — под собой земли не видим... Ох, дела наши! Давай, голубь мой, вязаться, к дому править.

4

Срубленным шестом дедушка проколол ворох камыша, развалил на две части и обе доли отделил друг от дружки.

— Один возок заберем, — пояснял он при этом. — А за другим днями приедем. А то сразу все не по мощам нашим: ты — маленький, а я — старенький... Такое дело... Старенький, а жадненький: накопил на хорошего коня... Ну да что теперь говорить про коня... Тю-тю! Ну а сам я не кован... Из пяток вон солома торчит...

Дедушка делал все ловко, сноровисто, но для меня поначалу непонятно: взял, например, веревку, распустил ее по льду, один конец привязал к шесту, и получилось что-то вроде кнута.

— Деда, а для чего это?

— А вот гляди.

Он подсунул шест под камышовый ворох и таким простым способом продел под ним веревку. После чего обоими веревочными концами охватил вязанку, стянул крепко коленом и, поддев шест под узел, еще туже закрепил, как это делают ребяташки, вращением палочки-кречика притягивая к валенкам коньки.

— Ну вот: возок легок на глазок, да только конь брыкается... — весело удовлетворился дедушка и опять невольно помянул коня, уже который раз за день. Да и то сказать: куда ж ему, исконному пахарю, даже без слова о нем? Как его, сердечного, было не помянуть, прожив вместе жизнь душа в душу? Так думал я уже теперь, вспоминая дедушку. А он, еще раз оценивающе оглядывая связанный камыш, сказал: — Ну вот, дело сделано. А теперь напоследок пойдем калины поищем. Бабка наказала наломать на солодуху. Не едал солодухи?

— Не-к!

— И не надо! — засмеялся дедушка.

— Почему, деда?

— Да боюсь я, парень, язык проглотишь! Такая получается у бабки забава!

Дедушка запихнул топор за опояску, пересунул его за спину, и мы, выбирая открытые бескамышные места, пошлепали валенками по ледяному паркету: чак-чак, чаки-чаки... И все казалось мне, будто где-то рядом, таясь в зарослях и следя за нами, бесшумно, незримо сновала ластвица — таинственное существо, похожее на снежное завихрение, роняющее голубую тень. Казалось, я ощущал на себе ее быстрый колючий погляд и то и дело косился на камыши и оборачивался от навязчивого чувства чьего-то близкого присутствия.

Как-то незаметно объявились тальники и старые разбросанные ракиты, напоминавшие древних согбенных старух, с черными рукастыми ветвями, распростертыми над кустарниковой чащобой. От их нависшей черноты болото сразу посуровело. Тут и там в крепях замелькали сорочьи гнезда, похожие на сухих ежей, запутавшихся в ветках. Чувствовалось, что под нами начались большие глубины.

— Во куда забрели! Я и не помню, бывал ли здесь когда, — возбужденно озирался дедушка. — Сюда, поди, и дед Леха не захаживал. Разве летом сюда доберешься? Как все заплетет, как укроет сверху — солнца не увидишь. Комар напроць заест...

— А кто такой дед Леха? — насторожился я.

— Ну.. про него не надо... особенно вслух... Старичок такой... Тезка мой.

— А чего не надо?

— Мы с тобой говорим про него, а он, может, рядом стоит. Ты думаешь — это пенек, а это — он... Любит чем-нибудь прикинуть-

ся... Да-а... Жалко, весь хлебец съели. А то бы ему кусочек подбросить... Чтоб дорогу не путал... Осерчает, дак и курь может напустить. А уж ежели снег закурит — вертайся сразу, беги без оглядки... И сани и камыш бросай. Со мной так-то уже бывало... Всю ночь туркался. Куда ни сунусь — то кусты стеной, то заметь по пояс... Весь кожух продрал, топор невесть когда обронил... Под утро цапнул карман — сухарик завалился. Положил его на пенек и побрел не оглядываясь. Вот тебе и курá унялась, и в небе посветлело, и места все знакомые стали...

— Деда, а это зачем?

В нескольких шагах от берега, там, где кончались камыши, торчали вмерзшие в лед колышки. В каждом подозрительном сучке мне теперь виделся злой умысел.

— Ну-ка, ну-ка... Тычки, гляжу, руками деланы. — Дедушка присел на корточки. — Ох ты! Да, никак, вентерь! А ну, разметай снег, давай поглядим, что там...

Распластавшись ничком, дедушка протер рукавицей лед до оконной ясности. Плядя на него, я тоже расчистил себе оконце.

— Ты ложись, чтобы солнце не мешало, — наставлял дедушка. — С боков заслоняйся. Ну, видишь чего?

— Ага... Сетка какая-то...

— Так и есть! Вентерь это. Вот гляди: одна тычка держит одно крыло, другая тычка — другое крыло. Видно тебе?

— Видно!

— А между крыльями — зёв, куда рыба заходит. Зайти-то она зайдет, да больше не выйдет.. Уразумел?

— Ага...

— Вентерь еще до морозов ставлен, — продолжал пояснять дедушка. — С лодки. А может, и в заброд. В заброд, правда, холодно-вато. Ну, да кому какая охота... А я думал, в этой глуши сам дед Леха, и тот не бывал.

Я напрягал глаза, пытаюсь за толщей коричневатой воды, за нитяной сеткой увидеть плавающих туда-сюда рыбешек, ищущих возможность выбраться на свободу. Вентерь был большой, просторный, распираемый тремя гнутыми обручами. Однако внутри него ничего не было, кроме разве большого толстого топляка, положенного на дно для того, наверно, чтобы ловушка не всплывала.

И вдруг конец топляка слабо шевельнулся, мелькнув чем-то оранжевым. Я потрясенно замер: в недвижном буро-зеленом, как бы покрытом осевшим болотным илом топляке я внезапно угадал огромную рыбу!

— Деда! Там рыба! — наконец выпалил я. — Вон она!

— Да где? — Дедушка еще плотнее приник ко льду. — Где ты видел?

— Ну, вон же она! — Мне сразу сделалось жарко. Теперь, взглядевшись, я даже различал, как размеренно приоткрывались и захлопывались жаберные крышки по обе стороны темно-зеленой вытянутой головы.

— А-а... Совсем худо с глазами... Окомелок какой-то... Палка, говорю, а боле ничего...

— Это не палка! — выпалил я. — Это рыба! Она хвостом шевелит! Я сам видел!

— Ага... так, так... Теперь я вижу.. Это щука! Экое бревно! И как она только вентерь не изорвала.

— Опять, опять хвостом шевелит! — оповещал я, понижая голос. — Он у нее, как огонь!

— Вижу, братка, вижу... У-у, разбойная твоя душа. Сколь, посчитать, рыбы похватила. Да что рыба! Такая и чирка сглотнет. И курочку-камышницу. Зазевайся только.

— Пляди, деда, из-под жабер пузыри пускает!

— Вдыхает, стало быть! Вспоминает про свое вольное житье. Сыто, видать, жилось. Фунтов на двадцать потянет. А то и поболее! Экие мяса! Чистая купчье-е-вна! Ваше благородие, язвит-тя...

— Чего это она задом пятится?

— Дак и шут ее знает... Так-то ей, поди, не развернуться... Два аршина небось... А чего? Сетью ее не взять в этих крепях, удочку тоже не закинешь... Вот и вымахала дурында. Вот только на вентерь напоролась. Ночью должно, сослепу. Тыкалась, тыкалась вдоль вентерьного крыла, да и в зев угодила... Во, браток, мы с тобой как в зверинце побывали: на тигру поглядели... Ну, вставай, вставай, будя... А то зазябнешь.

— А как же щука? — спросил я.

— А что — щука?

Мне вдруг стало жаль рыбину, и я пытливо покосился на дедушку:

— Деда, давай ее выпустим!

— Вот те на! Это зачем?

— А чего она там...

— Попалась — вот и там... Ну, вставай, подымайся. Тебе, что ли, жалко ее?

— Ага...

— Ну, дак она ж разбойница. Ты ее выпустишь, а она поплывет и сразу кого-нибудь съест. Первого попавшего. Никого не пожалет. Ни мальчика, ни слабого... Да и как мы ее ослободим?

— А у тебя топор...

— Ишь, ты! Скумекал! — удивился дедушка. — Топором, конечно, можно... Да тут, братка, такое дело... Мы щуку-то выпустим, да кто же поверит, что мы ее отпустили? Скажут, себе взяли...

— Но мы же ее взаправду выпустим?

— Нет, негоже это. Завтра придет хозяин: что такое? Лед изрубили, вентерь пустой... И скажут про нас с тобой: воры! Ладно ли это? Лучше пошли, голубь мой, калину братъ: хороша с морозу!

Мы повернули к какому-то острову, я несогласно бежал позади дедушки, и мне все еще было жаль щуки.

5

Калина и впрямь оказалась хороша. Пока мы возвращались к санкам, я всю дорогу сощипывал со своего пучка и глотал морозно хрустящие ягоды прямо с плоскими костяными лепешечками внутри.

Возле вязанки уже успел кто-то побывать: кругом наслежено куриными крестиками и строчками пятипалых продолговатых печаток.

— А-а, гости пожаловали! — обрадованно сказал дедушка. — Это вот сорока накрестила: искала, не обронули ли чего. Она все подберет: и съестное и несъестное. Обронил пуговицу — сгодится и пуговица, отнесет в старое свое гнездо. Забыл ножичек — тоже давай сюда! Такая она... А это вот — лиска... Так, мимоходом. Не лиска, а сам Лис Патрикеевич: вот тут и лапку поднял, нажелтил под наши санки... Ну, веселый народ!

Дедушка снял с себя опояску и, привязав к вязанке, подергал ее, пробуя на крепость.

— Так... Сейчас, стало быть, и отчалим.

— А как же санки? — не понял я.

— А санки мы вот этак... — Дедушка перевернул их вверх полосьями и положил сверху вязанки. — Вот так вот...

Оказалось, он собрался тащить камыш прямо по льду, волоком. Возок, правда, легко и послушно поволокся за дедушкой.

— Ты давай иди вперед, — посоветовал он. — А то на камышовые хвосты наступишь да и упадешь. А лучше полезай на воз, а то небось от ног отстал.

— Не-к!

— Ну, герой, герой!

На широких, открытых местах дедушка бежки разгонял возок, сам же, отбросив опояску, отстранялся с дороги, и тогда камышовый ворох скользил сам собой, без всякой упряжки. В таких случаях я тоже разбегался, догонял копынушку сзади, падал на ее пологий пушистый хвост и некоторое время, раскинув руки и ноги, сладко затихнув, катился вместе.

— По льду хорошо! — не противился дедушка. — Так-то по льду мы можем до самого дома добежать. Минуем болото — там начнет дренажная канава, а канава — в реку.. Ну а там — по реке, по реке — до затона... Вот мы и дома! Оно, конечно, малость подальше, но зато везде гладко! Не сравнить, ежели напрямки, по лугу. Там волоком не потянуть, а санки не один раз перевернутся.

У выхода из болота остановились передохнуть. Над нами взметнулись черные ольхи, усыпанные обильно уродившимися черными шишками. Оттуда, с ольховых верхов, доносился не то перезвон, не то пересвист, а больше походило на тот тонкий и мягкий звук, какой издает бахрома из стеклянных трубочек.

— Щеголья! — упредил мой вопрос дедушка. — Шишки теребят.

И верно, внизу, под деревьями, и далее вокруг на белой пороше темнели мелкие ольховые крылатки. Иногда легким дуновением их подхватывало и относило прочь, и тогда, взмелькивая на солнце прозрачной пелеринкой, окружавшей темное семечко, крылатки походили на летнюю танцующую в воздухе мошкарку.

Птицы не выдержали нашей близости, шумно снялись и, не прерывая стеклянного гомонка, в характерном для щеглов качельном — вверх-вниз, вверх-вниз — полете и в черно-желто-красном мелькании скрылись за тальниковым гребнем.

Щеглов уже давно не стало, а дедушка все глядел и глядел в ту сторону, забывшись.

— Одно слово — птицы! — наконец сказал он с грустным восхищением. — Куда захотели, туда и полетели. Ни тебе вода, ни огонь — все нипочем. То-то что воля! Да-а... А я и сам... Иной раз завеюсь, запропасться куда ни то... Аж душа возликует! Займется радостью и согласием со всей этой тишиной и благодатью. И ты, как в младенчестве, как заново родился. Все тебе чувствуется внове: и как земля пахнет, и кора, и снег. И забывшись про все на свете и про себя самого: и что у тебя болит, и что ломит, и про еду не помнишь, про утробу свою... Одни глаза да уши... Да мир в душе... А где-то там по деревне полномоченные ходят, зеленым табаком плюют, матерятся, недоимки трясут... Где-то люди в неправде барахтаются, в поезде друг друга, в суете непролазной... Да одумайтесь вы! Раз живете! Эх, дела наши... Вот остаться бы тут, да нельзя: опять надо в суету людскую, как предписано... Ты вот что... Давай-ка полезай на копну да и тронемся помаленьку. Солнце на исход пошло.

Я было заотнекивался, захорохорился упрямо, но дедушка изловил меня, поддел под мышки и усадил на верхотуре.

— Отдохни, отдохни маленько. А потом опять побежишь. — увещевал он, впрягаясь в красную опояску. — Еще до дому эвон сколь! А хочешь, я тебе стишок скажу.. Сколь живу, столь и помню. Когда-то учитель наговорил, а я, малявка, враз схватил и вот доси не забылся.

Он натянул кушак и, подавшись вперед, сдернул приросший было ворох. И, отмеряя неспешные, упористые шаги, принялся выкрикивать в белый свет:

*Чудотворец и целитель, —
Ухожу к нему порой.
Ухожу я в мир природы.*

*В мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И в свои молодые годы.*

Я слушал, опрокинувшись навзничь, блаженно и отрешенно глядя в морозное искрящееся небо. Подо мной монотонно шуршал влекомый камыш, затушевывая дедушкин голос, и вскоре я непробудно уснул и проспал всю неблизкую ледяную дорогу.

И конечно, не слышал я, как еще раз над нами прошлась пара воронов, гортанно вопрошая: «Кто такие? Кто такие?..»

1989

МОСТ

*Памяти отца моего,
Ивана Георгиевича Носова, —
рядового котельщика
первых пятилеток*

Мой отец был ударником.

Он клепал мост через нашу речку. Мост получился красивый, весь в заклепках, и отцу дали путевку куда-то на один день.

И еще премиальные.

На них он купил себе майские брюки из белой рогожки, а мне бескозырку с золотыми якорями.

Пока отец брился, мать погладила брюки и повесила на спинку кровати.

— Смотри не зазелени, — сказала она и взлохматила ему чуб. Тогда отец еще не был лысый.

Выходная рубашка пришлась в самый раз к брюкам. Она была тоже белая, с пристежным воротником. Воротничок немного обтрепался на сгибе. Но мать сказала, что это совсем не заметно.

И галстук.

У отца был галстук. Серенький, крапинками. Отец не умел его завязывать. Чтобы не сползал узел, прикалывал из-под низу булавкой. Но булавка всегда высывалась, а отец этого не видел. А мать видела и делала ему замечание. Отец сердился. И тогда он снимал галстук и совал в карман.

День был сегодня торжественный, и мать советовала надеть галстук.

— Жарко будет, — хмурился отец.

— Надень, надень! Сегодня все будут с галстуками. Вот увидишь.

Меня тоже собирали. Но обо мне нечего говорить. У меня ничего особенного не было. Все та же матроска. Я ее надевал и на Первое мая, и на Седьмое ноября, и на день рождения, и когда были у нас гости, и когда мы ходили в гости, и от этого она стала мала. Особенно рукава. Но мама их закатала выше локтя и сказала, что так даже лучше.

Потом мать натерла мелом отцовы парусиновые туфли, и они стали как новенькие.

— Ты пока их не надевай, а то я вчера вымыла полы, — сказала мать и выставила туфли за порог.

— А папиросы? Чуть не забыл! — сказал отец и сел набивать папиросы.

Получались большие, толстые папиросы. Он обрезал кончики ножницами, чтобы не торчал табак, и складывал в красивую коробку. Он говорил — никто не догадается, что они самодельные, зато так дешевле.

— Кажется, всё... — сказала мать и повернула отца за плечи.

Я тоже еще раз оглядел отца. Какой он стал красивый! Все на нем было белое, праздничное. Вот только руки в царапинах. И лицо загорелое. Особенно против белой рубашки. Это он так обгорел, когда клепал мост. Он все время работал на самом верху. А внизу была вода. Но он не привязывался. Зато молотки всегда привязывал к поясу. Чтоб не падали в воду.

А нос так и вовсе облупился.

— Пстой, — сказала мать. — Дай хоть я нос оциплю. Смотри, как шелушится!

— Отстань! — рассердился отец.

— Ну как хочешь. Ходи с таким.

А так все было очень хорошо: и майские брюки из белой рогожки, и туфли, и всё, всё...

— Ну ладно, идите, — сказала мать и посмотрела на меня. — Ах да! Чуть не забыла! Возьмите-ка что-нибудь из еды.

— Ну вот еще! Там же будет бесплатный завтрак, — сказал отец и показал талоны, — и обед и ужин.

— Кто его знает, что там будет, — сказала мать. — И потом — ты не один. Ребенок захочет есть.

Она сунула отцу сверток, и в это время вошел дядя Федя, председатель завкома.

Он дал мне маковку и сказал:

— Ну, карапет, поехали!

— А куда мы поедем? — спросил я.

— Очень хорошо. Просто замечательно! — сказал дядя Федя и заулыбался.

Он совсем плохо слышал, этот дядя Федя. Но делал вид, что слышит все-все. Он, как и отец, был раньше котельщиком. Но когда оглох

от молотков, его поставили председателем завкома. Он почти ничего не слышал и всегда говорил в ответ: «Очень хорошо. Просто замечательно!» И улыбался. Улыбался, чтобы не поняли, что не слышит.

У наших ворот уже стоял грузовик. В кузове было полно. Все такие разодетые. От грузовика так и пахло одеколоном. А на бортах красные лозунги, как на Первое мая.

— Скорее, скорее! — кричали нам. — Еще надо за Кузьмичом заехать. А потом к Степке из кузнечного цеха. Ты не знаешь, где живет Степка?

— А что это у тебя за сверток? Закусон?

— Девки, а штаны-то! Штаны какие!

— Накрахмаленные!

— Штаны — дрыком!

— Га-га-га!

— Чего гогочете? Зафтыкали мужика.

— Иван, полезай сюда. А мальчика — в кабину.

Мы заехали за Кузьмичом. Он оказался старым дедом. Кузьмич закидывал, закидывал ноги в кузов и никак не мог закинуть. И его тоже послали в кабину. Он посадил меня на колени, и я спросил:

— Дедушка, а ты тоже ударник?

— Плотник я. А так... шут их знает.

Степку из кузнечного мы так и не нашли и поехали без Степки.

Грузовик ревел, дребезжала фара, коленки у Кузьмича подпрыгивали и были как железные. Он сопел над ухом, и усы его пахли не то селедкой, не то водкой. Но зато я ехал в кабине! Первый раз за всю жизнь.

А наверху играла гармошка, и все громко пели:

*Мы красна кавалерия, ипронас
Мы линники речистые ведут рассказ...*

Что такое «ипронас» и что такое «линники», я не знал, но песня была такая, что даже Кузьмич притопывал подошвой.

Потом пели: «Эх, яблочко! Куды котисси!..» — и кто-то плясал в кузове.

Люди останавливались, махали нам руками и что-то кричали.

Лошади задирали морды и храпели. Мужики соскакивали с телег и хватались за уздечки.

А по бокам дороги, под насыпью, синела вода, и в ней плавали зеленые ракиты и белые облака. А может, даже не облака, а черемуха.

Разве все разглядишь, когда грузовик так несется по дороге, аж дребезжит фара...

Когда мчались через новый мост, он гулко загрохотал над головами, и все закричали «ура».

— Р-а-а-а! — ответил мост.

— Ура-а-а! — еще громче закричали в кузове.

— Ах, язвитвоюдушувтрибаранийрог! — задребезжал Кузьмич.

— Чего, дедушка?

— погоди, говорю, внучек. Дай высморкаться. — И Кузьмич полез рукой под меня доставать платок.

За мостом свернули в лес, прыгали, прыгали по корням и останавливались.

— Стой, ребята, не разбегайтесь! — крикнул дядя Федя.

Принесли красный стол с графином. Поставили под сосной. Дядя Федя что-то говорил. Все хлопали. Меня обступили со всех сторон, и было жарко. Пляжу вверх — кусочек неба и ветка. Пляжу вперед — Кузьмичовы штаны в белую полоску. А дядя Федя все говорит и говорит.

— Как черт, чешет! Подковался в завкоме! — гудит кто-то сзади.

— А теперь, ребята, занимай палатки! — крикнул под конец дядя Федя. — На весь день.

Нам досталась самая крайняя. Отцу, Кузьмичу и мне. Вверху шумели на ветру сосны. То разойдутся, то опять обнимутся. А внизу тишина. Падали шишки, стучали по брезенту, как по барабану. Синичка тинькала. Елками пахло. Где-то кричал дядя Федя:

— Петрищев, занимай девятую с Апанасенком! А ты чего носишься? Ты с кем? Нашел себе пару?

Отец повалился на койку, закинул руки под голову.

Кузьмич постучал ногтем по парусине.

Я приоткрыл коробку на столике — шашки!

Отец достал папиросы и глянул на Кузьмича.

Кузьмич посмотрел на отца.

Отец посмотрел и улыбнулся.

Кузьмич тоже расправил усы.

— Красота! — сказал отец и хлопнул Кузьмича по коленке.

— Да вот и я говорю, язвитвоюдушувтрибаранийрог, дожил...

Кузьмич засопел, полез за носовым платком.

— У тебя чего там, в свертке, колбаска? — сказал он, часто-часто моргая глазами. — А то у меня есть по махонькой...

Но под брезент кто-то просунул голову и крикнул:

— Выходи завтракать!

Завтракали под навесом, за одним большим столом. Ели творог со сметаной. Кашу рисовую с маслом. Потом пирожки с капустой. Чаю было сколько хочешь.

Кузьмич что-то возился под столом, толкал ногами соседей и тех, что сидели напротив, и, вытаращив глаза, шипел:

— На... Только быстро...

— Кого? — пугался сосед и оглядывался по сторонам.

И каша и пирожки были вкусные. Кузьмич, вылезая из-за стола, даже запел:

Бывали дни веселые...

А отец совсем покраснелся, снял галстук и сунул его в карман. Пришел дядя Федя, оперся руками о край стола, оглядел всех нас и сказал:

— Наелись?

— В самый раз!

— Куда лучше!

— Пивка бы...

— Очень хорошо! — заулыбался дядя Федя. — Просто замечательно! А теперь не расходитесь. Будут затейники.

— Ты не больно профсоюзной деньгой сори, — сказал Кузьмич, — затейники можно и к обеду подать.

Тут появился какой-то лысый в трусиках и засвистел в дудку. Он подбрасывал кожаный мяч и кричал:

— Кто хочет в волейбол? Становитесь за мной!

Но в это время прибежала девушка в голубой футболке с белым кантиком вместо воротника и хлопала в ладоши:

— Товарищи, есть желающие в крокет?

— Волейбол! Волейбол! — свистел в дудку лысый.

— Крокет! Крокет! — хлопала девушка.

Она хлопала, поглядывала на лысого, и ее подстриженные волосы ровной щеточкой мели по белому канту на футболке.

— Ты куда хочешь? — спросил меня отец.

— В крокет! — не раздумывая, ответил я.

Да и всем тоже больше понравился крокет.

И отцу, и Апанасенко, и Петрищеву.. Только Кузьмичу — нет...

— Ох-хо-хо... — зевнул он. — Вы как хотите, а я полежу маленько.

Оказалось, что нашу затейницу зовут Фаиной и что народу за ней пошло больше, чем надо, и оттого всем стало неловко. И Петрищеву неловко, и Апанасенко... Отец то и дело закуривал свои папиросы, и я знал, что ему тоже неловко. Все глазели на затейницу и переминались.

А Фаина стояла посередине крокетной площадки и вертела на ладошке деревянный молоток на длинной ручке. Ее стриженные волосы чиркали по белому кантику то вправо, то влево.

— Это ничего... Это даже лучше, — смеясь, сказала она. — Будем тянуть жребий. Согласны?

Все были согласны, и Фаина подбежала и наклонилась ко мне:

— Можно у тебя попросить бескозырку?

На моем плече лежала ее загорелая рука, и у моего уха тикали часики.

— Тебя как зовут, а?

Бескозырку мне не было жалко, но я смотрел на свои сандалии, потому что она заглядывала мне в лицо, и от этого я не мог ничего говорить.

— Он у нас дикарь, — сказал отец и снял с меня бескозырку. Мои уши стали горячими.

«А сам какой?» — рассердился я на отца.

Игра совсем не получалась, потому что никто не умел играть в крокет.

— Ух ты, промазал! — багровел отец, растерянно глядя на шар. А тот, подпрыгивая и мелькая красными полосками, скакал с площадки в траву.

Я мчался за ним следом и подавал шар Фаине. Я подавал ей в самую руку, как наш Тимурка подавал мне брошенную палку. Он приносил ее, счастливо прижимая уши, и я гладил его по голове за то, что он был такой хороший. Фаина тоже гладила меня по голове и говорила:

— Вот молодец!

И подбегала к отцу:

— Экий вы... неловкий. Смотрите! Смотрите...

Она чуть расставляла ноги, опускала отвесно молоток и коротким ударом посылала шар меж проволочных дужек.

Отец тоже расставлял ноги и бил — раздавался треск, шар срывался с места, сшибал несколько дужек и, срикошетив, летел в траву.

— Вы бьете, как кувалдой, — смеялась Фаина. — Держите молоток свободнее.

— Иван, это тебе не на мосту! — хохотал Апанасенко.

— Не мой это инструмент, — разводил руками отец и доставал из кармана красивую коробочку с папиросами.

А вверху все шумели и раскачивали вершинами сосны. Как большие метлы, они то вправо, то влево ходили по небу, разметая высокие облака. И все падали и падали шишки, мягко шлепаясь в сухую рыжую хвою.

Гулко и далеко прокатывались по лесу удары крокетных молотков, и путались меж сосен веселый Фаинин смех и сладкий запах отцовских папирос.

Мне было радостно догонять шары и подавать их в загорелую Фаинину руку. Я бы бегал так без конца. Я бы хотел не только подавать шары. Я бы хотел... Хорошо быть большим! Вон отец... Она с ним разговаривает и смеется. А он ничего не понимает, — как это хорошо, когда с тобой разговаривает и смеется Фаина.

Я зашел за сосну, снял сандалии и полез на дерево. Я карабкался по сухим, обломанным сучьям, потом лез между сучьями, потом опять по сучьям. Все выше и выше. Но я все равно лез, если бы даже сосна была в километр высотой. Что-то неодолимо тянуло меня вверх, туда, где шумел ветер... Я лез, и мелкие золотистые чешуйки сыпались вниз и кружились над крокетной площадкой.

Добравшись до самой макушки, я уселся в развилке. Ветер шумел и надувал мою матроску. Сосна качала меня, и я плавно летал среди хвои соседних сосен то вперед, то обратно. Сквозь ветви вниз был виден желтый пяточок площадки. И две маленькие крапинки — белая и голубая. Белая — это отец. Голубая — Фаина. Крапинки то раскатывались, то опять сходились.

— Эй вы-ы! — закричал я изо всей мочи.

От моего крика две крапинки сразу замерли.

— ...за-ай! — донеслось снизу.

— Не слезу!

— ...дѐ-ѐ-ошь!

— Не упаду-у!

Я обхватил ствол руками и телом стал помогать дереву раскачиваться еще больше. «Ш-ш-ш», — шипела хвоя, когда я летел вперед. «Ш-ш-ш», — шипела она, и я откидывался назад.

Мне было и страшно и радостно. Я слышал, как гулко колотилось мое сердце о ствол сосны. Я знал, что теперь Фаина ни на кого не смотрит. Она смотрела только на меня: голубая крапинка по-прежнему не шевелилась на желтом пяточке крокетной площадки.

Обедали мы под тем же навесом. Было шумно и весело. Горошники доспаривали какой-то свой спор. Волейболисты умывались на речке и прибежали вместе с лысым, на ходу обтирая носовыми платками мокрые лица и руки. Кеглисты подозрительно пошатывались и тоже расселись всей командой.

— Фаина Владимировна! — позвал отец. Он все время держал рядом со мной на скамейке кулак, чтобы никто не занял место. — Фаина Владимировна! Давайте уж и мы вместе...

— А, вы тут! — кивнула Фаина и пробралась на нашу сторону.

Она была в белой кофточке в желтую горошину. Свежее, умытое лицо розовело надо мной, и я боялся поднять глаза, будто рядом со мной сидело утреннее солнце.

— Ну как, нравится тебе у нас? — наклонилась ко мне Фаина. — У, какие у тебя черные руки!

Руки у меня были в смоле, они не отмывались, и я спрятал их за спину.

— Чистый папа! — засмеялась Фаина. — Маленький, а уже медвежонок!

— Выходит, я медведь? — сказал отец.

— Еще какой!

— У медведя губа не дура! — подморгнул Кузьмич, и отец почему-то покраснел и нагнулся к тарелке. — Только гляди — где мед, там и пчела! — погрозил пальцем Кузьмич, и Фаина весело рассмеялась. И все рассмеялись тоже.

Но мне было не смешно. Эти взрослые! Никогда не поймешь, над чем они смеются.

— Давай-ка, Иван, лучше нашей медовухи пропустим, — сказал Кузьмич и опять зачем-то нагнулся под стол.

После обеда объявили «мертвый час» и стали всех загонять в палатки.

— Ребята, никаких хождений! — кричал дядя Федя. — Шагом марш по палаткам! Кузьмич, ты куда?

— Чего шумишь? Нужда имеется.

— Очень хорошо! — сказал дядя Федя. — Потом, потом... Ничего не знаю.

Мы лежали с отцом на одной койке. Он курил и пускал колечки дыма в комара. Комар пищал и бился о потолок палатки.

— Пап, научился в крокет?

— Научился, — задумчиво сказал отец и выпустил изо рта дымный бублик.

Он обнял меня, и его большая тяжелая рука легла мне на грудь. Я лежал, уткнувшись в подмышку, и перебирал отцовы пальцы. Они были корявые и жесткие, с желтыми, прокуренными ногтями. На среднем пальце изнутри прощупывалась твердая шишка величиною с желудь. Она мешала пальцу сгибаться, и когда отец сжимал молоток, то держал этот палец чуть в сторону. Там, под кожей, сидел осколок заклепки. Теперь он зарос, и палец не стал сгибаться.

— Пап, а почему ты его не вытащил?

— Надо было идти в больницу. А мы спешили доделать мост.

— Пап, а зачем ты молоток привязываешь на веревку?

— Я привязывал, когда болела рука.

— Ты так и работал, раненный?

— Да. Я заклепал двадцать три тысячи заклепок.

— Поэтому ты ударник?

— Не я один. И Апанасенко, и Кузьмич, и Петрищев...

— Пап, а Фаина кто?

— Фаина? Фаина... Спи давай...

Когда я проснулся, отца не было. Был один Кузьмич. Он храпел на своей койке, и щетина его усов мерно царапала подушку. Он отдувался, жевал губами и бормотал все то же непонятное: «Аязвит-воюду...»

На светлый корпус палатки опустился древесный листок. Сквозь парусину хорошо виден его темный силуэт. Вот он исчез, и на его месте осталась одна черточка. Потом опять появился листок, потом опять черточка. И я догадался: это сидела бабочка. Она складывала и разворачивала крылья, греясь на теплой парусине.

Хорошо здесь! Весело как-то. И все такие хорошие. И Кузьмич, и дядя Федя, и Апанасенко, и все, все... Вырасту — стану ударником. Буду играть в крокет с Фаиной. Буду всегда любить ее...

По крыше стукнула шишка и покатилась, подпрыгивая. Бабочка улетела.

Буду играть в крокет с ней там, на площадке под соснами.

За палаткой на дорожке слышались шаги. И голоса:

— Куда девать весла?

— Давайте я занесу в кладовую. Мне по пути.

— Может, посидим?

— Нет, пойду к себе. Я устала. От воды шумит в голове.

— Это сначала.

— Очень высоко. Я никогда не прыгала с моста...

— А я привык... Бывало, в обеденный перерыв снимаю спецовку и с самого верха фермы...

— Ну, пока.

— Счастливо.

В палатку, пригибаясь, вошел отец. Я слушал, как он тихо напевал:

Мы красна кавалерия, и про нас...

— Ты не спишь? — спросил он, присаживаясь рядом на койку и приглаживая мокрые волосы.

Я глянул и испугался:

— Пап, а ты все-таки зазеленил брюки.

— Правда?

— Посмотри, сзади. Мамка теперь будет ругаться.

— А, ладно! — усмехнулся отец.

Вечером мы пили чай, а после было кино. Но я не досмотрел до конца и уснул у отца на коленях.

А потом поехали домой. В кузове было мало людей. Многие уехали раньше.

Отец и Фаина стояли рядом, держась за кабину. Грузовик, урча и покачиваясь, пробирался сквозь темный лес, тускло светя фарой. Было холодно, и отец сказал мне сердито:

— Почему ты не идешь к Кузьмичу в кабину?

— Не хочу!

— Но здесь же холодно!

— Нет!

— Женька, надеру уши...

Разве он поймет, почему я не иду в кабину? Пусть, пусть надерет уши... Пусть... Но все равно... Все равно я вырасту большой...

— Ну, зачем же так! — сказала Фаина. — Иди сюда, малыш. Становись между нами. Так будет лучше...

Она обхватила меня рукой, и я прижался к ее теплему боку.

Над моим ухом тикали часики.

Я плакал. Тихо, чтобы никто не услышал.

Но она поняла. Она нагнулась и зашептала на ухо:

— Не надо, маленький. Ну что так? Папа не хотел тебя обидеть. Он добрый, твой папа... Ты устал. Сразу столько впечатлений! Ну-ка, повернись ко мне.

И она вытерла мне нос мягким душистым платком.

Выбрались на шоссе. Грузовик осмелел и помчался, дребезжа фарой.

Свет выхватил впереди что-то высокое и темное. Оно накати-лось на нас и справа, и слева, и сверху и гулко загрохотало.

— Мост! — сказал отец.

— Да... — выдохнула Фаина.

— Вы бы сейчас прыгнули? — спросил отец.

— Сейчас? Ночью? — удивилась Фаина и сказала: — С вами — да!

Свет метался по бесконечным стальным сплетениям, и в тишине ночи над неведомой глубиной гулко и раскатисто рокотали пролеты.

— Что же мы молчим? — сказал дядя Федя. — А ну, давай, ребята! Петрищев! — И, не дожидаясь, сам затянул весело и громко:

*Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куюм мы счастья ключи...*

Над нами, перечеркнутые на мгновение стальными балками, гасли и снова вспыхивали звезды.

Гасли и вспыхивали...

1962

ДОМ ЗА ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКОЙ

Мы жили в старом двухэтажном доме на шумной Гужевой улице. Мы — это Пестрик, Пашка Крок, Франц-Иосиф и я — ребята нашего двора.

В те времена город еще не знал асфальта. Даже главная площадь, на которой устраивались парады, была вымощена глыбистым, как голландские сыры, булыжником. На парадах трубачи, выводившие «Смело, товарищи, в ногу...», посматривали не столько в ноты, пришпиленные к спинам впереди идущих, сколько себе под ноги, чтобы не запутаться на колдобистой мостовой.

Летом город просыпался в тяжелом грохоте ломовиков. По нашей улице, протянувшейся от станции, с утра до вечера топали грузные космогоние лошади. Натужно поднимаясь с фурами в гору, они высекали из булыжника искры, а рядом, волоча кнуты, неторопливо брели в пыльных, растоптанных сапогах багровые возчики, молчаливые, как боги.

Никто никогда не мел эту мостовую, захламленную угольной пылью, известкой, сенной трухой и конским навозом. Только внезапные ливни под веселые раскаты грома проносились по улице

бурыми, похожими на крепкую заварку потоками. После них булыжины снова сияли своими серыми, желтоватыми и сахарно-белыми лысинами, и по ним, прохладным и чистым, было приятно шлепать босиком.

Пожарные тоже еще ездили на конных колесницах. Неподалеку от нас, на перекрестке, стояла их командная конюшня с красной деревянной каланчой. Там, наверху, всегда маячил дозорный, он прохаживался взад-вперед, пуская солнечные зайчики самоварно-ясной каской. А внизу, за рядами тяжелых ворот, перепоясанных цепями с чугунными противовесами, гулко переступали на деревянном полу, всхрапывали и позвякивали никогда не снимаемой сбруей кони. Ворота постоянно были заперты, и мы, припадая к щелкам, вглядывались в заманчиво-таинственную жизнь конюшни. Кони были все как один белые, в отличие от других городских команд, куда подбирались иные масти. Нам не терпелось увидеть пожарный выезд, и мы, грешным делом, мечтали, чтобы где-нибудь поскорее загорелось.

Иногда над улицей гулко и торопливо ударял колокол, и мы, побросав все на свете, во все лопатки мчались к конюшне. Красные пасти ворот уже были настежь, из них вылетали огнеглазые, фыркающие, длинногривые пары и тройки с красными колесницами и красными бочками. Пожарники, в касках которых, мельтеша, отражались и синее небо, и красные бочки, и белые крупы лошадей, придерживая топорики, на ходу впрыгивали в колесницы и, кто сидя, кто стоя, кто и вовсе непонятно как держась, нагоняя еще больше суматохи звоном колоколов, в колесном грохоте и тучах пыли уносились за головным. Мы все оравой мчались следом, на черный дым, уже поднимавшийся вполнеба, чтобы успеть посмотреть на захватывающее зрелище, заменявшее нам и кино и цирковые представления.

Да что пожарные! Сам директор нашего завода товарищ Лыкин ездил на коне. Конечно, он мог ездить и в пролетке, был у него личный кучер дед Николай, но товарищ Лыкин предпочитал седло. Мы бегали к своим отцам на завод и часто видели товарища Лыкина. Мы любили его восторженной мальчишеской любовью. Нынешние директора, может, и не хуже, но увидеть их довольно трудно, да и увидев, мальчишка не найдет в них ничего особенного: портфель да шляпа — вот и весь директор. «Лыкин едет!» — бросал кто-нибудь, и мы замирали у решетчатых заводских ворот. По угольному шлаку двора хрумкали его сверкающие сапоги с крученой плеткой за голенищем. Кривые, ухватами, ноги, черная барабашковая кубанка над правой клокастой бровью, багровый сабельный шрам на скуле, стянувший набок рот, лицо в крупных ямках оспы, будто кто в упор секанул картечью, и два ордена боевого Красного Знамени на кумачовых бантах, привинченные прямо к груди ры-

жей кожанки. Мы знали, мы даже могли поспорить с кем угодно, что дома у него висит конармейская шашка, и он не надевает ее только потому, что назначили директором.

— Батя, коня! — сипло выкрикивает товарищ Лыкин деду Николаю.

Дед выводил из стойла рыжего горбоносого жеребца. Стуча о порог копытами, конь простовато брел за дедом, мягкими губами тянулся к его карману, мирно давал набросить на себя седло и затолкать в зубы удила. Но как только Лыкин, пристукнув пятерней кубанку, одним поскоком влетал в седло, в коне вдруг взводилась какая-то пружина, он начинал мелко цокать копытами, крутить змеиной шеей. Дед отпирал ворота с серпом и молотом на решетке, и конь, горячась, вертя подвязанным хвостом, боком выплясывал на улицу.

— Батя, в исполком поехал! — докладывал Лыкин и вот уже, огрев плетью жеребца, скакал по мостовой, как-то скособочась, свеся свое грузное тело на одну сторону.

Дед Николай глядел в спину Лыкина и не то укоризненно, не то одобрительно покачивал головой в старой вислоухой буденновке.

Тогда еще в силуэт нашего города были вписаны двадцать восемь церковных колоколен и только четыре жестяные заводские трубы. Три трубы варили мыло, квасили дрожжи, дубили кожи, а четвертая труба была лыкинская. На нашем заводе не занимались пустяками вроде мыла и дрожжей. Там ремонтировали первые советские тракторы. Они появились в городе в синем керосиновом дыму, пыльные, с застрявшей в зубьях колес черной полевой грязью, перемешанной с измятой соломой. Мы бежали за тракторами, оглохнув от грохота, внюхивая запах гари и горячего автола, заглядываясь на трактористов, у которых мелко тряслись подбородки и кепки, плечи и большие черные кулаки, сжимавшие рычаги.

Случалось, тракторы привозили волоком. Иные с развороченными радиаторами и изувеченными внутренностями моторов. Впереди шагал мужик в лаптях и с хворостиной. Он тянул за веревку первую пару волов, а за этой парой тащились еще две и уж потом сама машина и осоловелый от жары и долгой ленивой дороги тракторист на железном блине-сиденье.

— Эдак разделал! — прицелкивал языком дед Николай, разглядывая изуродованный трактор, остановившийся у заводских ворот. — Небось на столб напоролся?

— Кой на столб! — Тракторист скреб распаренный затылок. — Топорами порубали.

— Тэк, тэк, тэк, — цокал языком дед Николай. — Вон оно куда!.. Да как же не уследили?

— Ночью закопали в борозде. Тракториста, дружка моего, — наповал, а машину ... сам видишь...

— Выходит, война-то и донине не улеглась...

Завод длинно и однообразно тянулся вдоль улицы низкой кирпичной стеной, выбеленной известкой, с большими пыльными окнами. В самые крайние окна, всегда багровевшие всполохами кузнечных горнов, можно было высмотреть моего и Пестрикова отцов. Дядя Степан щипцами выхватывал из огня красный кусище железа и, сам став красным — и лицо, и мешочный нагрудник, и рукавицы, — тащил, отклоняясь, поковку к наковальне. Мой отец, осыпаемый огненными звездами, лупил по железу, сдергивая после каждого удара полупудовый молот с наковальни, и, не дав ему упасть к ногам, широким полукружьем снова заносил его над головой. И, пока молот отца описывает эту дугу, дядя Степан успевал повернуть поковку с боку на бок и еще раз пристукнуть молотком поменьше. На эти короткие минуты, пока железо еще светилося на наковальне, наши отцы как бы сливались в одно существо, с единым дыханием и ритмом. На их работу хотелось глядеть, и мы подолгу липли к окну, ожидая новых и новых поковок. Заметив нас, мой отец, с черным носом и белыми глазами, грозил пальцем, и мы убегали к другим окнам — искать отца Пашки Крока. Но увидеть его удавалось редко. Он работал шорником и все время кочевал по цехам, починяя оборванные приводные ремни. У Франца-Иосифа отца не было, и на заводе работала его мать — тетка Феня. Ее цех назывался мойкой. Там мыли разнообразные тракторные части. Оськина мать, закатав рукава, возилась в железной ванне с керосином. Так она полоскалась каждый день. Она вся была пропитана керосином и вспыхнула бы факелом от первой спички. Дома у них все неистребимо пахло мойкой, и сам Оська тоже.

Когда Оська относил в библиотеку книжки, библиотекарьша подозрительно принюхивалась и делала ему замечание.

Мы гордились своим заводом, потому что там ремонтировали тракторы. Возвращаясь домой, мы уносили в карманах то какой-нибудь болтик, найденный в придорожной канаве, то старый ролик от тракторного подшипника, а если посчастливится, то и вовсе какую-нибудь диковинную железячку с хитроумными завитушками, чего ни за что не найдешь ни возле мыловарни, ни около дрожжезавода. А по праздникам мы вместе с рабочими ходили на демонстрацию. Наша колонна всегда шла впереди дрожжевиков и мыловаров, и у нас был настоящий духовой оркестр, а не просто гармошка.

Что касается нашего дома, то это был единственный коммунальный дом на всей улице. Он стоял в глубине двора, за большими каменными воротами, всегда распахнутыми настежь и похожими на триумфальную арку. С толстых опор запыленными глазами глядели львиные морды с кольцами в зубах. На арках кучерявились алебастровые финтифлюшки и крылатые амурсы. С гребешка сви-

сали обрывки кровельного железа, а меж замшелых кирпичей росли веники. По этим воротам мы догадывались, что раньше за ними жила какая-то важная птица.

Дом сгорел еще в революцию и долгие годы стоял пустой коробкой с черными провалами окон. Лыкин присмотрел его для завода и прислал плотников. По выходным мы целыми семьями ходили им помогать. Выбрасывали битые кирпичи, остатки провалившейся крыши, выдергивали бурьян и крапиву. Плотники настлали полы и потолки, приделали тесовые лестницы и коридоры. Правда, дом вышел не очень красивый, над окнами так и остались черные, закопченные зализы от пожара, но наши матери побелили изнутри стены, подвели синькой кантики под потолком, и в общем получилось здорово. Когда вселялись, Пестрик, таская с подводы узлы и кастрюли, весело горланил:

*Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем!*

Приезжал товарищ Лыкин, глядел, как мы устроились, привез сумку электрических лампочек — по две штуки на семью — и сам вкручивал их в патроны.

— Ну что ж, ребята, — говорил он, пробуя выключатель, — пока так, а разбогатеет — построим новый дом, попросторнее.

Соседи относились к нашему двору враждебно. Они жили в крепких, приземистых особняках, на которых кое-где еще оставались следы торговых лавок. По вечерам, крестясь на луковку Святой Троицы, они запирали на железные шкворни ставни на окнах, и дома с первыми сумерками погружались в тихую, затаенную дремоту. За высокими заборами в садах висели синие, затуманенные сливы, желтеющие яблоки, курились самоварные дымы, брехали собаки. Соседям не нравилось наше шумное поселение с непонятным, безалаберным порядком жизни, с настежь распахнутыми воротами и незанавешенными окнами. Особенно недолгоблюдали нас, ребяташек, называли шпаной и голодранцами и не разрешали своим детям водить с нами компанию.

И верно, внешний вид у нас был не очень привлекательный. Штаны у всех заношенные до серого землистого цвета, мы не знали обуви до самой школы, подолгу не стриглись, да и редко умывались, потому что, чуть продрав глаза, мчались на улицу. Время от времени матери устраивали генеральную мойку и штопку, но этого хватало на один день.

Улица и солнце были нашим миром, и нас мало занимали штаны и прически. Мы обдергивали хвосты у ломовых лошадей и сучили волосяные лески. Лазали по пустырям и свалкам, собирали железный лом, сдавали его в утиль. На чужих огородах в зарослях репейника расставляли ловчие сетки на щеглов и потом продава-

ли их на птичьем базаре, собиравшемся каждый выходной день в тупике под стенами церкви Святого Фрола. После внезапных ливней бегали по уличным сточным канавам. Непонятно почему, но там, в расщелинах камней, в нанесенном иле, часто попадались монеты. Из старых николаевских красномедных пятак и трешниц получались отличные биты, которые мы выменивали на всякую всячину, а наши, советские, складывали в общую копилку — на голубей. Когда на улицах зацветали акации, мы лазали по деревьям и набивали пазухи белыми, одуряюще пахнущими метелками. Пристроившись где-нибудь на крылечке, мы лакомились цветами: раз за разом запихивали в рот тяжелую белую кисть и тянули за черешок меж зубов. Рот битком наполнялся приторно-сладкими лепестками, отдающими чем-то вроде гороха с примесью дурмана. Сначала это было довольно вкусно, но потом начинало мутить и подташнивать. Вообще мы совали в рот все, что хоть чуть было съедобно: крупные красноватые почки лип, корни лопухов, свербигу, вику, оставшуюся после лошадей у какой-нибудь коновязи. Нам всегда хотелось есть, потому что мы были иждивенцами. Нам полагались зеленые хлебные карточки, на которые выдавали двухсотграммовую скибу овсяного хлеба. Изредка нас посылали к греку купить «вольного» хлеба. «Вольный» хлеб был не похож на тот, что мы получали в заводском магазине. У грека на полках лежали огромные круглые ковриги. В тусклом полусвете лавочки, пропитанной теплым пшеничным духом, глянцево лоснились коричневые горбы хлебов. Ковриги мягко шуршали, когда грек, мордатый, черный, с капельками пота в густых бровях, копался в них волосатой рукой, выбирая, какая поменьше.

— Крок, — спрашивал Пестрик, глядя, как грек перебрасывает ковриги, — а почему это хлеб крутлый, а у нас на заводе кирпичиком?

— Потому что коммерческий.

— А что такое коммерческий?

— Это, малчики, так называется хлэб, который можно купит, сколько душа жэлат, — пояснил грек. — Тебе сколько надо?

— Килограмм, — говорил Пестрик.

— Зачем так мало? — удивлялся грек. — Бэри всю булку! Смотри, какая!

— Нет, нам килограмм.

Грек, огорченно сморщив лоб, отрезал от ковриги маленькую краюшку и бросал на весы.

В погожие летние ночи мы любили всей гурьбой спать на крыше сенника. Он стоял в самом конце двора, огромный и пустой, с еще не выветрившимися запахами конского стойла. На чердаке валялись рассохшиеся лакированные колеса. В ворохе клеверной трухи и старых лакейских ливрей мыши догрызали какие-то ос-

татки прежней жизни, а мы, подстелив свои пальтишки и отцовские стеганки, как-то особенно уютно, по-родственному пахнущие заводскими станциями, распластывались на крыше. Над нами бесконечно широко и звездно мерцало небо. Под брёх соседского пса, облаивавшего нас из сада, мы отыскивали золотой ковшик Большой Медведицы, подолгу вглядывались в другие звездные косяки, и Пестрик взволнованным шепотом спрашивал:

— А что там, за ними, а, ребята? Вот бы слетать...

По утрам в синем бездонье неба едва различимыми крапинками повисала семерка Пашкиных голубей. Они тянули на встречный верховой ветерок, кучно держась над самым домом. Время от времени вожак заваливался на хвост и метров триста — четыреста кубарем летел к земле. Следом сыпались остальные. Затем, выровнявшись, снова набирали высоту, пока не растворялись в небе. Только частые вспышки солнечных лучей на белых крыльях не давали потерять из вида стаю.

Голуби — Пашкина страсть. В них он вкладывал всю свою угрюмоватую, замкнутую душу. Он даже спал в голубятне на узеньком деревянном топчане, просыпаясь на рассвете с перьями в нечесаной голове и в известковых пятнах голубинового помета. Жил он вдвоем с отцом, и на его долю выпадали все невеселые хлопоты по дому. Бегал в лавку, топил плиту, куховарил. У Пашки крупные, скошенные вперед зубы, всегда белевшие в полуоткрытом рту недобрым оскалом, и за это его прозвали Крокодилем. Прозвище трудно выговаривалось, его урезали для удобства наполовину, оставив только начало — Крок. Из-за некрасивой физиономии и жесткого, вспыльчивого нрава Пашку на улице побаивались и ненавидели. Все пропажи и прочие неприятности, случавшиеся во дворах и садах обывателей, сваливали на него. Пашкин отец под горячую руку сек его в пустом сеннике обрезком приводного ремня. Защелкнув намертво зубы, Пашка молча переносил наказание, зато потом расчетливо и жестоко мстил за наговоры.

Водить голубей в те времена считалось последним занятием. Слово «голубятник» было бранным, оскорбительным. Голубь не считался символом мира, — наоборот, он был птицей постоянной вражды с соседями, боявшимися за свои крыши. Пронзительный свист и хлопанье крыльев выводили из себя всех окрестных цепных собак. Несколько раз отец отрывал головы Пашкиным голубям, после чего Пашка надолго запирался в пустой голубятне, молчаливо переживал свою обиду. Но потом, отойдя, заводил новую стаю.

Подняв в небо голубей, Пашка ложился навзничь посередине двора, закинув под голову руки, и лежал так недвижно и долго. Для него не существовало большего удовольствия, чем видеть птиц парящими под самыми облаками. Даже в крошечных точках он различал каждого голубя — по его особому «почерку». И хотя нам каза-

лось, что все они летают одинаково, Пашка, недовольно хмурясь, говорил: «Белохвостого продам к чертовой матери. Что делает, гад, что делает!» Какой именно из семи белохвостый и что он такое делал — разглядеть было невозможно.

— Пацаны, айда под ножички! — предлагал Пестрик, доставая из кармана складной нож. Пестрик был рыж и густо забрызган веснушками, будто покрыт ржавчиной. За свою конопатость вместо Сережки его звали Пестриком. — Пашка, будешь?

— Давай, — не отрывая глаз от неба, кивал Пашка.

Лезвием ножа Пестрик принимался рыхлить землю.

— С колом? — спрашивал Пестрик.

— Давай так.

Играть «в ножички» без кола безобидно. Надо было выполнить десятка полтора различных фигур. После каждого броска нож должен воткнуться в землю. Это давало право участнику продолжать игру. Если же он заранивал, то есть нож не втыкался, игру продолжал следующий. Этим все и кончалось. Зато с колом дело принимало острый оборот. Не успевшему отыгаться предстояло тянуть кол. Брали палочку толщиной с карандаш, отмеряли ее по длине мизинца водившего, остро зачиняли и втыкали в твердую, невскопанную землю, каждый из участников имел право ударить по колу рукояткой ножа три раза. Когда все пробьют, надо вытащить кол зубами. Но на этом игра не заканчивалась. Вытащив, водивший с колом в зубах убегает от остальных. По дороге он незаметно выплевывает кол. Если найдут, кол забивают снова, и так до тех пор, пока кол не будет потерян.

Перочинный нож пошел по кругу. Игра без кола двигалась вяло, так, от нечего делать. Пестрик заронил на второй фигуре, Франц-Иосиф тоже. Крок перевалился со спины на живот, небрежно проделал «штычок», ради которого и вставать не стоило.

— Ребята! Мошно я ш вами?

На заборе появился Гришка Ижигин, повис локтями на верхней доске. Лицо красное от натуги. В зубах яблоко, оттопырившее нос так, что он на переносье собрался гармошкой и побелел.

— А, ребята? Мошно я?

Гришка был сыном соседа Кондрата Ижигина, сухонького мужичонки с длинной, лошадиной головой и впалыми, как у лошади, висками. Мы называли его Кощеем Бессмертным, или просто Кошеем. Кондрат имел свою пекарню. Он пек хрупкие клетчатые вафельные листы для «микад» и такие же трубочки для кремовых вафель. Все это печенье он поставлял в какую-то артель, где трубочки набивали кремом, а листы, намазав вареньем, нарезали треугольничками. В темном Кошеевом доме, залечатанном ставнями, всю ночь пекли вафли, и над окрестными дворами плавал умопомрачительно вкусный запах. Нам ни разу не приходилось есть этих

вафель, разве иногда удавалось выманить у Гришки немного бою, которым он набивал свои карманы.

Гришку редко выпускали со двора, калитку замыкали на ключ, и Гришка часами вертелся у забора, подсматривая за нами в щелки и всячески стараясь обратить на себя внимание. Он липнул к нам как репей, его томило одиночество, но был он ябеда и вообще ненадежный. Сегодня он просился к нам, совал в забор кусочки битых вафель, а завтра корчил рожу и бросался прелыми яблоками. Но игра шла вяло, и Франц-Иосиф вопросительно посмотрел на Пашку.

— Пусть лезет, — согласился Крок.

— Жилиться не будешь? — спросил Пестрик.

— Когда я шилился?

Гришка перелез через забор, ребята раздвинулись, уступая ему место в кругу. Плюхнувшись на колени, Гришка заискивающе предложил:

— Кому яблоко? Я только раз откусил.

— Ваши? — спросил Крок, стрельнув глазами в анисовку.

— Ага, успели. На, попробуй.

— Ладно, ешь. Сами, если надо, попробуем.

Нож снова пошел по кругу. Мы нарочно даем Гришке набрать очков, тот оживляется, круглое лицо с большими оттопыренными ушами, похожее на горшок с двумя ручками, блаженно сияет. Гришка рад, что удрал со двора, он наслаждается запретной свободой и игрой, к тому же у него больше всех очков.

— А к нам вчера радио провели, — сказал Гришка, с сочным разбрызгом кусая яблоко. — Вот орет!

Ребята не выразили никакого интереса. Пашка Крок пустил струйку слюны в исковырянную ножом землю. Пестрик сквозь продранную штанину ногтем ковырял засохшую ссадину на черной коленке. Всех нас, конечно, раздирала зависть.

Зимой Гришке купили коньки с ботинками. У нас тоже были коньки. Но все они старые, почерневшие, доставшиеся из десятых рук, выменянные или купленные у шурум-бурумщиков по дешевке. Привязывали их веревками и деревянными кречиками на старые валенки. Держали они ненадежно, кособочились. Гришка же выезжал на улицу на новеньких коньках. Неловко скандыбая, он прибивался к нашей компании, чтобы повертеться перед глазами и похвастать. При виде Гришкиных коньков, ослепительно сверкавших никелем и как-то по-особенному позванивавших на льду, ребята скисали, пропадала охота кататься. И хотя Гришка ничего такого не делал, глаза Крока начинали недобро полыхать зеленым огнем.

— Знаешь, давай чеши отсюда! — зловеще шипел он.

— А что? Небось не закупил улицу.

— Мне ее закупать не на что. Она и так моя. Понял? А ты давай на свой двор проваливай!

После этого к Пашкиному отцу приходил Кощей. Говорил он тихо, степенно и все время напирал на совесть и справедливость. И Пашку опять пороли.

Весной Гришке купили велосипед. А теперь вот радио. Что и говорить, радио — здорово! Это удивительная штука. Только небось дорого стоит. Им что! Они вафли пекут.

— Ну, ты, давай валяй! — угрюмо подтолкнул Гришку Крок.

Гришка стал играть. Молчание ребят тяготило его, и он, не понимая, в чем дело, сказал:

— Не верите? Хотите, покажу?

— Покажи, — оживился Пестрик.

— Только к нам нельзя: отец дома.

— Значит, врешь.

— Не вру! Подходите к забору — увидите. Я на окно поставлю. Только сначала доиграем, ладно?

— Ладно, валяй!

Крок показал за спиной кулак Францу-Иосифу. Это означало: нечего валять дурака, пора обставить Гришку. Тот понимающе кивнул, и, как только Гришка заронил, Крок приподнялся на коленях. Перед носом оторопевшего Гришки Крок с небрежной беспечностью проделал все фигуры и, встав в полный рост, точно послал в центр круга вертящийся нож. Это был завершающий номер — воткнуть нож с высоты роста. Нож вошел в землю по самую рукоятку. Вслед за Кроком без запинки вышли из игры Пестрик и Франц-Иосиф.

— Пестрик, готовь кол.

— Какой кол? — удивился Гришка и кисло посмотрел на каждого по очереди. — Не было уговора, чтоб с колом.

— Жилиться, да? — рыжим хорьком оцетинился Пестрик.

— Нечего там! Давай кол!

Пестрик быстро выстругал колышек, приложил к Гришкиному мизинцу, чтобы все было по закону, и передал Кроку. Пашка чуть воткнул его в некопаную землю. Пестрик, примерившись, коротко и сильно ударил рукояткой ножа. Кол влез на четверть.

— Слабо, — усмехнулся Крок. Смешок Пашки неприятный, с ехидинкой. — Каши мало ел. Ну-ка, Гришка, гляди.

Кол мгновенно исчез под ударом, Гришка сначала думал, что Крок промахнулся и кол срикошетил в сторону. Но, приглядевшись, нашел его торец почти вровень с землей.

Франц-Иосиф с обычной для него задумчивостью обстоятельно загнал кол «заподлицо».

— Игра есть игра! — сказал он, близоруко щурясь и вытирая нож о штаны. — Тащи!

— Что тащить? — сделал глупую рожу Гришка.

— Как что? — опять ошетинился Пестрик. — Кол!

— А где он? Вы мне покажите: где он? — пласиво спрашивал Гришка и тайком, как кот в окружении дворняжек, косился на забор.

Крок, придерживая Гришку за ногу, притворно ласково уговаривал:

— Спокойно, спокойно! Зачем смываться? Смываться не надо. Вот вытащишь кол, тогда и ступай себе.

Гришка нехотя лег на живот. Мы тоже вытянулись вокруг него солнцем. Надо же сполна насладиться зрелищем!

Гришка долго и исступленно глядел по сторонам — то на Крока, то на Пестрика, ища слабинку, трещинку сострадания, сопел, раздувая ноздрями пыль, и вдруг с какой-то отчаянной яростью укусил землю.

— Тьфу, зараза! Не ухватил! — фыркнул Гришка, сплевывая комья грязи и далеко высовывая черный язык.

— Ешь, ешь, не бойся, — подбадривал Крок. — Не все-то тебе вафли грызть, надо и земельки покушать. Земля тоже штука. За нее, браток, саблями рубались.

— Гриша-а!

Гришка испуганно поднял голову.

Из-за забора высунулась Гришкина мать, толстая, с тремя подбородками Кощеиха.

— Гришка, стервец!

Увидев распластанного посреди двора Гришку с перепачканным лицом, Кощеиха запричитала:

— Да что они с ребенком делают! Шпана проклятая! Гнездо осиное! Голодранцы коростовые!

Гришка, на ходу вытираясь подолом, побежал к забору.

— Смотри про радио не забудь! — крикнул ему Пестрик. — Сам обещал!

Гришка забрался на гребень забора и, обернувшись, свернул нам двойной кукиш.

— У, гад, попадись! — брезгливо сплюнул Пашка.

Когда у нас набиралась порядочная куча железногохлама, мы впрягались в тележку и везли лом на барахолку, в лавку утильщика. Барахолка клокотала разным людом. На все лады рычали и плакали, рвали на себе мехи от тоски или распиравшей удали гармошки, гнусавили романсы граммофоны, истерично, смертоубийственно пищали резиновые чертики.

Отдельной колонией ютились сапожники, выставлявшие перед собой чиненые-перечиненые ботинки, галоши, сапоги, штиблеты, дамские туфли и прочую людскую обузу. У каждой пары особенная физиономия. Угрюмо и тупо, не поддаваясь никакому гутали-

ну, глядели на мир толстомордые сапожищи, для пущей крепости спереди и сзади обитые железными подковами; лакированные штиблеты, порядком обшарканные, напротив, посматривали с жуликоватой остроносой хитрецей; жеманно выставляли игривые линии каблуков дамские туфли с подбитыми набойками, ничуть не стыдясь при этом затоптанных стелек. Вся эта бывалая компания, собранная теперь на разостланных рогожах, готовилась в свой последний путь перед мусорной свалкой.

Цыганским табором стояли торговки постельными принадлежностями. У их ног пестрели подушки и перины, тюфяки, мешки с драным и недраным пером. Торговки то и дело поддавали перины кулаками, взбадривая свой тощий располовиненный товар, от которого подозрительно резко шибало одеколоном.

Потом шли ряды рубашечников, штаношников, домотканых попон, полушубков, всяких пальто и шинелей, и кончалось все это обжорными рядами, откуда тянуло подгорелым луком, картофельными драчами и еще невесть чем.

Толкучку широкой подковой охватывали шурум-бурумщики, столпы барахолки. С невозмутимым спокойствием они до конца выворачивали всю подноготную обывательского бытия. Здесь можно найти все, что только взбредет в голову, и даже то, чего ни за что не придумаешь. Чьи-то запонки, чей-то веер, Библия, зубчатые колесики ходиков, старые журналы «Нива», бронзовый бюстик Наполеона, связка ржавых комодных ключей, резиновая клизма, пустая канареечная клетка, какие-то открытки, засиженные мухами, сломанное страусовое перо и сотни прочих самых неожиданных вещей и безделиц.

Приемщик утиля, старый бритый татарин в тюбетейке и клеенчатом фартуке, безглаголиво сощурился на тачку с железной рухлядью.

— Какой такой товар? Один ршавщина!

— А чайник? Погляди, чистая медь! — рассердился Пестрик.

— Што шайник? — Татарин шлепнул по клеенчатому животу пухлыми волосатыми пальцами. — Шайник — одна пустота! Пшик! Ссыпай сюда!

Татарин склонился над деревянным ящичком и долго копался в мелкой монете.

Мы оглядываем лавку. На полках старые примусы, керосинки, замшелые медные подсвечники, куски олова. На стене — связка водопроводных кранов и конских подков. В углу, перед стойкой, — ворох всякой железной и медной рухляди.

Франц-Иосиф толкает Крока и шепчет что-то на ухо.

— Где?

— Вон в углу...

Косясь на татарина, Крок быстро выдергивает что-то из вороха утиля, сует под рубаху и незаметно выходит.

— Полушите... — Татарин выбросил на прилавок несколько монет.

— За такой чайник? — Франц-Иосиф нехотя смахнул монеты в карман.

— Жулик! — Пестрик скорчил татарину самую мерзкую рожу, какую мог соорудить из своего кирпичного носа и веснушек.

— Проваливай, проваливай!

На перекрестке мы догнали Крока.

— Покажи, — попросил Пестрик.

Крок достал из-под рубахи ржавый комок пластинок, винтиков и еще каких-то непонятных железок.

— Что это, а? Ребята?

— Радио, — сказал Франц-Иосиф.

— Настоящее радио?

— А какое же? Только вот круг оторван. И поржавело.

— Ух и хитрый этот татарин! — всплеснул руками Пестрик. — Отбирает всякие вещи. Починит и продаст. И эту штуку тоже.

Мы зашагали по улице. Пустая тачка громыхла и подпрыгивала на булыжной мостовой. Шли быстро, охваченные общей радостью.

— Пацаны, а оно будет говорить? — допытывался Пестрик, озабоченно вышагивая рядом с тачкой. Его длинные задубелые и стоптанные на пятках штаны частой трусцой шаркали по камням.

— Надо попробовать, — сказал Франц-Иосиф. — У меня есть провод. Только до столба на улице не хватит.

— Зачем до столба? — сказал Крок. — К Гришкиным проводам подцепим. К нему ближе.

Вечером, привязав к поясу два конца проволоки, Крок неслышно перемахнул через забор. Мы следили за домом. Глухой, черный, стоял он в зарослях сирени и акаций. Ни звука, ни огонька. Из печной трубы тянуло свежими вафлями.

Под окном зашелестели листья — Крок карабкался на акацию. С дерева можно дотянуться до проводов. Прошли минуты глухой тишины. Наконец подергивание за проволоку — готово.

Франц-Иосиф, разматывая другой конец провода, потянул его к сеннику. Ощупью мы пробрались на темный и пыльный чердак сарая. Спичек зажигать нельзя: могут увидеть. Франц-Иосиф нащупал в углу чердака старую бочку, перевернул вверх дном и положил на нее остов репродуктора. Послышался скрежет ножа о проволоку — Крок зачищал концы. От репродуктора голубой изморозью посыпались искорки.

— Ну что, прицепил?

— Ага...

Мы настороженно затихли.

— Не говорит?

— Что-то не слышать, — прошептал Франц-Иосиф.

— А ты что-нибудь покрути.

— Да кручу.

— Тише!

Раздался тоненький, комариный писк. Стукаясь лбами, мы навалились на бочку, жарко задышали в лицо друг другу.

— Слыхали?

— Ага!

— Да тише вы! Пестрик, куда ты прешься?

Сначала мы обрадовались просто звукам. Обрадовались тому, что репродуктор жив. Но потом уловили мелодию. Это была музыка! Она вытекала тихой, тоненькой струйкой, и мы, редко встречавшие ее в своей мальчишеской жизни, толпясь, припали к этой струйке, будто нам смертельно хотелось пить. Музыка втекала в нас сладкой, освежающей влагой. Мы впитывали ее в себя, как сухая, загрубевшая земля.

— Крок, подвинься. Мне не слышно.

— Помолчи, заработаешь!

Внизу, в доме, скрипнула дверь. Мать стала кликать Оську.

— Оська, тебя.

— Да ну ее...

Он сдернул с себя куртку и накрыл ею репродуктор и наши головы. Под курткой, отгородившей нас от всего мира, остались только мы и музыка. Она была похожа на слова, хотя их нельзя было разобрать: кто-то из большого мира, над которым сейчас в ночи ясно перемигивались звезды, говорил с нами хорошими, добрыми словами. Казалось, вот-вот — и музыка заговорит совсем по-человечески, и нам станет понятно, о чем она рассказывает то ровно и задумчиво, то взволнованно.

Мы тогда не представляли, что это за мелодия, но она запомнилась мне навсегда, и теперь я знаю, что там, на темном чердаке, первый раз в жизни мы слушали симфонию Калинникова.

И вдруг музыка оборвалась.

— Оська, чего ты крутишь? И так слышно было!

— Я хотел поправить...

— Хотел, хотел...

Франц-Иосиф лихорадочно вертел головку регулятора. Под курткой стояла удушливая духота. Напрягая слух, мы все еще ждали, что музыка прорвется снова. Но репродуктор молчал, сколько его ни крутили.

— Больше, наверно, не будет. — Франц-Иосиф сбросил куртку.

Мы долго сидели, притихшие в темноте. Где-то в клеверной трухе шуршала мышь. По дворам брехали собаки. Но в каждом из нас еще звучала музыка. Мне почему-то вспомнилось, как мы с матерью ходили в деревню выменять муки. Было жарко и ветре-

но. Горячая дорога вилась по косогорам, среди нежно-зеленых, заколосившихся хлебов. Рядом, в тени пшеницы, бежала узенькая тропка. По утрам хлеба брызгали на нее росой, и она под босыми ногами была влажная и прохладная. Хлеба стояли вровень с моей головой, при каждом порыве ветра колосья щекотали мне шею и ухо. А по небу торопливо бежали белые и круглые облака. Когда они наплывали на солнце, по полю проносилась синяя тень, и я видел, как она гасила краски. Волны пшеницы становились серыми, как вода в ненастную погоду, темнела дорога, и мерк золотой зайчик на далекой деревенской церквушке. Потом мы полдничали под старой придорожной березой. Она шумела на ветру, сбивая свои гибкие косы на одну сторону, и по моим босым ногам, вытянутым от усталости, плясали солнечные пятна. Над головой шумела береза прохладным, ласковым шумом. Я не заметил, как уснул, и мне снилось, будто журчит вода в деревянном мельничном колесе.

— Пошли по домам, — сказал наконец Крок.

— Радио пусть тут остается?

— Пусть. Завтра будем слушать. Я провода по сирени тянул. Кощей не увидит.

Ощупью спустились с чердака. В ночном небе бледно-голубым дымом светились звезды. Где-то заливисто-тревожно свистел милицейский свисток. В те времена они свистели часто.

Утром Крок по привычке проснулся раньше всех. Он высунул из голубятни свою лохматую голову, сонно хмурясь, осмотрел небо: погода летная. Потом взглянул на две ниточки проводов, протянутые к сараю, — целы! Крок выставил на крышу корытце с просом и кепкой выгнал из сарая голубей. Крупный сизый голубь с черной ленточкой по краю хвоста выпорхнул из летка и, резко захлопав крыльями, разминаясь, круто пошел ввысь. Но вдруг остановился и, кувyrкаясь через голову, упал на конец голубятни. И сразу же, надув шею, пошел семенить, высоко поднимая красные лапы, за белой голубкой, говоря ей что-то тихо и ласково. Он оттеснил голубку на край конька, та вспорхнула, сверкнув на солнце веером чистых перьев.

— Куда прешь, дурак, — беззлобно ворчал Крок, любуясь голубкой. — Она тебе не пара.

— Пар-ра! Пар-ра! Пар-ра! — бубнил Сизый, подметая хвостом рассыпанное просо.

За Гришкиным забором качнулась сирень. Крок насторожился. Над изгородью вытянулись садовые ножницы на длинном шесте. Сухо лязгнув челюстями, они перекусили сразу оба провода. Проволока скрутилась в спираль и хлестнула по доскам сенного сарая.

— У, г-гад! — закусил губы Крок. — Увидел-таки...

И, схватив булыжину, со всего маху запустил в забор. Камень гулко шлепнулся о доски. Голуби сорвались с конька, заметались над домом.

За забором промелькнула лысина Кощея.

— Зарежут, зарежут, бандиты! — сипло выкрикивал он, ломаясь через кусты сирени.

Вечером Кощей приходил жаловаться, и Пашку снова высекли.

Два дня он не вылезал из голубятни и не отзывался на наши голоса. Мы кипели обидой за своего товарища. На третье утро Пашка исчез. На голубятне висел замок, там было необычно тихо, даже не слышно ворчливого бурчания Сизого. И мы поняли: Крок ушел и унес с собой голубей. Наверно, бежал из дому.

Но вечером Пашка вернулся. Из мешка он вытащил новенький черный репродуктор и связку провода.

— Крок, где ты взял?

— Не ваше дело! — огрызнулся Крок.

Мы подвесили репродуктор на старую водопроводную трубу, которую вырыли посередине двора. Под ним мы теперь проводили все свои вечера. Иногда к нам подсаживались наши родители. Мой отец, в чистой рубахе, с примоченными волосами, разобранными на непослушный пробор, грузно опускался на землю и обхватывал колени тяжелыми, узловатыми руками. Рядом ложился дядя Степан, закручивал толстую махорочную сигарку и молча, задумчиво пускал дым в кучерявую гусиную траву. Мы засиживались допоздна, пока не звучала последняя песня:

*Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем!*

1963

НЛО НАШЕГО ДЕТСТВА

Раннее мальчишество мое приходится на то далекое время — самое начало тридцатых годов, когда даже такой обыденный пустяк, коим считается ныне электрическая лампочка, воспринимался как непостижимая диковина.

С угасанием дня, особенно в глухое осеннее ненастье, курские окраины погружались в крошечную тьму — все эти подгорья и низовья, затускарные и куровые заулки, прогонные и луговые, полевские и лесковские обываловки... А еще — непроглядная казацкая сторона за девятью логами, окутанная тоскливым собачьим лаем. Да запредельная ямская Мурыновка. Да вспомнить цыганобугорскую картежную вольницу! Да стрелецкую глухомань за Кривецкой протокой... Или же Очаковские переулки с их неизбывны-

ми хлябями, хлипкими мостушками, кладями в одну-две доски над черной застойной гибелью, поросшей ядовитым чемером и стрелолистом. Лишь отсветы тусклых керосиновых огней в калюжинах и канавах да робкое голубоватое сияние лампад в окнах темных, необитаемых в будние вечера горниц служили кое-каким указателем в лабиринте тесовых сараюшек, заборов и хибар.

И только в самом центре города, на вознесшихся холмах, где-то на Херсонской, а больше на Московской светло, медово полнились электричеством окна высоких этажей, разноцветно мигали и млели какие-то письма на фронтонах. И тогдашним окраинным ребятишкам, глазевшим из своих темных низин, грезилось, будто в тех осиянных домах каждый вечер устраивались веселые праздники и все тамошние обитатели счастливо смеялись и отплясывали, жгли бенгальские огни, пили розовый морс и запросто ели земляничное мороженое в клетчатых хрустящих вафлях.

Впервые собственноручно я повернул электрический выключатель в одна тысяча девятьсот тридцать первом году.

Как раз в ту осень мы переехали в заводской четырехквартирный флигель на Красноармейской. Квартиросъемщики восстановили этот дом из обгорелых руин Гражданской войны. Они работали там по выходным и даже в светлые летние ночи, будоража окрестные дворы тесовым тяпом топоров и звонкой звенью вдохновенно-обозленных пил.

В день новоселья сам директор завода, красный выдвиженец Лыкин, с кавалерийской плеткой за голенищем, подставив табуретку, лично ввернул лампочку в свисающий с потолка патрон и, щелкнув выключателем, заставил всех зажмуриться и заслониться руками, будто и впрямь включил коммунальное солнце.

— Порядок! — сощуренно глядя на раскаленный волосок, одобритительно засмеялся он, весь пропахший седельной кожей, хромом потертой кавалерийской куртки, и, потрепав меня по рыжему ежику, весело заверил: — Теперь вся наука будет видна. Учись, давай!

Весь остаток дня мы с Нинкой-сестрой забирались на табуретку и по очереди вертели белую фаянсовую вертушку выключателя. И глядя на слепяще вспыхивающий пузырь под потолком, не могли взять в толк, как это огонь загорался без всяких спичек и потушал сразу же, едва повернешь колодочку на стене. Нет, в самом деле, как: лампочка вон где, а выключатель вон где? А между ними всего только витой шнур. Чудно и непонятно!

Когда же к нам вскоре приехала помочь по дому наша деревенская бабушка Варя, мне ужасно хотелось, чтобы и она повернула выключатель и убедилась, как это здорово: так — горит! так — погасло! Так — снова горит, так — опять погасло!..

— Ну, ба! Это же запросто! Пляди как...

— Боже меня избавь! — искренне ужасалась бабушка, пряча руки под наплечный платок. — И вам нечего зря глаза жечь. А то курослеп привяжется.

Сколько я ее помню, бабушка потом ни разу не произнесла слово «электричество». То ли оттого, что уж больно оно непроворотно для ее вольного деревенского языка, то ли считала сие новшество нечистым, «козлородным» делом.

Других событий, подобных электрической лампочке, в нашей тогдашней жизни больше не наблюдалось, так что мы, дворовые мальчишки, тешили себя обыденной шкодой: обтрясали чужие яблони, охотились с котиком на чужаков-голубей, слетавших на выставленное водопойное корытце. Проволочным крючком-правилом гоняли бочковые обручи, а еще лучше — печные конфорки, которые, катясь, издавали чугунный звон, и чем меньше была конфорка, тем голос ее становился выше и пронзительней, так что кавалькада из трех или четырех разновеликих колесиков составляла целый симфонический оркестр, за который нам иногда крепко влетало. Пацаны постарше, уже бренчавшие в кармане собственной деньгой, резались в «черту», ставя на кон изувеченную битами мелочь, среди коей еще попадались николаевские красномедные пятаки, трюшники и полушки в замысловатых именных вензелях. А то взбрело подбросить прохожим туго набитый газетной бумагой кошелек на суровой нитке. Нитку посыпали пылью, дабы не была видна и чтобы дернуть за нее в тот момент, когда к кошельку потянется чья-либо обрадованная рука. То-то было ликующего хохота! Да разве перечислить все, что придумывала тогдашняя мальчишеская голова задолго до эпохи мага и телика!..

Иногда всей гурьбой улепетывали на барахолку, располагавшуюся примерно там, где ныне возвышается почтамт. Барахолка заменяла нам музей и картинную галерею вместе взятые, куда нас, чумазых и голопятых, не пускали без родителей. Перешептываясь, мы восхищенно разглядывали разложенные на газетках и мешковине замысловатые вещицы — статуэтки в виде всадников, обнаженных богинь, крылатых амуров, охотничьих собак и всякой лесной дичи — кабанов, оленей и медведей; мелодично отзванивающие часы в золоченом чеканном убранстве, литые бронзовые подсвечники, всевозможные шкатулки, портсигары, медальоны, цепочки, трости с отполированными чьими-то ладонями металлическими набалдашниками, граммофонные пластинки, старые потрепанные журналы и прочие небывалые в наших домах предметы, кои распродавала, как тогда говорили, недобитая буржуазия. Глазели до тех пор, пока, случалось, кто-либо из продавцов, какой-нибудь желтый лицом в потертом лапсердаке с плюшевым воротником старикан, не шикнет на нас ядовито:

— А ну, кыш! Нечего... А то еще стащите чего...

— Да не-е! Мы только посмотреть.

— Все равно нечево: товар мне застить... Кыш, сказано!

В суховейную пору в городе то здесь, то там что-либо горело. Мы опрометью мчались на черный дым и, полнясь цепенящим страхом, перемешанным с восторженным любопытством, с дрожью и ознобом глядели, как под бабий вой и вопли с озверелым ревом и гудом бушевал огонь, в котором будто никчемные спички, корчились, извивались в муках целые плахи и под напором горячего воздуха, исторгаемого ревушим пламенем, срывались и летели прочь, громыхая, раскаленные и скрюченные листы кровельного железа. В сутолоку врывались взмыленные гривастые упряжки пожарных выездов, и еще на ходу с красных колесниц, обращавших в трепет одним своим тревожным обликом, горохом сыпались пожарники в сияющих отсветом огня медных касках, похожих на шлемы древнеримских легионеров. И тотчас принимались разматывать с катушек пустые брезентовые кишки и тянуть их к красным колесным бочкам и к медью сверкающим помпам, у коромысел которых уж готовно замерли дюжие насосные номера.

Впрочем, курские пожары я уже где-то описывал, а потому не стану больше отвлекаться, дабы успеть на отведенных мне страницах рассказать о главном событии, которое приключилось в следующем году, долго потом возбуждавшем умы и пересуды городских обывателей.

Помнится, стояло знойное сухое безветрие. Белые глыбы облаков, похожие на горные хребты, с самого утра недвижно зависли на самом краю неба, никуда не устремляясь и не меняя своих грозных и величественных очертаний.

Мы с пацанами, изнывая от полуденной жары, лениво, от нечего делать, пробавлялись в «ножички» в зыбкой тени старого иссохшего каштана. Черед метать лёзгу выпал Сережке по кличке Махно. Свое прозвище он схлопотал за то, что не стригся от школы до школы и к сентябрю зарастал клокастой нечесаной волосней дворняжки. Он приладил было лезвие к подбородку, чтобы затем метнуть нож острием в землю, как вдруг цепкие его зрачки — глаза заядлого голубятника — метнулись в небо и замерли в недвижимом прищуре, как бывало всякий раз, когда он схватывал в вышине отбившегося чужака. Мы — а в кругу еще были братья Тарубаровы и, кажется, Мишка Китайчик — невольно вскинули глаза в том направлении, куда уставился Махно. Глянули, будто закусили языки...

Высоко-высоко, над соборной стороной города в воздухе висело неизвестно что такое... Какая-то невиданная штуковина. Больше всего она походила на переросший огурец, какие бабушка Варя оставляла на семена. Даже отсюда, с нашего двора, было видно, что огурец этот неохватного размера и не бурого, как всякий семенник, а легкого, дымчато-серебристого цвета, почти не примет-

ного, растворенного в блеклой зыбкости полуденного неба. Располагался он горизонтально, у него, если взглядеться, проступало тупо округленное рыло и утыканная остряками хвостовая жупка.

— А чего это? — опасливо насторожился младший Тарубаров. Все промолчали. Никто не знал, что это могло быть...

Странный предмет не издавал никаких звуков, немо и отрешенно висел над городом, и от этой тягостной, давящей неизвестности всем нам сделалось боязно и неудобно.

— А?.. Пацаны? — Младший Тарубаров смятенно заглядывал в глаза, по его лицу пробежали то заискивающее вопрошение, то готовность зареветь.

Из сеней вышла бабушка Варя с тазиком у бедра и принялась развешивать на веревке наши с Нинкой постирушки.

— Ба! — окликнул я, указывая в небо рукой. — Смотри!

Бабушка долго не могла сориентироваться, вертелась туда и сюда, но наконец замерла, как бы затаилась, вглядываясь в поднебесье из-за белья. Ничего не сказав, она мелко, торопливо перекрестила свою пазуху, цапнула опустевший тазик и, втянув голову, будто под дождем, согбенно пошлепала калошами к сеням. На пороге она остановилась, еще раз сощуренно стрельнула глазами в небо и озабоченно проговорила, обращаясь ко мне:

— Шел бы ты домой...

— А чего? — пытал я бабушку.

Та помедлила с ответом.

— Чего дома-то? — добивался я, хорохорясь перед ней, хотя, честно сказать, очень хотелось тоже стрекануть в сени.

— Запри мне вьюшку, — нашла с ответом бабушка. — А то сажай несет. Сама я не дотянусь, что-то поясницу заломило.

Бабушка всегда просила затворить печную трубу, если снаружи собиралось что-то неладное. Но небо по-прежнему оставалось ясным и голубым. И только этот блеклый, притуманенный маревом и далью огурец тревожно нарушал безмятежность полдня.

— Ладно, потом закрою, — отмахнулся я. — Нету ведь никакой грозы.

— Теперь нету, так будет, — проворчала бабушка. — Не гроза — еще чево ни то станется....

И тут обнаружилось, что сей странный овощ вовсе не висел на одном месте, а едва зримо, так что мы сперва и не заметили этого, смещался на восток. Поначалу он находился примерно над водозаборной башней на Мясницкой, потом очутился над польским костелом и вот уже был готов погрузиться в кроны деревьев, возвышавшихся перед соседним домом.

Чтобы не потерять его из виду, мы ринулись на улицу, откуда открывался широкий обзор городского взгорья с вознесенным куполом Знаменского собора и просторного неба над ним.

Улица уже пестрела высыпавшим людом: мужики, бабульки, ребятишки — знакомые и незнакомые. Все были возбуждены небывалым виденьем, но в общем никто не знал, что это могло быть и чего ожидать от такой невидали: худа или добра...

— Ну да! Держи карман шире! — шумела улица. — Сичас манну небесную начнет рассыпать...

— Пусть хоть табачку маленько сыпнет! — хохотнул кто-то. — А то со вчерашнего дня нема ничево...

— Небось не мешок с махоркой летает...

— А чево тогда? По виду так мешок.

— Я откуда знаю, чево...

— А вот в Писании сказано, — подала голос чья-то бабуля, — будто перед концом света начнет летать по небу всякое этакое.

— Дак что — этакое?

— Что, что... Анчутки всякие, сказано...

— Свят, свят...

— Ну, завели неоколесную... А вот по делу спросить: знает ли про это начальство? Может, позвонить куда следует?

— Гришуха уже бегал к пожарникам...

— И чево?

— Те уже звонили...

— А что толку? Хоть бы по радио чего объявили: мол, так и так, мы — в курсе... А то народ блукатится, в темноте весь...

Из калитки двадцать шестого номера вышел Леха-студент, ершиком подстриженный парень в красной футболке с белыми шнурками на груди, недавно вернувшийся из Харькова на летние каникулы. Леха вскинул бинокль, и, пока погруженно изучал парящий огурец, окружавшие его терпеливо и затаенно ожидали результата. Наконец кто-то не вытерпел, поторопил студента:

— Чего видно-то?

— Минуточку.. — продолжал наблюдать Леха. — Так, так... ОСО — 029«Б»... Или — «В»... Что-то не очень четко читается...

— Дак ты скажи, ежли чего знаешь... Не мурыжь...

— Ну, говорю: обыкновенный дирижабль, — убежденно объявил Леха. — Понятно теперь?

— Ух ты, ёна-матрёна... А это чево такое?

— Ну... Такой воздухоплавательный прибор. Легче воздуха. На вот, погляди.

Леха передал бинокль любопытствующему. Тот долго прилаживался, подолом рубахи протирал запотевшие стекла и, видимо, так и не поймав странную штуковину в дрожащие окуляры, облегченно выпустил воздух, который все это время держал в себе, и спросил:

— А люди на ём есть?

— Ну как же!

— Погоди, Леха... Чой-то я не пойму: ежели на нем есть люди, тогда как же эта штука легче воздуха?

— Ладно тебе, не забивай человеку голову, — осадил мужики Фому неверующего. — Дай сюда бинок, небось другим тоже глянуть охота...

За это время «воздухоплавательный прибор» минул купол Знаменского собора и медленно, в разморенном безразличии поплыл над Стрелецкой слободой. Был момент, когда он всем своим огуречным боком вдруг ослепительно сверкнул, разбрасывая рассыпчатые лучи, и Леха-студент пояснил, что так блестит его алюминиевая оболочка.

— Как ты, Леха, сказал — что это?

— Ди-ри-жабль! — вразтяжку произнес Леха.

— Ага! Так, так! — обрадованно закивали мужики, как будто наконец-то все стало ясно и понятно.

Но ясного еще было мало...

Неведомый пришелец, как бы очнувшись от дремы, принялся описывать размашистую дугу. Проплыв над Цыганским бугром и Кулигой, он поворотил свой нос опять к Знаменскому собору. И когда развертывался на обратный курс, стало слышно монотонное гудение.

— Моторы запустили, — пояснил Леха-студент. — Это он против течения пошел. Там наверху — постоянные воздушные потоки. Даже когда у нас тут тихо и жарко. Там — воздушный океан, а здесь — дно его.

— А ежели это не то, что ты, Алексей, говоришь, — усомнился все тот же Фома неверующий. — А еще чево, тебе неизвестное?..

— Да то! То! Я же вижу! — убежденно подтвердил Леха-студент. — Самый обыкновенный дирижабль. Человеком сделанный!

— А ты почему знаешь?

— Так если бы не человеком, то и никаких номеров и букв на нем не было бы написано... А то смотри: «ОСО». Понимай — «Осо-авиахим». Общество содействия обороне, авиации и химизации: О-СО-АВИА-ХИМ! Понятно теперь?

— Кто ж его знает... А то доглядимся, рты разинувши... Дак и что с того, что человеком состроен? А ежели он не наш, а капиталом посланный? Возьмет щас да ка-а-ак шандарахнет! Или обольет чем-нибудь заразным. Откудова знать, что у его на уме... Вон, вишь, опять разворачивается, в который раз к центру заходит. Стало быть, что-то надобно ему в том месте, что-то ж он там выглядит?.. И вроде как ниже стал...

— Пальнуть из берданки — для острастки.

— Не-е... Высоковато еще. Не достанет.

— А ежели волчьей катанкой? Ею за триста саженей кастрюлю прошибает. Люминий — он хли-и-пкай!

Тем делом летательный прибор отделился было в Ямскую сторону, но, будто раздумав, снова поворотил к городскому центру, однако гораздо ниже, чем летал до того.

И тут все увидели, как в самый раз над Первомайским (прежде — Купеческим) садом из-под его брюха выпало что-то черное и, кувыркаясь, полетело книзу.

— Я ж говорил: щас шандарахнет!

Все замерли.

Однако над кувыркавшимся предметом полыхнул красный парашют, и тот закачался туда-сюда, затихая и обретая очертания сундука или ящика.

— Да все правильно! — обрадованно успокоил Леха-студент. — Это он депешу выбросил: кто, откуда, что надо. Ну, может, еще какой-нибудь кубок на память или пачку брошюрок про Осоавиахим...

Пока воздухоплаватель делал еще один круг-маневр, глуша и вновь запуская моторы, сброшенную в квадрат Первомайского сада депешу, надо полагать, благополучно нашли, потому что вскоре над садом взмыли одна за другой три зеленые ракеты — в знак того, что послание прочитано и отданы соответствующие распоряжения, а еще через какое-то время из нашей пожарной части, каланча которой возвышалась на углу Красноармейской и Пастуховской (здание пожарки сохранилось и поныне), выкатил наряд в полном составе с конным форейтором впереди и, громыхая булыжником, высекая искры подковами, резвой рысью серых красавцев покати́л вниз по улице.

Леха-студент все это объяснил тем, что, мол, дирижабль надумал садиться, для чего выглядел себе место не иначе, как на Сеймском лугу, и что пожарные помчались именно туда — на «всякий пожарный случай»...

Весть была потрясающая. Куда девались все наши мальчишеские страхи!

— Айда, пацаны! — подал клич Серега Махно, и вся скопившаяся на улице босоногая орава не мешкая ринулась к названному месту.

Обгоняя пожарных, мы мчались своим укороченным путем: сразу вниз по Дружининской, мимо МРЗ, где работали многие наши отцы и матери, через тускарные мосты возле кожзавода, далее — к Серафимовской школе, устроенной в прежней церкви, еще по каким-то буторским переулкам, и вот тебе — Сеймский луг — ровнехонький и радостно зеленый, усыпанный белыми выводками гусей, козами и телятами. И пока бежали без передыха, всё поглядывали в небо, искали глазами «дирижаб», не опустился ли без нас на землю?

Но он все еще летал, заметно снизившись, лоснясь тучными боками, пуская солнечные зайчики на поворотах.

На лугу уже и без нас было пестро илюдно, а из прилегающих улиц все сыпал и катился горохом народ, всполошенный и упревший от бега и самого события. В самом скопище над людскими головами возвышались конные милиционеры в белых холщовых рубахах, перекрещенных ремнями, и в белых же островерхих шлемах, метко прозванных «здравствуй и прощай» за то, что имели два козырька: один — спереди, другой — сзади. Тем не менее шлемы эти имели весьма внушительный и торжественный облик, и я не понимаю, почему их потом упразднили, заменив на фуражки армейского образца, как и оригинальные пожарные каски, впоследствии замененные скучными армейскими наголовниками.

Конные милиционеры терпеливо, но настойчиво оттесняли зевак, покрикивая в жестяные рупоры: «Граждане! Ослобоните территорию под посадку! Па-а-прашу сдать назад! Па-а-прашу!» Сытые, лоснящиеся кони, разбрасывая пену с удил, трясли потными мордами и со свистом секли по лицам долгими хвостами, из которых Махно уже успел надергать пук отменных лесок.

В то время милиция — эти угловатые и неловкие рабочие и крестьянские парни, не притершиеся к своим ремням и нашивкам, — еще была улыбчива, а потому круг раздавался бестолково и непослушно, подобно взопрежнему тесту, ужимаясь в одном месте, но одновременно выпирая в другом. Когда же толпу удалось умять шагов на полтора, сразу же на расчищенную поляну высыпали пожарные, по всему периметру принялись кувалдами заколачивать железные костыли. Забивали их не наобум, а заглядывая в бумажный свиток и отмеряя нужное место желтой матерчатой рулеткой. Таким манером было вколочено попарно дюжины две штырей, о назначении которых в тот момент никто не знал, тем не менее удары кувалды еще больше возбудили интерес и беспорядочную давку, и тогда снова донеслось из рупора: «Па-а-прашу!», «Не мешайте работать!»

Покончив с костылями, пожарники приволокли две катышки брезента и в самом центре поляны выложили из них большой белый крест.

Между тем дирижабль, поблукав над Засеймьем, над калиново-ольховой глушью Линёва озера, нацеленно направился к людскому скопищу. Его огромная плотная тень сначала перевалила через желто-песчаную железнодорожную насыпь, затем проутюжила будочникову картошку и вот уже, макнувшись в Кривцовскую протоку, побежала по Сеймскому лугу, гася звонкую солнечную зелень прохладой темной киновари.

— Граждане! — загремел рупорный голос. — Будьте внимательны и осторожны! Возьмите своих детей за руки! Начинается посадка. Повторяю...

Погудывая моторами, подгребая то левым, то правым крылом, а то обоими сразу, дирижабль в конце концов удачно вырулил к означенному месту и в какой-нибудь полусотне метров завис над белым крестом.

Только теперь сполна можно было осознать, какая это неоглядная громадина.

Посверкивающий рядами клепки, дирижабль производил впечатление тысячетонного монолита, висевшего в воздухе вопреки здравому смыслу и вообще наперекор всякому представлению о сути вещей. Его жутковатая близость, застывшая почти полнеба, порождала, по крайней мере у нас, ребятишек, знобкое чувство незащитности, букашиной малости, отчего поначалу невольно хотелось втянуть в себя голову или опрометью стрекануть прочь.

Толпа, нетерпеливо мельтешившая фуражками, панамками, косынками, самодельными бумажными кепарями и всей разномастной простоголовостью, шарканьем ног, шорохом одежды, жарким, скученным дыханьем, тесной толкотней слов и выкриков, порождавшая непрерывный возбужденный гул, вдруг замерла, придавленная, казалось, зыбким и ненадежным парением этой громады.

И в напряженной тишине стало слышно, как, дробно переступая, страшась необычности своего бытия, настороженно всхрапывали милицейские кони.

Вдруг из гондолы, прикрепленной под брюхом дирижабля, сразу на обе стороны полетели веревочные бухты. На свободном конце каждой из них, как потом выяснилось, был привязан мешочек с песком. Он-то и тянул, выпрастывал из мотка веревку, не давая ей путаться с другими концами в случае ветра.

Сброшенные веревки неожиданно произвели на толпу разряжающее действие.

Приняв каждую сброшенную веревку за приветно протянутую руку, люди вновь всколыхнулись, пчелино загудели и в каком-то радостном рвении кинулись ловить концы. В оживленной сутолоке, под озабоченные свистки и возгласы милиционеров, не ожидавших такого поворота, стропы были благополучно разобраны, поделены между кучками счастливиц и вполне толково, с пониманием дела растянуты в соответствующие стороны. Было только неясно, что же с ними делать дальше: просто держать или тянуть.

В этот ответственный момент в гондоле дирижабля распахнулась дверца. Из проема высунулся один из воздухоплателей. Он был в кожаном шлеме с обвислыми, как у спаниеля, ушами.

Оглядев посадочную площадку и все, что творилось внизу, человек раскатисто крикнул с высоты:

— Здравствуйтесь, товарищи!

Земля в ответ прибавила гула и затрепыхалась вскинутыми руками.

— Это Курск?!

— Курск! Курск! — польщенно отозвалась поляна.

— А мы едва нашли вас! — выкрикнул воздухоплаватель. — Так барахлил компас... Вы тут на сплошном железе живете. Наверное, и вода рыжая?..

— Не-е! — завосклицали внизу. — Вода хоро-о-шая!

— И вообще, как вы тут?

— Хорошо-о!

— Тогда, значит, так... Все смотрите на меня, на мою руку. Понятно?

— Понятно!

— Я поднимаю руку, и на «раз-два» вы все сразу подтягиваете чалки. Договорились?!

— Га-а!!! — радостно гаркнула толпа.

— Ну, тогда начали! И-и!.. — Воздухоплаватель поднял руку. — Раз-два-а... взяли-и! Еще раз... взяли-и...

Дирижабль вздрогнул и закачался с боку на бок.

Норовисто подергивая стропы, устрашающе шипя стравливаемым газом, под дружным усилием сотен рук он неохотно, короткими полуметровками уступал высоту, и, чувствовалось, как по натянутым постромкам передавалось как бы нервное содрогание пойманного чудовища...

— Все, голубчик! Отлетался! — азартно упирались посеймские северяне, потомки древних севрюков, будто и на самом деле заловившие Змея Ёрыныча. — Щас, щас мы тебя окоротим! Эй, там!.. Хвост ему прижимайте! Вишь, хвост кверху дерет!

— А вы хрючку пока придерживайте! — отозвались хвостовые.

— Держим!

— Хорошо-о! Хорошо-о! — одобрял голос сверху.

— Вот это так чуха!

— Одних заклепок — миллион!

— А и то правда: легче воздуха. С неба никак не стянешь... Вроде не хочется ему на нашу землю.

— Щас, щас мы ево...

Мы, мальчишки, конечно, ничем не могли помочь делу, и нам ничего не оставалось, как всю таращить глаза, дабы ничего не упустить и все самим увидеть.

И вот уже просторная гондола из рубчатого алюминия с округлыми илломинаторами мягко коснулась земли пробковым днищем, и пожарники не мешкая накрепко принайтовали выбранные стропы к забитым в землю штырям.

Стоявший у открытой дверцы лопоухий воздухоплаватель в синем комбинезоне с каким-то значком над карманом, должно

быть, сам командир дирижабля, едва ощутив касание, нетерпеливо спрыгнул на луговую травку и тут же сцапал в объятья первопавшегося земного жителя. Но и его тоже незамедлительно подхватили под руки и ноги и принялись с гиком и гаком остервенело подбрасывать, и тот летал с блаженно замершей улыбкой, взмахивая длинными ушами своего шлема.

— И-и! Эа-ах! И-и! Эа-ах!.. Еще разок!..

Отпустив командира, взялись качать еще четверых его сотоварищей в таких же ушанах и комбинезонах. И тут кто-то из ближних рядов высоко, ликующе, на пределе возможностей голоса возопил:

— Пионерам прогресса — ура-а!!!

— Р-ра-а! — троекратно прокатилось по Сеймскому лугу.

— Все — в стратосферу! — выкрикнул в ответ командир дирижабля, и его за это еще несколько раз благодарно подбросили.

Тут же, на поляне, сам собой, стихийно и горячо полыхнул митинг.

Правда, я не помню, кто и что тогда выкрикивал: у мальчишек были свои интересы. Нас манили не столько слова о чудесах и прогрессе, сколь сами осязаемые чудеса.

И пока на поляне гомонили и сменялись ораторы, мы, влекомые любопытством, трепетно и благоговейно шныряли вокруг гондолы.

От близко нависших краснопропеллерных моторов, вынесенных на обе стороны пилотской кабины, волнующе празднично для мальчишеской души пахло натруженными двигателями, бензином, теплым машинным маслом, и чудилось, будто веяло самим небом, высью, простором, дальними неведомыми краями, голубой тающей запредельностью и еще чем-то невыразимым, бессловесно прекрасным, похожим на утренние незапомнившиеся счастливые сны, от которых остается в тебе лишь радостная доверчивость ко всему миру... Как хотелось надеть такой же синий комбинезон, опоясать себя хрустящими ремнями, забраться вот в эти мягкие кожаные кресла, что коричнево маячили за толстыми выпуклыми стеклами, нажать на эти кнопки и переключатели на приборной доске, чтобы враз ожили и заходили указатели и стрелки, и крикнуть тем, кто остается: «Отдать швартовы!»

— Гляди-ка, пистоля! — завороченно прошептал младший Тарубаров, расплющив нос об иллюминатор.

— Где, где пистоля?

— А вона, над дверью висит.

— Ого! Ничего себе!

— А хайло какое! Вот если врежет?!

— Да ты еще и в руках не удержишь.

— А ты — удержишь?

— И вовсе это не пистоля, — вклинился в наш разговор незнакомый пацан в фраерской бескозырке с якорями.

— А что же, по-твоему?

— Ракетница, понял? Сигналы подавать. Мне отец рассказывал. Когда он во флоте служил, у них на корабле была такая.

И тут, позади нас, в толпе, раздалось громкое хрюканье. Расчищая себе путь звуками резиновой груши, сквозь людское скопище к посадочной площадке пробился броневик — зеленое узкоглазое чудовище, усыпанное бородавками заклепок. Приоткрылась толстая дверца, и на землю выпрыгнул, как зеленый кузнечик из спичечного коробка, бодрый, готовый прыгать и дальше, зелено одетый военный. Прикладывая ладонь к фуражке, он горячо, преданно пожал руки воздухоплавателям, после чего достал солнечно сверкнувший портсигар и предложил выкурить по дружественной папиросе.

Броневик привез какие-то толстые голубые баллоны. Пожарники осторожно перенесли их на брезентовых носилках под нос дирижабля и там сложили в два штабеля. После баллонов вынесли еще и корзину с яблоками. Воздухоплаватели тут же, не церемонясь, принялись хрустеть белым наливом.

— У-ум-м! — изумленно возликовал командир дирижабля, откусивший сразу полналива. — Чудеса с плюсом! Говорят, у вас тут яблочк!..

— Пока не считали! — выкрикнули из окружения.

— Сверху глядеть — сплошные сады!

— Кушайте, кушайте! — подбадривали куряне, довольно улыбаясь и радуясь тому, что угощение пришлось в самый раз.

Вскоре, однако, броневик, сделав свое дело, забрал всех воздухоплавателей и увез, как было сказано, в летний гарнизонный лагерь обедать: яблоки — яблоками, а похлебать горячих щей после долгого перелета тоже не помешает.

На поляне остался лишь рыжебородый неразговорчивый механик, должно быть, для общего догляда и связи с общественностью.

Никакой связи с общественностью он, однако, не наводил, молча убрал вовнутрь корзину с яблоками, а из багажного отсека вынес какие-то шланги, раздвижной металлический ящик с инструментами, потом с помощью пожарников выволок толстый, похожий на рулет, резиновый тюк, оказавшийся, когда его разостлали на траве, огромным надувным матрасом. После всего этого он прихватил пучок красных флажков на железных штырьках и, отсчитав сколько-то десятков шагов, веером воткнул их в землю.

Местный активист Осоавиахима эти действия молчаливого механика озвучил через жестяной усилитель, объявив, что начинается газовая дозаправка дирижабля, а потому просят всех от-

ступить за красные флажки, так как вблизи находиться строго запрещено.

— Па-а-пра-шу! — снова раздалась бесстрастная команда конного милиционера, сморенного долгим пребыванием в нагретом седле.

Люди отступали неохотно, не желая расставаться с чувством праздничности и установившегося дружественного единения не только с заоблачными гостями, но и с их небывалой летательной машиной, которую тоже полюбили и приняли открытой и гостеприимной северской душой. Но рыжебородый механик был непреклонен и не замечал никого, кто еще недавно восторженно подбрасывал его своими руками и угощал белым наливом.

Толпа, лишившаяся внимания, утратила и свое внутреннее единство и распалась на отдельных людей, хаотично бродивших за красными флажками. К тому же стало не на шутку погромыхивать, неведь как и когда за рекой вздыбилась глухая отвесная туча, накопившая в своих темных недрах немало грозowego синь-пороха.

Опасливо поглядывая в померкшее заречье, горожане нехотя, словно чего-то недоглядев, не истратив возбужденного любопытства, начали разбредаться. Из сбившейся и запутанной людской кудели постепенно вытеребливались отдельные косицы, которые в свою очередь рассучивались по лугу на долгие изреженные прядки, вбираемые пригородными улицами и переулками.

Тут и там мороженщики покатили свои покрытые тентами двухколые колеснички.

Чубарый конек с девической, ровно подстриженной челкой помчал опорожненную бочку из-под клюквенного морса.

Выждав свой черед, когда на лугу почти никого не осталось, снялись и обрадованно, по-мальчишески, на рысях удалились конные милиционеры, оставив по себе два не то три человека пешего наряда.

Но нам никак не хотелось уходить. Распластавшись в запретной близости у затравенелой омежки, мы — Сережка Махно, два Тарубаровых и я — упоенно подглядывали за тем, что делалось на посадочной площадке: как пожарники подсоединяли баллоны к газоприемному клапану матраса, как наполняемый водородом матрас постепенно толстел и горбился китоподобной спиной, как к подбрюшью дирижабля приставили стремянку и подвели широкий брезентовый рукав и как вдруг полыхнула молния и отраженно взблеснула в голубоватой обшивке корпуса.

— Шевелись! — выкрикнул механик, из-под ладони вглядываясь в тучу. — Пошевеливайся давай! — а сам побежал проверять крепление чалок.

Тут и застучал он нас в траве, внезапно встав над нами, оцепеневшими от его появления.

— Кто такие?! — грозно изумился бородатый механик.

Мы понуро поднялись на ноги. На наших голых животах отпечатались помятые травы.

— Ну, чего молчите? Отец-мать есть?

— Мы сами...

Он нахмуренно и въедливо оглядел каждого из нас и определил:

— Шпионы, значит...

Сережка Махно, мгновенно сообразив, что надо делать, во всю прыть задал стрекача.

Механик усмешливо кивнул вослед:

— Это ваш главный?

— Ага...

— Все ясно: трус и паникер.

Мы виновато молчали.

— А с вами — разберемся. Пошли!

Мы подавленно поплелись за механиком. Младший Тарубаров не выдержал и заревел басово, противно растягивая «а».

— Отставить! — обернулся сопровождающий. — Гунявых мне не надо.

— А-а-а... — не мог удержаться тот.

Механик сморщился, будто у него заболели зубы.

— С тобой тоже все ясно, — сказал он. — Можешь удирать.

— Он — с нами. — Старший Тарубаров охватил вздрагивающие плечи младшего. — Это мой брат.

— Тогда вытри ему нос. Также мне, шпионы...

На посадочной площадке, под дирижаблем, хлопотало несколько пожарников, обнаженных до пояса, но в источающих свет блескучих касках.

— Вот, — объявил механик. — Пленных привел.

Пожарники рассмеялись, а рыжебородый, попеременно глядя в наши глаза, сказал:

— А ну, признавайтесь: кто хочет стать осоавиахимовцем? Только честно и напрямую. Кто не хочет — отойди в сторону.

Никто из нас не шевельнулся.

Посвящение в осоавиахимовцы состояло в том, что механик поочередно подхватывая под мышки, забросил нас на верхотуру вздутого резинового мешка. Это надобно было для того, как он объяснил, чтобы мы своим весом ускорили отток газа. Матрас оказался зыбким, провалистым, нам не сразу удалось даже стать на ноги, и лишь после того как мы, схватив друг друга за руки, утвердились, обрели равновесие, механик отдал команду:

— Открыть заслонку!

Пожарник, готовно стоявший на верху стремянки под самым днищем дирижабля, что-то там покрутил, и мы тотчас почувство-

вали, как вздрогнула под нами резиновая оболочка, а в дюралевой утробе дирижабля что-то заурчало, будто в брюхе голодного зверя.

Рыжебородый обошел матрас, попинал его кулаками и удовлетворенно осведомился:

— Ну, как вы там?! Нормально?

Мы попробовали переступить по шаткой, уходящей из-под ног резиновой оболочке. Механик одобрительно закивал:

— Во-во! Молодцы! В движении легче удержаться. Велосипед не падает, пока едет. Топчите его, топчите, пляшите и прыгайте. — И вдруг громко запричитал, захлопал в такт ладонями:

*А мы просо сеяли —
Сеяли!
А мы просо вытопчем —
Вытопчем!*

Вскоре мы освоились, осмелели и уже сами себе выкрикивали в подмогу:

*А мы просо вытопчем —
Вытопчем!*

И мы усердно, самозабвенно топтали сморщившийся матрас до тех пор, пока ноги не почувствовали земную твердь.

— Ну, молодцы! — Механик потрепал нас по взмокшим загривкам. — Молодчаги!

Он достал из нагрудного кармана по большой дырчатой галетине, которые мы тут же принялись крошить и хрумкать — от безмерной голодухи.

А еще каждому выдал по значку, на котором был изображен голубой продолговатый воздушный шар, охваченный золочеными стропами. Поскольку прикреплять значок было не к чему, то он вложил его каждому в ладошку.

— Ну, всё! — сказал механик. — А теперь — по домам!

И мы рванули, каждый зажав свой значок в кулаке.

Позади снова оглушительно шарахнуло, и вдогон по лугу покатилось нечто, похожее на порожнюю жестяную бочку. Но это лишь придало нашему бегу отчаянной беспшабашности, и мы неслись, не разбирая ни кротовых кочек, ни занозистых колюк, ни свежих коровьих лепех...

Уже на исходе луга, в быстро густевших грозовых сумерках, под оглашенный хохот грозы и хлесткую сечу косого ливня нас в галопе нагнали закончившие свою работу пожарники, подхватили к себе в одну из колесниц и укрыли полами непромокаемых курток.

Нам с пожарниками было по пути. Через полчаса лихого скоку по лужам и ливневым потокам обезлюдившего города мы были на своей Красноармейской.

Бабушка Варя, отпирая сени, не проронила ни слова. Я прошел, вернее прокрался, мимо нее с заведомо втянутой в плечи мокрой головой, покорно готовый к законному подзатыльнику.

И только на кухне, при обливанном свете электрической лампы, окинув меня беглой косоглазой меркой, сказала с болезненным выдохом:

— У, злыдень... Нелегкая тебя носит... Чего кулак-то зажал? Небось опять порезался?

— На, гляди! — выпалил я обиженно и злорадно, протягивая на ладони осоавиахимовский значок...

А утром, как и сговорились, еще по прохладце, по туманной послегрозовой испарине, мы снова улепетнули в сеймский луг — глядеть, как будет отлетать дирижабль. Как отвяжут и разом отпустят чалки и он, почуяв свободу, нетерпеливо воспарит ввысь. В проеме распахнутой дверцы, как тогда, будет стоять командир, а может, и знакомый механик, посылая рукой последние приветы. И хорошо, если он на прощанье пальнул бы из ракетницы...

Но на лугу дирижабля уже не было...

Не было его и в ясном вымытом небе.

Все вокруг: и скучный от своей пустой ровноты луг, и разбредшиеся по нему козы и коровы, и серая от росы лозняковая поросль, обозначившая речные извивы, и пустые безоблачные дали у горизонта — все было зримо и обыденно.

И только он, загадочный пришелец, казался теперь удивительным недосмотренным сном.

Впрочем, далекое мальчишество мое — уж не сон ли оно?..

1991

КРАСНОЕ, ЖЕЛТОЕ, ЗЕЛЕНОЕ...

В ту весну нескончаемо дули степные ветры. Город долго не одевался зелению, и над его нагими неприятными улицами часто вскидывались косматые завитки пыльных смерчей. После них из бесцветного омертвелога неба, сухо шурша, сыпался песок, стучал по крышам мелкий камешник, а в поднебесье носилась взвихренная бумажная рвань, своим белым мельканием похожая на воспаривших голубей.

И все чаще через палисадниковую ограду к нашему кухонному окну тянулся конец батога, приводивший меня в смертную оторопь. Оглоданный иссохшей землей неведомых перепутьев, похожий на серую могильную костяшку, батожий конец некоторое время немощно, дрожливо мелькал и трясся перед оконным стеклом и наконец, дотянувшись, визгливо царапал, скребся и тыкался в шиб-

ку. Мне делалось жутко до оцепенения, но я все же вызиркивал из-за горшка с кустиком фуксии и привороженно замирал, углядев за оградой толсто обмотанную голову побирušки с неясным ликом в глубине серого вязаного платка, напоминавшего грязный дырявый невод. Или же виделась мятущаяся на суховейном ветру ковыль-ная лунь непокрытой головы старца в землистом пощипанном кожухе, перекрещенном холщовыми лямками заплечной рухляди.

— Хозяин! А хозяин! — слышался усохший, больше состоящий из дрожащего выдоха, нежели из живых внятных звуков, изувечившийся голос. — Подай ради Христа...

Но подать было нечего.

Рано утром, уходя с отцом на завод, мать тормошила меня и наказывала, еще сонному:

— Встанете — доедите вчерашний кулеш, а днем — тут я вам приготовила, на столе под газеткой...

— Ладно... — морщился я, не разлепляя век.

— Смотри, Нинку не обижай: поделите все по совести.

— Да ладно, ладно же... — досадливо тянул я на себя одеяло.

Я уже знал, что там могло быть под газеткой: по паре картошек в кожурках, блюдец квашеной капусты и по заскорузлому сухарю.

Такое обеденное меню повторялось почти изо дня в день, но и это, говорила мать, тоже скоро должно кончиться. Подходили к пределу сухари, припасенные зимой, когда хлеб еще продавали без ночных очередей. Кончалась деревенская картошка. Бабушка обещала, что как только весной отобьют яму, то привезет нам еще пару мешков картошки. Но вот что-то не везли. Там у них какая-то коллективизация, у деда отобрали лошадь вместе с телегой, от этого дедушка захворал и пролежал на печи всю зиму безъязыко. Правда, в нашем сарайке имелось еще полкадки квашеной капусты. Но она столько раз замерзала и отмерзала, а теперь вот парилась в апрельской духоте, что ели ее мы с Нинкой без прежней охоты, тем паче что квашенку эту надо было употреблять почти каждый день — то во щах, а то просто так, под картошку.

— Так-то еще жить бы, — со вздохом утешала нас мать, — да боюсь, что это только цветики...

В соседнем с нами магазинчике сделалось гулко и пусто. Продащица тетя Шура в тихие часы делала бумажные цветы иставляла их по пустым полкам. Я почему-то думал, что это и есть те самые цветики, о которых так тревожно говорила мать.

Тихие часы наступали в магазине во второй половине дня. А в первой его небольшое пространство, рассчитанное на неспешную мелкую торговлю, гудело людом, наполнилось духотой и потом плотно спрессованных тел — давали хлеб.

В ожидании хлеба жители ближайших улиц собирались возле запертых дверей еще с вечера. Темная змея очереди ближе к полу-

ночи постепенно оседала на землю и затихала, затаивалась в ночи в чутком и терпеливом ожидании стука колес хлебного фургона. Иногда на нашей кухонной стене вскидывались багровые отсветы. «Что это?» — спрашивали мы поначалу. «Спите, спите... — Мать успокаивающе оглаживала наши головы. — Это возле магазина жгут негодные ящики. Я тоже сейчас пойду. А то без хлеба останемся».

Хлеб привозили рассветной ранью, задолго до открытия магазина. В гулкой пустоте сквозной улицы сперва слышалось отдаленное цоканье копыт по булыжной мостовой и только потом проступал и сам фургон, вернее, выгиб дуги на светлеющем небе, а под дугой — две человеческие фигуры: возчика и продавщицы Шуры.

— Едут! — оповещал кто-нибудь громогласно, и очередь враз подхватывалась на ноги, принималась вбирать в себя разброды, уплотняться, обретать свой прежний змеиный облик.

Пока продавщица отрешенно и озабоченно, ни на кого не глядя, не отвечая на заискивающее добрословие, отпирала замок, небритый сиволицый возчик разворачивал лошадь и хрипло покрикивал: «Рас-стпись! Рас-стпись, сказано!» — задом сдавал фургон к раздвижному, заставленному фанеркой оконцу. Продавщица высовывала в проем деревянный лоток, и возчик, огородив себя слева и справа распахнутыми фургонными створками, принимался швырять в лоток сразу по паре буханок.

— Шурка, считай! — предупреждал он, опасливо и зверовато оглядываясь на обступившую, напряженно притихшую толпу.

Хлеба привозили мало, а ртов собиралось несчетно, так что ожидать можно было всякого...

В иные дни в магазин завозили пачковые дрожжи или фруктовый чай — два вида продуктов, еще поступавших в вольную продажу. Чай представлял собой спрессованные и запеченные брикеты из фруктовых сердцевин, яблочных и грушевых семечек и черенков, остававшихся после варки повидла и джема. На пачках красовались румяные фрукты, окропленные дождевыми каплями, а сам чай издавал манящий конфетный дух. Но едва только разжужешь эту вязкую сластящую обманку, как рот начинала обволакивать смолистая едкая горечь, которую надо было терпеть, если хочешь хоть немного унять голод. Впрочем, этот жмых из фруктовых отбросов предназначался вовсе не для еды, а всего лишь для подкрашивания кипятка, для придания ему респектабельного чайного вида. В каждой пачке было сконцентрировано столько сгущенного грушево-яблочного дегтя, что им можно было окрасить не одну бочку горячей воды. Тем не менее чай, как и дрожжи, многие жадно и счастливо поедали тут же из отвернутых пачек, как если бы им досталось шоколадное мороженое.

За этим деликатесом всегда возникала содомская давка, и случалось однажды, что под напором набежавших людей была сорва-

на с места одна из секций прилавка. Пустой дощатый короб скрежетно затрещал и рухнул, притиснутые к прилавку, потеряв опору, попадали на ощеренные гвоздями доски, сзади продолжали напирать, людей неудержимо несло по барахтающимся, вопящим и стонущим под ногами, однако никто уже не мог воспротивиться и остановиться. Напрасно увещевавшая опомниться, взывавшая к совести и всем святым продавщица, вконец отчаявшись, схватила палку, всегда стоявшую в углу прилавка для самообороны, и, плача, захлебываясь обрывками матерщины, принялась остервенело колотить по спинам и простертым рукам. Ворвавшиеся за прилавок уже терзали рогожные мешки, рассыпая фруктовые брикеты по карманам и пазухам. Палка тут же была отнята у продавщицы, а ее халат изодран в клочья, и она, едва успев ухватить картонный короб с выручкой, опрометью вылетела через подсобку во двор. Продолжая взрыдывать, тетя Шура утирала лицо уцелевшими белыми рукавами, застегнутыми на запястьях.

Мать, в тот раз ходившая на работу во вторую смену, вернулась из магазина бледная, встрепанная, без куда-то подевавшейся косынки, но фруктового чаю ей так и не досталось.

Такой же ходовой едой первой пятилетки стало так называемое саго — загадочный заменитель пшена, перловки и прочих натуральных круп. Поначалу мне казалось, что саго — это семена какого-то южного заповедного растения, ну, как, скажем, сорго. Невольно представлялись слоны, попугаи, черные нагие люди в чащобных зарослях... Но выяснилось, что саго делали в нашем же городе из обыкновенного крахмала. Получалось нечто, действительно похожее на крупу, а вернее, на разнокалиберную дробь — от бекасинника до заячьей нулевки.

В сухом состоянии саго имело скучный, серый, остекленелый вид, но в булькающем кипятке оно сразу же оживало, принималось весело носиться по кастрюле, на глазах прибавлять в размере и становилось почти прозрачным, скользким и неуловимым созданием, для овладения которым надо было иметь определенную сноровку. Эта хитроумная крупка имела свое хождение главным образом по школьным и заводским столовым, и мать иногда приносила с работы для нас с Нинкой бутылку голубоватого клейстера без вкуса и запаха, в котором обитали шустрые студенистые шарики, напоминавшие лягушачью икру. Мать поджаривала немного муки, добавляла в похлебку, и мы с Нинкой, азартно гоняясь ложками за неуловимой крупой, в один момент выхлебывали каждый свою долю.

Мать с отцом работали на одном и том же заводе, который в обиходе называли «мэрэзе», что означало: машино-ремонтный завод. Главным его направлением был ремонт покупных зарубежных «фордзончиков» — весьма примитивных колесных тракторишек

фирмы «Форд-сын», вышедших, как я теперь понимаю, из тамошнего употребления и сбывавшихся в большевистскую Россию по хорошей, золотой цене на нужды молодой заносчивой коллективизации, отказавшейся от крестьянского коня. МРЗ принимал и всякого рода штучные заказы, производил клепаные металлические емкости, брался за мостовые фермы, а также ладил кое-какое оборудование для местных мельниц и крупорушек.

Заводскому профилю соответствовали и профессии моих родителей. Отец работал котельщиком, помню его в каленой, наждачно шуршащей брезентовой спецовке, пропитанной едкой неизбывной ржавчиной. Будучи тогда еще подручным молотобойцем, отец во время клепки находился внутри емкости. От сотрясающих ударов колкая крошка окалины проникала в нательное белье, липла к влажной спине, набивалась в уши. Лицом же, выпачканным ржавой пылью, замешенной на потных подтеках, он походил на циркового клоуна. От этого гулко-молотобойного дела он еще в молодые годы сделался тугоухим, почти все переспрашивал в разговоре, а больше предпочитал отмалчиваться и курить «козью ножку». Внутренние сгибы его пальцев были покрыты жесткими роговидными мозолями, он мог держать в горсти раскаленные угли, жечь на ладони скомканную бумагу и только избегал прикасаться к моему телу, опасаясь оставить на нем царапины.

Моя мать работала ситопробойщицей, выпускала сита для мукомольного производства, и руки ее были ничуть не ласковее и приятней от бесчисленных порезов жестью, от задиров и проколов острыми язвящими заусеницами, ранившими ладони даже сквозь рукавицы. Я видел однажды, как она плакала, взмахивая и тряся кистями, дую на руки после домашней стирки, в которой вместо мыла пользовалась древесной золой из печного поддувала.

Наконец-то перед маем всем, кому это положено, выдали давно и нетерпеливо ожидавшиеся хлебные карточки.

— Хоть по очередям не бегать. — Мать была довольна этим обстоятельством. — Причитается — получи!

Нам достались четыре месячных листа: два красных и два желтых. Листы были поделены на талоны, а каждый талон покрыт мелкой сеточкой: чтобы никто не мог подделать, догадалась мать. Посередине каждого талона крупно, отчетливо напечатано слово «хлеб». Я с ходу прочитал его без запинки. Хлеб — и все! Сразу ясно, о чем речь. Это короткое слово прежде в моем воображении звуково походило на шлепок теста: хлеп! Так слышалось, когда наша деревенская бабушка еще недавно нашлепывала на тесовую лопату хлебные кругляши, чтобы отправить их в раскаленную печь. Теперь же это слово представлялось как бы уже испеченным, крутым и пахучим, и от одного только его прочтения становилось легко и радостно на душе. Хлебных слов было столько много, что от них

даже рябило в глазах. Можно было провести пальцем слева направо или сверху вниз, и в ровном рядку будет написано: «хлеб, хлеб, хлеб...» Меня буквально распирало от привалившего счастья. Вот это так да! Мне, конечно, больше нравились красные карточки. Раскладывая их по едокам, я положил матери и Нинке по желтому листу, а отцу и себе оставил красные. Чтобы было по справедливости: мужикам — красные, поскольку они за революцию, а бабам — желтые, таковские. Но мать огорчила, сказав:

— Ты не так... Красные — нам с отцом, а желтые — вам с Нинкой. Я заупирался:

— А почему вам — красные, а нам — желтые?

— Красные для тех, кто работает, — пояснила мать. — А желтые — для иждивенцев. Нам — по триста пятьдесят грамм, а вам — по двести. Маловато, конечно... Но зато на каждый день. А то есть еще зеленые — те для служащих. Но у нас служащих нету.

Мне не понравилось и это никогда прежде не слыханное, но чем-то неприятное слово «иждивенец», и я спросил:

— А иждивенец — это кто?

— Это который на иждивении сидит, — сказала мать.

Я невольно почувствовал как бы отодвинутость от краснопролетарского дела, свою малопригодность, что ли, как если бы от этой желтой карточки заболел какой-то желтой малярийной болезнью, от которой все делалось желто: и лицо, и глаза, и живот с пупком.

— Как это — на иждивении сидит? — переспросил я.

— Ну как... Один трудится, а другой только ест, — сказала мать. — Но это не про вас, вы еще маленькие.

Я оценивающе оглядел Нинку, ее перепачканные печеной картошкой щеки: эта ничего не упустит, тут же завопит: «А мне?» И, сделав ей хороший шелобан по носу, презрительно прошипел:

— У-у-у, ижди-вен-ка-а несчастная!

— Ты сам дулак! — замахнулась она ответно.

С получением карточек добывать хлеб стало полегче. На МРЗ открыли свой хлебный ларек, карточки проштемпелевали заводской печатью, чтобы никто чужой не примазывался, и теперь мать, идя с завода вечером или на завод во вторую смену, забегала в заводской распределитель и отоваривала карточки. Правда, очередь собиралась и там, все-таки на МРЗ работало порядочно люду, да еще у всех были эти самые иждивенцы. Но все же не такая страшная очередища, как в обыкновенном, ничейном магазине, куда народу набегало видимо-невидимо. И даже цыгане и всякое карманное ворье хоть и без карточек, но тоже в толчее имели каждый свой интерес...

Вскоре, однако, на карточном фронте произошли события, вживе коснувшиеся нашей семьи и моего иждивенческого бытия, в частности.

Нет, нет, никто хлебных карточек не терял. Ни при чем и карманники, которых я только что помянул все.

Что и говорить, утрата карточек обернулась бы для нас непоправимой бедой. Без этого, хотя и мизерного, пайка мы едва ли смогли бы продержаться до новых карточек, поскольку у нас не оставалось ничего такого, да и никогда не водилось, что можно было бы продать и как-то прокоротать две-три недели. В доме не было даже простеньких ходиков, и мы жили по заводскому гудку, который трижды взывал поутру, один раз в обед и дважды в конце дня, во вторую пересменку. Этого вполне было достаточно, чтобы сориентироваться в пространстве дня. Другие же заметы времени, тем более такая мелочь, как минуты и секунды, вроде бы и не требовались.

Из всего, что тогда имелось в нашем жилище, самой дорогой вещью я бы посчитал примус. Он появился совсем недавно, мне нравилось, как он горел натужным голубым огнем, на его сверкающем корпусе торжественно и важно высвечивали две выставочные медали, и мне было бы жаль, если бы его продали. Далее по степени ценности следовали дубовая бочка из-под капусты, бабушкина самотканая, вся в веселых мережках, скатерть со стола, слесарная ножовка, большой полудный паяльник с припоем и канифолью в жестяной баночке, чижиговая клетка, правда, без самого чижики, которого выпустили еще в марте, как только начали пухнуть очереди и подскочили цены на птичьи корма... Ну, может, еще алюминиевая кастрюля, совсем новая, незачерневшая, подаренная к Октябрю за хорошую ситопробойную работу.

Нет, наши карточки, слава богу, остались целы...

А случилось вот что: в заводской хлебной лавке обнаружили недостачу, продавщица что-то там напутала с талонами, и ей указали от ворот поворот, тем паче что была прислана со стороны. Решили поставить за прилавок свою, заводскую, которая по себе знала бы, почем фунт рабочего лиха.

Выбирали общим собранием, выставили несколько кандидатур, в том числе назвали и мою мать.

— Польку Носову! Польку давайте! — кричали из глубины цеха. — Надежная баба! Сита на сто двадцать процентов бьет!

— А как у нее с грамотой?! Тут грамота нужна.

Дядя Федя-завком постучал по графину карандашиком:

— Типе, товарищи! Лексевна! Ответь собранию!

Мать потом рассказывала, как ей было боязно и неловко, что на нее глядели со всех сторон и она должна была стоя отвечать на все вопросы.

— Так как у ты с грамотой? — настаивал дядя Федя-завком, в прошлом тоже, как и отец, котельщик и тоже тугой на уши.

— Я уже сказала.

— Ты погромче давай, не мямли под нос. Ты не мне говоришь — рабочему классу отвечаешь.

— Четыре класса у меня, — не поднимая головы, как бы пови-
нилась мать.

Цех удовлетворенно загудел:

— Ого!

— Аж четыре!

— Должно, смекалистая!

— Ну так как же? — ухом вперед через красный стол тянулся в
цех дядя Федя-завком. — Носову из ситного заносим али нет?

— Давай, заноси!

— Подбивай бабки!

Ближайшую свою соперницу мать обогнала на восемь голосов,
и дядя Федя-завком тут же принародно вручил ей ключ от распре-
делителя, белый халат и печатную инструкцию, в получении кото-
рой попросил расписаться.

В тот вечер я долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок, при-
кидывал, что теперь будет, когда наша мать собственными руками
станет отпускать хлеб. Я радовался и гордился ее новой професси-
ей, тем, что она будет теперь ходить не в синем, а в белом халате и
что к ней будут тянуться сразу десятки рук с карточками. Но, гор-
дясь, тайно, стыдливо рассчитывал, что какой-то прибыток да дол-
жен же получиться от этого дела. Может, принесет каких-либо хлеб-
ных корочек. Есть же такие, которые сами по себе отстают от бу-
ханки. Разрежешь такой хлеб, а там, под верхней коркой, вроде как
пустой чердак, гуляй-ветер. Ясное дело, никто такую порченную бу-
ханку не возьмет, да и я бы не взял, возмутился бы: «Что такое?!»
Вот она и останется, никому не нужная. «Отчего бы ее не взять и не
принести домой? — так мечтал я сладко, обнимая подушку. — Да и
так подумать: хоть в очереди теперь не стоять — и то дай сюда...»

Долго не ложились и мои родители. Они приглушенно догова-
ривали свое на темной кухне, призрачно озаренной молодым роб-
ким месяцем. В дверной проем мне было видно, как отец, сидя на
корточках перед приоткрытой печуркой, озабоченно тянул свою
«козью ножку» и та пышно расцветала малиновым татарником,
высвечивая задубелые пальцы с медно блестящими ногтями и
большой вислый нос, в каком-то давнем деле сдвинутый набок.

— Ладно, не реви! — утешал он суровым, досадливым шепотом.

Весь следующий день нас с Нинкой распирало приподнятое
настроение оттого, что где-то, облаченная в белый халат, прида-
вавший продавцам недоступно-повелительный облик, ловко ору-
дуя то ножницами, то ножом, наша мать одаривала людей хлебом.
Наше воображение было столь возбуждено, что требовало немед-
ленного утоляющего действия, и мы тоже принялись изображать
магазин, составив из двух табуреток прилавков и налепив из дво-

ровой глины хлебных коврижек и прочего иного печева, давно исчезнувшего из обихода. Но самым главным оставалось ожидание матери. После вечерних заводских гудков мы все чаще, уставясь друг на друга округлыми оловяшками, по-заячьи замирали, вслушиваясь в какой-либо случайный звук, донесшийся из коридора.

Наконец мать пришла. Она объявилась какая-то обыкновенная, с осунувшимся и отрешенным лицом. Молча, как бы не замечая нас, прошла мимо, небрежно бросила сумку к обножью стола и, не сняв своего демисезонного пальтишка, опустилась на наш прилавок из двух табуреток.

— А хлебушка принесла? — после неловкого молчания спросила Нинка, пока я придумывал, как узнать о самом главном.

— Нет, не принесла... — ответила мать нехотя, через силу.

— Не досталось, да?

— Карточки дома забыла, — с натужным выдохом сказала мать и, решительно встав, принялась стаскивать с себя пальто.

Я подумал, что хлеб можно было взять и без карточек, а потом дома вырезать нужные талоны, а завтра сдать их, куда следует.

Пока я мелким бесом крутился возле сумки, которую изнутри явно что-то распирало, Нинка со всей нахальностью иждивенки спросила напрямую:

— А чего принесла?

Вместо ответа мать молча подняла сумку и выложила на стол ее содержимое: свой измызганный халат, который тут же отшвырнула к печке на стирку, большой тупомордый нож, похожий на косярь, — отцу, как придет, на выточку, пачку старых газет, как она сказала, на расклейку талонов и холщовую сумку, набитую пестрой мешаниной бумажных квадратиков.

— А хлебушка? — из-за края стола оловянно вызрелась Нинка, и губы ее разочарованно сжались в горькую скобочку.

— Завтра принесу, — натужно сказала мать. — Завтра сразу за два дня получим.

Но и на другой день она опять пришла без хлеба и вынуждена была признаться, что никак не может уложиться в норму: слишком мелкие пайки приходится нарезать, особенно когда хлеб еще горяч, плохо замешан или если затупившийся нож не режет, а мнет ковригу, сорит мелким крошевом.

— Ну да ладно, сегодня давайте лепешек напечем...

Я знал, у нее в дальней, недоступной заканке было немного белой муки — берегла «на лапшицу, если кто заболит». Сегодня она вспомнила о ней еще и потому, что нужно было заварить клейстер — для расклейки талонов.

После недолгого ужина отец, заправив «летучую мышь» керосином и прихватив магазинный затупившийся нож, ушел к себе в сарайку чинить водопроводные краны, чайники и самовары, на-

весные и ящичные замки, вить пружины для бельевых прищепок или высекать железные подковки на каблуки, которые потом старый красноглазый татарин, называвший отца не Иваном, а Иманом, забирал оптом для воскресной торговли на толкучем базаре.

Мать же, освободив от посуды стол, сняла с него скатерть и на самую середину столешницы высыпала пеструю кучу хлебных талонов. Разрывая газеты на осьмушки и раскладывая стопочками перед каждым, она тем временем объясняла, что и как надо делать. Потом перед каждым же поставила по блюдечку с еще теплым мучнистым клейстером.

Клеить полагалось по сотням. Я, конечно, мог сосчитать до ста и даже дальше, но, оказывается, этого вовсе и не требовалось: просто наклеиваешь десять рядов по десять талончиков в каждом ряду. Так — десять и так — десять. Десять на десять — получается ровно сто. Даже и не надо пересчитывать. Я сразу объявил, что буду клеить красные. Нинке достались желтые, а матери было все равно, и она наклеивала то зеленые, то желтые, а то принималась и за красные. Но я ревниво перехватывал ее руку и предупреждал:

— Это мои!

— Так ведь красных больше других, — говорила мать. — Дурачок, еще не рад будешь...

Наклеенные осьмушки, влажные и отяжелевшие, раскладывали на полу для просушки. И я ликовал, что мой ряд красных талонов оказался длиннее всего. Правда, мать часто отвлекалась, выходила из-за стола и то гремела на кухне посудой, то затевала стирать свой халат, который надо было к утру обязательно высушить и отутюжить.

— Ма, а Нинка талон на пол уронила! — докладывал я оперативную обстановку. — А поднимать не хочет.

— Да-а! — упорствовала Нинка. — Там темно!

— Подними, детка, подними! — наставляла из кухни мать.

— Да-а! — капризничала Нинка. — Там мыши бегают!

Мать оставляла свои дела и на четвереньках принималась шарить под столом.

— Куда же он подевался? — сокрушалась она. — Вот не хватит талона, что тогда? Придется свой отдавать.

Наконец бумажный квадратик был найден, но едва мать вернулась к постирушкам, как возникла новая проблема.

— Ма, а ма...

— Что там еще?

— А Нинка-балбеска свои талоны прямо по Сталину клеит!

— Ой, горе мое! — На ходу вытирая мокрые руки о передник, мать прибежала из кухни. — Мне ж завтра листы эти на контроль нести... А там дядьки такие глазастые! И как я не заметила... Дайте, дайте эту газетку, от греха... Не дай бог...

Пользуясь отлучками матери, мы тоже начинали подфилонивать. Клейка талонов, поначалу показавшаяся нам веселой игрой, постепенно превращалась в нудное, монотонное занятие, и уже не занимало, кто больше наклеит газетных листов. Первой сдавала Нинка. Она все чаще принималась портачить, клеить вкривь и вкось, путать желтые и зеленые талоны, а то и просто откровенно засыпать, уронив на стол свою встрепанную голову. Но правило талонной «игры» было жестко и неумолимо: весь этот ворох талонов надо было во что бы то ни стало перебрать и переклеить в тот же вечер.

Мы с Нинкой тогда еще не знали, что, едва только засереет рассвет, когда мы будем еще дрыхнуть, мать соберет с пола все эти шуршащие, изогнувшиеся листы в одну толстую кипу, затолкает в сумку и помчится в горторговскую дежурку. А там уже очереди! Сбежались такие же хлебные продавцы со всего города. Поэтому, чем раньше поспеешь на сдачу талонов, тем скорее пройдешь эту процедуру. А она занудливая и нескорая. Дежурный, сидящий за барьеркой под низким абажуром, молча, камнелико принимает очередную порцию листов, с треском перегибает их через колено и принимается неспешно, прищуренно пересчитывать, водя по каждому рядку остро зачиненным карандашом и тем же карандашом отбрасывая косточки на счетах. Потом он подобьет общий итог, что-то запишет в толстую книгу, составит под копирку акт приемки, подсунет матери расписаться. После чего прямо по красным, зеленым и желтым листам, по строгим рядам талонов, которые мы старательно выклеивали весь вечер, пройдетя вверх-вниз резиновым катком, опачканным дегтярной краской. «Следующий!» — равнодушно, бесцветно произнесет дежурный, глядя в пустоту перед собой. А мать, заполучив бумажку с указанием, сколько ей согласно сданным талонам разрешается получить хлеба на текущий день, уже шлепает через еще пустой, предрассветно серый и гулкий городок к пекарне, ронявшей искры из долгой жестяной трубы, чтобы пораньше заполучить, нет, не хлеб вовсе, а сперва дядю Степана или дядю Демьяна, то есть хлебного возчика. Чуть замешкаешься, и возчики будут уже разобраны. И тогда жди в проходной, пока кто-то из них освободится. Ну а те знают себе цену, не вот-то поспешат под загруз, мнутя, волянят, допытываются, в какой стороне магазин, проезжая ли туда дорога, словом, выжимают трояк, а еще лучше — буханку хлеба. Теплым печным товаром обычно расплачивались уже бывалые завмаги, спецы по сальдо-бульдо, и возчики заведомо знали, кому предпочтительнее подать фургон, а кому — попридержать маленько. Жаловаться на них — только себе в убыток, ибо против жалобщиков они поднимались молчаливой стеной всеобщего неповиновения: у одного лошадь что-то захромала, у другого — ступица на ладан

дышит, третий врет, будто уже занят под другой извоз... А весовщик-раздатчик себе шумит: «Эй, кто там? Чья очередь? Что рот распялила?!» — «Так куда ж я его? Все фургоны заняты». — «А мне какое дело? Спи побольше! Выпечка подоспела — хоть в подол забирай. Горячий хлеб — понимать надо! Твои заботы мне же и на шею». А сам показывает в раздаточное окно два пальца. Это значит, что она может оставить хлеб на часок, но за это придется откинуть две буханки на усушку...

— Нина, доченька! — заламывала руки мать. — Погоди, не спи!

— А? Что? — отстраненно, непонимающе озиралась Нинка, бледная прозрачная таракаха, у которой позвоночник на огонь лампы просвечивается.

— Не спи, не спи, моя крохотулечка!

— А я и не сплю... — не может взять в толк Нинка.

— Еще рано спать. Вон кошка еще не спит, баки расчесывает.

— Это она мышку съела, — объясняю я.

— Ладно тебе, не стражай ребенка. — Мать пригнула мою голову к столу, чтобы я впредь не умничал. А Нинку, переменив голос, медово увещевала: — Потерпи чуть. Потерпи, моя голубынюшка! Давай еще поиграемся. — Мать зачерпнула из тарелки горсть неразобранных талонов, приподняла над столом и разжала пальцы: — Смотри, какие красивые талончики: красненькие, желтенькие, зелененькие.

Нинка вяло посмотрела в расщелок волос на пестро мелькавшие квадратики.

— Какие твои? — заискивающе радовалась мать. — Твои же-ол-тенькие! Иждиве-е-енческие! Ни у кого таких красивых нету. На вот тебе бумажечку. Намазывай клейком, намазывай, детка...

— Не хочу ижди-венские! — капризничала поникшая Нинка.

— А какие ты хочешь?

— Никакие не хочу...

— Как же так? — Мать растерянно оглядела темные углы комнаты, и глаза ее налились оловянной влагой. — Как же я завтра, если не поклеимся?

Теперь Нинка, встречая вечером мать и глядя на ее брюхатую сумку, уже не спрашивала о хлебе, а покорно и горестно говорила:

— Опять клеить...

Мне же эти талоны начали даже сниться. Среди ночи проснусь, сбегая по-маленькому, думаю, ну все, теперь больше не привидятся. Но только уластюсь, прикрою глаза — вот тебе опять: красное, желтое, зеленое...

Хлеб появился в доме лишь на второй неделе, когда мать понемногу освоилась, обтерлась за прилавком, перестала пугаться гирек. Да и то какой хлеб: почему-то одни куски да обрезки, будто навывпрашивала по дворам.

— А какая разница, — утешала она. — Даже резать не надо: бери да ешь.

Ну, нам с Нинкой, желтым иждивенцам, действительно, какая разница! Нам лучше такой, чем никакого.

Вскоре, однако, отец опять в ночи на корточках перед печуркой тянул свою «козью ножку» и озабоченно сипел сдавленным голосом:

— Ну ладно, ладно, буде реветь! Не могу я переносить, когда ты вот так вот... Хватит, говорю!

Тому причиной послужило вот что.

Как-то мать, прибрав магазин и сдав инкассатору выручку, направилась было через проходную домой, как на при заводской улице к ней подошли двое, предъявили корочки и попросили показать сумку. В ней, как всегда, находился халат, пачка старых заводских газет, мешочек с талонами, а надо всем этим — початая тогдашняя пятифунтовая буханка черного хлеба да еще сколько-то обрезки. Спросили, что за хлеб. Мать ответила, что это ее паек за два дня. Попросили карточки, повертели, поразглядывали, сказали, что хлеб надо взвесить, соответствует ли он вырезанным талонам...

Велено было возвращаться в магазин к весам. Мать, конечно, обомлела. И даже не оттого, что будут хлеб перевешивать, с карточками сличать, сколь оттого, что ее, недавнюю ситопробойщицу-ударницу, принародно повели по улице, зорко обступив один слева, другой справа, как под арестом. Сжавшись душой, мать, однако, не противилась, не перечила, а покорно побрела назад, стараясь только не встречаться глазами с прохожими, которые, как ей казалось, останавливались и с осуждением глядели ей вслед.

То ли они, эти двое, хотели припугнуть, посмотреть лишь, как поведет себя задержанная, не выдаст ли себя чем-нибудь, а может, оттого, что мать не вырывалась, не поднимала шума и будто была со всем согласна, ее довели только до проходной и там, у самого порога, внезапно отпустили.

— Ладно, — сказали, — иди пока...

Этот обыск на улице окончательно подрубил мать. Домой она пришла бледная, молчаливая, даже не стала разбирать свою сумку, а молча легла и отвернулась к стене.

А ночью из темной кухни опять доносился возбужденный шепот, и отец, горячась, сердито сдувая с сигарки пепел, прокуренно сипел:

— Не хочешь — увольняйся давай. Иди опять на сита... Раз такое дело...

В общем, пока было решено так, что она больше не станет носить с собой хлеба, а возлагается это на меня. А чтобы не бегать в магазин ежедневно, мать будет отоваривать карточки за двое суток.

— Донесешь-то сразу за два дня? — оценивающе и горестно оглядывала она меня с нестриженных вихров до пят. Разговор этот состоялся на следующий день вечером.

— Да чего там нести!.. — Мне тогда шел уже восьмой год, осенью отправляться в школу, и слышать такое было обидно, будто я и вовсе зачуханный доходяга, не способный донести домой буханку хлеба. Есть, конечно, хотелось все время, едва проснешься — и сразу рубанул бы чего ни попадя: хоть кислой капусты из бочки, хоть того самого фруктового чаю или магазинных дрожжей. Чего уж: тощій был, суставы на коленках проступали, как головки болтов на два дюйма, но чтобы не допереть домой пайковую ковригу — эта дудки!

— Ты только отпуская поболе, — хорохорился я.

— А дорогу-то хоть знаешь? — допытывалась мать.

— На завод?

— А то куда ж...

— Ха! Да мы с пацанами сколь раз туда бегали гудок слушать.

— То ли его отсюда не слышно...

— Отсюда — что! Вот там — как даванет!

— Ну ладно. Завтра, как проснешься, так сразу и подходи. Возьмешь вот эту кошелку. Открыто хлеб нести нельзя: в городе полно бродят, враз выхватят. Слышишь меня?

— Слышу...

— А в магазин надо заходить не через проходную, а прямо с улицы. Да ко мне не лезь, а станешь в очередь. Войдешь и скажешь: кто последний? Как все...

— Ладно.

— ...а когда очередь подойдет — подашь мне карточки и деньги. Кошелек на дне кошелки лежит. Не потеряй смотри!

И вот утром, хватив теплой водицы из чайника, бегу я на завод. Пустая зануда-кошелка из чакана болтается в руке, путается в ногах, мешает бежать, а так все хорошо: прокапал небольшой дождишко, пришиб пыль, освежил квелую, запоздалую зелень, выглянувшее из серой кашицы облаков умытое солнышко приятно обнимает плечи, и только босым ногам еще прохладно шлепать по лобастым уличным булыжникам.

Бежал, поглядывая на деревья, высматривая себе липу, чтобы пощипать молодых листьев. Они без всякого вкуса и даже ничем не пахнут, но зато нежны, легко жуются, полнят рот пресной пенистой массой, и двумя-тремя жменями вполне можно приглушить голодное нытье в животе. А скоро зацветет акация, и тогда в ход пойдут белые, медово пахнущие гроздья соцветий. Вкуснотища! Но если пожадничать, перебрать лишку, то может стошнить: таится в них какая-то рвотная добавка. А там пойдут незамысловатые подзаборные калачики, те можно есть сколько хочешь, безо всякой

опаски. Недаром их еще просвирками называют, церковными плюшками. А еще — лопушьи корни, надо только не пропустить, чтоб не переросли, не превратились в лыко. А пока молодые — ничего, даже маленько сластят. Правда, губы пачкаются цепкой желтой краской, потом плохо отмываются, так что ходишь желторотиком, как иждивенец...

Еще издали начинало тянуть угольным дымком, железной окалиной, разогретым машинным маслом. Так пах наш завод. Не знаю, может быть, в моем организме чего-то не хватало, но я до упоения любил эти запахи, так же, как потом всю жизнь наслаждался креозотовым веяньем шпал и ни с чем не сравнимым духом чутунных мостов. А если угадать ко времени, то можно вблизи услышать оглушительный рев заводского гудка, от которого закладывало уши, и мы, пацаны, ничего больше не слыша, даже собственных слов, обалдело и счастливо таращились друг на друга.

Перед магазином я все-таки не удержался и сбегал посмотреть в окна заводских цехов, выходявших прямо на улицу. Нагородив под ноги тройку кирпичей и припав к пыльным стеклам, дребезжавшим от внутренней работы, я замороженно созерцал, как сумасшедше неслись трансмиссионные ремни, чем-то шлепая и мелькая на стыках, и как перед самым моим носом нескончаемо и кучеряво вилась металлическая стружка, легко, безо всякой натуги устремлявшаяся из-под толстого и как бы равнодушно-тупого резца, сперва сверкая дорогой позолотой, но сразу же густо синяя, а затем и бурея от перекала.

На эти чудеса можно было смотреть бесконечно, но рядом были еще и другие окна, и я перетаскивал кирпичи к соседним проемам, за которыми открывалась иная работа: подбадриваемые воздуходувками, непрерывно гудели горны, полыхавшие синими коронами огня, брызгавшие синими колкими искрами и озарявшие все и всех вокруг синими мерцающими бликами.

А еще хотелось подглядеть отца и чтобы он увидел меня тоже и, воссияв, сконфуженно заулыбавшись, сказал бы друзьям-молотобойцам, что, дескать, это его сорванец, вон какой вымахал, осенью в школу отдаст. И все оставили бы работу и одобрительно закивали бы в мою сторону, выставили бы большой палец. А отец подошел бы к окну и сквозь шум горнов спросил бы знаками, мол, ну как дела, а я бы кивнул ему, как равный равному, как трудящийся трудящемуся, мол, все нормально, иду вот карточки отоваривать сразу за два дня. Однако отец на глаза что-то не попадался, должно, как он говорил, «пребывал на территории», что означало: возился в куче железа, отбирая нужные листы для раскроя. Молодой чубатый молотобоец, обнаженный до пояса и влажно блестящий огненными бликами, погрозил мне пальцем. В ответ я высунул ему язык, и тогда он щипцами выхватил из горна раскаленную, бело

светящуюся железяку и сунул ее под самое стекло. Я мигом лепетнул прочь. Конечно, можно было еще возле цехов в мертвой зашлакованной заводской земле поискать блескучих шариков от тракторных подшипников — высший класс для рогаток! — ну, да ладно, в другой раз, а то теперь мать, поди, все глаза проглядела. Вот войду, а она строгими глазами спросит, мол, где шлялся, язва моей души, а не ребенок?

Очередь за хлебом видна была еще издали. Не спрашивая, кто последний, я пристроился позади какой-то тучной техи-растетехи в жарком цветастом халате. Около получаса разглядывал я на ее попе разлапистые хризантемы, разившие керосинкой, прежде чем очередь втянулась в дверной проем. Сзади меня подпирала еще одна тетка, лица которой я так и не увидел за все стояние.

Едва я ступил за порог, разом шибануло густым бражным настоем теплого хлеба, от которого меня изморно шатнуло и рот переполнился чуткой на еду слюной.

— Мальчик, не толкайся! Стой, пожалуйста, смирно, — одернула меня тетеха, не оборачиваясь, потому как повернуться ей стоило немалых усилий, все равно что повернуть шкаф.

Я вспомнил про остатки липовых листьев, прилипших под майкой к моему взопревшему телу, и, дабы сбить голодную слюну, принялся вытаскивать по одному из-за пазухи и заталкивать в рот. Но жевать обмякшие, пропотелые листья, глядя на ряды хлебных ковриг, источавших умопомрачительный запах, было просто противно, и я тихонько выплюнул пресную зелень себе под ноги и растер голыми пятками.

— Да что ты там все ворочаешься? — опять рассерчала тетеха, разившая керосином. — Ты с кем, где твоя мать?

Я взглянул в узкий прощелок между сдавившими меня телами, где по ту сторону прилавка бело мелькала моя мать, но она все еще меня не видела, и я промолчал.

— Это ваш беспокойный ребенок? — спросила тетеха, повернув голову к правому плечу, что означало, что она обращалась к позади меня стоявшей женщине.

— Вы — меня? — почему-то испугалась женщина, лица которой я не видел из-за сильно выступавшего бюста.

— Да, да! Я вас спрашиваю! Своей ужасной корзиной он совершенно издергал мои чулки!

— Нет, нет, это не мой мальчик.

— А чей же еще?

— Я сам... — глухо пробормотал я.

— Что значит сам... Ты что, один тут?

— Ну, один...

— Ты тоже за хлебом? — поинтересовалась женщина, стоявшая сзади.

Тем временем плотно стиснутая, распаренная, разящая потом и старым тряпьем очередь постепенно перемещалась, волоча внутри и меня, как влипшую муху. Чтобы было чем дышать, я прижимался подбородком к железной обивке прилавка, на котором на уровне моих глаз совсем близко виднелась россыпь хлебных кусков и кусочков. До самых близких можно было запросто втихую дотянуться рукой. Тем паче что тетки, облеплявшие меня спереди и сзади, вовсе не видели меня и не заметили бы, как я, улучив момент, мигом цапну совсем маленький обрезочек. Не тот вон, за который потребуется, может, целый иждивенческий, а то и рабочий талон, а вот этот — махотулишный и никому не нужный, в полспичечного коробка. А уж если на то пошло, то и нечего мне озираться на бабуль. Если бы за прилавком стояла какая-то чужая тетка, тогда другое дело... А то ведь мамка моя! Разве она сможет сказать что-нибудь против, если я потянусь и просто так возьму кусочек черного хлебца?! Ведь мы же с ней вечерами вместе все эти талоны клеили! А если что, то пожалуйста: будет отпускать мою норму, может вычесть этот кусок из моего пайка. Чтоб все по совести.

Последний довод показался мне настолько убедительным, что я, привстав на цыпочки, не спеша посунул руку по железу к облюбованному кусочку. При этом я смотрел не на хлеб, а в лицо матери, ища ее взгляда и покровительства. Она заметила-таки мое движение, и я в ответ заискивающе приветно заулыбался, как бы давая знать, что это я, а не какой-нибудь пакостник и воришка. Мать, кажется, наконец-то узнала меня, и сердце мое от негласного одобрения пролилось чем-то сладким и теплым, и я, благодарный, накрыл ладонью хлебушек, как если бы бережно накрыл зазевавшегося на крыше воробья.

И тут что-то холодно взблеснуло над прилавком, и вмиг я почувствовал резкий удар плоско развернутого хлебoreзного ножа. Острая ожоговая боль полыхнула по всему запястью. Но я почему-то не отдернул руки — может, потому, что, еще весь полный счастливого доверия к материнскому взгляду, вовсе не был готов к этому, полагая, что произошла ужасная ошибка. С недоумением глядя в лицо матери, пытаюсь уловить в нем признаки вины и сожаления, я все еще продолжал сжимать в кулаке теплый хлебный мякиш.

Но она жестко, отчужденно крикнула:

— Убери руку!

«Ты чего? — вопрошал я ее одним только смятенным взглядом. — Это же я, я!»

— Убери руку, сказала!

От этих ее тяжких, рубящих наотмашь слов я растерялся.

Стиснутый очередью, сомлевший в ее духоте, я окончательно был раздавлен и растерт этими тяжкими, бьющими наотмашь сло-

вами и почувствовал, как ослабли и ватно обмякли мои ноги. И, утрачивая реальность, ощущая в глазах радужное мелькание какого-то размолотого стекла, я выпустил из онемевших пальцев измятый кусочек хлеба, оттянул руку и, присев на корточки, спрятался от всех у подножия прилавка.

— Да, но и так тоже нельзя — ножом! — ужаснулась задняя женщина. — Мало ли что, нож все-таки...

— Ножом, это, конечно... — тоже не одобрил кто-то из мужчин. — Это ты зря, Лексевна. Надо для таких случаев палку при себе иметь. Как в других магазинах.

— Каков, однако! — развернула-таки свой шкаф теха-тетеха. — Небось и по карманам горазд? Ну-ка, проверю, цел ли кошелек...

— Давай сюда твои карточки, — наконец раздался из-за прилавка посеревший материн голос. — Где твоя кошелка? Слышишь, мальчик? Давай, я...

— Не надо! Не надо мне ничего! — срываясь на визг, выкрикнул я и, зашвырнув пустую плоскую кошелку за прилавок, захлебываясь обидой, головой раздвигая лес ног, ринулся к выходу.

1992

ГРЕЧЕСКИЙ ХЛЕБ

Когда матушка моя была еще жива, я, мысленно обращаясь в то далекое мое детство, в пору, как тогда писали, великого перелома, спрашивал ее, поверяя бывшее:

— Чем же все это кончилось? Как мы уцелели? Вот силюсь вспомнить, собрать воедино зиму с тридцать третьего на тридцать четвертый — тот самый поворот, когда голод наконец начал разжимать свои костлявые пальцы... Видится как-то разрозненно, все больше несущественные мелочи вокруг моего никчемного тогдашнего бытия.

— Мал еще был, — не сразу ответила матушка, сама отрешаясь в прошлое. — Да и помирал ты той зимой, весь изболелся, осталось только закрыть глаза...

— Может быть... Может быть, и поэтому... Такие пустоты в памяти, будто меня и вовсе не было на свете в иные промежутки времени. Ну, скажем, совершенно не помню, как умер наш сосед по квартире дядя Семен. Как его хоронили, не помню... Ведь плакали, поди, кричали...

— А то как же! Лександра, жена, дак аж руки себе искусала — до того убивалась, бедная... Искусает, поди: четверо осталось...

— Ну вот... А я и не слыхал никакого плача. Хотя наши квартиры разделяла только забитая дверь. Было даже слышно, как дядя Семен строгал, пилил...

— Дак они у нас через дверь время спрашивали, — подтвердила матушка. — Собирались заложить, да негде было взять кирпича. Так и жили: под дверь спички по штуке одалживали... Тараканы туда-сюда шастали: ихние — к нам, а наши — к ним...

Матушка улыбнулась, но тут же завиноватилась, отерла губы ладонью.

— Это когда ж он помер?

— А той же зимой, от тифу. Дак и голодал: болтушку со столярным клеем варили...

— Что ж, музыка была? — проверял я свою память.

— А то как же! — уважительно подтвердила матушка. — С заводу прислали.

— Ну вот, а я и не слыхал...

— Где ж тебе было про то слыхать, ты тогда тоже в жару лежал.

— Да, конечно... Зато отчетливо помню, как это начиналось, весь этот великий перелом... Как повалили нищие... Я тогда боялся, все время находился в ожидании стука в окно... Иногда стучали по несколько раз в день.

— Не приведи господь! — зябко перекрестилась матушка.

И по сей день с цепенеющей душой вспоминаю пришествие этих людей. Они появились в знойное, калёно струящееся над крышами лето тридцать второго — изможденные, одичало заросшие старики или казавшиеся стариками, облаченные в серую ветошь, в разбитые верстами лапти с торчавшей из дыр истертой соломой, с пустыми, плоскими котомками за поникшими плечами...

Потом следом за одиночками потянулись целые семьи. Никогда не забыть запавших в темень черепно обнажившихся надбровий, скорбно мерцавших глаз побирušек, влачивших за собой нечесанных, дурно пахнущих, безразличных ко всему ребятишек, отрешенно ковылявших по жаркой белесой пыли босыми, искривленными рахитом ножками...

Говорили, будто они нагрянули в наши места из самарских и симбирских пределов, где даже лебеда прежде времени пала блеклым сухим листом. Выев последних сусликов, испещривших норами бесхлебные полынные пажити, они оставили свои убогие жилища под ломкой, иссушенной соломой, готовой полыхнуть полымем от одного только скрипа дверной петли, и, перекрестясь, побрели на влажный ветер, иногда долетавший откуда-то с закатных сторон России. Но и у нас, куда они наконец добрели, было все так же сухо и безнадежно...

— А куда они потом девались? — допытывался я у матушки. — Побрели дальше на Сумы? Или тихо вымерли по ничейным подвалам и заросшим пустырям?

Матушка, задремав, ничего не ответила.

— И что мы сами ели, — спрашивал я себя, — когда в доме иссякло все до последней пшенинки, закатившейся в расщелину стола, и было продано все, что еще можно было продать или выменять хотя бы на конопляную макуху?..

Худобный и немощный в свои восемь годов, едва державший постоянно думавшую о еде лобастую голову на истончившейся шее, я сделался доступным всякой напасти. По словам моей матушки, хвори мои переходили одна в другую, растянувшись на всю ту зиму и весну, пока деревца под окнами не оделись свежей зеленью.

Первым подкосил меня сыпной тиф, изнурявший то беспамятным забытием, то роящимися кошмарами, от которых я, взмокший, взъерошенный, с бессмысленно распахнутыми глазами, соскальзывал с кровати и, натываясь на утварь и стены, порывался бежать... От всего этого я терял чувство реальности, и у меня не стало ни утреннего просыпания, ни вечернего погружения в сон.

В минуты просветления разума мне запомнился приход детского доктора Маргольеша — сутулого старичка с заиндевелой застрешкой коротко подстриженных усиков и желтым, округлым, похожим на поросычью тушку саквояжем. Его знали в городе больше, чем часто менявшихся городских начальников, бывал он и в нашем доме, и матушка готовно кинулась, как к давнему знакомому, чтобы принять барашковую шапку-пирожок и толстую суковатую трость с янтарным набалдашником. Доктор не стал снимать пальто, должно, убоявшись наших заиндевелых окон, а, набросив извлеченный из саквояжа белый халат, пододвинул стул к кровати и долго мят мой живот ледяными с мороза пальцами — сначала одной рукой, потом другой, будто грел их о мое раскаленное тело, пристально глядя при этом в мои глаза, как бы сверяя с ними свои обнаружения и догадки. Был он глух, из-за чего, наверно, ни о чем и ни с кем не разговаривал, а только, присев к столу, что-то размашисто писал на коротких листах, близко глядя в них сквозь толстые, похожие на донышки аптечных пузырьков очки в роговой оправе.

Пока Маргольеш, ополаскивая руки, бряцал на кухне рукомойником, я опять отчалил в мир иной, где чаще всего грезилось, как я из последних сил на непослушных, будто вареных ногах убегал от постучавшего нищего, у которого лицо обратилось в пустоглазый череп, прикрытый холщовым картузом, а на острой кости подбородка пучком кипчака проросла седая борода, заброшенная на плечо рубахи, будто ветром сносимый дым... А когда снова открыл глаза (оказалось, по прошествии целых суток), то увидел, будто передо мной предстали сразу двое — оба в черных халатах и марлевых повязках, воздетых по самые глаза, смотревшие на меня холодно и неотвратно. Я принял это за бредовое видение, но чер-

ные дядьки оказались взаправдашними санитарями. Ёврили, будто по ночам они собирали трупы бродяг и побирušек, коих чаще всего находили на скамейках Пролетарского сквера и в городском саду, где по воскресеньям, как и прежде, вечерами играла полковая музыка...

И вот теперь они приехали за мной, чтобы отвезти в тифозный изолятор. От одного только вида этих сокрытых масками людей я пришел в истерический ужас. Будто пришибленный кузнечик, отталкиваясь тощими ходульками, я задом отпрянул к решетчатому изголовью кровати, но, осознав, что дальше деваться некуда, а дядьки уже надевали красные резиновые перчатки, зашелся в отчаянном, безысходном плаче... Ничего не понимавшая младшая сестренка Нинка заревела пуще меня, и тогда матушка, ступив между кроватью и санитарями, пала на колени и, что-то причитая, воздела к ним оголившиеся прожилистые руки:

— Куда ж его такого!.. Да в ём едва душа теплится...

— Велено доставить, — отчужденно сквозь кисейную маску твердил один из них, должно, старший.

— Дак ить пропадет он там — один-одинешенек.

— Нельзя, не положено!

— Да голубчики вы мои-и... Как же вас еще проси-и-ить...

Наконец старший стащил перчатки и засунул их за голенище сапога.

— Ладно, давай пиши расписку, — жестко сказал он матушке. — Нехай будет под твою ответственность. Пиши: я, такая-то, имя, хвамилиа...

Тем временем другой, который остался в перчатках, притащил бачок с насосом и принялся поливать пол вонючей карболкой. Побрызгав еще кое-где на стены, санитар обмотал шланг вокруг бачка, и они покинули дом...

Вскоре во дворе взвизгнули и ушибленно, по-собачьи заголосили на сухом морозном снегу кованные колеса железной колымаги. При этом визге подумалось, что в такой же будке с зарешеченным окошком свозят на загородную живодерню зазевавшихся собачат. Только та окрашена в зеленое, а на крыше всегда лежал наготове крупноячейный сачок на длинном шесте...

— Уехали! — воспрянула Нинка, глядевшая наружу сквозь протертый пальцем ледяной волчок.

Не знаю, как я остался вживе, но помнится, после того, как отпустило, о чем не чаяла даже матушка, по ночам тихо качавшаяся над мной в молитвах, я долго не мог ходить, и мне подавали стыдное ведро. Когда же стекла порой просветлялись от наледи, меня, закутанного в одеяло, подсаживали к окну, и я жадно вбирал в себя забытый уличный мир. Впрочем, окно мое выходило не на улицу, где туда-сюда проходят разные люди и топают, паря ноздрями, загруженные

разной разностью ломовые лошади, а просто во двор, даже в ту его часть, которая казалась далеко не поленовскую картину: виделся один и тот же покосившийся забор из серых щелястых плах, за ним — снежно вспухшая крыша соседнего сарая, исхоженная котами и воронами; по нашу же сторону забора торчал просторный, на две дверцы сортир — еще свежее добротное сооружение с резным бордюрчиком по карнизу, когда-то по случаю заселения дома дарственно, от щедрой души сработанное дядей Семеном; рядом как-то сама собой устроилась общественная помойка, за зиму вздыбившаяся накопленным мусором и бурым льдом от постирух и ночных ненужностей... Зато помойка была самым оживленным местом, куда сами собой устремлялись глаза. Ранней ранью, когда все кошки серы, сюда из окрестных застрех и кирпичных прощелков сбивались продрогшие, округло расщеперенные, иные чернявые от сажи и трубного дыма воробышки, однако не унывающие, не теряющие ватажной дружбы и веселого озорства. С ливневым шелестом взлетают они все разом, когда кто-нибудь из братии чивикнет об опасности, и, осыпав карниз дяди Семенова строения, заглядывают вниз, стремясь понять, по правде ли их шухернули, или это всего лишь обычный розыгрыш. Сидят, вытирают о деревянную резьбу носы, суются под мышки, будто проверяют, все ли в карманах цело, ждут, когда, по обычаю, поднявший тревогу первым слетит вниз, после чего остальные, убедившись, что тот в добром здравии и уже что-то клюет, один за другим бескрыло, пуховыми комочками падают долу.

Осторожные вороны, не рискующие спускаться на землю, пока окончательно не рассветет, появлялись на восходе солнца. С упругим посвистом крыльев они слетались сюда с высот окрестных топей, где, поворотясь носом на морозное дыхание ночи и втянув голову в плечи, коротали долгую зимнюю темень в терпеливой не подвижности. Прежде чем приступить к делу, вороны сперва рассаживались на заборе и внимательно изучали обстановку, а также содержимое помойки, оценивая поживу. Видимо, они хорошо знали друг дружку и было определено, кто в каком чине и кто за кем при распределении помойного добра. Зато, ероша чумазые, за зиму износившиеся перья, непримиримо, с хриплым простуженным карком набрасывались на залетных ворон-чужаков и обращали их в бегство. Но странное дело: они вполне терпимо относились к галкам — своим двоюродным соплеменницам, родством которых в такое крутое время, казалось, могли бы и пренебречь, поскольку свои перья, хоть и замызганные и довольно побитые проедом, все-таки ближе к телу. Возможно, галицы прельщали их черной опрятной монашеской одеждой и негромкими, вкрадчивыми, сестролюбивыми голосками, тем паче, что они никогда не проявляли жадности, а со смирением собирали то, что оставалось от вороньей торопливой и неаккуратной трапезы.

Впрочем, какая уж там трапеза: никто теперь съестного не выбрасывал, разве совсем уж непригодную подгнившую картофелину. Так что главный вороний интерес представляли кульки и скомканые бумажки, которые они терпеливо выщипывали и расправляли в надежде обнаружить какой-нибудь фарт, как это частенько бывало еще в недавние времена, когда можно было докопаться до шмата колбасы или мозговой косточки, а в праздники — и до отменных сырных корочек, не говоря уже о селедочных головках, которыми чаще всего брезговали и выклевывали одни только глаза. А уж отыскать корку хлеба — это запросто... «Куда все это подевалось? — растерянно оглядывались вороны. — Да и самой бумаги стало куда меньше прежнего...»

Но мир не без добра: в некий удачливый день вдруг попадалась дохлая крыса! Везение было столь ошеломляюще, что враз исчезало соблюдение старшинства и воровского порядка и наступало воистину столпотворение, вздыбленная крыльями горластая толчея. Гонимые нетерпением и азартом, задние вороны запрыгивали на спины сбившихся в тесный круг обезумевших сородичей, норовя просунуться в глубину и что-либо ухватить, но сами проваливались и исчезали в этой колышущейся, толкающейся и вопящей зыби.

Но вот из кучи-малы вырвалась взъерошенная, измазанная сукровью счастливица с расклеванной и растерзанной в лохмотья крысой и, яростно нахлестывая крыльями и подбрасывая себя толчками обеих лап, пыталась взлететь. Ей-таки удалось оторваться от земли, и она, не прижимая лап, держа их в готовности снова опереться, тяжело полетела, чиркая крысиным хвостом по утренней нежной пороше. Однако беглянка сразу же была настигнута, сбита и опрокинута в снег, и в том месте снова закипела, загорланила, зашебуршила крыльями воронья свалка, постепенно перемещаясь в сторону, пока не исчезла из вида моего окна...

Утренним безлюдьем набегали собаки — чаще всего неказистые, робко озиравшиеся псины, ознобливо дрожавшие от хронического переохлаждения, подбиравшие то одну, то другую лапу. Но, не дав даже принюхаться, несколько матерых ворон с угрожающим карком набрасывались на пришельца, и тот, замурзанный, изгойный и бесприютный, забывший свое имя, неведь где перекоротававший морозную ночь и всю зиму, свыкшийся с тем, что на этой земле нет ничего ему принадлежащего и что надо заискивающе выпрашивать или уворовывать всякую кроху, — готовно, уступчиво поджал хвост и бросился наутек с пронзительным воплем — не столько от вороньих шлепков, сколь от постоянной униженности и бесправия, привычного ожидания пинка...

Но иногда наведывался какой-нибудь материще — грозный и грязный, на все и всех озлобленный Полкан, удобно остривший-

ся кострецами. Молча клада сверкающими челюстями на близко подлетавших ворон, он быстро рассадил их по забору в почтительном смирении и со знанием ремесла и проворством домушника, забравшегося в чужое владение, обстоятельно обследовал помойку. В показавшихся местах он напористо фыркал, пробовал тянуть вмерзшее в бурую наледь нечто похожее на детский башмак и даже, безглаголюще ощеряясь, жевать оторванное... Но не найдя ничего съестного, мрачно озернувшись, задрал заднюю ногу, так что стало видно телесно просвечивающееся подбрюшье, и единым желтым выщирком расписался на мерзлой скомканной газете в том, что в оном заведении ни хрена нет...

Остаток зимы я доживал, как теперь говорят, в глубокой дистрофии, то есть в голодной немоги, когда организм доедает сам себя: отыскивает и растворяет последние жирилки, рассасывает ненужные мышцы, которыми долго не пользуются. Матушка не то выменяла, не то вымолила несколько морковин и теперь каждый день натирала мне по блюду, наказывая, чтобы не видела Нинка. Но противная Нинка, как нарочно, пристраивалась за столом напротив меня и, поджав губы, молча водила глазами за моей ложкой. Я смущался от этого ее присутствия и переставал жевать давку, презимовавшую морковку, замерев с набитым ртом.

— Ты ешь, ешь, — оправдывалась Нинка. — Я ничего... Я тебе не мешаю...

— Ладно, на... — смирялся я и, набрав из блюда самую малую щепотку, перекладывал в ее узкую бескровную ладошку.

— Что ты, что ты... — пугалась Нинка, отдергивая и пряча ладошку вместе с морковкой. — Я ведь ничего не прошу, а только гляжу... А глядеть можно, правда ведь?..

Из кухни появлялась матушка и брала Нинку за руку, укоряя:

— Ну вот, ты опять тут... Ему морковка назначена, чтоб не помер. А ты пока ничего, Бог миловал, давай иди, иди...

Нинка с этим безропотно соглашалась и только спрашивала:

— А когда заболею я, ты мне тоже дашь полное блюдо?..

Наконец-то застучала капель, небо поглубело, и матушка, задержавшись у окна, облегченно вздохнула:

— Слава те, презимовали!

И тут я неведомо как подхватил коклюш — эту беспричинную болезнь, изнурявшую свирепым кашлем. Легкие мои разрывались в клочья, я обреченно сипел по-рыбий запахнутым ртом, будто в комнате до последнего глотка был высосан воздух и вместо него все жилое пространство заполнилось мертвящей пустотой. Лицо мое безобразно распухло, веки набрякли тяжестью, а на белках от натуги полопались прожилки, отчего глаза налились кровью, превратясь в зудливо мокреющие щелки, будто оба моих зрака прорезали сапожным ножом.

Снова наведывался еще больше ссутулившийся Маргольеш, по-детски мелко шаркавший галошами, весело стрелявшими весенними лучиками. Как и тогда, пальто он снимать не стал, так же как и галоши, а, выпростав один только шарф, передал его матушке вместе с тростью и все той же зимней шапкой-пирожком. Протерев платочком вспотевшие многослойные очки, он бесшумно просеменил к моей кровати. На этот раз, задрав рубаху, он прикладывал к моей ребрастой груди два вместе сведенных пальца и стучал по ним, будто клювом, указательным пальцем другой руки. После этого непонятного действия ему стало все ясно, и он, как и в тот раз, низко, близоруко склонясь к столу, принялся размашисто чиркать и попискивать пером толстой черной ручки и шелестеть отбрасываемыми бумажками. В этих листках предписывалось закапывать глаза каким-то альбуцидом, желательно с помощью пипетки, но ежели ее в аптеке не окажется, то можно пользоваться кончиком гусиного перышка, сперва ошипанного до самого вершка и ошпаренного кипятком. На бумажке было даже нарисовано, каким образом ошипать перо. От кашля же Маргольеш извлек из саквояжа и выставил на стол бутылочку с микстурой, и теперь за ней уже не надо было бежать в аптеку. Она почему-то таинственно звалась каплями датского короля — как раз теми, запах которых источал докторский саквояж и, казалось, сам Маргольеш тоже.

А еще было начиркано в бумажке, чтобы меня укутывали ватным одеялом и каждый день перед сном сажали перед открытой форточкой.

Про Нинку же было сказано так: завтра же доставить в медпункт, сделать прививку, после чего отвезти куда-нибудь на две-три недели.

Когда на другой день матушка принялась собирать Нинку, надевая на нее все чистое, и складывать в корзинку еще кое-что из ее добра про запас, Нинка, что-то заподозрив, ударилась в рев и сидячую забастовку. Ее так-таки никуда не отправили, и матушка, глядя на нее, испуганную и настороженную, утешилась, сказав сама себе:

— Ладно, Бог даст, как-нибудь обойдется. Да и кому нужен лишний рот...

Нинка враз прояснилась, размазала по веснушкам недавние слезы, и мы, придумав увлекательную игру, все дни проводили вместе, за исключением тех моментов, когда на меня внезапно наваливался кашель и Нинка, вся съезжившись, кусая себе пальцы, убегала на кухню и забиралась под одежку на вешалке, чтобы ничего не видеть и не слышать...

А играли мы вот как...

Бутылочка с каплями датского короля оказалась занятной вещицей. Она имела удлиненное, постепенно сужающееся горлышко, придававшее ей стройный и горделивый облик, и была она го-

раздо выше обычных пузырьков, накопившихся в нашем доме. К ее покатым плечикам был прикреплен долгий бумажный косячок, окрашенный в яркий золотистый цвет с шоколадно-коричневой окаемкой в виде цветочного венчика. В самом верху косяка, как бы на спине, рельефно проступал оттиск змеи, обвивавшей тонкую ножку бокала. Этот красивый бумажный треугольничек, достававший до пят посуды, был всего лишь аптечным рецептом, на котором, как раз пониже змеи, сообщалось, когда, как, по сколько и от чего употреблять содержимое бутылочки. Мне же он представлялся богатой, красиво расшитой мантией, тогда как бокал со змеей означал рыцарский геральдический знак. К тому же на пробке, которой запиралась бутылочка, колечком красной резьбы была прикреплена золоченая шапочка с мелкой гофрой по окружности. Если поля шапочки отвернуть кверху, то получалась как бы корона, отчего бутылочка еще больше походила на его величество датского короля, источающего тонкий и сладостный запах первоцвета. За такой особой полагалось носить нижний край покрывала, и мы приставили к этому почетному делу пузырек-невеличку из-под зеленки. Прочие пузырьки — плосконогие, крутленькие, рубчатые, пузатые, из белого стекла или из коричневого, пахнущие кто вальерьянкой, а кто нашатыркой, — служили при короле министрами и разной дворцовой челядью, а трехгранные молодцы из-под уксуса со стеклянными, ладно притертыми пробками являли собой королевскую гвардию и личную охрану. Разумеется, я избрал себе роль самого датского короля, а Нинке достался зеленочный коротышка с простой пробковой затычкой, носивший за королем шлейф-рецепт. Нинка сперва носила этот шлейф охотно, но потом ей наскучила эта работа, и она тоже захотела стать датским королем. Чтобы не допустить неповиновения, я положил ей высочайшее жалование: каждый раз перед игрой, сняв сперва пробку-корону, а затем вытянув пористую алжирскую пробку, накапывал в чайную ложку несколько капель за верную службу, и она, довольная, благоговейно закрыв глаза, облизывала милостиво протянутую ложку.

По правде, мне наскучило вспоминать про свои тогдашние болезни, и все же упомяну еще об одной — о курослепе, странном, загадочном состоянии, когда с наступлением сумерек не видно ничего, кроме носков собственных тапочек. Матушка сказывала, почему эту хворобу называют куриной слепотой. Едва только смеркнется, куры оставляют свои дворовые хлопоты и спешат на насест, как бы боясь промешкать, не разглядеть впотьмах клетушки. Но у них это не от слабости зрения, а по житейской нужде: раньше закрыешь глаза, раньше и проснешься. «Вечер солнышко съест, курочка — на насест. Петушок утром пети, курочка — из клетки...» — прибавляла матушка. А ежели человек с заходом солнца не видит дороги на свой насест — тут уж зови Маргольеша...

На этот раз Маргольеш у нас так и не появился, хотя одна из соседок, бегавшая за вызовом на дом для своей девочки, взялась выписать его и на нашу долю. Но пришел какой-то другой доктор. А про Маргольеша пошли разговоры, будто он тоже заболел и даже, кажется, умер. Должны вот в газетах объявить... Да и так было заметно, насколько он сильно обветшал за эту зиму. Он и пальто не снимал не потому, что спешил обойти всех больных, экономя время, а просто не делал лишнего, берег силы... Это ж сколько раз за день: разделся — оделся, разделся — оделся... Галоши снять, галоши обуть... А может, они туго надеваются. А больных — сорок человек... так помрешь...

— И ничего он не умер, — опровергали другие. — Просто неправильно лечил, выписывал не те лекарства... Один родитель возьми и напиши куда следует. Его и посадили за вредительство.

Внемля этой ужасной новости, мы с Нинкой удрученно глядели на бутылку из-под датских капель, еще недавно бывшую нашей любимицей, подслащенное содержимое которой мы накапывали по счету и выпивали с доверчивой готовностью и упоением.

— А ведь не подумаешь, — ужасалась тетенька, занесшая в наш дом это известие. — Такой был молчун, такой тихоня...

Лишь через два дня на третий пришел новый доктор. Матушки не было дома, и поначалу мы с Нинкой не хотели ему отпирать, думали, какая-нибудь побирушка. Но он показался нам в окно, помахал сначала кепкой, а потом достал из перекинутой через плечо командирской сумки костяную трубку, которой слушают больных, и мы поверили и отперлись. Он был уже в халате, белевшем из-под брезентового дождевика, и тоже усат, но усики чернели лишь под самой пипкой, будто нос непрочно прилажен и подтекал по верхней губе темной полоской.

— Так-с, кто тут больной? — произнес он сухим, сиплым, напористым голосом, словно вырывавшимся из перегретого чайника. — Или оба сразу?

Сощуренно и весело он глядел то на меня, то на Нинку.

Настороженная Нинка при его словах вкрадчиво напряглась, как бы давая понять, что она тут ни при чем, она — посторонняя...

— Значит, ты? — Он перевел взгляд в мою сторону.

— Угу... — нагнулся я виновато.

— Так-с, та-акс... И что у тебя болит? — Широкой ладонью он обьял мой лоб.

— Ничего не болит..

— Как ничего? Ты давай не ври...

— Не вижу я, а так ничего не болит..

— Ага, так-с... — Он выставил передо мной два пальца наподобие рогатки, из которой стреляют по воробьям, и спросил: — Сколько?

— Ну, два, — ответил я.

— А так сколь?

— Так один...

— А говоришь — не видишь...

— Я вечером не вижу, когда темнеть начинает. У меня — куро-слеп... — падшим голосом промямлил я, хотя признаваться в этом было неловко и стыдно.

— А-а, — почему-то обрадовался доктор. — А ну подойди, подойди-ка поближе...

Жесткими, какими-то четырехгранными пальцами он отдал мне нижние веки и поглядел в зрачки, сосредоточенно сопя и обдавая куревом.

— Ну, это ерунда! Ничего страшного! — весело отпустил он меня. — Я когда служил у Буденного, в фельшарском взводе, прислали к нам как-то пополнение пацанов. И почти у всех до единого — куриная слепота! Как солнце сядет — ничего не видят. Вроде тебя. Ну, какие это бойцы? Дак мы их редькой, редькой... Бывало, хоть в барак не заходи... А недели через две уже воевали как миленькие. — Доктор посмеялся, посипел, выпуская из себя подступившую веселость и ободряюще заключил: — Так что ерунда! Такое весной бывает почти у всех пацанов. У меня тоже оба переболели и уже вовсю носят. Болезнь проста! Вроде экзаменов: сдал — не сдал... Всякая болезнь — проба на прочность. Природе хлюпики не нужны. И стране — тоже, понял? Так что давай... У тебя коза есть?

— Какая коза? — растерялся я.

— Как какая? Которая с рогами и с титьками.

— Такой нету, — сказал я.

— А куры?

— И кур нету ...

— Ну, в общем, ладно. — Он принялся надевать на халат свой шуршлявый брезентовый плащ. — Скажешь матери, что надо больше молочного... Ну и яички, особенно куриные желтки. А еще — всякое огородное. Но лучше всего — дрожжи. Вот это вещь! Первое дело от куриной слепоты. Так что, давай...

Уходя, напоследок он и Нинке хотел было отдалить веки, но та не далась, и тогда он сделал ей козу: посверлил воздух двумя растопыренными пальцами.

Матушка ходила отоваривать карточки, принесла пшена, соленой кильки, какого-то полужидкого зеленого жиру, брус черного мыла, а также кускового сахара. Сахар опять начали давать понемногу, и на радостях она отколола нам по маленькому косячку, чтобы попробовать, какой он на вкус. Узнав, что в ее отсутствие приходил новый доктор, матушка подсадовала, что не застала.

— И что он сказал?

— Спрашивал про козу, — поспешила ответить Нинка.

— Может, это не доктор? — удивилась матушка.

— Доктор! Доктор! Он в белом халате был.

— А зачем ему коза?

— Не ему, а чтобы нам пить молоко, — объяснила Нинка и добавила: — Мне тоже...

— Ну, ну... А еще чего говорил?

— А еще куриные желтки выковыривать и есть...

— Что — правда? — оборотилась ко мне матушка, не веря Нинке. — Какие желтки? Да он что? Уже, поди, второй год ни одного петуха не слышно...

Я изумился: а ведь и верно, не слышать... у нас, правда, своих кур и раньше не было, но у Нечаевых в сараюшке всегда петух кричал, даже зимой. И на соседнем дворе, у Заварзиных. У них был такой красавец, весь аж горел! Только почему-то хвост короткий, как у курицы. И кусался... Один раз чей-то змей упал в ихнем саду, мы, пацаны, полезли, а петух ка-ак налетел, как давай кусаться...

— Мам, а у Кузьминых кричал?

— И у Кузьминых, и за ними, у Кологривов... У Кузьминых дольше всех тянул. Уж и замолчит, а голос сам по себе эхом по дворам гуляет. Кукарекастый был кочет... это все на нашей стороне. А еще ж на той стороне давай сосчитаем... — Матушка приготовилась загибать пальцы. — У Пыхтиных — куры, у бабы Насти — куры, Истомиха тоже помногу держала, та яйца на продажу копила, ими и жила...

Собравшись варить кулеш из принесенного пшена, матушка подпалила еще с вечера изготовленную плитку и, озаренная занявшейся щепой, так и осталась сидеть на корточках, изваянно уставясь в мерцающую топку. Нинка — мамкин хвост — тотчас прилипла к ней, обняла за шею, чтобы смотреть на огонь вместе...

До кулеша еще не скоро, хотя вариться особенно и нечему: в кастрюльке — вода да полстакана смытого пшена. А когда закипит, будет положена ложка этого самого зеленого жира... Я никогда прежде не видел такого жира. Да и вообще никакого не видел, кроме макухи... Интересно, из чего его делают, этот жир, и почему он зеленый? Хорошо бы на нем поджарить луку, кулеш сразу бы ожил, запах на весь двор, аж галки слетелись бы на трубу нюхать...

— Да и молоку откуда взяться?... — Матушка, глядевшая на огонь, наверно, все это время думала о новом докторе. — Мы хоть и в городе живем, а еще недавно с одной только нашей улицы коров собиралось на целое стадо. Бывало, едва только развиднеет — замыкали, замычали по дворам коровушки, Митя-пастух кнутом постреливает, собирает стадо в луга. Наше так и звалось: богословское — по приходу. На соседней улице — нижнетроицкое, позади нас, за трамваем, — михайловское, покровское... А за рекой, за Куром, там свои гурты... Вечером сколь молока несут: пей, пить не хочешь — купайся!

Я, конечно, не помню утреннего стада — как оно зарождалось, сходилось в рассветном озарении солнца, краем воспрянувшего над стенами Знаменского монастыря, как, еще разреженное, в вольном разброде, помыкивало с дремотной ленцой, в пустынной уличной тишине очесывало бока о встречные деревья и телеграфные столбы, мочилось на округлые булыжные камни мостовой, полня улицу терпким духом перебродившей в коровьих утробах травяной браги, как потом, сплотясь в привычный гурт, направляемый конным пастухом Митей и его незлобивым кнутом, будто выщелкивавшим такты постепенно ускоряемого движения, направлялось в загородные луга, в заливную ракитовую пойму — ничего этого я не помню, потому что в благой и умиротворенный рассветный час сам еще дрыхнул без задних ног, предаваясь всепоглощающим ночным сновидениям. Но зато возвращение стада домой видел почти каждый вечер. Перед самым закатом, когда отяжелевшее солнце, багрясь и густея, будто покрываясь стынувшей окалиной, катилось на ночлег по дальним крышам строений, воспламеняя отсветом всякое окно, обращенное к закату, и сами дома, и тесовые сараи, и одиноко возвышавшиеся старые тополя в тяжелых утомленных кронах, которые, тоже калено, пламенно обагрятся, роняли за собой неразбериху прогонистых теней, покрывавших дворы и проулки полосатой рябью, — и в эти-то минуты сине-оранжевого предвечерья где-то в верхнем конце нашей долгой улицы и раздавался первый отдаленный коровий рев. Постепенно, сопровождаемое глухим гулом копыт, мычание нарастало, стадный вал накатывался все ближе, и вот уже улицу начинала застилать розоватая пыльная наволочь, сквозь которую промелькивали беломордые и белозвездные коровьи головы, мерно раскачиваемые при каждом шаге. И когда стадо оказывалось совсем близко и уже слышалось его шумное луговое дыхание, мы, пацанва нашего двора, спешили убратся на ближайшее уличное крылечко, особенно если какая-либо буренка решила брести не как все, по проезжей части, а на прихотливую особицу — по тротуару. Еще загодя мы затаивались и невольно подбирали ноги, а она, словно не видя нас, проходила мимо так близко, что ее округлый шерстистый бок при желании можно было потрогать ладонью. Но таких храбрецов среди нас не находилось... Забраться на тополь до самого граничного гнезда, пройти по мостовому перилу, проехаться верхом на трамвайном буфете — это пожалуйста, но так вот запросто потрогать корову... Оробело, с замершей душой, но и с каким-то трепетным чувством восторга от опасной близости огромного животного, сразу, будто нашедшая туча, застлавшего собой остальной мир, мы по-воробыному прижались друг к дружке, леденея от мысли, что корова вдруг остановится, поворотит в нашу сторону широченные, до блеска отполированные рога и недоумевающее воззрится, как бы

спрашивая: «А вы что тут делаете?» Но она не остановилась, не посчитала нужным, а, источая запах дорожной пыли, полынного ветра и живого, теплого, первозданного молока, переполнявшего большое, вздутое, нежно опущенное вымя с распертыми в стороны морковными сосками, с неспешным величием мерно проследовала по тротуарным кирпичам, и ее светлые восковые копыта, расчищенные луговой травой, не громыхали и не цокали грубо, железно, как у коня, а мягко, по-домашнему прошуршали, будто разношенные шлепанцы, и только, должно быть, в коленях что-то хрустко пощелкивало, будто от неподъемности накопленного молока. И было видно, как в углу ее увлажненных розовых губ затаилась нежеванная былинка мятлицы, с которой она, поди, так и пришла с вольной кулиги. Ступив несколько шагов, корова все ж таки остановилась. Но не затем, чтобы запоздало оглянуться на нашу все еще оцепенелую компанию, а всего лишь для того, как оказалось, чтобы дернуться белым животом, еще пуще раздаться рыжими боками, после чего вскинуть морду так, чтобы разлатыми рогами объять собственные плечи и сипло и мощно втянуть в себя воздух, а потом выпустить его из влажного парного горла и разразиться оглушительным призывным ревом, от которого заложило наши уши, а в висках что-то тонко и напряженно зазвенело...

Тем временем из калиток и подворотен навстречу мыку и реву выходили хозяйки, иные, как есть, обыденно, но некоторые — обрядясь в свежие платочки, еще памятовавшие о старом обычае встречать стадо в почтении. И слышалось на разные голоса:

— Мята! Мята! Мя-а-ата!

— Забава! Забава! Тпруси, тпруси-и...

— Зорька! Зорюшка! Вот она я... Вот она... — взывала у ворот и баба Настя.

Прошедшая мимо нас корова настороженно поводила ушами, похожими на рыжие варежки.

— Иди, иди, моя хорошая! — хроменько заковыляла навстречу баба Настя. — Иди, любя моя!

Признав хозяйку, Зорька коротко и умиротворенно откликается на бабин зов и тянется к ее руке, еще издали почуяв в ней хлебную корочку.

— Ну, слава те господи, пришли, пришли мы... — Баба Настя щепотью перекрестила белый Зорькин взлобок, а заедино и свой лоб под белым шалашиком косого платка.

По беспечному малолетству я тогда и не знал, что матушка в те времена два раза в неделю приносила глиняный кувшин, затянутый смуглой пупырчатой пенкой, — Зорькино молоко, — а на темном боку глеча гвоздем ли, шилом ли были выцарапаны две нетвердые буквы: «А. К.» — «Анастасия Камушкина» — чтоб, стать, посудина не затерялась по чужим дворам.

Чем дальше вниз по улице, тем все реже становился коровий гурт, постепенно растекавшийся по дворам и заулкам. Однако Митя-пастух оставался при своем деле до последней животины, хотя, казалось, никак не вмешивался в разборку скота. Он не заводил никаких поименных списков своих подопечных и помнил каждую наизусть так же, как знал всех их хозяек. Отвалясь на притороченный позади мешок со свежей кошаниной, празднично отпустив поводья, Митя расслабленно покачивался в седле, терпя, а может, и не замечая докучливую пыль, клубившуюся вокруг него всю долгую дорогу. Ненужный кнут, заткнутый комлем за голенище, дохлой змеей волочился за ним по булыжникам, и всегда возникало искушение созоровать и наступить на тонкий ременной кончик. От кочевых невзгод Митя прикрывался полотняным картузиком, который, однако, давно обмяк блинцом от пота и утренних рос, и его подростковое лицо, испещренное годами и неустроенной бобыльной жизнью, было запечено до подобия чебурека. На этом лице что-то невзрачно росло, взблескивала какая-то белесая опушь, которая за все лето так и не становилась бородой. Под сенью же сломанного козырька донно мерцали округлые, словно гривны, внимательные глаза, наполненные как бы разбавленной голубенью. А еще приметной особенностью Митино лица были два лопатистых передних зуба, подпиравших верхнюю губу, не позволявших ей ложиться на положенное место и делавших Митю похожим на какого-то добродушно ощеренного зверушку. Он и на самом деле неустанно хлопотал губами — то ли пытался уложить их поудобнее, то ли шепотливо говорил сам с собой, или же смачно, торопко жевал какую-нибудь урёмную дичину, сквозь зубы цвиркая разжеванной зеленью, а то силло открытым ртом насвистывал зацепившийся киношный мотивчик, а чаще всего раздольно, губасто улыбался окружающему мирозданию с высоты своего седла. И даже когда решительно смыкал свой рот, все равно два крупных резца оставались торчать снаружи, отчего даже осерженное молчание воспринималось улыбчивым и несерьезным.

Митин мерин, однако, не очень возносил своего седока над обыденной действительностью, ибо был неказист, а холкой едва достигал верхней пуговицы пастушьей рубахи. Обникшими и упавшими на стороны ушами он походил не столько на коня, сколь на большую оседланную козу, тем паче что шкурой он вышел по-козы сед, особенно на ребрастых боках, тогда как долгая коробчатая голова была чернява, с легкой прошивкой седых шерстинок. Митя уверял, что мерин непременно должен покрыться яблоками, но проходил и год, и другой, а яблоки все не проступали. Вместо них под салазками вымахала черная борода, сразу как-то состарившая мерина. Митя ее сперва стыдливо выстригал, а потом плюнул и смирился. Ко всему прочему шея у мерина почему-то не выгибалась осанисто и фигурно, как у шахматного коня, а, напротив, пор-

тила вид своей козьей провислостью, что указывало на простоту кровей и вообще неспособность к благородным телодвижениям, как, например, призовые бега и скачки. Да и на чем скакать: его неухоженные, давно не обрезавшиеся копыта уже не цокали чеканно, а только нашлеписто и глухо выфукивали дорожную пыль. «Чё мне, полки, чё ли, на нем водить? — запальчиво восклицал Митя в толпе мужиков. — Небось не в чинах я, не штаны в лампасах!»

Зато все мы, мальчишня, перебивали в Митином седле, обвешанном разной разностью: сидорками, спеленутой косой, старинным солдатским котелком времен турецких походов и еще всякой причудой, и мерин ни разу не выказал своего неудовольствия елозаньем туда-сюда, не секанул жестким хвостом, а выстаивал терпеливо и даже, смежив седые, изреженные ресницы над слезящимися глазами, успевал задремать и пустить долгую слюну, пока мы благоговейно обхаживали его чутко вздрагивавшую шкуру, пропахшую пылью и терпкостью натруженной плоти или, вовсе освоясь, без всякой опаски подлазили под провисший живот, повитый узловатыми жилами, и даже трогали пустую черную писю... А каким блаженством было протянуть ему на ладошке щепотку крупитчатой соли и под ликующее обмирание ощутить, как он бережно слизывал ее с руки теплым и нежным, благодарным языком!..

Когда на этот раз Митя поравнялся с нашей ватажкой, мы приготовились поканючить, чтобы он взял кого-нибудь в седло, но впереди Мити уже сидел счастливчик, какой-то оголец с уличных верхов, и мы только почтительно поприветствовали пастуха:

— Митя, здравствуй!

Пастух воссиял сдвоенными зубами и поднес два пальца к ке-парику:

— Мой привет дурындышникам! Чё за сход?

— Тебя ждем... Покатай, а?

— Седни не... Вот Толюньку везу. Давно просился...

Митя огладил мальчика по запущенной, давно стриженной голове, похожей на сохлый репей, и пацан горделиво, даже, как показалось, с вызовом поглядел в нашу сторону.

— Не больно-то воображай! — вознегодовала наша ватажка. — А то будешь назад стрибать — получишь по карточке.

— Но, но, кочета! — добродушно остерег Митя. — Чё канаетесь: гайдам, зайнам, чемерсюки, двикикоры? Вот нате вам пока заняття... — Митя извлек из притороченной торбы перевязанный стеблем пук свербиги, подбросил к нам на крылечко: — Сладо-ок! Мед с редькой! Через неделю, ежели дожа не будет, заветлится, свербить начнет, а щас в самой поре. — И добавил: — А Толюньку не троньте: он хороший...

— Ла-а-адно! — пообещали мы, раздергивая свербигу и уже позабыв про Толюна.

На плите наконец-то забулькал кулеш, выбрызгивая из дырчатой кашицы пшенные дробинки. Мы с Нинкой радовались, что пшено снова стали давать по карточкам и матушка по этому случаю намыла и засыпала в кастрюлю почти целый стакан крупы и что теперь-то должен получиться не обычный пустой водянистый кондёршко, где «пшенинка за пшенинкой гоняются с дубинкой», а настоящий кулеш — густоватый, парящий, который надо ложкой поддевать, а не зачерпывать и который заглатывается с приятным усилием и потом проваливается внутрь весомо и сытно. В очереди говорили, что пшеном разжились в Китае на отобранные у «бывших» золотые вещички. Я еще ни разу не ел китайского пшена, не знаю, похоже ли оно на наше, но пахло оно здорово, пожалуй, получше нашего, и мы с Нинкой уже начали крутиться вокруг нагрева, невольно тянуть носами и, обжигаясь, цапать с плиты выбрызгнутые пшенинки. Еще немного сыроватые, но уже здорово вкусные! Скорей бы варились!.. Вот если бы кулеш да заправить свиным салом, жареными шкварками — у-у!.. А то вот дали по карточкам какой-то зеленый незамерзающий жир; спрашивал у матушки, от какого это животного, а она и сама не знает...

Матушка кочергой осадила в плите полешки, они распались, огонь поубавился, и кулеш перестал выбрасывать фонтанчики. Ни о чем, кроме как о еде, думать не хотелось, и Нинка спросила:

— Мам, а почему мы больше не берем молоко? Молочка хочется!

Матушка молча продолжала глядеть в приоткрытую плиту, потревоженное пламя неровно освещало лицо, краешек левого уха, где еще помнилась матушкина девичья серебряная сережка...

— А где Митя-пастух? — продолжала задумываться Нинка.

— Не знаю... — нерасположенно ответила матушка. — Уехал куда-то. Стало нечего ему делать...

— На своем коне уехал?

— Ну да, на коне. На чем же еще?..

— А куда?

— Далеко. Нина, далё-о-ко...

Она, конечно, не стала рассказывать, что прошлой осенью Митю нашли на Кулиге с проломленной головой... Там он кашивал сено — себе и мерину на пропитание... А неподалеку, в бочажине, обнаружили отрубленный хвост, копыта и седло от Митино го коня... Ходил слух, что это учинили беглые, нахлынувшие тогда в наши места. Но зачем Нинке знать про такое?..

В один из майских дней, когда я еще маялся куриной слепотой, к нам домой неожиданно нагрянула моя школьная учительница Марь Алексевна — узнать, что со мной, почему я так долго не ходил в школу и вообще — что я думаю о дальнейшем.

Вообще-то с учебой мне не повезло. В первый раз я пошел в школу в тревожном тридцать втором году, когда устрашающе пус-

тели магазины и появились продовольственные карточки. В то время обучение детей начиналось с восьми лет, а поскольку мой срок еще не приспел, то таких, как я, недомерок, собирали в так называемый «нулевой» класс — некий подготовительный предбанник. Замысел, видимо, заключался в том, чтоб как-то организовать дошкольников, занять их полезными мероприятиями, вместо того чтобы они, предоставленные сами себе, целый предшкольный год болтались без надзора. Однако учение в нулевом классе как-то не задалось. Нас заставляли считать спички, писать на грифельной доске крестики и нолики, отвечать на вопросы воспитательницы по вывешенным картинкам: «Что моет мама?» — «Мама моет раму». — «Что пилит папа?» — «Папа пилит дрова». Картинки вскоре иссякли, а повторять все сначала было скучно, потому что все уже знали, что моет мама и что пилит папа. Всю эту науку вскоре оставили, а вместо сидения в классе, взявшись за руки, принялись ходить кругами по шуршащему палыми листьями школьному двору и напевно тянуть за хлопавшей в ладони вожатой в красном галстуке:

*Ведь сами испытали-и
Мы подневольный труд.
Мы юности не знали-и...
В тех метях райских пут...*

— Не «в тех метях райских», — поправляла вожатая, — а «в тенетах рабских»! В тенетах — это... Это когда совсем без прав... Когда весь согнутый, а голова опущена. Запомнили? В тенетах рабских!

— Запо-о-омнили!

— Ну, тогда — три-четыре:

Ведь сами испыта-а-ли...

Однако днями занепогодилось, нудно заморосило, и нас снова вернули в сумеречный класс, где от бегущей серости неба стало еще неприютней, чем прежде, а большая чугунная печка, наверху украшенная литыми вензелями, едва теплилась и кисло смердила торфом. К тому же на большой перемене в подвальной сводчатой столовке стали давать уж совсем жиденький и почти несладкий чай с кусочком серого липкого хлеба вместо недавней булочки с хрустящим рубчиком. В конце первой четверти, перед ноябрьскими днями, нас, нуликов, так ничему и не научившихся, выпустили по домам и велели приходить через год.

В новом сентябре я наконец переступил порог настоящего первого «Е» класса, куда нас ввела настоящая учительница Марь Алексевна — гладко причесанная на две стороны, в народовольческом пенсне на черном шнурочке. Знакомясь, вызывая каждого по журналу, она прежде всего просила рассказать, что он ел сегодня пе-

ред школой. Пацаны мялись, глядели себе под ноги, не решаясь разглашать семейную тайну, но Марь Алексевна поощряла и настаивала:

— Дети! Тут нет ничего стыдного. Просто я должна знать, что у меня за контингент и как с ним работать, как вести программу... Вот ты, Акимочкин, что ел перед школой?

— Драчишники... — неохотно, понуро объявил Акимочкин.

— А это... что такое?

— А это — мать просяного сбоя мешком разжилась. Мельничные мужики втихаря продавали.

— И что же?

— Ежли лузгу отвеять, то останется пшенный сбой — на кашу. А ежли не отвеивать, как есть в ступе столочь, — то драчишники печем...

— Так, садись... Теперь Бочкарев...

Бочкарев сполз со скамьи и принялся разглядывать откидную крышку парты, пришедшуюся как раз на уровне его носа.

— Ты меня слышишь, Бочкарев?

Бочкарев еще больше нагнул голову, думал-думал и вдруг заревел...

— Все ясно... Все ясно.. Кто еще сегодня ничего не ел? Поднимите руки!

Класс напряженно затих. Именно в такие мгновения слышно летящую муху, которых почему-то не было ни одной.

— Ну, тогда так... — Марь Алексевна решительно воспряла из-за стола. — Встаньте и вытяните перед собой ладони. Вот так. — Она показала, как вытянуть. — А я пройду и посмотрю. Я и по кончикам пальцев узнаю, кто сегодня ничего не ел. И сразу же пойду к директору. Так заниматься нельзя. Я не потерплю обмороков. Пусть что-то предпринимают. Пусть запасут рыбий жир, в конце концов. По чайной ложке перед уроками... Надо же что-то делать...

Марь Алексевна молча, с горестным выражением прошла туда-сюда вдоль чисто вымытой классной доски, на которой мелом крупно было выведено: «1Е». Щепотками обеих рук притрагиваясь к вискам, она объявила упавше, с печальным выдохом:

— Ну хорошо, все сели. Продолжим наш первый урок. Все ли знают, где у нас туалет?

В первые же месяцы из нашего класса много убыло, даже опустели две задние парты, — кто по болезни, кто по семейным обстоятельствам, а одна девочка, сидевшая позади меня, по имени Клара, тихая, неразговорчивая, пальчики, как у мышки, но такая вся хорошенькая, что я, чтобы взглянуть на нее, начал спрашивать то карандаш, то резинку, а то просто какое сегодня число или месяц, — так вот эта Клара умерла от чего-то... А перед Новым годом в школу перестал ходить и я...

В те времена телефон еще не бытовал так вот запросто, а потому Марь Алексевна сама пожаловала в наш дом. Начинался май, и она явилась одетая уже по-летнему: в белом легком пикейном пальто и белой панаме, в которых тогда щеголяли те, кто стригся коротко, под Груню Кондакову. В доме, кроме меня, никого не оказалось — матушка с Нинкой отправились к соседке что-то застрочить на машинке, — и я, босый, в заплатанных сзади штанах, растерянно и исступленно глядел на белую гостью, не зная, что делать и говорить. А она, переступив порог, сразу же невольно потянула носом, должно быть, со свежака учуяв застарелый запах карболки.

— Ну, здравствуй! Ты один?

— Нету никого... — подтвердил я.

— Можно войти?

— Проходите... — сказал я, уступая дорогу.

Музейно озираясь, устремляя свое пенсне на всякую сподручность нашего бытия — капающий над ведром толкач-рукомойник, хроменько тикающие ходики, поленницу дров на истопленной плите, она минула кухню и вошла в горницу, все так же чужестранно озирая мелом беленные стены и нехитрую нашу пожить.

— А что, у вас нет форточки? — обернулась она ко мне.

— Нет... — внутренне натянулся я, почему-то ожидая, что все, о чем она станет спрашивать, будет в наше осуждение, будто она заранее знала, как надо жить и как не надо. По выражению ее лица я догадывался, что мы живем, как не надо.

— Что же, вы вообще квартиру не проветриваете?

— Она сама проветривается...

— Как это «сама»?

— А как слабо протопишь — так ветер и гуляет. Вот получше растеплится — тогда и окна совсем откроем.

Все обозрев в горнице, Марь Алексевна взглянула и тут же отвела взгляд от единственной нашей картины, висевшей в простенке между окон: на аршине фанеры маслом был намалеван идиллический пейзаж с беседкой под зелеными кущами, с белым лебедем на голубых водах, в беседке восседала дама и нюхала белую лилию. Картина пожухла, все белое зажелтело, голубое подернулось охрой, а сама фанера местами покрылась трещинами. По возрасту картина, поди, была старше меня, поскольку она всегда была с нами, еще на прежней квартире, и я не знал, откуда она появилась, какой живописец излил на ней свою душу. Честно говоря, глядеть на нее мне было скучно, про ее существование я забыл начисто и только теперь как бы открыл заново лишь потому, что на нее мельком взглянула Марь Алексевна. По ее легкой гримасе я окончательно утвердился, что это какая-то мазня и халтура.

— Ну, хорошо, — сказала Марь Алексевна. — А какая художественная литература имеется в доме? Есть что-нибудь почитать?

— Это есть... Да вы садитесь, Марь Алексевна! Я сейчас... — не очень уверенно пообещал я.

Марь Алексевна села за наш стол, стоявший посередине комнаты, положила перед собой белый ридикюль с большой черной кожаной пряжкой.

— Ну-ка, ну-ка... — И вдруг весело изрекла: — Покажи мне свои книги, и я скажу, кто ты!

Я откинул край скатерти и извлек из столешного ящика тетрадного вида книжку под названием «Мельник и осел». Эту книжку перед школой подарил мне отец. Он принес ее из профсоюзного клуба металлистов. Был он на переизбрании профкома и купил там книжку и кулек белых фигурных пряников. Читать он не умел и не мог знать, о чем книжка. Но отец пребывал в веселом подпитии, а книжка была яркая, заманчивая, напечатанная на лимонно-желтой бумаге и еще издали тянула к себе, как лучина. А когда на обложке он увидел осла, то заплатил двадцать копеек без разговору. Еще в детстве отец по какой-то надобности своей двоюродной тетки побывал в Таганроге и там на базаре увидел маленького ослика. Тот поразил мальчишку своей игрушечной малостью и в то же время сходством с настоящим конем, и отец навсегда возгорелся детской симпатией к этим загадочным животным, даже нарисованным. «Вот, на... — сказал тогда отец смущенно и пьяненько, не уверенный в правильности подарка, и протянул мне желтую сказку про мельника и осла. — А то скоро в школу идти».

Быстро, одну за другой выпуская из-под большого пальца страницы, Марь Алексевна повеяла на меня книжным ветерком и, даже не заглянув вовнутрь, отложила книжку в сторону.

— А еще что? Еще есть книги?

— Больше нет... — признался я.

— Как нет? — удивилась Марь Алексевна.

— Так... — нагнул я голову.

— Это что ж, выходит, одна-единственная книжка во всем доме! Да и в той десятке страниц! Вот это обрадовал... Ну а хотя бы букварь у тебя есть?

— Нету..

— И букваря-а нет?! — еще больше изумилась Марь Алексевна и даже встала из-за стола. — В самом деле? Почему же ты не сказал, что у тебя нет букваря?..

— А их тогда не было...

— Да, но мы бы тогда тебя включили в список нуждающихся...

— А я у Пестрика брал... У друга. Мы с ним по одной книжке учились. Сперва он почитает, потом я почитаю.

— Ну хорошо. — Марь Алексевна снова под села к столу. — А когда ты заболел и вы с другом не могли общаться?..

— Почему не могли?

— У тебя ведь, кажется, сыпной тиф был... Это опасно.

— Ну и что? А Пестрик мне странички вон под ту дверь подсовывал. — Я кивнул на заколоченную дверь, отделявшую нас от Петькиного жилья. — Вся книжка не пролезала, только отдельные листы. Нинка принимала их и отдавала мне. Потом Петька эти страницы снова к букварю приклеивал...

— Хороший у тебя друг, — похвалила Марь Алексевна. — А желтая книжка откуда? Тоже друг под дверь подсунул?

— Отец принес.

— У тебя есть отец? — почему-то усомнилась Марь Алексевна.

— Есть, а то как же.

— А я была уверена, что ты без отца. Да и на вешалке ничего мужского. Он что, с вами не живет?

— Нет... Пока не живет...

— Я так и подумала: безотцовщину сразу видно. — Марь Алексевна сочувственно оглядела меня — мои доходные штаны, маловатенькую рубаху, запекшуюся болячку на губе. — И где же он сейчас, твой отец?

На слове «отец» она сделала заметный осуждающий нажим.

— Работает, где ж еще...

— Поэтому и не живет с вами?

— Да... — подтвердил я.

— Ты что-то выдумываешь... И кем же он у тебя работает?

— Котельщиком.

— Котлы делает? Тогда почему домой не приходит? Ничего не понимаю...

— Он котлы не делает. — начал обижаться я за отца. — Он железный мост клекает! Уже семь месяцев. Там и ночует с бригадой. В деревне Ламоновой. Отец говорил: если каждый день туда-сюда бегать, то и работать некогда. Туда двенадцать верст и обратно. Раньше на выходной приходил. А теперь они и по выходным стали работать, и даже ночами, при фонарях, чтоб к Октябрьским все было готово...

— Не знаю, не знаю, что с тобой делать, — вздохнула Марь Алексевна и, глядя на меня, как бы изучая меня сверху донизу, побарабанила пальцами по желтой книжке. — Ты, конечно, безнадежно отстал. А наверстывать уже поздно: до летних каникул остались считанные дни. Придется оставить тебя на второй год. Ты хоть представляешь, что это такое?

Я понуро молчал.

— Остаться на второй год — это значит начать все сначала. Ты согласен?

Я невольно представил, что начинать все сначала — это заново переболеть и тифом, и коклюшем, и курослепом, и, не поднимая глаз, несогласно и молча покачал головой.

— Ну, ладно. — Марь Алексевна встала и еще раз обозрела наше жилище. — Я подумаю, я подумаю... Скажи родителям, чтобы зашли ко мне на неделе. Да, вот еще что... — Марь Алексевна растегнула ридикюль, на меня пахнуло чем-то хорошим. Она выставила на стол четвертную бутылочку, наполненную прозрачной зеленоватой жидкостью. — Это рыбий жир, — пояснила Марь Алексевна. — От первого «Е». Пить каждое утро по столовой ложке. От куриной слепоты и от всех других хворей.

В те дни матушка сводила меня к заводскому доктору.

Оказывается, этот доктор у нас уже бывал после того, как перестал наведываться Маргольеш.

Он сидел в своем кабинете у раскрытого окна, закинув ногу на ногу, в высоких начищенных сапогах, читал распахнутую газету и дымил махорочной «козьей ножкой». Окно выходило в заводской двор, там что-то монотонно пыхтело и ударяло тупым и тяжелым, так что в шкафу жалобно позванивали тонкие щепетильные пробирки, собранные в один стакан.

Матушка еще внизу, в окошечке, узнала, что теперешнего участкового зовут Семеном Петровичем Вахтой.

— А-а! — воскликнул он вдохновенно, будто уже давно и с нетерпением ожидал нашего прихода. — Заходите, заходите... Мамаша, раздевайте больного.

Пока я стаскивал с себя рубаху, а матушка приглаживала мои взъерошенные волосы, Семен Петрович опять упрятался за газету и, держа ее перед собой обеими руками, что-то там дочитывал, одновременно обращаясь к нам:

— У меня повторно или в первый раз?

— В первый раз...

— Как звать? Где живете? Какие жалобы?

Матушка отвечала.

— Да-да... Помню-помню... Куриная слепота?... Да, помню... Сейчас будем смотреть... Вот тут пишут, на Барнышёвке сгорели склады... Не слышали?

— Нет еще...

— Ай-я-яй! Столько добра... И при нынешнем положении! Одного только комбижиру тридцать шесть бочек. Два вагона воблы! Не иначе, как вредительство... Ну, да разберутся, а мы пока посмотрим вашу куриную слепоту... Так тебя как зовут?

— Жека, — ответил я.

— Звание знатное! — одобрил Семен Петрович. — Из высоких материй. Не Митькой звать. Я вот тоже по правилу не Семен, а Симе-о-он! Тезка, прапрадед мой, двадцать дён стоймя простоял. Каков, а? Да... А вот хвороба твоя не по званию — куриная слепота! Как же это ты?

— Да он у нас уж чем только не хворал, — уточнила матушка.

— Ну, это, стало быть, какая-то в нем ломка жизненной линии происходит, — определил Семен Петрович. — Ты революцию приемлешь?

— Ага...

— Кто революцию приемлет, тому хворать некогда, — весело подытожил Семен Петрович.

Он старательно обслушал меня, обстукал мои сине проступавшие ребра, потом занавесил клеенкой окно, зажег свечной огарок, ронявший вялый желтый свет не далее метра вокруг себя, оставляя в полутьме все остальное пространство кабинета, и попросил в этих сумерках найти и подать ему его фуражку. Фуражку я отыскал без всякого якова: она висела при входе на железной опоре с множеством крюков по окружности.

— Молодец! — сказал Семен Петрович. — А что это за предмет?

— Фуражка! — уверенно сказал я.

— Так... Все правильно. А какого цвета?

— Белая! — выпалил я.

— Ай да молодец! — тоже возликовал Семен Петрович и, приняв от меня фуражку и надев на себя, скрипуче прохаживаясь по кабинету, сделал заключение: — Ну, мамаша, с мальчиком, кажется, все ясно. Глаза на месте, вошли в норму... Вот под глазами... Явные следы дистрофальной патологии. А проще говоря — неважное питание.

— Ага, ага... — готовно кивала матушка.

— Но в общем картина вполне удовлетворительная. — Семен Петрович больно щелкнул меня по голому пупку, произнеся ободряюще: — Больше зелени! Больше зелени, молодой человек!

— Ага, ага... — соглашалась матушка.

— Сейчас весна. Морковки, правда, еще нет, но всякой полезной всячины уже предостаточно: крапива молоденькая, щавелек, сосновые мутовки...

— Будем, будем варить... — уверяла матушка.

— А то вот, никуда не надо ходить — ни в лес, ни в поле, а прямо под любым забором: лопух! Любо-дорого! Никогда не пробовал?

— Нет пока...

— Ну что ты, братец! — похлопал меня по плечу Семен Петрович. — Отменная штука! На Гражданской случилось: кухни отстали, еды никакой, так мы не раз лопухом выручались. Зато и не хворали, и зубы не падали. Так что придешь домой, бери лопату и айда!

На другое утро я проснулся с бодрым праздничным чувством, которое, пока я спал после встречи с Семеном Петровичем в полной и безмятежной отрешенности, исподволь копилось во мне и прорастало нетерпеливыми крыльями. Едва я распахнул глаза, как

в мое сознание хмельно и сладко толкнулось ощущение своей полной свободы: освобождение от хвори, от домашних застенков, от разобщенности с моими сверстниками и прочих запретов и лишений. С такой напружиненной радостью от своего бытия я просыпался только в прежние праздничные утра, особенно на Первомай, когда ощущение необыкновенности этих дней витало в самой весенней природе, в умиротворенной синеве неба, в терпкой ласковости тополевой листвы, в гомоне птиц и будоражащих всплесках оркестров, еще не вставших в колонны, а тут и там, по переполненным народом скверам и переулкам, пробующих инструменты, поверяющих и их маршевую сыгранность. И еще оттого, что в эти необыкновенные дни дома бывал отец, и мне радостно было глядеть, как он брился, широким лезвием причудливо изогнутой бритвы освобождался от жесткой пропрянувшей бороды и взбитой пены и на глазах молодел и краснел чистой литой чугуном лица, которое не портил даже его крупный нос, заметно сдвинутый со своего основания; как потом с ветерком надевал чистую, выглаженную до нежной ломкости рубашу, грубыми, казалось, бесчувственными пальцами с чернильно-синими отбитыми ногтями укладывал в портсигар хрупкие папироски собственной набивки, капал на бумажные мундштуки несколько капель одеколона, после чего с ладони, кряхтя и блаженно отдуваясь, споласкивал свое бритое лицо и под конец обтирал влажную пахучую руку о мою голову. А в это время матушка возилась с Нинкой, прилаживая на ее макушке голубой газовый бант, пристававший к рукам, и засовывая в кармашек сарафанки вчетверо заутюженный платочек.

На столе же, покрытом свежей скатертью, крест-накрест разлинеенной comodными складками, уже лежал под мережковой холстинкой румяный, похожий на кусок атласного стеганого одеяла пирог, заполнившей все наше жилое пространство и нас самих густым, волнующим запахом пропеченного теста, еще дышащего жаром духовки, чутко похрустывающего от малейшего прикосновения и упоительно млеющего жареным луком, капустой и рублеными яичками.

В иные майские дни, совпадавшие или близко отстоявшие от запрещенной Пасхи, мы втроем — матушка, я и Нинка — красили доставленные из деревни от бабушки Вари яички, тоже вносившие веселую праздничную суматоху уже самым обычаем крашения, для чего в ход пускалась луковая шелудь, чайный взвар, расщепленные цветные химические карандашики, существовавшие тогда в спаренном виде: на одном конце — красный, а на другом — синий — с добавлением соли, чтобы не пачкались руки. Яички красили поздно вечером при занавешенных окнах, и эта затаенность особенно будоражила нас. К тому же веселые, пестрые яички никогда не выставлялись рядом с майским пирогом, а в большом обливном блю-

де хранились особо, в нижнем ящике комода, среди простыней и наволочек. По той же причине нам с Нинкой запрещалось выносить крашеные яички из дому, а тем паче — колупать и сорить крашеными кожурками где-либо поблизости от жилья.

К слову сказать, тогдашний мой май прошел не только без яичек, но и без пирога, а главное — без отца. Из полученной по карточкам овсяной мучки матушка испекла с десятков лепешек и оделяла каждого по штуке в завтрак, в обед и на ужин... Но оркестр в тот день где-то поблизости играл...

А нынче, едва освободясь от сна, весь в предвкушении дня, я буквально впрыгнул в свои штанишки и, позабыв умыться и пригладить замятые подушкой вихры, нацелился поскорее вышмыгнуть из дома.

— Ты куда это? — насторожилась матушка.

— Так просто... — небрежно ответил я.

— И не поевши. погоди, вот кашу сварю.

— А-а... — поморщился я. — Опять пшенка?

— Ну, тогда — неты из-под загнеты...

— Каша твоя еще не скоро.

— А тебе, что ли, к сроку?

— Ну, ма-ам...

— Что «мам»? Еще и не проснулся, глаза вон щелочками, а сразу и бежать. Что за оказия?

— Я тут, во дворе. К ребятам.

— А ребята твои на сарайной крыше. Я давеча выходила — в карты режутся. Что, и ты к ним на крышу?

— И никакой я уже не больной! — задрожал я голосом от несправедливости. — Вчера сам доктор сказал...

— Ну да, здоровяк... А ветром шатнет, ты с крыши и сверзишься. И тогда опять с тобой возись, по докторам таскайся...

— А вот что сказал Семен Петрович? — мысленно выхватил я шашку, изговорясь срубить неприятеля.

— А что он сказал? — повела плечом матушка.

— Он сказал: кто за революцию, тому болеть некогда, поняла?

— Поняла...

Матушка смывала в миске пшено — обе ее ладони были облеплены влажными золотистыми зернышками — и, занятая своим делом, говорила со мной не оборачиваясь, ровным, несочувственным голосом, не дававшим мне замахиваться саблей в защиту своей свободы.

— Пляди-ка, революционер нашелся... — опять же ровно сказала матушка. — А кому я всю зиму горшок подавала?

От ее слов я заскучал, сник духом и тоскливо уставился в окно, в чистую безоблачную синь, в которой стремительно промелькивали стрижи, похожие на черные крестики.

— И не всю зиму.. — обиделся я и закусил губу.

Матушка, должно, уловила перепад моего настроения, омыла от пшена руки и повернулась ко мне:

— А вот ты забыл самое главное, что сказал Семен Петрович.

— А что?

— Он сказал: бери лопату и айда за лопухами.

И вот я на воле, добытой наконец посредством сделки с нашей старенькой лопатой, которой давно уже ничего не копали. За лопухами следовало идти на пустырь позади нашего двора, но это было не главное. Перво-наперво хотелось повидаться с друзьями, по которым я соскучился за долгие месяцы своего затворничества.

Однако на крыше нашего общего сарая пацанов уже не было, куда-то ушустрили, и мне стало завидно и грустно, как, наверно, бывает грустно воробышку, отставшему от своей ватажки. Подумалось, что, может быть, они укрылись на сарайном чердаке, где завсегда придумывались какие-либо заманчивые шкоды. На чердак, в распахнутый лаз, вела крутая лестница, и я осторожно, прислушиваясь к себе, стал подниматься по шатким трухлявистым перекладам...

И сам сарай, и обширный чердак над ним были сооружением для нас примечательным. В старые времена внизу стояли кони и экипажи какого-то купца Ворошилина. Табличка в виде темного медного подноса с его фамилией до сих пор еще виднелась на уличных въездных каменных воротах, напоминавших некую триумфальную арку. Что же касается чердака, то прежде там хранилось сено, всякая извозная утварь, а также спали сторожа; спустя время, когда еще не было воровства, женщины нашего двора сушили в ненастье постирушки, а мы, пацаны, играли в монетку, в подкидного дурачка, в расчерченные классы, опробовали набитые спичками самопалы или дымили окурками, подобранными на трамвайной остановке. По этой причине чердак не единожды возгорался, но всякий раз пожарные подскакивали незамедлительно, поскольку ихняя каланча возвышалась всего лишь в квартале от нашего дома и вышковой пожарный не только видел, но и мог чують дым собственным носом.

А еще говорили, будто на чердаке иногда обитали нищие, спали там и утром, еще потемну, уходили со двора. Но так говорили, наверно, затем, чтоб ребятишки, лазая туда, не драли последние штаны или, часом, не загремели с полусгнивших ступеней.

Впрочем, неотступно помнится один действительно ужасный случай. Еще в первую волну пришествия нищих на чердаке, в дальнем углу, нашли грудного ребеночка. Был он завернут в мешковину и повязан бечевкой, а под обвязку засунута записка: «Помяните в Божьем храме. Звать Федором». От ребеночка уже дурно пахло, и

забегавшие псы у сарая задирали морды и обеспокоенно, голодно тянули воздух дрожащими носами. По этим собакам и догадались, что на чердаке что-то неладное...

С холодком и чувством подвижничества, по ветхой лестнице, каждая из ступеней которой могла обрушиться и сегодня, и завтра, а вдруг и сию минуту, я взобрался до ее упора и с настороженным любопытством просунулся в разверстый проем: огромное чердачное чрево с косоугольной неразберихой стропил, еще отдающее сенной трухой и старой ездовой упряжью, оказалось пусто. Лишь, озеленив из дальних сумерек оторопелыми глазами, шмыгнула какая-то диковатая кошка...

Я, конечно, знал, что на чердаке пацаны собирались чаще всего в дождливое ненастье; сегодня же было солнечно и раздольно и множество дорог могло увести братву невесть куда, особенно в зачатые майского дня, да и в самом начале школьных каникул. Были среди них и мои сверстники, еще как следует не вкусившие летней свободы, но обретались и те, кто уже отбыл по два или три летних срока. Где их теперь искать?

В таком размышлении с высоты чердачной лестницы я удрученно оглядывал наш пустой двор, уже подернувшийся куртинками просвирника и душистой ромашки, округлыми головками которых мы потом стреляли из бузиновых трубок... В синем небе было тоже пустынно и маревно. Даже стрижи перестали чертить своими стремительными виражами. И тут в вышине что-то бело замельтешило. Всмотревшись из-под ладони, я разглядел высоко над двором взмелькивающий на солнце бумажный коробок мятущегося змея. Глухо порывивая вклеенными языками, змей нетерпеливо рыскал то вправо, то влево и, будто убедившись в тщетности своих усилий, срывался в решительное сальто, как бы отыскивая более подходящее место на необъятном небе. Вслед за коробчатой головой, копируя ее движения, волнисто извивался долгий тряпичный хвост. Нитяная стропа, удерживавшая змея, порой тоже взмелькивала в солнечных лучах, подобно тому как высвечивалась в небе парящая прядь паутины, и я, скользя взглядом по нитке, уходившей за крышу сарая, определил примерно, откуда запускали змея: ну конечно, с нашей Полянки!

Ах, эта Полянка! Я уверен, у каждого мальчишки она была, есть и будет, заветный лоскут земли, уголок детства — общий ли двор, где по воскресеньям выколачивали половики, пытались завести старенький неподдающийся мотоцикл или под размахистым кленом на дворовой скамейке замороженно вслушивались в доверительную хрипотцу Высоцкого, а забредшая цыганка, четким пробормотом расчесанная на два смоляных крыла, схваченных полукружьем гребня, с молодыми лунами серег, вся в приливно волнующихся складках персидской огненной одежды тут же, рядом с

Высоцким, прямо на коленях выкладывала из червов и треф чью-то заманчивую судьбу.. А кому-то по край жизни памятна тихая провинциальная улочка в ванильном настое цветущей сирени, с веселым поглядом резных окошек по обе стороны, с детским блеянием только что появившихся на свет козлят, заблудившихся среди оранжевых одуванчиков, с белым голубиным шелестом над клинышком голубятни, с азартной игрой в ножижки среди улочной муравы, с весенней беготней прятков, с нетерпеливым счетом на всю улицу: пера, эра, чуха, рюха, пята, сота, ива, дуба, мака, кадь — я иду искать!

У каждого — свое, неповторимое, незабываемое, куда стремились душой, собирались желанной ватагой, обменивались новостями, хвастались обновами, меняли значок десантника на самопал, сплетничали про девчонок, тайно обожая какую-то одну из них...

Моя Полянка была учреждена высочайшим указом самой Екатерины Великой. По ее повелению всякий российский город согласно новой планировке разбивался на прямоугольники, над которым потом словно из кубиков составлялся весь город. Каждый квартал, в свою очередь, застраивался домами и занимался дворами по периметру. В результате такой застройки середина нашего квартала оказалась свободной, чему способствовал еще и протекавший в том месте живой натуральный ручей, бурно разливавшийся в половодье и подтоплявший свои низинные владения. Летом ручей успокаивался, становился кротким и благонравным, с чистой ключевой водой, рождавшейся где-то поблизости, в меловых отрожках. По его берегам стлались шелковистые луговины, усыпанные куртинками незабудок и пряного иван-чая, привольно росли и тенисто раскидывались ивы, и немудрено, что на такую благодать тянуло окрестных обывателей. Здесь выпасали телят, в корзинах выносили гусынь с пасхальными пуховыми выводками, здесь резвилась квартальная детвора, а по воскресеньям собирался чиновный люд, расстилал скатерти-самобранки и устраивал чаепитие с куражом и бренчанием гитары. Видимо, еще тогда, в екатерининские времена, и родилось это название — Полянка, так соответствовавшее обличию укромного и первозданного места.

Но человек деятелен и не очень склонен блюсти первозданность. Наверно, еще тогда же, в екатерининские времена, несмотря на строгое предписание околоточного надзирателя, стали потихоньку сносить на ничейную территорию домовый и дворовый сор, зимой — печную золу, потом, обвыкнув и осмелев, понесли туда битые крышки и горшки, прохуdivшиеся самовары, изорвавшие сапоги, потраченные молью порты и опорки, прогнившие и рассыпавшиеся бочки из-под солений — да мало ли чего еще! Все это деялось пока с оглядкой, ссыпалось и рассовывалось — до вешних дней, когда взойдет божья травка и сокроет все человеческие прегрешения. Но бо-

жья травка на тех местах всходила неохотно, зато все настырней перли крапива, собачник да бодячьи заросли, к осени покрывавшиеся белыми войлочными папахами. Время от времени в квартальных владениях что-либо переделывали, например: старую печь — на новую, с изразцами, просторный каменный выход вместо прежнего, сгнившего и обвалившегося погреба, а то, смотря по карману, переиначивалось и само жилье: с тесового — на кирпичное, с одного этажа — на два, да с входившими в моду мансардами для девиц и балконами для вечернего чаепития. К слову сказать, уже упоминавшийся домовладелец Ворошилин, приобретший участок в нашем квартале, все прежние строения снес начисто, а на их месте заложил себе по красной линии отменные покои да двухэтажный флигель для obsługi, в котором потом обрело свое пристанище и наше семейство, да еще каретный сарай, о котором я уже рассказывал. Так что один только этот самый Ворошилин свез на Полянку горы старого кирпича, бросовой щепы и опилок, битой штукатурки и прочего мусора, которым обрастала всякая перестройка. А поскольку во многих подворьях держали еще и скотину, а уж кур и свиней — повсеместно, то и парившие отходы их содержания тоже свозились туда же... Опять же созидательная усадебная деятельность требовала подручных материалов, а иной раз и просто ведра глины для подмазки, скажем, поистрескавшейся печной трубы, и досужие пользокопатели в поисках оных испещрили склоны Полянки всякими забоями и раскопами и докопались-таки до песка и глины нужного им качества! На все это уже были закрыты глаза теперешнего околоточного, праправнука того екатерининского блюстителя порядка, ныне воспринимавшего Полянку как отхожее место, куда в самоварно начищенных сапогах он даже не рисковал заглядывать.

Худые времена, недороды, смуты, гражданские междоусобицы, разорительные войны прокатывались и по Полянке. Ее захламленные склоны начинали раскапывать под временные огороды, а деревья и всякую поросль вырубали на растопку. Последний раз перекапывали Полянку в одна тысяча девятьсот тридцать третьем году, когда опустели продовольственные магазины, а выдача на введенные карточки сократилась до жалкой пайки хлеба. Той весной Полянка жарко полыхала кострами: жгли заросли перезимовавших бурьянов и репейников. Потом делили черную обугленную землю деревянной саженкой, втыкали колышки с фамилиями и начинали копать — каждый свое... Матушка тоже копала, разравнивала граблями, делала бороздки, а мы с Нинкой по зернышку рассеивали свекольные и морковные семена, а в лунки бросали крест-накрест порезанные картофелины. Из всего этого нам ничего не досталось: огороды еще на корню разграбили бродяги и побирušки. Брошенные делянки этой же осенью вновь поросли дурнотравьем еще пуще, чем прежде.

В конечном итоге Полянка, сопутствовавшая десяткам поколений, досталась нам в облике одичалого пустыря, вздыбленного мусорными отвалами, местами образовавшими многометровые кручи, из которых торчали то останки ржавых кроватей, то бок истлевшего ведра или какая-либо чугунная печная штукovina, а то и винтовочный штык или помятый солдатский котелок. А если покопать вглубь, в толщу этой своеобразной истории квартального жизнеобитания, или в так называемый «культурный слой», пропущенный через себя жившим здесь человеком, то лопата, часом, споткнется и о более занятный антиквариат, к примеру, о старинный оловянный подстаканник с каким-нибудь библейским нравоучительным орнаментом в виде сконфуженных Адама и Евы среди причудливых кущ, из него мы потом отливали грузила для закидушек, или с давних времен позеленевшую ложку с долгой витой ручкой, которой небось мешали варенье еще в пушкинские клубничные лета и которую мы, повертев в руках и посмеявшись барской причуде, за ненадобностью забрасывали в обступавшую крапиву. Но чаще всего под лопатой морозно хрустело стеклянное или фаянсовое прошлое: осколки чашей и чайников, тарелок и блюдец, которые мы драгоценно выбирали и берегли из-за какой-нибудь золоченой окоёмки, виньетки или веселого цветка и которые, будучи отертыми рукавом, снова начинали радужно и празднично сиять и вселять толику радости в наши души, изголодавшиеся по чему-то хорошему, нездешнему, даже на осколке разбитого блюда.

Мы уже не застали родникового ручья, некогда светло и чисто журчавшего в прибрежных ракилах. Он пересох еще до нашего появления на свет. С наступлением весны прежним его руслом мчался булькающий, хлюпающий, громыхающий о дно уличными булыжниками, старыми чайниками и прочим хламом мутный поток, несший с собой всю окрестную дворовую грязь и нечистоты, скопившиеся за зиму. Но уже в апреле поток иссякал, после чего неделю-другую в низине стояла вязкая илистая жижа, которая, высыхая, растрескивалась и покрывалась колкими плитками, и сквозь них спешили к свету несметные проростки череды и собачьего цеплючника.

У прежнего ручья была еще одна негласная функция: он делил Полянку на две половины — южную и северную, которые еще с давних времен не ладили между собой. Северная сторона примыкала к центральной улице, по которой ходили бельгийские трамвайчики и жили обыватели побогаче и поспесивей, тогда как на южной, то есть на нашей, стороне, за исключением Ворошилина, обитали люди попроще и поплоще, и по нашей улице вместо трамваев ходило коровье стадо. На этом различии и тлела обоюдная неприязнь, которая среди пацанов сопровождалась всякими каверзами и артельными потасовками.

Революция изменила, как говорится, расстановку сил: буржуины с северной стороны, как и наш Ворошилин, бежали с Деникиным, на обеих улицах замелькали красные флаги, провозгласившие равенство и братство. Но в прежних богатых домах поселились новые чинодралы и какие-то очкарики с портфелями. Северные пацаны продолжали обзывать нас деревенщиной и чунями, на что мы презрительно отвечали: «Севрючьи морды! Сами больно городские! Счас ка-а-ак дам!» — и старая вражда продолжалась с еще большим, пролетарским, ожесточением.

И вот однажды, чтобы севрюки ни ногой не ступали на нашу территорию, на чердачном совете было решено сделать границу неприступной. Постановили в нижнем конце Полянки насыпать запруду. Инженерили ребята постарше, а мы, мелкота, таскали что попадя и что было по нашим силам. С первым же ливнем на месте прежнего ручья разлилась пространный колюжина, наполненная серой пузырчатой водой. «Ура-а! — ликовали мы, завидев городских, сбегавшихся с северной половины. — На-кось, выкусы!» Те хватились за палки и кирпичи, и через водную ширь начиналась жаркая перепалка.

Водная преграда объединила нас в какой-то цельный голопятаый, белобрысый и чумазый народец, породила острое ощущение под босыми ногами тверди родной земли, которую надо теперь беречь и отстаивать насмерть и воочию оценить, что нам досталось и что отстаивать и оберегать.

И, сравнивая, мы гордились нашими пределами. Та сторона, упиравшаяся в глухие, крепко сколоченные заборы, однообразно поросла крапивой, сизой порослью кленка-самосевки, и не было там ничего такого, что поманило бы забрести туда, разве что совершить набег и забарабать в плен зазевавшегося севрючонка. Да какие могут быть сравнения! Давай миллион — не возьмем за одни только насыпные кручи, с которых зимой сбегали захватывающие дух накатанные дорожки — хочешь на лыжах, у кого есть, хочешь — на санках, а то и на обыкновенном тазу или на попе — до самого весеннего чернотала муравьится тут пацанва. Есть у нас и промытые яружки, на дне которых завсегда можно отыскать что-либо занятное, иной раз и денежку, и глинистые печурки, которые мы раскопали пошире и натаскали туда сухой травы. А еще росло на нашей стороне единственное на всей Полянке дерево — вековая липа, которая уцелела благодаря тому, что ствол оказался шире всякой пилы и ее не тронули ни в революцию, ни в Гражданскую, ни в теперешнюю голодню, а только безрезультатно порубали комель топором. Но липа не обиделась, не засохла, а по-прежнему зацветала в июле, обливалась медвяной кипенью цветов и басово гудела от слетевшихся пчел, зимой же засыпала заснеженные окрестности россыпями коричневых орешков, которые и так были

хороши, но особенно — поджаренные в духовке. Под ее раскидистой сенью от века уцелела ровная, как столешница, муравистая палестинка, любимое наше местечко, собственно, и называвшееся Полянкой, где мы всегда собирались, пинали тряпичный мячик, колотили городки или просто так баговали на прохладной травке. По прошествии стольких годов можно открыть и один секрет: в самых непроходимых репейных зарослях, куда вели заведомо кривые тропы, был состроен и ревностно замаскирован тайный шалаш, служивший нам дружинным штабом и хранилищем наших деревянных мечей и сабель.

Нет, нам было чем дорожить и что защищать. Мы принимали на то присягу: на виду у товарищей ели протянутую щепоть земли и целовали оружие, вытесанное из заборной щепы. Другой земли и пристанища души мы не имели.

Вслед за стропой змея я спустился с кручи вниз, к липе, уже одевшейся по-летнему, и в ее тени увидел кучку наших пацанов. Там были и Колюн, и Пестрик, и Миха-Китайчик, и Серега Махно, и еще один Колюн, из двадцать девятого номера. Пашка-Крок как самый старший управлял змеем, держа в обеих руках палку с намотанными суровыми нитками.

— Пацаны! Жека-Нос пришел! — закричал кто-то там, когда я обрадованно сбегал по тропинке. — Носик чапает!

Ребята повскакивали на ноги и, кроме Пашки-Крока, ринулись навстречу.

— Здорово, Нос!

— Привет, Жека!

— Здорово, доходяга!

— Ты чё такой бледный? Концы отдавал?

— Уже не отдаю...

— Тебе пока на ветер нельзя...

— Чегой-то?

— Ветром сдует... Ты, поди, потому и за лопату держишься, чтобы не унесло...

— Трепачи... — смеялся я счастливо.

— Ну-ка, жимани руку. — Колюн из двадцать девятого протянул мне свою ладонь, — а я посмотрю.

Я неуверенно пожал.

— А-а, так себе...

— Это я плохо ухватился, — возразил я. — Давай еще...

На этот раз я стиснул Колюнову ладонь изо всех сил.

— Не-е, слабак еще... Уши обвисли. Мало макухи ел.

— Ты, что ли, много ел? — съехидничал я.

— Я больше на сливовые косточки налегал. Мы с братом целый мешок приволокли. С кондитерки. Брат переел, едва отполоскали,

а я — ничего. Говорят, в косточках какой-то яд... А-а, врут небось! Всю жизнь ели...

Мы радовались встрече, весело перекидывались репликами, но и не забывали подначивать друг друга — таков закон мальчишеского общения, — постоянно выявлять чьи-либо преимущества.

— Тебя перевели в другой класс? — спросил Пестрик.

— Не знаю. Велели в школу матери прийти.

— Ничего, переведут, — заверил Пестрик.

— Я ведь полгода не ходил...

— Ну и что? Ты ж не виноват, что не ходил. Спасибо, что выжил. В нашем классе двое загнулись. Один в больнице помер, а другой в школе с лестницы упал. От обморока. Так что не имеют права.

— Ты даешь! — не поверил я Пестрику.

— А чего? Хавать нечего, а они со своей школой.

— А чего у тебя лопата? — спросил Пашка-Крок, когда все снова собрались под липой. — Огород копать?

— Не, я за лопухами...

— Ха! А на кой они тебе?

— Надо... — сказал я уклончиво.

— На окне разводить?

— Ну надо... Мать велела...

— Во зажался! — Пашка ухмылисто оглядел меня сверху донизу. — Секрет, что ли?

— От слепоты помогает, — признался я без охоты.

— А-а, от слепоты... А просто так жрать можно? А то кишки подвело.

— Еще не пробовал...

Пашка обильно сплюнул и отвернулся к змею, выписавшему очередную восьмерку. На фоне огромных кучевых облаков, вставших над дальними крышами, змей из белого сделался черным и вертел хвостом без прежнего добродушия, нетерпеливо и норовисто. Это означало, что там, вверху, усилился ветер. Да и по Кроку, по тому, как он напрягал руки, было видно, что змей напористо требует ниток.

— А ты что, тоже курослеп схватил? — следя за змеем, обрадованно удивился Пестрик.

— Как — «тоже»? — не понял я.

— Ва! Так и я болел! Еще раньше твоего. Аж на зимних каникулах. Мать послала в сарай чурку расколоть, а я ни чурки, ни топора не вижу. Что такое? Вышел из сарая — все вижу... Захожу в сарай — опять ничего. Во фокус! Давай глаза протирать: черта лысого! Думал, домовый путает... Испугался да скорей домой... А я и не знал, что лопухи помогают... Их отваривать или как?

— А никак... Накопал и ешь...

— Сырьем?

— Ага...

— Небось гадость какая... Это кто придумал? Сам, что ли?

— Заводской доктор.

— Ну, тогда пошли, я знаю, где дополна лопухов. Пацаны, кто с нами?

К нам подошел еще Колюн, а потом догнал и Миха-Китайчик. Остальные засомневались, снова легли под липой.

На брошенных огородах стояла серая стена иссохших прошлогодних стеблей с рыжими наголовниками репьев, выхолощенных ветрами и птицами. На взрыхленных грядках лопухам было раздольно, и они вымахали чащобно и размашисто — выше человеческого роста. Здесь было застойно и жарко, кисловато пахло репьями, часто промелькивали черно-оранжевые репейницы, алчно чуявшие, что у подножия отмерших скелетов зеленели молодые самосевки, уже выбросившие по несколько лаково блестящих листков.

Перезимовки имели еще живые корни, но они были толсты и так длинны, что выкопать их нам было не под силу, и мы принялись подрывать свежий молодняк. Еще не затвердевшие корешки легко выпрастывались из рыхлого перегноя, но были мелки, не толще карандаша. По правде сказать, выглядели они неважно, и не очень-то хотелось запихнуть их в рот. Повертев корень так и сяк, Пестрик отер его о штаны и, ощеряясь, осторожно куснул самый кончик.

— Ну, чего? — участливо спросил Миха. — Не горько?

— Не... На, кусни...

Пока Миха откусывал и медленно жевал, все следили за его выражением: поморщится или нет. Миха все смелей двигал челюстями и наконец заухмылялся, хотя вскоре и сплюнул желтой слюной.

— Ты чего?

— Песок попался. А так ничего... Есть можно.

Колюн молча пожевал и тоже не стусеивался. Тогда накопили каждому по целому корню, и все принялись бодро чавкать, всем своим беспечным видом уверяя друг друга, что едят что-то отменное... За зиму все мы хронически изголодались, истощились, дошли до предела и потому не спешили отвергать неведомую еду, хотя про себя сомневались, еда ли это, не пронесет ли, не вывернет ли наизнанку?..

Раздухарились, накопили целую кучку: ешь не хочу!

— А вот которые потолще — те послаже, — сделал открытие Миха. — Пестря, у тебя сластит?

— Есть маленько.

— Ау меня по правде сластит! На, попробуй! — настаивал Миха. Он больше других выпачкался корешками и был чумаз — и руки, и особенно вокруг рта. — А что, если их потереть да напекти чинод-

ралов? Надо матери принести, пусть попробует. Она уже из молодой крапивы лепехи делала, так за милую душу с конопляным маслом...

— Надоели все эти драчаники, аж за ушами кисло, — признался Колюн. — Я бы сейчас, знаете, чего съел?

— А чего?

— Простую белую булку... Вот что раньше были: с хребтиком посередине. Уже больше года не ел булки. А ты, Пестря?

— Я зимой ел. Когда отца поминали. Мужики целую ковригу белого принесли. Во коврига! — Пестрик округлил перед собой руки. — С медный таз...

— Такого не бывает, — не поверил Миха.

— Бывает! Грек на Покровке продает. Сам печет, сам и продает. Свой магазин открыл.

— Кто ж ему разрешил свой магазин заводить? Счас буржуев нету.

— А вот разрешили... Аж из самой Греции прикатил. И мука у него тоже греческая. Приехал помощь оказывать: чтоб белый хлеб печь и продавать всем желающим, кто белого хочет... Во хлеб! — Пестрик выставил большой палец. — Хрустит что надо! А па-а-ах-нет! Упасть можно...

Мы восхищенно смотрели на счастливчика Пестрю, евшего белый хлеб... на отцовских поминках, на тризне плотника дяди Семена.

По старым сухим зарослям вдруг прошел крутой столбовой ветер, взметнувший вверх пустые цеплочки и всякий иссохший мусор. Костистые лопухи деревянно застучали, напугав стаю ворон, что-то промышлявших в сухостое. Вороны с шумными хлопками вскинулись кверху, но сразу же, заверченные круговым ветром, безвольными тряпками унеслись куда-то. Еще недавно белевшие над домами кучевые облака, похожие на щедро воздвигнутые вороха мороженого, теперь слепились, сошлись в одну общую тучу — темную и непроницаемую, как серое суконное одеяло, которое развесили над городом, чтобы выколотить и просушить. И верно, по ту, неведомую нам сторону тучи и раз, и другой, и потом еще несколько раз приглушенно громыхнуло, будто ударяли тупой разлатой выбивалкой, и в воздухе впрямь стало серо, повеяло взбитой, взвихренной пылью, запахло чем-то нежилым и затхлым, как в пустом засыревшем овине. Чистая солнечная синева на глазах убывала, как вдруг туча, уже перевалившая через зенит, высветилась и пронизалась ослепительной изломистой трещиной, и тотчас надсадно, с затяжным треском, мурашившим спину, сотрясло окрест, будто совсем близко надломилось вековое многотонное дерево с неохватной глазами кроной и тяжело грохнулось о землю, отрывая кору и скрежетно раздирая белую живую древесину.

Я невольно обернулся и с опаской поглядел в сторону липы: уж не она ли? Липа была хотя и цела, но совершенно неузнаваема: ветер вывернул наизнанку ее листву, вершина враз опрокинулась и поседела, ветви пружинисто пригибались и каждой прядью устремлялись прочь от коренного ствола, удерживавшего всю эту уйму мятущейся кроны.

— Вот это да! — испуганно восторгнулся Миха и неожиданно завопил: — Змея оборвало! Вон, гляди!

На остатках синевы, уносясь, безвольно мелькала белыми гранями коробчатая голова змея, словно это еще недавно ярившееся и требовавшее свободы существо было смертельно поранено раскатом грома. А может, и самой свободой?..

Жалость к змею отвлекла нас, мы грустно глядели вслед уносимой химере, никогда не виданной мной вблизи, и не заметили, как подкрался дождь, и лишь когда его первые картечины прострелили нам спины, опрометью бросились к ближайшему укрытию — глиняной печурке.

Может, оттого, что это была первая майская гроза, скопившая в себе всю еще не траченную силу, вокруг сверкало, польхало, гремело, обвалью рушилось и лило, лило с каким-то ликующим неистовством, будто у природы явилось намерение наконец-то избавить землю от затянувшегося бесплодия, омыть все уцелевшее и напоить все страждущее... Впрочем, вряд ли я тогда думал столь высоко, а наверно, как всякий пещерный обыватель со времени она, просто радовался тому, что у нас есть убежище.

Печурка оказалась для четверых тесноватой, мы сидели так, как в спешке смогли втиснуться наши тела, не смея пошевелиться в этой комковой стиснутости. Глиняная утроба еще дышала холодом после весенней сырости, с округлого свода, грубо обрубленного лопатой, свисали корни каких-то наземных растений, может быть, таких же лопухов, которые мы только что заискивающе грызли, на концах которых медленно накапливались и округлялись светлые капли земной влаги, время от времени методично и с точностью до мгновения срывавшиеся на наши согнутые спины и головы. С этим нельзя было ничего поделать, а только терпеть и напряженно ожидать очередного шлепка. Да и мы сами, пока бежали сюда, успели промокнуть до самой последней нитки, до каждого волоска на голове, и оттого в сумеречном укрытии сделалось еще сырей и неприютней от нашего дыхания, паривших голов и одежды, и эта сырость мешалась с духом вековой глины, с запахом нутряной толщи земли. И все-таки душа ликovala и наполнилась радостью, таинством приобщения ко всему, что творилось вокруг. Мы были неосознанно счастливы этим своим единством с землей и небом, утраченным, отнятым у нас с годами, а теперь уже и с десятилетиями...

А тем временем ливень хлестал так, что в проем печурки ничего не было видно, кроме косой дождевой завесы, наполнявшей укрытие монотонным шуршанием струй, отдалявших и булыжные раскаты громов, и всхлипывающие всплески потока, устремленного по дну нашей яружки. Но иногда удар грома бывал настолько близок и силен, что сотрясался весь наш вертепчик и что-то шершаво сыпалось с потолка, а лица мертвенно и неузнаваемо высвечивались проникающими всполохами молний. И тогда, невольно вздрагивая и замирая, мы еще теснее прижимались друг к дружке, и становилось слышно, как в сплошном комке тел гулко стучали четыре сердца.

В один из таких раскатов где-то выше нас, в верховьях промоины, и в самом деле что-то рухнуло: было слышно, как шлепались в воду земляные глыбы, потом, недолго спустя, еще тяжело грохнуло целым пластом. Мимо печурки в почерневшем потоке прогромыхали камни и с жалобным звяком ручки пронесся вымытый из обрыва не то чайник, не то котелок...

— Во дает! — попытался пошутить Миха.

— А где теперь наши ребята? — вслух подумалось мне.

— Небось смылись на чердак, — сказал Колюн.

— Там хорошо... — вздохнул Миха.

— А чего там хорошего?

— Там ходить можно...

Миха попробовал пошевелиться, но Пестрик сразу же завопил:

— Ты чего? Убери ногу!

— Да это не моя. Моя — вот она. А другой совсем нету.. А вообще, есть охота. — Миха не ответил, и он добавил: — Зря мы не взяли с собой лопуха. Счас бы сидели и хавали... А то будет так вот хлестать до вечера. А может, и до утра...

Однако ливень как налетел с вихрем, так вскоре, истратив все свои громы и стрелы, внезапно оборвался, и в округлый лаз нашей печурки вдруг брызнула солнечная позолота.

Мы вывалились наружу и взбежали на край промоины: после стиснутого сидения в сыром подкопе хотелось открытости и простора. И было радостно смотреть на вновь воссиявшую голубизну, подставлять продрогшие спины под воротившееся из плена солнышко.

Отсюда, с высоты обрыва, была видна вся наша Полянка, выполощенная, освеженная, сверкающая россыпями дождевых бусин, бессчетно развешанных на старых раскидистых репьях, на изнемогавшей от неги, подобревшей крапиве, на глухо зеленых, почти черных листьях пустырника, всегда живущего особняком и никого не пускающего в свою таинственную монашескую общину.. И хотя с очистившегося неба уже не падало ни единой дождейки, вокруг, на всей Полянке, продолжало капать, мокро приклепывать,

булькать и бурлить, сливаясь в последний отзвук свершившегося омовения, отчего мы и сами чувствовали себя омытыми и причащенными свыше.

Луговинка под липой, где еще недавно ребята валялись на траве, была почти вся залита водой, и мы с восторгом забрели в эту мутную хлябь, ибо ничего еще не придумано слаще, чем побродить, поплескаться, подурачиться в дождевой луже, в которой, несмотря на ее кофейную замутненность, без всякого зазрения уже улыбочиво плескалось само солнце! Вода была тепла, и ноги сладко млели от ее облегающей ласки. Остро, укропно пахла подтопленная подзаборная ромашка, застревавшая между пальцами ног желтоватыми выпуклыми пупавками. Барахтались, бороздили поверхность, рябили ее лапками, стараясь подгрести к бережку или взобраться на торчавшую травинку черные жужелки, красноплечие мягкотелки, бестолковые козявы-солдатики в красных парадных мундирчиках и черных портупях, неспособные понять, почему они не на параде, на сухом плацу в виде заборной плахи, а в этом океан-море невиданной глубины и ширины. Всех их было жалко, хотелось помочь, подтолкнуть к спасительной щепочке или островку, но убежавший к промыву что-то кричал, звал к себе, и я выловил и спрятал в кулаке лишь одного майского жука, который почти совсем огруз и, не видя, куда ему плыть, просто так, дурачок, впустую перебирал зазубристыми лапками...

А Миха кричал, махал руками:

— Эй, вы! Давай сюда! Я что-то нашел!..

В том месте, где бродил Миха, дождевой поток, выбравшись из яружки на ровное, потерял свой разбег и разделился на мелкие руслица, между которыми илисто наслоились свежие выбросы и намывы. Утопая чуть ли не по колена, Миха азартно ковырял в грязи дощечкой.

— Ты чего? — подбежали мы к Михе.

Тот запустил руку в карман и выставил на ладони две темно-коричневые монетки.

— Вот! Одна прямо сверху лежала. Покопал — и еще одну нашел...

Мы по очереди принялись разглядывать находку. На одной были вытеснены большие, во весь кругляш, две заглавные буквы, наложенные друг на друга, так что сразу и не прочитаешь: «Е» и «В», а на обороте — скачущий всадник с копьем, вонзенным в пасть крылатого змея, под которым коротко значилось: «денга». На другой монетке виднелась только одна буква «П», а на обратной стороне вместо всадника одиноко проступала единичка и надпись, но уже с мягким знаком — «деньга».

— Пацаны, ошибка! — удивился Пестрик. — Тут — «деньга», а тут — «денга»... Мягкий знак забыли. Ха!

Мы, конечно, тогда не знали, что означали буквенные вензеля на монетах, на какие царствования они указывали, тем паче неведомо было, что преемник Екатерины Великой, император Павел Первый, решил жестковатое екатерининское слово «денга» облагодзвучить мягким знаком, а саму денежку сделать поевропеистее: потоньше и поменьше и без всяких Победоносцев, чтобы не было зазорно извлечь ее из кармана, а заодно не тратить лишку казенной меди.

— Вот бы биту найти... — мечтательно произнес Миха, имея в виду тяжелую медную монету, которой разбивали конь при игре в черточку.

Биту нашли-таки: она попалась Колюну — огромный, как медовый пряник, темный пятак под 1771 годом и все с теми же заглавными буквами: «ЕВ». Миха охотно сменял на пятак обе свои деньги и пообещал, когда вернемся домой, добавить еще гильзу от нагана.

— Вот это махалка! — радовался он, подбрасывая пятак. — Я его под трамваем прокатаю: еще больше станет!

Вскоре, воздев руки, завопил Пестрик: он тоже нашел монету — величиной с пальтовую пуговицу, коричневую, как и все, но с загадочной чеканкой: «1 копейка серебром. 1830 год». Пестрик энергично потер находку о штаны, но та по-прежнему оставалась темной, лишь на выступах чеканки проступила красноватая медь.

— Как же так? — изумился Пестрик. — Написано, что «серебром», а сама медная...

Мы тоже не понимали этого обмана...

Всем стало ясно, что эти находки не случайны: скорее всего, дождевой водой из кручи вымыло какую-то кубышку, которая развалилась от старости, а находившийся в ней клад подхватило потоком и разбросало по всему ручью. И мы с еще большим усердием принялись ковырять и мотыжить наносы. Правда, чаще, чем монеты, попадались всякие пустяки: две оловянные пуговицы с гербовыми орлами, гусарская шпора и даже шестеренчатая кофейная мельничка, сильно источенная ржавчиной, так что сами шестеренки слились в единую ломаную ненужность. Но чаще всего попадались гвозди — большие и маленькие, прямые и гнутые, и даже четырехгранные, суженные к концу великаны, похожие на репейные корни.

И вот опять голос Пестрика:

— У меня еще есть! Какая-то совсем стертая, кажется, иностранная...

Колюна обступили, монетка пошла по рукам. Истертая чеканка едва различалась, и мы никак не могли понять, по-нашему ли написано или еще по-каковски... Если буквы принимать за наши, то в верхнем ряду вроде бы получалось «полу», а в нижнем — «ушка»... Выходила какая-то чепуха, бестолковщина.

— Наверно, иностранная... — заключил Пестрик. — Какой-нибудь иностранец потерял...

— Да какие тут иностранцы... — возразил Миха.

— Как «какие»? А литвяки? У нас и Литовская улица... И польский костел — вот он, на горе... Посмотри, год на ней есть?

— Есть, — подтвердил Миха. — Одна тысяча семьсот тридцать четвертый...

— Ух ты! — восхитился Пестрик. — Это ж когда? Что тогда было? Какие цари?

Мы переглянулись, пожали плечами.

— Тоже мне, грамотеи! — вдруг усмехнулся Колюн. — И никакая она не иностранная.

— А какая же?

— А очень просто: «полу», а потом «шка»... Получается — полушка...

— А ну, дай гляну... — затребовал монетку Миха. — Полушка... Это как?

— Значит, половина копейки.

— Разве так бывает?

— Теперь, может, и не бывает, — сказал Колюн. — А тогда было.

— Фи-и! Всего и добра... — Миха поскреб ногтем неумелые, кривулистые буковки на медном кругляше. — А я думал, иностранная... Ну что, забросить?

— Дай сюда! — Колюн решительно отобрал монетку. — Ее, может, Пушкин в кармане носил... Темнота-а!

— Пацаны! — осенило Миху. — Давайте еще подкопаем и айда к Греку за белым хлебом!

— Не даст! — усомнился Пестрик. — Деньги все черные...

— Зато старинные, — настаивал Миха. — Он их потом еще дороже продаст.

— Да брось ты...

Чем выше мы поднимались по руслу иссякшего потока, тем все реже попадались монетки: нашлись всего лишь две темненькие и одна совсем недавняя, серенькая пятнашка тысяча девятьсот двенадцатого года, которая ничего не стоила, и Миха охотно запустил ею в репы.

Изрядно потрудясь, мы уже решили сворачивать старательское дело, как вдруг из-под моей лопаты вывернулась и тускло сверкнула крупная белая монета, которая, будучи пошорканной о штанину, сразу же выпустила белые лучики. Это оказался наш советский полтинник с кузнецом, со всего маху лупящим кувалдой по наковальне. Грамотей Николашка прочитал по бортику полтины, что в ней содержится аж девять граммов серебра!

— Ничего себе! — загорелся Миха.

— А почему девять? — не понял Пестрик, как, впрочем, не поняли и все остальные. — Лучше бы десять. Десять — оно как-то ладней...

— А пуля — ведь тоже девять грамм, а не десять... — заметил Колюн. — Не зря, поди...

— Ладно, — сказал Миха. — Бери, что дают.. Сойдут и девять граммчиков!

Проясненный блеск полтинника придал нам уверенности, и мы, наспех ополоснувшись, мелькая белесыми подошвами и гулька монетками в карманах, помчались на Покровку.

Греческую пекарню мы учуяли еще издали, в Георгиевском сквере, названном недавно Пролетарским. Запах свежесброженного теста вкрадчиво и пьяно веял среди сомлевших от майской благодати плакучих ив, и мне сразу же вспомнились сказания моей бабушки Вари о дивном блаженстве в райском саду Эдема. Небось ради этого блаженства на скамейках под ивами обитали какие-то не очень ухоженные люди. Иные, подобрав ноги в обшарпанной обуви, дремали на жестких планчатых сиденьях, подложив под голову котомку или скомканное пальто.

Чтобы не проходили мимо хлебной лавки, предусмотрительный Грек подвесил над входом раскрашенный и даже посыпанный маком деревянный калач, а над ним пристроил кованые буквы, означавшие название лавки — «Такош», за что и самого Грека прозвали Такошей.

Дверь, обитая железом и окрашенная охрой, трудно поддавалась Колюну, вслед за которым, невольно засмирев, пригнув головы, вошли по очереди и мы и очутились в сумеречной после улицы хлебной теплыни приземистого помещения. За прилавком, на белых струганых полках, притороченных в несколько рядов, вольно, по одному, касаясь друг дружки лишь округлостями бочков, лежали большие высокие ковриги. Они будто блаженно выдремывали, отдыхали после жаркой печи, подставив прохладе свои вознесенные взброженной силой и огнем темно-коричневые покатые верхи, тускло лоснившиеся отсветом солнечного дня, глядевшего в единственное запыленное оконце. Вместе с исходившим из них теплом, полнившим небольшую сводчатую лавку, хлеба источали еще и крепкую, тягучую испарину, свой глубинный дух, рождавшийся где-то в самой их сердцевине, где еще продолжал ютиться затаившийся жар и созревала вся в разветвленных дрожжевых дыхательных ходах белая пшеничная мякоть. Замерев, забыв о себе, мы обомлели, стояли перед хлебами, жадно и глубоко, насколько хватало наших емкостей, вдыхая этот густой, бражно дурманящий запах, и чувствовали, как чем-то заволакивало глаза и начинали слабеть и не подчиняться наши ноги...

В лавке никого не оказалось, но вскоре, должно, услышав тягучий скрип входной двери, в проеме подсобки показался Такоша — невысокий грузный человек в белом халате, опоясанном по округлому животу тесемчатым пояском. Кроме халата, на нем ничего

другого, наверно, не было, потому что из-под нижнего края одежды торчали толстые голые ноги в ременных сандалиях. Блестевшая испариной терракотовая лысина, начинавшаяся чуть ли не от самых бровей, убегала под красную турецкую феску, из-под которой выбивались над ушами сивые кольчатые кудри. Жесткие подстриженные усики подпирали большой вислый нос, а на распахнутой груди, кипевшей кудлатым барашком, мерцал золотой крестик.

Такоша держал в руке большую глиняную кружку, из которой он сперва отхлебнул что-то и только потом спросил, утираясь пухлой пятерней:

— Вам что, малчики? Клэб?

Колюн кивнул, следуя ему, закивали и мы:

— Ага, хлеба нам...

Такоша, приشلепывая сандалиями, не спеша, разморенно заступил за прилавок, к весам. Ему было жарко, он одышливо сопел и утирался ладонью.

— Сколько клэб? — спросил он, снова отхлебнув из кружки. — Почему нэ говоришь? Кило? Полкило?

Колюн, ища опоры, обернулся к нам, стоявшим чуть позади, и тогда Такоша, заглядывая в Колюновы глаза, наклонился над прилавком, так что из нагрудной поросли выпал крестик, и сипло спросил:

— Дэнги ест?

— Есть... — неуверенно сказал Колюн.

— Покажи...

Колюн, запустив руку в карман заляпанных грязью штанов, принялся собирать свои три монетки в единый кулак.

— Давай дэнги — я тэбе клэб, — говорил Такоша, наблюдая за карманом. — Пэт рублей кило. Есть пэт рублей?

Мы тоже принялись выгребать карманы и выкладывать монеты на прилавок. Мне не хотелось отдавать белый полтинник, — может, грек даст хлеба и за одни медные, — и я выложил на столешницу лишь две свои денежки с мягким знаком.

Кучка темных, изъеденных временем монет не вызвала у Такоши живого интереса, на что мы тайно надеялись, напротив, наш неказистый «капитал» поверг его в гневное возбуждение. Толстой ладонью с ворсистыми пальцами он распростер, будто размазал, монеты по прилавку и, засопев, обдал нас кислым квасным духом:

— Что этта?! Что?!

— Как — «что»?

— Что ты мнэ давал?! Этта — дэнги? Этта — нэ дэнги! — запальчиво восклицал Такоша, утрачивая и без того слабую способность говорить по-нашенски.

Колюн понуро молчал, глядя на свои босые, исцарапанные, искушенные крапивой и комарами ноги.

— Ты хотэл обман? Тэбэ надо турьма... Цабирай свой обман. — Размашистым движением обеих рук он сдвинул монеты на край прилавка. — Цабирай и уходы!

Колюн молча ссыпал монеты в карман, а мне повелел:

— Давай полтинник...

Я передал, и Колюн звякнул им о столешницу, будто пошел с козырного туза.

Такошины брови вскинулись по-птичьи, он подобрал блестящую полтину и отошел с ней к окну. Мы оледенело ждали его решения, и он наконец объявил:

— Этта тоже нэ дэнги...

— Как? — дернул плечами Колюн.

— Тэпэрь нэт такой дэнга, — сказал Такоша, продолжая подносить к глазам полтинник. — Тэпэрь этта уже нэ дэнга.

— Там же серебро! — не вытерпел Пестрик.

— Гдэ сэрэбро? — обернулся Такоша. — Какой сэрэбро?

— Там же написано! — Ёлос Пестрика взмыл, заострился от несправедливости. — Девять грамм чистого серебра! На бровке написано!

— Этта обман... — сказал Такоша. — Так всегда пишут, но нэ дэлают. Этта тоже обман. Как простая ложка, кастрюлька...

— Какая кастрюлька? — опять не вытерпел Пестрик. — Он же вон как блестит!

— А у вас, русских, говорят: то нэ золото, что блэстит... — сказал Такоша и снова отхлебнул кваса. — Этта — не дэнга, этта тэпэрь медал. Носи на шея, а купит клэб — нэт...

— Ну дядечка! — надломившимся голосом запросил Миха, готовый зареветь. — Дай хлебушка! Мы еще денег накопаем...

Наконец Такоша бросил полтинник в картонный коробок. Было слышно, как тот звякнул, теряясь среди прочей мелочи.

— Корошо...

Он достал из-под прилавка начатую ковригу, вскинул ее на грудь и, с хрустом взрезая шоколадно зажаренную корочку, откромсал полную, от края до края, скибку. Не взвешивая, он протянул не старшему среди нас Колюну, а младшенькому, Михе.

— На, дарю!

Миха цапнул скибку, и по округлившимся его глазам было видно, что он все еще не верит случившемуся.

Перед тем как уйти, мы невольно сгрудились вокруг добытого ломтя, который держал на обеих ладонях обескураженный Миха, и старались если не притронуться, то хотя бы понюхать, вдохнуть его тонкий, возбуждающий запах. После глинистого тяжелого пайкового хлеба с каким-то привкусом хозяйственного мыла, за который мы не раз цапались с Нинкой, этот, несмотря на щедрый размах, был так необыкновенно легкий, воздушен и бел, что не представлялось,

как его можно есть, например, с камсой или крапивными щами, а не в какие-то особые, праздничные дни, чтоб лежал он на белой скатерти, а все за столом были умыты и аккуратно причесаны...

Наконец Колюн отобрал ломоть у Михи, ножичком, сделанным из слесарной пилки, разделили его на праведные четвертинки...

— Давай-давай, малчики, уходы... — отмахнул рукой Такоша из-за прилавка.

Он еще не успел выпроводить нас, как входная дверь натужно заскрипела и в лавку вошла цыганка в желтом бахромчатом платке на плечах. Шурша юбками, она бесшумно, как бы безногого, перекатилась к прилавку и сразу затараторила, принялась морочить Такошу:

— Дарагой! Скажу тебе, что было, что есть и что будет. Глаза твои темнее ночи, в них никто не увидит твоей судьбы, а я увижу..

— Иды, иды, Маруса... — заотмахивался Такоша. — Нэ надо, нэ надо!

— Я много не попрошу, дарагой...

— Иды, говору! Ты вчера был.

— Что ты, красавец! Это не я....

— Как не ты? Ты! Только платок другой...

— На такого красавца можно каждый день смотреть... Чтоб тебе быть богату!

— Иды, говору! Надоела, как муха...

— Ладно, не серчай, давай руку.

Такоша привстал со стула и потянулся за палкой, которую всегда держал при себе.

— Иды, говору ...

— Тихо, тихо, красавец... — попятилась к двери цыганка. — Чего кричишь? Чего палкой махаешь? Чтоб тебе Бог сделал дырку в кармане...

— Уходы-ы... — Такоша, побагровев, выскочил из-за прилавка.

Цыганка грубо выматерилась и, подобрав юбки, захлопнула за собой дверь.

Пока они препирались, мы успели проглотить свой хлеб, так и не почувствовав сытости, будто поели воздуха, и теперь стояли у порога просто потому, что не хотелось уходить...

— А вы что тут? — Разгоряченный Такоша схватил Миху за его голую тонюсенькую руку. — Что еще надо? Иды, иды тоже...

— Дяденька! Мы больше не будем просить хлеба, — заупрямился Миха. — Мы только еще немного понюхаем...

— Что нухать? Что нухать? — Не отпуская руки, Такоша подтолкнул Миху к выходу. — Клэб надо кушать, а нэ нухать. Всэ идут нухать, а дэнег нэт... Иды, иды, закрывать буду. Нухай на улице.

...Посидели под ивами в Пролетарском сквере, глядя, как рабочие распиливали на кряжи сваленное промчавшимся вихрем де-

рево. С моста на Херсонской поплевали в Кур, еще мутно бурливший недавним ливнем. По его захламленному берегу, заросшему чередой и спутанной ежевикой, похожей на мотки колючей проволоки, пощипывая молодые ежевичные проростки, немного отдающие вином, добрались до городского вокзальчика, откуда поезд из пяти сидячих вагонов каждый час уходил на главный вокзал, отстоящий в нескольких верстах, в Ямском заречье. Локомотивчик был невелик, раскрашен в зеленое, с долгой трубой, похожей на «козью ножку», и большими красными колесами с тонкими экипажными спицами. Внутри паровозика что-то знойно звенело, короткими сдвоенными толчками выбивался пар, от обнаженных штоков и шатунов вкусно пахло горячим маслом. Перед каждым своим отходом паровозик пронзительно свистел, выбрасывая спертый пар на обе стороны медного начищенного гудка. И в ожидании этого надрывного, ошеломляющего свиста, который, сколько ни жди, как к нему ни готовься, обязательно заставит вздрогнуть от внезапности и силы, и потом долго ничего не слышишь заложенными ушами, — в этом и состоял весь смысл нашего терпеливого ожидания и сидения на корточках напротив готовых к бегу красных колес.

Поезд ушел.

Мы молча глядели на маревно дрожащие под солнцем рельсы, и Пестрик излишне громко сказал:

- Пацаны, давайте тоже рванем... По шпалам...
- Куда?
- А куда-нибудь...

1997

СРОНИЛОСЬ КОЛЕЧКО...

И поныне памятны и радостны мне вечера тогдашнего деревенского преддизмья, когда в доме шумно и весело принимались растапливать дедушкину лежанку. Топили ее спелым, золотистым камышом, накошенным по перволедью на Букановом займище. Как почти всякий пожилой сельский житель, много испавший земли, навихлявший спину в травокосы и хлебные жнитвы, дедушка Леша теперь маялся поясницей, и когда чувствовал особенную надсаду, то наказывал хорошенько прокалить низкую продольную голландку, тем паче что уже не решался забираться на высокую и отвесно стоявшую печь, которую за эту ее неприступность прозвал «Порт-Артуром». Из семейных преданий я уже знал, что дедушка Леша в молодости побывал на японской войне и потом часто поминал это загадочное слово: «Порт-Артур».

Лежанка располагалась у горничного простенка проходной комнаты, из которой было два выхода: один вел в кухню, мимо крепос-

ти-печи, далее — в сени и во двор, другая же дверь приглашала в чистую половину дома, или гостевую горницу, где в святом углу висели родовые иконы во главе с сурово воззирающим Спасом, узкой и темной дланью творящим священное знамение. Я побаивался его отрешенного, замкнутого лика и постоянно испытывал чувство какой-то невнятной вины, даже если вовсе не делал ничего осудительного. Перед Спасом неизменно, острым пламеньком светила лампада голубого стекла, ронявшая вокруг себя — на стены, иконостасные рушники и чистые, нехоженные половицы — трепетную ажурную голубизну. В простые дни сюда почти не ходили, разве что с кружкой воды бесшумно ступала бабушка, чтобы полить свои любимые фуксии на подоконнике да раз в сутки заглядывал сам дедушка Алексей, дабы подтянуть гирьку заветных, почему-то белоокрашенных, как бы больничных, ходиков, полнивших храмовую тишину горницы размеренным выстуком необратимого времени. Здесь было сумеречно и прохладно. Горница иногда получала тепло от кафельного зеркала, встроенного в межевую перегородку, и лишь в те благие вечера, когда топили дедушкину лежанку. В такие, почти торжественные минуты бабушка настежь распахивала обе дверные половинки, и желтый язычок лампы, почуявший живой ток свежего воздуха, веселой рыбкой взмелькивал в своей голубой купели.

По этой причине на горничные иконы молились не всякий раз, а только в канун какого-либо значимого праздника, чьей-либо тревожной болезни или дальнего отъезда. А так, в повседневности, обходились одним Николой Угодником — небольшой доской без оклада, висевшей тут же в углу проходной комнаты и почитаемой всеми за общедоступность и приветливость лика, на который крестились даже из-за стола перед трапезой.

В этой не очень просторной, но самой теплой проходной комнате помимо лежанки находила себе место еще и деревянная, темная от времени бабушкина кровать, под косяковым одеялом которой и я, залетный постоялец, тоже примял себе уютное логовце. Еще здесь незыблемо стоял тяжелый кованый пожитковый сундук. Будь помянут и высокоспинный, с подлокотниками, самодельковый дедушкин стул, по резвой молодости сколоченный им наподобие где-то виденного усадебного образца. Вдоль оставшейся пустой, ничем не занятой стены тянулась долгая тесовая лавка, застланная домотканой попоной — место для захожих гостей, от которых сенные двери никогда заперты не бывали.

Все эти четыре стесненных угла и служили главной семейной обителью от самых Дмитровских зазимков до мартовской капели.

Отсюда, сквозь единственное крестовое оконце, уже по-зимнему уплотненное второй рамой, заметно поубавившей приток наружного света, виделось все подворье, находившееся под неусып-

ным доглядом самого хозяина. Стена к стене с соседским амбаром высился и дедушкин небольшой, но ладно срубленный в лапу кругляшовый амбарушка, которым он тайно гордился как главным строением двора. Амбар был приподнят на угловых столбах-опорах, чтобы током воздуха овевалось подполье и в закромах не заводилось сырости. Летом под ним прятались от жары куры, понадевавшие в сухой, лапами взбитой земле купальных ямок, в которых и неслись охотно, не боясь ворон и коршунов. Бабушка, снабдив старым солдатским котелком, ежедневно засылала меня в подклеть собирать в лунках еще теплые послеобеденные яички, и я, стараясь не дышать растревоженной пылью и не задевать головой опутиненные половые балки, плоской ящеричкой обползал затхлое куриное царство. После такой неприятной процедуры я считал вполне заслуженным делом пробраться в амбар, залезть на оголенную матицу и оттуда, вместо купания в воде, прыгнуть в закром с сухим и сыпким овсом, оставшимся после Буланки, еще в прошлом году сведенной в колхоз. Дедушка Леша хотел было сдать в колхоз и весь припас овса, мол, специально для Буланки, но бабушка не разрешила: пусть останется гусям. Прохладное шелковистое зерно оставляло впечатление живой освежающей струи и так же потом остро и приятно пощипывало все тело.

— Эт чего выдумал! — подловила меня бабушка. — Так и впрямь утонуть можно!

— Это ж не вода, — удивился я.

— А ежели в нос, в уши набьется — не вытряхнешь! У нас на деревне уже был такой случай. Двое мальцов так-то вот захотели в просе дно померить. Только через трое ден отыскали... Просо — оно еще текучей воды: в горсти не удержишь. Так что не балуй больше. Да и грех — в хлеб с ногами сигать...

— Так это ж не хлеб, а овес, — просветил я бабушку.

— А ты потереби овсинку, — там внутри зернышко. Тоже, выходит, хлеб.

С тех пор на амбарной двери висел черный пузатый замок, а ключ от него бабушка держала в своем секрете.

Посередине двора, подальше от построек, еще с лета высилась копна сена — зимняя еда для коровы Зойки и шестерых ягнушек. Дедушка аккуратно причесал ее граблями, а сверху накрыл расхожим рядом. Из самой ее маковки, уже присыпанной первым снежком, торчал длинный прямой стожар, державший от завала всю копнушку. В солнечную погоду по тени от этого шеста дедушка умел угадывать время, даже посылал меня сверять с ходиками. Получалось почти вровень с ними, а как он это определял, я так и не понял. Эту тычку облюбовала сорока и с тех пор каждое утро восседала на шесте и, вскидывая хвостом, тараторила что-то свое, сорочье.

У обножья копны лежала черная водопойная колода, целиком выдолбленная из толстой корявой ракиты. Возле нее почти до вечера толокся заматеревший выводок гусей. Они крепко, надежно, на всю зиму укрылись ослепительно белым оперением, оставив обнаженными лишь толстые морковные клювы. Да из подгузья выступали разлатые лапы, похожие на оранжевые веера, которые они, не оберегая, без сожаленья опускали в прикорытную грязь и растаптывали свои же собственные темно-зеленые крендельки помета. Гуси по-родственному, добродушно переговаривались, мелкими щипками теребили обметанную мхом древесину и поочередно азартно макали головы в корыто, не давая морозу накрепко сковать воду. Прогнув шеи, они зачерпывали ледяную влагу и таким способом поливали свои упругие спины, с которых набрызги скатывались слепящей жемчужной россыпью. И тут кто-либо из молодых гусаков вставал на дыбки и, распахнув метровые крылья, со старательным рвением принимался делать частые махи, разметая куриные перья и оброненные сенные травинки. И уже совсем было похоже, будто подпрыгивающий гусак вот-вот сорвется с подворья и взмоет под облака. Остальные гуси дружно одобряли эти его попытки, и двор наполнился шумным и взволнованным кегеканьем.

Улучив момент, когда гуси, успокоившись, примутся старательно и подолгу умащивать грудь и бока своими яркими клювами, на колоду слетает попить водицы прижившаяся на подворье сорока, уже кем-то прозванная Катей. Настороженно подергивая длинным черным хвостом, отливающим бронзовыми бликами, готовая взлететь при малейшем скрипе сенничной двери, она обскакивала колоду по всему окрайку, выбирая место, где вода подступала всего ближе. Перед тем как напиться, Катя непременно отыскивала железное колечко, привинченное к корытному бортику. Сорока принималась торопливо теребить его, время от времени озираясь на окно, будто спешила поскорее высвободить и унести с собой.

— Бабушка, а бабушка! — докучал я своими «зачем» и «почему». — А для чего ей это колечко?

— Хочет зыбку подвесить, детушек своих качать, — отвечала бабушка Варя, всегда готовая на сказку. — Это колечко не простое, а от моей собственной зыбушки. В ней я вынянчила всех своих деток. Перво-наперво твою матушку, а напоследок и Валюшку, уже почти тебе ровесницу. Еще и ты успел в этой люльке с годок позыбиться. Так что, почитай, лет двадцать с лишком вертепчик не просыхал. Оттого и вовсе обветшал, под конец даже донце выпало. Шутка ли, такая перегрузка! Дедушка потом это поистертое колечко к поилке приспособил: лошадь привязывать. А тут вот тебе — каликтизация... Теперь оно и вовсе без надобности — ни зыбки, ни коня не стало. Пусть хоть сорока побренчит.

Пила Катя неумело и как-то походя: макнув клюв в корыто и захватив капельку воды, она закидывала голову за себя, после чего, закрыв глаза, делала частые глотательные движения под клювом, так что казалось, будто она не пила колодезную воду, а трудно заглатывала какие-то твердые неподатливые шарики. Едва напившись, Катя снова перепархивала к колечку, чтобы еще раз побренчать им и попытать счастья унести с собой.

Из оконца лился умиротворяющий свет серенького заиндевелого дня грядущего Покрова, когда все ко времени сделано: смолота хлебная новина, нарублена капуста, засыпан в зимовальную яму лишек картошки, а в кадке шепчет и бражно пузырится молодой квасок, заправленный мятой.

Впритык к этому окну стоял тесовый выскобленный стол, за которым свершались утренние и обеденные застолья, а по вечерам за испускающим тонкую трель самоваром подолгу пивали чай с бабушкиными погребными затайками — покосной земляникой и уремной смородиной да с калеными в печи ржаными сухарями. Здесь же, вокруг стола, коротали свое зимнее время каждый за своим делом. Дедушка Леша, вздев свои надтреснутые очечки, которые, как ни берег, все ж таки однажды уронил оземь, теперь вот, попивши чаю, мерно взмелькивал толстобоким от суровых ниток, будто икряным челноком, обстоятельно, с поддегом затягивая узелки на ячеях мережи, тогда как бабушка Варя, все еще samozрячая, клубковой пряжей штопала зимние шерстяные носки, напяливая их на деревянный ополовник.

Тут же еще незамужние тетушки Лёна и Вера, имена которых я всякий раз путал, поскольку были они обе на одно лицо — щекасты, конопаты и русоволосы — разбирали рассыпанное по столу пшено для завтрашнего кулеша. Будто чураясь, одними только оттопыренными мизинцами, они выкатывали за край золотистой пшенной россыпи всякие непотребные чернушки. Или вместо пшена раскладывали на столе старенькие заигранные карты. Неменя лицами от внутреннего возбуждения, переговариваясь жарким шепотом, они по очереди гадали «на короля» — каждая на своего, — и тогда от плотно сдвинутых голов долетали таинственные нашептывания: «поздняя дорога», «неожиданное письмо», «пустые хлопоты». Я тоже пытался затесаться в их компанию, поглазеть на этого самого короля — бородатого дядьку с долгим ножом в руке, обложенного со всех сторон прочими картами: тузами, шестерками, дамами и валетами, но всякий раз только схлопатывал подзатыльник и тогда с чувством обиды и собственной ненужности припадал ухом к опорному стояку в простенке и слушал, как внутри него часто и самозабвенно стрекотала какая-то козява, которую я никогда не видел, и придумывал всякие способы изловить ее и прибить насовсем, чтобы не точила дом и не делала в нем дырки.

Но сегодня, почти с самого утра, дедушки Леши не было дома. Попив чаю, он по-зимнему оделся в старенький кожух, завалявшийся на печи до сухого хруста, двумя-тремя витками опоясался домотканым кушаком и сунул за пояс рукавицы. Перед тем как снять с гвоздя свою вислошерстную баранью шапку, он повернулся к меркло отсвечивающему в углу Николаю Угоднику и, шурша дубленным рукавом, трижды перекрестил лоб и наглухо застегнутую грудь.

— Деда, а деда! — подергал я его за полу с надеждой, что он и теперь возьмет меня с собой, как брал в прошлый раз косить камыш на Букановом болоте. — Деда, а ты куда?

— Туда, где курица кудахчет... — По этому его сухому ответу я понял, что сегодня он строг, неразговорчив и озабочен чем-то своим, серьезным.

— Дай-ка ключ, — сказал он бабушке так же строго и отрешенно, и та молча подала.

В окно мне было видно, как дедушка отпер амбар, сколько-то пробыл внутри и наконец вышел с холщовой торбой через плечо. Опираясь на свою корявую грушевую палку, он с приволоком левой ноги направился к полевым воротам.

— Ну-ка, посмотри, — попросила бабушка, — сумка при нем?

— Ага, — подтвердил я. — А куда он пошел?

— Про то он никому не говорит...

— А почему он пошел не по улице, а огородами?

— Чтоб люди не видели.

— А почему — чтоб люди не видели? Ну, бабушка! Почему — чтоб люди не видели?

— Эт смола, пристал!

— А давай, я за ним побегу. Куда он, туда и я. Так и узнаем.

— Не надо тебе этого знать. Не вырос еще...

— Еще как вырос! Я уже сам на печку залезаю. Ты же меня и посылала вьюшку закрывать. Или забыла?

— Не велико геройство — на печку залезть.

— А тебе и это слабо! — срезал я бабушку и для окончательного посрамления прибавил: — Я и на дерево залезть могу.

— Ну ладно, молодец! — признала она мои достоинства, позволявшие доверять мне взрослые тайны. — Так и быть, открою, куда ходит наш дедушка. Только больше никому ни слова. А то вусмерть обидится.

Бабушка притянула меня к себе и зашептала в мое ухо теплые щекотные слова:

— Это он на конный двор ходит. Буланку свою проведывает. Скребок с собой берет, пузырек с дегтем. Пока та угощается овсецом, он ее всю до копыт выскребет, все репы из челки вытербит, а если найдет болячку или от хомута натертость, то и деготьком сма-

жет. Скучает он без нее, душой томится. Все мнится ему, что не тот ездок запряжет, не так оглобли подпружит, лишку на телегу покладет да еще и гиблую колею не объедет, примется кнутом полосовать за то, что увязла. Чужой разве пожалеет? Иной раз жалуется: вот, говорит, уже и телегу растрепали, спицы рассохлись, громыхтят при езде. По-доброму, оно бы клинушки подбить, колесо и еще сколь бы побегало. Да где ж теперь эти руки, коли все не свое?

— Тогда зачем же он отдал Буланку? — Я тоже почувствовал щемящую жалость к дедушкиной лошади, которой теперь одиноко и скучно на чужом дворе.

— Разве ж он сам Буланку отдал? Уполномоченный, отнимая повод, даже в грудь его ударил... Но это не только у нас коня забрали, а и у всех, кто тягло имел.

— А зачем?

— Чтоб не пахали и не сеяли своего. А заодно и земли лишили. Вон, вишь, полевые ворота заперты стоят? Прежде за ними дорога в поле тянулась, потому и полевыми звались. А теперь ехать некуда. За воротами огород только.

— А тогда зачем они стоят?

— Так просто... Загорожа от ветра...

— А я на них тоже лазил! — похвастался я.

— Что удумал!

— А посмотреть, что там дальше?

— А ежели упадут? Вереи совсем трухой взялись. Притронуться боязно.

— А дедушка отпирает. Давеча через них пошел...

— Что с него спрашивать? Он иной раз сам не свой. На него будто что накатывает. Особенно когда с поля талой землей повеет. Да и в сенные недели, в хлебную косовицу. В такие дни слова из него не вытянешь. В окно уставится, немой и глухой, и все глядит, как сорока на поилке колечком бренчит. А ночью, слышу, не спит, с боку на бок ворочается, вздыхает. Думаю про себя: может, душно ему в хате? Тихо покличу: Леш, а Леш, шел бы ты в амбарчик, там сейчас прохладно. — Молчит, не отвечает... А то выйдет до ветру — нет и нет... Пляну в оконце — пошто так-то долго? А он в исподнем сидит на колоде — весь белый при луне... Даже оторопко становится. Какое уж тут спанье... И тоже лежу с пустыми глазами. А думки — как тучки: ползут и ползут — это ж сколь люду с привычного дела сорвали, так-то вот душой маются? Он у меня какой: землей да небом жил. За порог выйдет — ночью ли, днем — первым делом на небо глядит: какая погода, откуда ветер, будет ли дождь ай вёдро. Все это небочтение он тут же на землю перекладывал, как на урожае скажется — на сенах, на хлебе. А теперь одним болотом живет. Чуть что — он уже там, на Букановом займище: то лозу на кубари режет, то сами кубари плетет. Иной раз и домой не прихо-

дит: у него там шалаш состроен. Бороды не стрижет, весь зарос — чистый леший. Разве в складчину Россию прокормишь? Складчина — оно как: тут отщипнут, там отсыпят, тут недопахали, там рукой махнули... Ой, не миновать нам голодухи...

Ну, ладно, — продолжала свою исповедь бабушка, оглаживая меня по голове и уже не смиряя голоса. — Свели со двора коня со всей упряжью, закинули на полук борону, прихватили запасной колесный ход — всю мужицкую державу забрали. Одну только соху оставили с оброненным сошником. Ан — нет! Это еще не квиты. Вот тебе Авдошка-дурочка с того краю бежит. Запыхалась, воздуху нет слово сказать. Только попивши, выдала: там, говорит, по дворам полномоченные ходят. Во главе с Терешкой Зуйковым. Переписывают, у кого чего лишнее имеется. Кажись, кулачить будут. Так что прячьте, пока еще далеко. К Прошихе только зашли. — Я так и охолодела. Ноги подломились, руки плетями повисли. Самого дома нет, на Буканово ушел вентерья трясти. А без него разве я знаю, что тут лишнее? Куда прятать? Девки! — кличу я. — Давайте делайте хоть что-нибудь. Вон уж от Прошихи вышли да к Акулиничевым пошли. Хватайте «зингера», тащите в огород, кладите плашмя в картошку.

«Зингер» — это бабушкина швейная машинка, купленная сразу, как нарезали землю. Бабушка называла те везучие года «непом». Я понимал это так, будто был такой царь, по имени Неп.

— Мы ее еще при Непе купили, — подтверждала она. — Хлеб тогда во как славно удался! Дедушка лишку в город свез. Решили взять швейную машинку: семья-то эвон какая, только успевай обшивать. Тогда у нас уже пять девок накопилось. Это каждой-то по платьишку! Да подавай им лавочное, набивное.

— Ну, сволокли машинку, сдернутым пыреем притрусили. Поярковую шаль цветными клетками да кое-что шубное из сундука вынули и в сено закопали. На дне осталась одна пасхальная посуда: тарелки да чашки, этого прятать не стали. А еще в погреб на вожжах спустили большой трехведерный самовар: леший знает, что этому Зуйку в голову взбредет. А вдруг скажет: не положено иметь, нет в нем такой уж надобности. Он больше для артельного чаепития пригоден. Для этой цели и заберем... А нам он каждую субботу нужен: воду для купания греем, постирушки устраиваем — эвон сколь народу. Ну, глядим, что еще спрятать? Дедушкины ходики? Да убоялись с настроя сбить, не стали прятать.

Слышу: в сенешнюю дверь пинают: вот они, гостюшки дорогие... Сельсоветчик Терешка Зуйков с лабазной книгой под мышкой, с ним — милиционер Федька Пузырь с кобурой на ремне. И еще какие-то двое, небось не здешние. При таком сурьезном деле им бы напустить на себя строгости, а они явились уже ухмылистые, в румяной испарине, а на Зуйке и картуз не по чину сидел, весь пере-

иначился, лакированным козырьком на левое ухо сверзился. Поди, они этак завеселели, еще по первым дворам шарясь.

— Ну, Ионишна, давай показывай, что можешь пожертвовать в общественный фонд? — Зуёк смаргивающе обозрел прихожую. — Хозяин-то где?

— На Буканово ушел.

— Небось прячется?

— Не от кого...

— Так уж... — усмехнулся тот.

Больше всего поразила Зуйка дедушкин усадебный стул с суконной обивкой. Он шуранул с подстилки кота и с подпрыгом плюхнулся в него, разбросав руки по подлокотникам.

— Во! — хохотнул он. — Никогда не сидел барином. Вот откуда Леха твой царством своим правил!

— Не правил он, а всю жизнь работал, — обиделась я.

— Пляди-кось, а лежанка-то какая! — еще больше удивился он. — Сроду такой не видал. А ты, Хведор, — обратился он к участковому, — видал такую?

— Не-ек, — икнул Федька.

— Сделаем выводы, — Зуёк постучал привязанным карандашом по лабазной книге.

— Лежанка наша и впрямь всем нравилась, — продолжила бабушка. — Стоит она тоже с самого Непа. Вот эту комнату тогда прирубили и ее поставили. Вся она была из белого кафеля, и на каждой кафелиночке выступал фиолетовый картофельный цветок с желтым носиком посередине. На ярманке покупали. В те года в городе при каждом празднике ярманки устраивались. На Маслену — своя, на Красную горку — своя, на Троицу — покосная ярманка. Народу съезжается! Гармошки, ряженые! Кафель всякий прямо на рядне разложен. Тут и с лебедями, и с ангелочками, и с позолоченными лилиями. «Выбирай, — говорит мне Лексей, — какая на душу ложится. Я бы, — говорит, — взял вот эту. Люблю, когда картошка цветет». А оно и вправду, вон как красиво. Он у меня разборчивый: всегда любил все красивое. Новый хомут сперва обойными гвоздиками околотит, упряжная дуга и так бы сошла — непременно ее покрасит. Ореховый хлобыстик для кнута — и тот по коре ножиком развеселит. Кабы знать наперед, что станет в осуждение такая лежанка, кто бы с ней и связывался. Известкой побелили бы — и вся тебе красота.

— Так, Ионовна, — Зуёк почесал карандашом в загривке. — На креслах сидите, на глазурированной печи спите... Выходит, не тем духом дышите... Новую власть, видать, не почитаете.

— Да как же не почитаем? — не согласилась я. — Вот и лошадь с телегой отдали. Себе нужна, а мы отдали...

— Лошадь-то отдали, — пересунул картуз Зуёк, — да совесть небось припрятали. А ну-ка отопри сундук, посмотрим, что там...

Отворила я ему сундук, а там у меня одно только столовое: прошивенные скатерти еще в приданое давали, стопка накопленных рушников — это когда за столом гости, чтобы колени укрывать, и так еще кое-чего тряпичного... Остальное все посуда, за годы собралась: тарелки большие и малые, блюда тоже большие и поменьше, ложки с вилками да еще чайное — все как есть гостевое, доставали только на большие дни, сами-то мы по-будничному так, кое-чем обходились, горячее — щи, кулеш и доси в общий прихлеб едим... А теперь, если Бог даст, свадьбы начнутся. Две уже сыграли — матушку твою да Маруську спровадили, а другие, вон, уже на картах гадают, короли на уме, не заметила, как и заневестились, следом друг за дружкой идут.

Зуёк посопел, понюхал сундучный дух, запустил руку под рухлядь, ничего не нашел и принялся потешаться над посудой, дескать, и тут не как у людей: «Картоху, что ли, с вилок едите?» Поднес вилку к носу, повертел туда-сюда, хмыкнул: «Ну, господа!» Было похоже, будто он сам вовсе вилок в руках не держал... Да и не держал! Я ихнюю Зуйкову породу от самого корня знаю. Старый Зуй свою землю еще когда продал. Оставил только вокруг хаты маленько — картошки, луку посадить. Сам же все по хохлам жестяным делом пробавлялся. А малые Зуята — один другого меньше, сопатые да золотушные, все, бывало, к окошку липли, отца с отлучки выглядали. Двое померли, а этот вот и еще девка — уцелели. В революцию Терешка — уже усы под носом зачернели — подался в Юзовку, на шахты, видать, там и научился горлопанить, а уж сюда вернулся готовым начальником, ворот на шее не застебается. Теперь вот ходит по деревне, людей судит: кого направо, кого налево. А у самого и доси хата картошечной ботвой покрыта, репы перед окнами по самую застреху.

Ну, дак сила солому ломит, а власть — человека. А Терешка теперь — власть. Хочешь — не хочешь, а кажи почтение. Стояла у меня в запечье бутылка самогонки, держала про не ровен час. Ну, думаю, нечего больше беречь...

Пока сельсоветчики ходили по двору, заглядывали в закуты, а глядеть там было не на чего: корова с ягнушками на лугу, гуси на речке, поросенок еще малый, только заведенный, одни куры на виду, да на колу — сорока. Я тем временем шепнула девкам, чтоб забили десяток яиц да чтоб старое сало не жалели, ломтями, ломтями в за жарку нарезали и чтоб в самой горнице раскидной стол распахнули. Девки у меня сообразительные, расторопные, закивали головами, дескать, все ясно и понятно, быстро спроворили, как я просила.

Взяла грех на душу, нутром изогнулась перед охальником, шепнула под картуз, не желает ли он, Терентий Савелич, передохнуть, чем Бог послал. По его разомлевшим помощникам было видно, что

они уже томились своим присутствием и небось давно ждали какого-нито разнообразия. Зуёк в знак раздумья, как и тогда, почесал карандашом сзади, пониже околыша, и, будто отрубая данные ему запреты, секанул воздух ребром ладони:

— Ну что, товарищи, есть мнение передохнуть малость. Как вы на это смотрите? Солнце уже вон где, а мы всё на ногах и на ногах...

Повела незваных гостей в горницу. Вижу, девки мои перестарались: стол покрыли белой праздничной скатертью, даже складки от лежки в сундуке еще не расправились. Каждому гостю поставили по личной тарелке, ложка с ножиком — под правую руку, вилка — под левую, напротив — граненая рюмочка в талию. А посредине стола — как большое оранжевое солнце — сковорода с яичницей, разлившейся по ломтям сала с прожилками, посыпанной укропом. В тон рюмкам — шестигранный лафитничек с первачом, процеженным сквозь печные уголья и настоящим на смородиновых почках. Берегла про нечаянный день, а он — вот он, и впрямь нечаянный. Рядом — жбан белого ржаного кваса, веявшего вокруг себя погребной прохладой. Не забыли мои рукодельницы начерпать и квашеной капусты и обложить блюдо по кругу половинками моченых яблок. Тут же, в глиняной полумиске, чернявые опять — что твои гвоздики. Стояла в самый раз Троица, ничего такого с грядок еще не было, кроме укропа да лука, вся закуска — погребная, прошлогодняя, но шельмы-девки так всё разложили-расставили, что куда с добром! А еще у соседей сломали ветку сирени и возвысили ее над яичницей.

В самой горнице тихо, прохладно, лампадка млеет в святом углу, будто осеняет все вокруг миром и благоденствием.

Гуськом вошли мои гости, и вижу: замешкались у двери, вроде оторопели — не ожидали такого, чтоб на белой скатерти...

— Проходите, проходите! — подбодрила я.

Засмирело, будто на цыпочках, пошли они к раскинутому столу и молча принялись рассаживаться вокруг сковороды, уступив Зуйку место под самыми образами. Я, однако, заметила, что сели они за стол, не перекрестившись, как полагается, видно, им не велено, только Зуёк снял картуз, повесил его на колено и пригладил ко лбу взмокшие волосы.

Молча, не проронив ни слова, а только переглянувшись и покивав друг другу, выпили по первой. Согласно засопев носами, следом за Зуйком неловко взяли по половинке моченой антоновки. И только после второй, выпитой также в натянутой тишине, взяли за ложки и принялись кромсать яичницу.

Поглядывая со стороны, я нечаянно вспомнила, что не подала утиральников, и, быстренько принеся стопку расшитых красным рушников, принялась одарять каждого, чтобы те застелили себе колени. И только тут Зуёк впервые проговорил:

— Это ты зря. Этова нам не надо. Мы ить не в гости пришли сидеть. На службе находимся. Мы это из одного одолжения. И чтоб по-быстрому... Так что засиживаться нам некогда. Еще вон сколь осталось дворов.

Лафитничек все-таки усидели... Не замарав тарелок, начисто выскребли сковороду, разметали грибки и капусту, и к выпитому и съеденному допреж мое угощение пришлось в самый притык. Гостюшки снова разрумянились, сладко зажмурились, по-домашнему расслабились плечами. Зуёк даже расстегнул верхние пуговицы на черной сатиновой рубаше, тесно блестящие на груди, как на баяне. Он потянулся было за квасом, но от неловкого движения фуражка соскочила с его колена и закатилась под низко свисавшую скатерть. Отяжелевший Зуёк грузно спустился на четвереньки, норовя головой поддеть мешавшие ему складки настольного покрывала, но милиционер Федя оказался проворней, он первым изловил беглянку и передал хозяину. Зуёк, конфузливо смаргивая, обеими руками принял головной убор и, вернувшись за стол, плотно насадил фуражку на залысины, чтоб впредь больше не терялась, поскольку он, наверно, понимал и берег ее как единственный знак своего возвышения. Вот уж верно: без фуражки он — букашка... Было видно, что всем сделалось хорошо и что поверяющие на классовую надежность товарищи были не против посидеть еще малость.

Но Зуёк вдруг спохватился:

— Ух ты, ё-моё! Половина четвертого! А у нас еще сколь дворов не охвачено. — И, поворотясь в мою сторону, осведомился: — А твои часы не брешут?

— Им Алексей Иванович не дает сбrehать.

— Как это? — не понял Зуёк.

— По харьковскому поезду сверяет. Ровно в полдень перед мостом гудок подает.

— Ну и дока твой Алексей Иванович! Уж и тут поспел... Теперича мы и свои, сельсоветские, так-то сверять начнем. А что? Ежеличево хорошее, дак и себе хорошо взять... — И, уходя, уже в прихожей, минуя лежанку, похлопал ее по фиолетовым цветам. — Да, Ионовна, хороша у тебя печурка! Прямо красавица! А на телегу не положишь...

Зуёк ушел, так ничего и не записав в свою осургученную книгу, зато потом, когда в сельсовете объявлялся кто-либо из заезжих гостей, он присылал нарочного с запиской: «Ионовна! Придем смотреть твою лежанку. Устрой яишанку и все такое, как тогда. И чтоб на белой скатерти!»

Несколько разов так-то с гостями наведывался Зуёк. А в прошлом годе его и самого увезли на таратайке со связанными руками. По его левому боку сидел какой-то незнакомый в штатском, по правую — Федька Пузырь, прежний собутыльник. Федька охлес-

тывал лошадь веревочными вожжами и этак охально понукал: «Но-о, кодла сухоребрая! Вот я т-тя...»

— Ой, не Буланка ли? — выглянула я из-за фуксии, когда телега прогромыхала мимо уличных окон. — Нет, не она... — удостоверилась я и только, грешная, опосля лошади пожалела самого Зуйка: видать, где-то он промахнулся...

* * *

С конного двора дедушка Алексей воротился уже под вечер. Снял кожух, повеявший на меня остудной волей, повесил на гвоздь свою тяжелую, тоже исхолодавшую шапку, похожую на сорочье гнездо, ладонью огладил влажные, податливые волосы на правую сторону и, коротко перекрестясь, с облегчающим вздохом, будто свалил с себя тяжелую ношу, опустился в уютную промятость своего кресла.

— Ну, как она? — потаенным шепотом спросила бабушка, зажигая керосиновую лампу и вправляя в зубчатый венец горелки чистое, протертое ламповое стекло.

— Да как... Увидела — ушами заходила, даже гоготнула тихонько, признала, стало быть, и сразу — к торбе, давай теребить, губами ущипывать. Ну, угостил ее овсецом. Ей этого теперь не приходится. Вот как радуется угощению, хрумкает, будто жерновами мелет, торбой мотает, на переносье подбрасывает! Пока она занята, потрогал холку, бока огладил — все такое родное, памятное... Хотел было к животу притронуться, а она сразу напряглась, в сторону отступила: не дается. Кажись, жеребая она...

— Ну, дак и славно! — порадовалась бабушка. — Может, Буланку на время обратно взять дозволят? Пока жеребеночек родится. Ей бы поберечься, не таскать тяжелого...

— Уже спрашивал, — признался дедушка Леша. — Ходил в ихнюю контору...

— И чего?

— Смеются только: иди, говорят, не блажи. Не валяй дурочку. Нехай к общежитию привыкает. Чтоб на свой плетень не оглядывалась больше... Не положено, и весь тебе сказ... Не положено! — гневно повторил дедушка, и в его дрогнувшем голосе промелькнули тонкие детские нотки.

— Ну, будя, будя! Что теперь попусту кудахтать, — сказала бабушка. — Не бери шибко в голову. А то ты у меня и вовсе квелый сделался. Давече глянула в окно: ты и не ты. Идешь обмяклый какой-то, ногу тянешь, батогом попираешься. Не казак, как бывало.

— Да чтой-то крестец разломило, — неохотно сознался дедушка Леша, — намедни на Букановом с камышом навихлялся. Камыш — не солома, коса втемеже тупится. А еще и воз без коня привезти. Сани не везде сами катятся: где снежок, а где еще мерзлые колчи.

— А не истопить ли, голубь мой, лежаночку? Ты и погреешься! — предложила бабушка. — Ведь завтра Матрена зимняя, — и бабушка затем вставила прибаутку: «Ходит по дворам Матрена — все ли печи прокалены?» — вот и нам в самый раз лежаночку протопить.

— Не почти за труд, — кивнул дедушка Леша.

— Да какой же это труд! Сейчас, сейчас спроворим... Дело не хитрое. Эй, девки! — шумнула бабушка. — Лёнка! Верка! Живо за камышом! Да снег хорошенько отряхните. Со снегом не тащите.

Дом сразу наполнился суматохой. Тетушки с молодой веселостью принялись освобождать место под охапки тростника — сдвигать воедино лавки и табуретки. Дедушкино кресло тоже опрокинули на сундук, свернули трубочкой лоскутный половичок. В печи очистили поддувало от прежней золы, а с самой лежанки сдернули попону, убрали тюфяки и все ненужное, и та предстала во всей своей цветущей картофельной красе, оказав разом все неувядаемые сиреневые гроздья на глазурной кафельной белизне. Я не понимал, как это сделано, почему, если печка раскалялась до того, что к ней нельзя было притронуться, цветы оставались такими же яркими и красивыми. Я даже пробовал отколупать выступающие желтые язычки, но они не колупались. Чтобы не мешал, не сновал под ногами, меня водворили на бабушкину кровать да еще накрыли одеялом, поскольку на время, пока будут натаскивать вязанки топлива, все двери в доме окажутся распахнутыми настежь и в комнате делается холодно, как в сенях. Дедушка Леша подсел ко мне, чтобы вместе глядеть на все это. Между нами сторожко, но настойчиво протиснулся кот Кудря, наверно, уже усвоил, что сейчас напустят холода. Между тем тетушки Лёнка и Верка, как были налегке, в одних только ситцевых платишках, так, не прикрывшись, простоволосые, голо-рукие, выскочили во двор, над которым, как виделось мне в окошко, уже ярко мерцали льдисто-зеленые звезды. Тетушки долго не возвращались, небось все это время надергивали трехметровые метельчатые пуки камыша, схваченного засахаренной свежестью, и выкладывали из них вязанки для переноски. Наконец они шумно — шуршаще, царапающе, скребуще, весело переговариваясь — объявились сперва в сенях, потом в кухонном проулке и наконец — Лёнка со своей ношей, за ней Верка со своей — протиснулись к лежанке, заполнив все пространство морозно клубящейся испариной и колким игольчатым холодом, исходившим от насухо вымороженного камыша. Тут же огромные связки они принялись разворачивать таким образом, чтобы комли находились ближе к печному устью, тогда как метелки пришлось укладывать на бабушкину кровать. От этой шумной, шуршащей невидали перепуганный Кудря шмыгнул под кровать, а мы с дедушкой Лешей спрятались под косяковым одеялом, и над нашими головами нависла непроглядная пушистая завеса, вкусно пахнувшая ветром и чем-то хлебным, калачовым.

— Это ж мы с тобой столько набузовали! — сказал из-под метельчатой наволоки дедушка Алексей. — Не забыл?

— Ага, не забыл.

— На Букановом-то займушке.

— И щуку подо льдом помню.

— Тамотка окромя щуки и еще кой-чего водится. — Дедушка Леша высвободил руку и потянул к себе шелковистую метелку. — В такой-то чащобе! Головы не просунешь. Я снова поставил вентерь как раз под матерой раkitой. Два дня не ходил, не проверял. На третий пошел, а вентерь ходуном ходит, вода аж на лед выплескивается...

Тетушки взвалили на нас и вторую вязанку, так что дедушка Алеша успел только промолвить:

— Ладно, опосля как-нибудь доскажу, а то мы с тобой тоже как в вентерь попались...

Бабушке подали ее доильную скамеечку, и она, примостившись перед топкой принялась укладывать в темный печной зев уже приготовленные запальные камышовые скрутки. Тетушка Лёнка и тетюшка Верка, сидя на полу, заняли места подавальщиц, в обязанности которых входило набирать пучки тростника и готовить из них укороченные скрутки, удобные для подбрасывания в огонь. Мы с дедушкой, проделав отдушины в сваленных на нас метельчатых концах, терпеливо наблюдали за приготовлениями, которые для меня, видевшего все это впервые, представлялись веселым и таинственным событием.

Наконец от поднесенной лучины камышовый вороток в раме чугунного обвода топки занялся несмелым медовым пламенцем, которое, перескакивая с тростинки на тростинку разрозненными язычками, никак не могло соединиться в сплошной полых, и вдруг, когда я вовсе не ожидал, все в печи жадно и жарко воспламенилось и с нетерпеливым гулом устремилось в черную глубину. С этого момента и началось для всех, приставленных к лежанке, их главное дело, требовавшее сноровки и слаженности, дабы не упустить огня, не дать ему голодно сгинуть, надо было успеть вовремя изготовить очередную скрутку, пережлестнуть тростниковой обвязкой упрямо сопротивляющийся камышовый пук и эту спеленутую чучелку вложить в руки бабушки, которая и определит ее в самое пекло. Было весело глядеть на мятущуюся пляску огненных всполохов, среди которых, освободившись от сдерживающих перевязлиц, отдельные камышинки пытались вернуть себе прежнюю прямизну, иные пускали тонкие дымки из концевых срезов и даже выфукивали огоньком наподобие старинных самопалов. Хорошая тяга как бы приглаживала огненные языки, направляя их вместе с дымом в глубину топки, однако же в комнате витала вуально-дымная просинь, которая вовсе не досаждала, а наполняла воздух приятной пряностью праздничного печева.

Из сеней высунулся бурый лицом Пахомыч, околоточный платный пастух, привычный входить в любой дом без всяких церемоний. Он молча присел на корточки, прислонившись сутулой спиной к дверной притолоке, и узловатыми, невпопад вздрагивающими от какого-то недуга пальцами сразу же принялся вертеть козью ножку, просыпая махорку на заскорузлые сапоги, в носовом прощелке одного из которых поди еще с осенних выпасов защемила сизая кучеряшка-полынка.

Вслед за Пахомычем неслышной мышкой проскользнула деревенская учительница, худенькая, легкая, очкастенная Серафима Андреевна, квартировавшая через два дома от нас. Она пришла к бабушке Варе с каким-то обещанным шитвом под мышкой, вкрадчивым голосом произнесла: «здрасьте вам», сбросила на сдвинутые лавки свое пальтецо и, нимало не смущаясь, опустилась на пол рядом с моими тетушками. Она тотчас, без пригляда, будто всегда этим и занимались, взялась выдергивать из вороха по две-три тростинки, почему-то выбирая, какие потолще и попрямей, заламывать их сначала пополам, потом еще раз вдвое, а в третий заход — уже о колено и передавать это свое изделие из поверженных стеблей в соседние руки. Я продолжал глядеть, как полыхали в печи ровненькие, будто отполированные ветром камышовые дудочки, и мне сделалось жалко видеть, как Лёнка и обе ее помощницы с азартным хрустом крушили эти красивые хлыстики с шелковистыми венчиками на концах, а бабушка, вся разомлевшая от близости жара, запикивала поданные ей кулемы в гудящую печь, где камышовые свертки, охваченные пламенем, как бы зазря и насовсем обращались в бездушный пепел. «Лучше бы все это осталось там, на Букановом болоте», — сочувственно подумал я, но моя мальчишеская грусть тотчас улетучилась, как только я вспомнил про дедушкин шин вентерь, который отчего-то ходил ходуном...

И я снова принялся теребить дедушку:

— Деда, а кто попался в твой вентерь? Опять щука?

— Ежели б щука, дак никакой с ней закавычки. Хватай под жабыры — и на солнышко... А то такое диво заплуталось! Вот как полещется в проруби! Вот как воду буровит, выплескивает из лунки!

— Сом, что ли? — нетерпеливо подсказывал я.

— Кой там сом! Бери чином выше...

— Кто ж еще?

— Присмотрелся я хорошенько, ан лозовый обод чья-то маленькая лапка обхватила накрепко и трясет что есть мочи. Лапка та как есть курячья, токмо не о трех, а, как у нас с тобой, о пяти пальцах и в сивой шерсти на запястье. Заслонился я от света шапкой, чтоб заглянуть поглубже, а вода-то на Букановом не просто как всякая вода, а будто в ней чай заваривали: темная, дегтярная, да еще взмученная попавшей в вентерь живностью. В такой воде не все втеме-

же разглядишь. И почудилось, будто вижу я чью-то голову — не зверушечную и не рыбью, а все как нужно: лоб, скуля, уши оладьями, плоский нос сопелкою, по загривку шерсть ключьями, а сама-то голова долгой тыковкой и голая, как коленка, даже усек, как на темечке солнечный зайчик играет. Лысая башка вся мережкой опутана — нет от нее никакого ходу.

«Ладно, потом починю», — подумал я, достал из-за голяшки нож-складничек и порезал мережу. А он как вышмыгнет из надреза и давай шумно дышать, свежий воздух заглатывать, тину сплевывать.

— Дак это ж дед Никишка! — изумился я, признавши в своей добыче болотную шишигу, давнего здешнего обитателя.

— Кажись, я сделал ту ошибку, что поставил вентерь в самый раз под нависшей ракитой. А в том неохватном замшелом древе, гляжу я, у самой земли, черный лаз, заросший осокой. От моей проруби к тому лазу — грязные шажки наслежены. Это, стало быть, Никишка натоптал: от ракиты — к проруби: туды-сюды... Небось все рыбкой моей пользовался, пока сам не попался.

— Уф-ф! — наконец отдышался дед Никишка и облегченно провел пятипалой лапкой по реденькой, истекающей чайной влагой бороде.

— Ну и влип я в историю. Никогда допрежь не попадался, а тут перед собственным домом угодил. А нитки на твоём вентере ох и крепкие! Сам воцил?

— Без воценья мережа долго не стоит.

— Я их и так, и сяк — пальцы режут, а не рвутся. Пробовал перекусить, но куда там — ни в какую! Да и зуб один только остался. Берегу: может, еще сгодится рака помять, устрицу расшеперить... Так что спасибо тебе, Алексей Иванович, что ловецкую посудину не пожалел. Ежли б не ты — околел бы вусмерть. Да чтой-то мы с тобой, братец, без всякого уюта беседуем! — спохватился дед Никишка. Он подтянулся на укороченных ручках из проруби, сбросил с плеч вспоротую мережку и выпрямился в свой аршинный росток. Долгая зеленоватая шерсть заменяла ему штаны и рубаху. — Пошли, братка, ко мне. Вон моя ракита! Правда, ее малость молнией жигануло, верхнюю половину напрочь отбросило. А так — ничего. Не хоромно, но обитать можно. Короб еще крепкий. От корней даже правнуки на свет полезли.

В дупле было просторно, но погребно сумрачно. Под ногами пружинила утоптанная осока. Пахло древесной гнильцой и барсучьей псинкой.

— Дак ты кто по чину? — спросил я, привыкая к темноте. — Водяной али Леший?

— Водяной! — с гордецей подтвердил Никишка.

— А тади почему моего вентера испугался?

— А нам теперь более суток в воде сидеть не полагается. Задышка наступает. Это допрежь, в старые времена, наши вовсе из воды не вылазили. Так в омутах и зимовали. Дак в омуте оно даже теплее, чем снаружи, на берегу. А теперь болота стали усыхать, речки мелеть, ключи заиливаться, так что жилых мест поубавилось. Про ближайшего шишигу я аж в Дроняевских болотах слышал. Верст шестьдесят отсюда. Еще один аж в Прутищинских копанях отыскался... А то, сказывают, будто в Банищах на песке след видели. Ну, дак это совсем далеко. Так что вымираем помаленьку. Как в деревне мужика с земли сдвинули, так и нам, водяным, худо стало...

— А вы-то при чем?

— А вот рассуди: раньше от Полевой до Липинской на полсотне верст как есть дюжина водяных мельниц стояло. Это значит — дюжина омутов. Да каких! В две оглобли дна не достанешь. Да на речных притоках по три-четыре мельнички поменьше. А при них тоже омутки. Почитай, все речки плотинами подпертые. Река своим верхним концом еще и в межень не вошла, ан вот тебе встает новая плотина, опять сажени на две воду высит. Так и бежит река ступенями, жернова ворочает, мешки мукой полнит. Я-то сам мучного не ем, не мое это, а глядеть на дело приятно. Иной раз, бывалыча, выберешься на берег, с мужиками у костерка потолкуешь, с лошадьми пообщаешься. Они ничего, подпускают, ежели пучок молодого очерета поднесешь. А где омут — там урема, человек без топора не пролезет: а нашему брату, шишиге, — суцая благодать. Мы-то сами никакого вреда не делали. Разве иногда пошутим: в самую жару, когда мельница еще не в деле, возьмем да и жернов в омут утопим. Мужики ныряют, подводят вожжи, а им и самим весело: в кои-то времена от души поныряют. А теперь — что же? Мельницы у мужиков отобрали, самих хозяев на Соловки выслали. Плотины без догляда водой сорвало, мельницы — какая от баловства сгорела, а какую на дрова разнесли. Новая власть сторонится водяного помола, дескать, устарелое это дело, нету пролетарского размаху. Будем на пар переходить. Ну, да паровики все по буграм ладят... Вот и пришел омутам предел, а с ним и водяному населению край.

Дед Никишка оказался очень даже рассудительным шишигой. Все-то он рассчитал, все поосмыслил. Голова хоть и долгой тыковкой, а бедова. Вот бы кому сельсоветом править!

— Это ты, Никифор, верно насчет плотин, — согласился я. — Без них вода вглубь уходит. Прежних сенов не стало.

— Да, братка, такой вот солнцеворот: что на берегу ойкнется, то на воде аукнется... Иные нашенские в лесные подались: разбрелись по лесным урочищам. Дегтярничают, живицу сочат, дорожки к белым грибам за полтину указывают. А которые погонористей, те кокарды себе купили, пошли в лесничество. Там им

сплошная лафа: на кордонах — музыка, девки хохочут, высокие гости наведываются... Лешаку, конечно, проще: он и росту повыше нашенского, и не косолапит. Особливо на ковровой дорожке. На ней вся твоя поступь видна. А ежели побриться да одеколлончиком овеяться, так от начальника не отличишь. А еще, скажут, будто по нынешним временам хорошо стало полевой нежити. Это те же лешаки, но которые в поле устроились. Поля стали общими, никто не сторожит, даже чучел не ставят. В домовых должностях тоже — не бей лежащего: сиди себе с курами под печкой, иной раз у бабы-дуры яичко укатит, а перед праздниками бражки полакает...

А я, братка, чистый водяной, — с гордецей объявил дед Никишка. — У меня на ногах даже плавательные перепонки имеются! Хочешь поглядеть?

Дед Никишка высунул из дупла на свет заднюю лапу, и я, верите ай нет, в самом деле увидел между пальцами сухие, сморщенные кожицы. Только пальцев было всего три, как у гуся.

— Вот так-то! — довольно засмеялся шишига и убрал лапу под шерстистый закрылок. — Правда, перепонки теперь не у каждого. У многих они стали отсыхать и отваливаться за ненадобностью, особенно кто из болота на берег совсем ушел, кто стал людскую обувь носить. Энти в омутах уже жить не могут. А я ни в кого не хочу переделываться. Мне многова не надо: абы сыро.

...Все скопившиеся возле лежанки молча, затаенно слушали дедушки Леши букановские приключения, и только я один хихикнул, услышав, что у этого шишиги ноги — лапы перепончатые, как у гуся.

— Ну а ест-то он чего? — заинтересовалась бабушка Варя, кочережкой оправляя жар, оранжево млевший в печи.

— Говорит, будто ничего нашего не принимает: ни картошки, ни хлеба, никакого варева. Даже спичек у него не бывает.

— А как же обходится?

— Потребляет только свежее, с мокрецей: карасиков, кубышку вместо хлеба, иной раз, говорит, ужика изловит, пожует. А больше всего любит раков. Да жалуется, что в Буканове их почти не стало. За раками надо идти под хуторские выселки. Но там — дорога: не хочет оставлять следов на сырой гати... Все спрашивал, что за люди появились в урочище. Ходят по берегу с полосатыми планками, глядят в какую-то трубку на раздвижных ногах.

— Небось землемеры, — прикинул я, но дед Никишка озабоченно поскреб загривок:

— Ой ли?! Воду аршином не меряют...

Уж я не стал ему открываться, что Буканово осушать будут. Я к тем людям подходил, спрашивал. Скоро, говорят, начнут сток копать. Хотят до торфов добраться. Потом поставят паровые пресса,

и побегут по ленте черные кирпичи. Вторую Шатуру открыть планируют. Собираются дать электричество на окрестные деревни. А то, говорят, сидите в темени, под керосинками. Оттого и сами темные. Пути своего не видите.

— Дед Никишка, поди, сам догадывался, что грядут какие-то перемены, — сказал дедушка Леша. — Потому как наклонился ко мне и прошептал в самое ухо:

— Слушай, друг! Справь мою просьбу. Больше некому довериться. Будешь на Кизиловых болотах, передай одной тамошней обитательнице, что я пока живой, но совсем один остался. Спроси, помнит ли она меня? Лет полста тому, как в последний раз виделись.

— Адрес-то какой?

— Да какой же! Болото и есть болото. Бude еще цело, не пересохло.

— Да вроде бы пока стоит...

— Ты нарви лилий и положи на видном месте. Лучше на павшую колоду. Это у нас явочный знак такой. Она вечером и объявится на том месте, по запаху найдет. Ежели согласится, то я, перезимовавши, дождусь ночных рос и как-нибудь доберусь к осени.

— Туда теперь поезда ходят. До Полевой можно доехать, а там — вот оно: луга только перейти, — присоветовал я.

— Не-е! Железкой мне не можно. Дюже дымом смердит. Да и прибить могут. Я ить босый, раздетый, в одной шерсти: за какого зверя примут.

— Давай, я тебе одежку принесу, лапти на ноги.

— Нет, я лучше сам, пешочки. По темну, от лужи — до калюжины. Вещей при мне никаких, так-то налегке с батожком и доберусь.

— Кабы б лошадь, я б тебя за пару суток доставил... Да вот, нема Буланки, с телегой отобрали... Ты не мог бы как-нибудь повлиять, чтоб обратно вернули?

— Нет, брат, это не по моему чину. Я больше по водяной надобности...

— Ну и как? — нетерпеливо спросила тетушка Лёнка, которую больше занимали сердешные дела. — Разложил лилии?

— Нет, девка, не исполнил я этого, — признался дедушка Леша.

— Забыл, что ли?

— Разве такое забудешь? А как-то так, не сподобился, своя жисть закружила. Может, еще и бываю на Кизиловых топях...

— А мне его жалко... — сказала тетушка Лёнка. — Вот понять бы: для чего он? Ну вот для чего кошка, собака — понятно. А зачем этот Никишка, кому такой нужен?

— Дак тут разом и не скажешь, для чего. А может, его и нету вовсе?..

— Ну как же так? Ты же сам его из вентера вызволил и в дупле вместе сидели.

— Сидеть-то сидели. Да вдруг сморгнул глазами, комара с века хотел отпугнуть, а когда снова глаза открыл, то возле меня уже никого не было. Потянулся рукой поперед себя — посыпалась труха дупляная, высунулся наружу — никого. Одни камыши стеной. На снегу — ни следа, ни задоринки. И в лунку не лажено — накрыта моим драным вентером... А и то сказать: может, это мне только причудилось? Я ведь в ту зиму много болел, говорят, даже бредил...

...Я все еще прятался под одеялом и, несмотря на царившую духоту, мелко, по-щенячьи подрагивал, чувствуя, как стискивала неодолимая оторопь от дедушкиного рассказа.

— А со мной такое было, — сказала Серафима Андреевна. — Пошла я на речку полоскать постирушки. Там приступок из двух досок был. Разложила я свои вещицы, а чтобы не мешал перстень, сняла его с пальца и только хотела положить в сарафаний карманчик, а он возьми и булькни в воду. Вода осенняя, чистая, каждую песчинку видать. Лежит мой перстень на дне, как святой. Лезть за ним сразу не полезла, вода все же не летняя и глубоковато, надо было раздеваться. Думала, сперва тряпицы пополоскаю, а потом уж... Вдруг по дну что-то мелькнуло. Каким-то обостренным зрением успела схватить, что это вовсе не рыбина, как почудилось сперва, а нечто похожее на живую руку. Как сейчас помню, рука эта была в зеленых космах, сносимых течением на сторону. Рука жадной жменей вместе с песком схватила мой перстень и тут же исчезла в тени приступка. Я так напугалась, что убежала, бросив на досках невыполощенное белье. В то место я уже не хожу ни стирать, ни купаться. Как-то не по себе становится. Это даже не боязнь, а чувство какого-то таинства, сокровенности. И вот что удивительно: в глубине души я, кажется, даже рада, что это со мной случилось. Наверно, без этого было бы как-то беспамятно и пусто...

— Вот-вот! — чему-то обрадовался дедушка Леша. — Теперь и я, когда бываю на Букановом займище, все гляжу, озираюсь по сторонам. Вроде не боюсь, а увидишь пенек в тумане — как хмельком ознобит, даже ноги прослабнут. А вот все равно охота, чтобы рядом было что-то непонятное...

— Наверно, такое тайное смятение человеку тоже нужно, — в раздумье сказала Серафима Андреевна. — Для распознания добра и зла, что ли? А может, и для нашего единения... Ведь мы ходим по одной земле, небо над нами общее, язык один. Так ведь? А когда и верования одни, и чувствования схожи...

Мудрено говорила Серафима Андреевна, разумеется, я ничего этого не понимал, да и остальные, поди, тоже не очень.

Уступив тетушке Лёнке скамейку и кочергу, бабушка Варя, от недавнего жара трясая на груди кофту, отправилась на кухню по каким-то делам.

Тем мигом в окно побарабанили согнутым пальцем.

После разговоров о Букановом болоте все в комнате нечаянно вздрогнули. За оконными наморозками мелькнуло неопознанное лицо какой-то женщины в белом пуховом платке.

— Кто бы это? — зависло в напряженной тишине.

Новой гостьей оказалась бабушкина племянница Катеринка Зыкова, с простого языка — Зычиха, уже много раз при мне бывавшая в нашем доме.

— Шла мимо, — сказала она, как всегда, улыбочиво, — чую, из трубы вкусным пахнет: не печется ли чего? А у вас — посиделки!

— Да вот лежанку камышом палим, — уточнила тетушка Лёнка, оставшаяся за главную кочегарщицу. — Давай, разоблакайся.

— А и правда! Жарко-то как у вас! — Зычиха сбросила стеганый полусачок, но платок почему-то оставила на плечах. Платок был новый, надетый еще не ко времени, а только ради завтрашнего праздника — Матрены зимней, а то и просто на зависть сверстницам.

— Уже шабашим. Последние хвостики остались, — как бы упрекнула тетушка Лёнка за то, что Зычиха не пришла раньше, им одним довелось возиться с камышом.

Пастух Пахомыч, на корточках сидевший у дверного проема с той своей выгодой, что там можно было курить и выпускать дым в кухню, потянул из последних тростинок какую-то облюбованную, достал складничек на долгом ремешке и принялся что-то надрезать, кончиком лезвия выковыривать соринки из отверстий на тростниковом отрезке. По завершении он бережно, с уважительной робостью взял в грубую волосатую пятерню хрупкую камышинку, поднес к губам ее заостренный кончик и вдруг выдул из этой своей поделки нежный бархатистый изначальный посвист. Потом он поочередно зашевелил толстыми, неловкими, будто разношенными пальцами с утолщениями на концах, извлек беглый черед звуков — от густых до ручьево-прозрачных. Перебирая лады, он постепенно перевел, упорядочил эти звуки в какой-то неспешный протяжный напев. Все обернулись на этот неожиданный тростниковый голосок, и покрасневшая Катеринка, первая угадавшая мелодию, вдруг вознеслась красивым, сочным и надежным голосом:

*Ой, ты но-о-чень-ка-а,
Но-оч-ка тем-на-а-я-а!*

Без всякой изготовки — тетушка Лёнка, как сидела с кочергой перед пылающим печным зевом, Серафима Андреевна — с пучком

камыша на коленях, тетушка Верка, молчавшая весь вечер, — так и подхватили слаженным трехголосьем:

*Но-о-очка тем-на-ая-а...
Да но-очь о-сен-ня-я-а!*

Зычиха с еще большим рвением и азартом повела следующий сольный запев:

*Что ж ты, но-о-очень-ка-а,
При-и-ту-ма-а-ни-ла-ась?*

И те трое, ободренные тем, что песня пошла сразу и никто не запнулся, не сфальшивил, вдохновенно продолжили вместе с Катеринкой:

*Что ж, осен-ня-я-а,
При-на-хму-ри-ла-ась?*

Тем временем Катеринка, сбросив наземь платок, неосознанно машинально теребя в руках и мелко заламывая последнюю камышинку, парила голосом в тесном и слегка задымленном предпотолочье:

*Или не-е-ет у те-бя-я-а
Яс-на ме-ся-ца-а...*

А остальные, сидя на полу и ритмично раскачиваясь, с басовой печалинкой вторили:

*Или нет у те-бя-а-а
Яр-ки-их звез-до-че-е-ек?..*

Из сеней появилась бабушка Варя с мерцающим огнями самоваром и объявила, что вопреки песне, месяц все ж таки родился.

От ее вести песня сразу сломалась, все, как были нараспах, поспешили наружу. Воспользовавшись суматохой, я тоже вышмыгнул на крыльцо, босой и без шапки.

И верно: высоко, в морозной, звездно осыпанной ночи, нежно-глазуromanно голубел молодой остренький месяцок. С крыльца чудилось, будто он по-сорочьи вспорхнул на сенной торчок, чтобы разглядеть заветное колечко на колоде...

Я тогда еще не знал, что домочадцы так радостно и возбужденно высыпали за порог, дабы поклониться новорожденному и по старому обычаю побренчать на счастье чем-либо: денежкой ли, сережкой с уха или тут же оторванной пуговицей в сжатых ковшиках ладоней...

2002

ДВА СОЛЬДИ

...Синьоры! Прошу вас выслушать мою песню,
даже если она стоит всего два гроша...

Из вступления к песне

Во времена недолгой хрущевской ростепели модная тогда итальянская песенка, как неудержимый заморский насморк, прокатилась по нашим городам, перелихорадила почти всех школьных выпускниц, взвинтила пыль на уличных танцплощадках и ко времени событий, о которых я собираюсь поведать, выплеснулась на деревенские просторы. Захлестнула она и наше тихое, засмиревшее было Толкачево. Не раз слышал я, как среди ночи сквозь лунную сверчковую звень вдруг чья-то неприкаянная девичья душа выстанывала, как боль:

*Эта песня за два сольди, за два гроша,
С нею люди вспоминают о хорошем.
И тебя вздохнуть заставит тоже
О твоей беспечной юности она.*

И до сих пор не пойму я: чем эта песня неаполитанских окраин задела русского человека? Мода модой, но, видно, было в ней какое-то созвучное откровение, совпадение душевного апогея.

В то время я еще не стеснялся ездить в свою деревню на велосипеде, купленном на толкучем базаре за триста дореформенных рублей. Машина (тогда велосипеды уважительно называли машинами) заметно восьмерила передним колесом, но в остальном была вполне исправна и верой и правдой прослужила мне еще несколько сезонов, пока я не лишился ее по своей же оплошности: как-то оставил велик у входа в магазин, и, когда вернулся с куревом, его уже не было на прежнем месте... О пропаже заявлять в милицию не стал, поскольку и сам со дня покупки ездил без номера и не хотелось выслушивать нравоучений по этому поводу. Да и вообще припела пора расстаться с таким видом транспорта: меня уже стали печатывать в столичных журналах, и я приосанился и по-солиднел.

Но это со мной произошло несколько позже, а тогда, во времена нашествия «Двух сольди», я, как уже было сказано, еще не гнушался ездой в деревню на велосипеде, да к тому же на легкомысленно вертлявом колесе.

В деревне еще стояла наша родовая изба, хотя ни деда, ни бабки уже не было вживе, да и вообще в ней, осевшей углами, с размытой земляной завалинкой, никто не жил. Сотлел, струхлявился и рассыпался в прах плетень, обвалился и пересох колодец, куда-то исчез амбар, где под толстой соломенной кровлей в знойную пору так приятна была прохлада. На стенах, под застрехой, некогда ви-

сели вентеря, серпы, обломанные косы, подобранные на дороге конские подковы, связки каких-то поржавевших гаек и железяк, в то время составлявших немаловажное богатство в крестьянском дворе. Внутри же амбара с деревянных гвоздей свисали до зимы ненужные армяки и полушубки, на локоть смотанные веревки, поддетые за уши дедовы сапоги, обильно смазанные дегтем, — до очередных праздников или поездки в город. Сапоги наполняли прохладную полутьму амбара густым терпким духом, которым пропитывались и одежда, и сами стены, и рассыпанные по закромам конский овес и людское жито. На месте погреба, куда всегда было заманчиво и боязно спускаться по сырой, омшелой лестнице, откуда вместе с земляным холодом разило огурцами и укропом и где среди всевозможных бабушкиных крынок, обитушков и махоток, обвязанных тряпицами, неясно брезжила дубовая кадка с белым ярящимся квасом, — на месте всего этого осталась неглубокая воронкообразная ямка, сокрытая лебедой и дурнишником. Да и весь прежний двор по самый порог одичало порос всякой пустырной одолень-травой, среди которой в заднем конце подворья, опасно наклонясь, но все еще крепка и нетленна, одиноко высилась веревя полевых ворот. Некогда в ее свежую дубовую плоть были заколочены тяжелые, местнойковки навесы, не одно поколение державшие тяжелые створы ворот. За ними начиналась любая моему мальчишескому сердцу дорога через огороды в поле, курчавившаяся вдоль пробитых колеи молочаем и кашкой, и об эту мураву, окапанную колесным дегтем, всегда марала свои белые «чулки» дедушкина Буланка. Верхний крюк-навес все еще торчал из окаменелой, глубоко растрескавшейся вереи, походил на причудливый нос, и этим своим носом, вековой окаменелостью и наклоном над давно исчезнувшей дорогой одинокий воротный столб напоминал мне древнего языческого бога. По столбу еще долгие годы каждое лето карабкался к солнцу розовый вьюнок, но и он, забитый бурьянами, со временем иссяк и перевелся.

Сама же изба, с одного края раскрытая, с обнажившимися ребрами стропил, выглядывала из-за обступившей ее крапивы незрячими бельмами заколоченных окон, и на одной из них мелом по куску железа нетвердой детской рукой была начертана грустная истина:

В ЕТЕМ ДОМИ НИ КТО НЕЖЫВЕТ.

Иногда я заводил свой велосипед в крапиву, садился на кишевшую земляными осами завалинку и пытался найти в себе созвучие с этим распавшимся миром. Его развалины удручали своей брэнной никчемностью: за отвалившейся глиной проступали кривулистые, кое-как прилаженные друг к другу бревешки сруба; низкие оконца кто-то из предков пытался приукрасить наличниками, и было видно, что все эти зубчики и трефовые крестики не очень-

то ладно и умело резались ножом и выглядели теперь откровенно аляповато; в крапиве валялись глиняные черепки от прежней утвари, драный, должно быть дедушкин, сапог, побитая ржавчиной самоварная труба, и сквозь дыры в ее боках просочилась какая-то бледная травка... Такими же никчемными — из хвороста, глины и коровьего помета — стояли во дворе сараюшки, клуня, курятник, ничем не покрытое отхожее место. Да и погреб, прежде казавшийся мне пугающей преисподней, в сущности, был обыкновенной ямой, обставленной подгнившими снизу дубовыми кольями.

Так бывает обнаженно ничтожен спущенный пруд, когда ходишь по его дну с чувством разочарованного удивления и обмана. Все, что прежде представлялось таинственным — темнеющая глубина, космы утреннего тумана, опрокинувшиеся облака, — с уходом воды оказалось скучным и жалким углублением с растрескавшимся дном, по которому равнодушно расхаживают вороны, выклеывая из трещин высохших мальков.

Из семерых дедушкиных детей дядя Илья был единственным сыном, а стало быть, и прямым наследником родового гнезда, поскольку девки с замужеством уходили из дому и жили в чужих семьях. Самая старшая, мать моя, отделилась еще в двадцатые годы, и мы перебрались в город, откуда я потом, мальцом, навещал деда и подолгу жил у него.

В самом начале тридцатых женился и дядя Илья, привез в дом молодайку из дальнего села — рослую рукастую девку с холеной косой. Помню, как играли свадьбу, как по последней санной дороге привезли горбатый сундук с приданым, покрытый домотканой попоной и веревками привязанный к розвальням. Грива Буланки по этому случаю была заплетена в мелкие косицы, украшенные шелковыми лентами. Такой же кумачовый бант красовался с левой стороны дяди Илюшиной суконной фуражки. Помню шумную свадебную тесноту в избе, где под низкими потолками скопилась и смешалась испарина разгоряченных тел, браги, селедочного уксуса, огурцов и капусты, каленого духа печи, двое суток перед тем выпекавшей хлеба, пироги с горохом и картошкой, томившей гречишную соломаху с калиной. Помню, как визгливо пиликали скрипки и бухал барабан нанятых цыган, как кто-то время от времени выскакивал из-за стола и, гикая, топотал сапогами, заставляя испуганно мигать керосиновые лампы, развешанные по стенам. На другой день невыспавшиеся гости доедали и допивали вчерашнее, бросали в стоявший на вышитом рушнике поднос серебряную мелочь, а то и бумажки и, откупив таким образом право, били об пол посуду, а потом под хмельной перепляс с хрустом дотаптывали черепки и осколки, выкрикивая пожелания добра и благополучия

дому. Под конец дедушка в новой сатиновой рубаше, измятой и заломленной колкими складками, сам хмельной и торжественно-смущенный, преподнес молодым зыбку. Это еще была та, моя, самого первого внука, колыбелька из потемневших тесин, где я провел изначальные два-три года перед отъездом в город, я ее сразу узнал, и мне было обидно и жалко, что ее отдают какой-то чужой тетке в белом кисейном покрывале.

Один за другим родились два мальчика, сначала Колька, потом Славка. Бабушка забегала с пеленками, развешивая их по жарким плетням, и, может быть, все так и пошло бы своим чередом: росли бы наследники-внуки, трудом наживалось бы движимое и недвижимое добро. Впоследствии старую, обветшавшую избу заменили бы новым домом, возможно, даже кирпичным, с застекленной верандой, как теперь у многих в нашей деревне; вместо плетня поставили бы крашеный штакетник, а взамен земляного погреба соорудили бы бетонированный подвал с электрическим освещением; в горнице с широкими окнами и крашеными полами стоял бы неперменный теперь сервант со всякими стопками на долгих ножках, телевизор показывал бы «Лебединое озеро», а Славка с Колькой в импортных джинсах возились бы во дворе с мотоциклом...

Может быть, с годами так все и случилось бы, но в самую пору отлаженной жизни вдруг грянула война, и в первые же ее месяцы дядя Илья был убит под Ржевом. Дедушка как-то враз притих, ушел в себя, а к исходу войны окончательно сдал и, похварывая, не слезая с печи, в сорок седьмом году умер. Вслед за ним простудился и умер от менингита старшенький Колька. Бабка, и до того не ладившая с невесткой, плюнула на все и уехала с глаз долой в Шепетовку, к младшей дочери. Схоронив Кольку, невестка окончательно отошла от нашей семьи. Еще крепкая, с характером баба, она выглядела себе вдовца и, забрав Славку и свой горбатый сундук, откочевала в чужой двор. Так ушла из нашего родового дома жизнь, как уходит вода из пруда, в плотине которого, городившейся не один десяток лет, роковую брешь проделала та самая похоронка на дядю Илью. И опустевшее подворье начало рушиться и зарастать скорбной травой...

* * *

Разумеется, я ездил в деревню не затем, чтобы сидеть в крапиве возле развалин дедовой избы. Как уже было упомянуто, от главного нашего корня отпочковались новые побеги, и в деревне своими дворами и семьями жили три мои тетки: тетка Маня, тетка Лёна и тетка Вера. Все они были обременены детворой и, кто как мог, тащили свои лямки. У тетки Веры было восьмеро гавриков мал мала меньше, у тетки Лёны — тоже восьмеро. Правда, у тетки Мани в живых осталось только четверо, но и ей тоже доставалось, по-

сколько те двое были все-таки при мужьях, а эта волокла в одиночку: муж ее, дядя Яков, мучившийся желудком и какой-то глазной болезнью и еще до войны носивший черные очки в жестяной оправе, которые наводили на меня страх, сгинул в сорок третьем не то в сорок четвертом где-то в тыловом стройбатальоне.

Таким образом, одних только моих двоюродных братьев и сестер в деревне обитало более двадцати душ, и я даже не всех знал по имени. Тем более что имена их числились только в метрических свидетельствах, тогда как в повседневности их заменяли клички и прозвища на дохристианский, языческий манер, которыми охотнее пользовались и отец с матерью, скажем: Муркач, Купчевна, Тюха... А тетка Лёна, к примеру, перед тем как лечь спать, пересчитывала своих не поименно, а поштучно, как куренков. Она ходила по хате уже босая, в ночной рубаше, заглядывала то на полатья, то на печь и, отмахивая пальцем счет, нашептывала: «Один, два, три, так, четыре, пять, шесть... шесть... ше-е-есть. А где же еще двое? Ага, вот они: семь, восемь». И когда бухгалтерия сходилась, крестилась, подводила итог: «Слава те господи, все тут».

Весь этот разнокалиберный народец — от едва научившихся ходить до уже начинавших покуривать и жениться — жил без особого материнского надзора, своим колхозом: сами наводили критику и самокритику, сами давали друг другу подзатыльники за неправо дело, за нарушение неписаного артельного устава, и всё — и одежда и обувь — было общим, никому лично не принадлежавшим, кроме нательных рубаш. В общем пользовании находились две-три телогрейки, столько же резиновых сапог на вырост, в остальном — успевай только хлеб на стол.

— Вот считай, — говорила тетка Вера, — восемь обормотов, да мы с отцом, итого — десять ртов. Клади по полбуханке в день на каждого, это уж я так, в самый обрез беру, летний день велик, да и особых разносолов к этому хлебу нетути — картошка, огурцы, камсица, к вечеру — щей чугуны... Вот и считай: пять буханок на день. Это полсотни кирпичей на десять дён. Так? А на месяц полтораста буханок. Кровь из носу, а вынь да положи! Ох, Женька, затянулась мешки из города таскать! — И, сверкнув минутными слезьми, тут же смеется: — Вот давали бы мне машину — никакую не взяла бы: ни «Москвича», ни «Победу», взяла бы хлебный хургон.

В летнее время остальные витамины «обормоты» добирали сами: шастали по окрестной «пересеченной» местности и, как в доисторические времена, когда труд еще не сделал человека человеком, ели свербигу, щавель, корни лопуха, просвирник, обножья первоцвета, дудник, почки и листья липы, пупырь, покосную землянику, шмелиный мед, черную бзюку, прикорневые побеги ситника, заячью капусту, дикий лук, головки клевера, цветы белой акации, стручки гороха и вики, молодой овес и вату подсолнуха...

Под осень откочевывали в леса и набивали брюхо ежевикой, смородиной, дикими яблоками и грушами и прочей лесной садовой, поскольку своих садов в деревне не заводили, тратить землю на них считалось баловством, и почти все огороды отводили под матушку-картошку. Так что вся эта моя двоюродная братия, с самой весны переведенная на беспривязное содержание, уходила в зиму, как говорят ученые ветеринары, выше средней упитанности. За долгое наше лесостепное лето они никогда не стриглись и не мылись с мылом, от их жарких, пропеченных тел и жестких, выцветших волос пахло зверушачьей дичиной, кожа, искусанная комарами и оводами, исцарапанная колючками, обретала цвет каленого чугуна, а подошвы ног задубевали настолько, что полуодичалые родичи мои могли выплясывать на углях догорающего костра, непринужденно напевая:

*За два сольди эта песенка плоская,
Люди слушают, вздыхая и мечтая,
И тебя вздохнуть заставит то же
О твоей беспечной юности она...*

Мне всегда было заманчиво гадать, кем они станут лет этак через пятнадцать, может, среди этих вихрастых дичков бегают какой-нибудь выдающийся деятель или гений. Но вот прошли эти пятнадцать лет, и я уже знаю, что чуда не произошло: ни один из них не доходил до конца даже сельскую школу, и теперь добывают свой хлеб, кто как горазд. Первый же суховей выдул их из деревни, и они, о том ничуть не жалея, легкие на подъем, разлетелись по белу свету, как осенние паутинки. И только тетки Марусины, самые старшие среди двоюродных толкачей, устояли против ветров и удержались на отчей земле.

В деревню я наезжал под воскресенье порыбачить и обычно останавливался у тетки Маруси: у нее было не таклюдно и всегда находился угол для ночлега. Тетка Маня являлась старшей из моих деревенских теток, и в то время как у других ребятня еще только подрастала, а дома походили на гудящие улы, в ее старенькой вдовьей хате заметно поубавилось колготы. Двое — Севка и Колька — уже служили в армии, где-то в Восточной зоне Германии, дома оставались только Сашка да младшая Нинка.

Правда, я все реже навещался в исконные места. После смерти дедушки главной моей привязанностью в деревне оставалась река. На ней, некогда раздольной и обильной, с заливными покосами, под многоопытным взором деда учился я глядеть и слушать, угадывать рыб по одному только всплеску, ставить в лопушистых затонах верши, которые перед тем вместе плели из пахучей ошпаренной кипятком лозы, держать в руках косые и узкое прогонистое весло, править им с кормы, гребя только по одному борту, удержи-

вая на стрежне тяжелую плоскодонку с сеном. В вешний разлив река взбухала по самый порог, и мы с дедом ночи напролет просиживали на полузатопленном крыльце, отпихивая баграми призрачно белевшие льдины, дабы не боднули они угол избы, не своротили ее напрочь, и было слышно, как над глухим урчаньем воды, над тяжким стоном матерых крыг все тянули и тянули к северу, устало перекликаясь, косяки гусей и уток.

Вскоре после кончины дедушки Сейм наш на моих глазах стал сдавать, утрачивать былую полноводную степень, неопратно и дико зарастать долгими космами водорослей и, никогда не спешивший, униженно побежал на проступивших меляках, засуетился в травяных тенетах, и пошли-поперли по нему пески, уже на другой год буйно закипавшие дурнишником и болиголовом. И там, где прежде с опасливым всхрапом переплывали в луга деревенские кони, ныне на одной ноге стояла цапля, выглядывая в липкой тине лягушат. Трудно было поверить, что еще до войны здесь заводили невод и в помощь дюжине мужиков, тянувших бечеву, впрягали в придачу и лошадь. Помню, как закипала рыба в сомкнутом кошельке, как свечками выбрасывались бронзовые тела карпов, и рыбки в исподнем белье забегали по мелкому и начинали лупить веслами по воде, отпугивая карпов от берестяных поплавков, не давая им выпрыгивать из невода. Рыбу высыпали в лодку, и дедушка отвозил ее на деревню делить между артельщиками, где у причальных мостков уже толпились бабы с корзинами и лукошками, а я сидел на носу лодки, опустив босые ноги в парное, бьющее хвостами серебро... Еще кое у кого можно найти на чердаках и поветях трухлявистое полотно сетей, вентера и мережи, но с деревенского стола уже давно ушла рыба, из которой бабушка стряпала пироги, залитое яичницей жарено, томленные в молоке котлеты. Ныне все это заменила хамса, килька — «на рупь сто голов», как называет тетка Вера.

Ко времени моего рассказа на прежних толкачевских тонях кое-где остались разрозненные ямки, в которых держалась одна только мелкота, и я, навьючив свой велосипед всякой рыбацкой всячиной, все чаще стал миновать заречье Толкачево, ночуя у дальних мельничных омутов, еще хранящих некую первозданность.

* * *

Но не о рыбе речь. О ней помянулось к слову, мне же хотелось сказать, что ту майскую ночь коротал я на мельничном плесе, пробовал ставить подпуска, весь продрог, лазая в темноте по мокрым от росы лознякам, и утром, уже по солнцу, сморившему меня своим теплом, отправился восвояси: на этот раз через деревню, дабы передать тетке Мане растирку от ревматизма, приготовленную моей матушкой из бог-весть каких снадобий.

Еще издали я увидел у ворот кучку народа, под ложечкой нехорошо похолодело, но вскоре с облегчением уловил пиликанье гармошки. Над печной трубой курчавился единственный во всем уличном порядке поздний дымок, и вместе с ним напахивало какой-то стряпней.

От самой войны в этой избе не заставал я гульбищ, ни в Май, ни в Октябрь, ни в Христов день, не видел я тетку иначе как в расхожем одеянии, а тут, когда я уже подруливал к подворью, вдруг из толпы вывернулась сама Маня с коромыслом и ведрами, и была она в белом платочке и новом бумазейном платье, красном и жарком, странно неузнаваемая, нелепая, не своя. Кто-то из молодых девчат отнял у нее ведра и побежал к реке за водой, а разнаряженная Маня, оставшись без дела, медленно, напряженно, держась рукой за поясницу, стала пристраивать себя на скамейку рядом с гостями, но, разглядев меня, всплеснула руками и валко поковыляла навстречу.

— Глянь-кось, племяш! Я тебя оттуда каравую, а ты вон откуда! Или опять на мельнице ночевал?

Она была боса. То ли вздутые шишками суставы у основания больших пальцев не позволяли обуться во что-либо, сообразное с ее новым платьем, то ли просто так роскошествовала босиком по мягкой майской мураве. Впрочем, на фотокарточке, отснятой еще в пору девчества в начале тридцатых годов, стояла она навытяжку, по-солдатски, опершись рукой о высокий подцветочник, будто готовая на какую-то предстоящую битву не на жизнь, а на смерть, еще тогда не подозревающая, что ей и на самом деле выпадет эта смертельная баталия. Напряженно-строгое лицо обрамляли подпюенные щипцами букольки наподобие Михайлы Ломоносова, а на ногах были туфли на высоком каблуке с детскими поперечными ремешками, тоже составленные строго, по-уставному — пятки вместе, носки врозь. Эти ее единственные парадные туфли, кажется, и теперь хранятся где-то в Манином сундуке.

— Заехал, мази тебе привез. Мать наказывала на ночь растираться.

— Ой, молчи, малый, и болеть-то некогда, народу вон назвала.

— А я уж думал, не случилось ли чего...

— То-то и случилось: Саньку мово в армию провожаю.

— Как — Саньку? — изумился я, зная, что Сашке вроде бы еще не время.

— Тех двоих со слезами, — не ответила на мой вопрос Маня, — а этого решила с музыкой. Ну, заводи, заводи свою козу.

За плетнем, во дворе, сам Сашка в белой сорочке с расчесанными на пробор волосами сидел на табуретке с гармошкой на коленях. Закусив язык, он старательно вышлепывал на пуговицах все то же «Сольди», и подростки годков по пятнадцати-шестнадцати,

парнишки и девчонки, тоже прибранные, благоухающие духами, толклись парами на серой подворной земле. Томительно-щемящие всплески гармошки завораживали, и девчата, мечтательно глядя куда-то поверх плетня, отсутствующе переступали по крестикам, оставленным в пыли куриными лапами.

*Но для тех, кто здесь надеется и любит,
В песне вечная история любви.*

И было странно слышать эту нездешнюю мелодию в Марьином дворе, где на кольях сохли стеклянные банки и какие-то постирушки.

Я кивнул через плетень Сашке, тот, не переставая играть и вслушиваться в собственную игру, ответил мне тоже кивком. Прислонив велосипед к ограде, я огляделся, ища себе пристанища, и прошел в палисадник, усыпанный снежком недавно отцветшей черемухи.

Там, на скамейке и просто на земле, уже сидело несколько человек в ожидании стола. Я пожал руку дяде Аполлону, тетке Веринному мужу, сухому, будто проявленному мужику с темным узким лицом. За ним сидел долговязый медлительный дядя Федор, муж тетки Лёны. Нижняя губа у дяди Федора всегда как-то устало отвисала, наверно, оттого, что он сизмальства не мог дышать носом и по той же причине говорил глуховато, гуняво. Отпадавшая губа придавала его лицу выражение детского удивления, но держался он с достоинством, больше молчал, слушал других и непрерывно скручивал козы ножки из самолично выхоженной махорки.

Пожаловал и толкачевский участковый, грузный, весь розовенький Иван Поликарпыч, по прозвищу Кубарь. Пришел он без форменной фуражки, в сетчатой тенниске, заботливо выбритый, и было заметно, что он наслаждался, благоденствовал в своей необязательной штатской одежде.

Из остальных я узнал только соседа через две избы Симу. Сима, напротив, был запущенно небрит, в выпростанной рубахе и старых пыльных калошах на босу ногу — словно бы зашел ненароком.

Все усердно дымили, как это заведено в нетерпеливом коротании пустого времени, и я, подсев рядом, тоже закурил из дяди Федорова кисета. Тут же стали спрашивать, что написал хорошенького, из вежливости, конечно, хотя сами никогда моей стряпни не читали, как не читали вообще ничего, сперва из извечной занятости, потом уже по привычке, кроме разве что районной газетки, где время от времени «прописывали» про их колхоз и попадались знакомые фамилии.

— Да рази он правду напишет? — вынес приговор Сима. — Рази он дурак? Э-э, молчи ты... Вон у нас...

И пошло, и пошло наперебой про сельские неурядицы.

Я пытался объяснить, что писать про толкачевские прорехи — не мое дело и что я пишу книги, а это совсем другое. Но понять сие они начисто отказывались, а потому вскоре как-то отчужденно замолчали и принялись глядеть за реку, куда обычно глядели без устали и доуки — идет ли по улице, сидит ли у окна или вот так на скамейке — все толкачевские.

Там, за рекой, за луговой поймой, темнел дубовый лес, еще нагой, но уже нутужно багровый по верхушкам. Заречная сторона всегда манила к себе от деревенской повседневности, и, хотя в лес просто так, зря не ходили, как обычно слоняются по нему горожане, а прихватывали с собой то спрятанный под телогрейкой топорик, то завернутую в мешковину литовку (косье вырубали на месте), все же и толкачи сизмальства входили под его глухие своды с праздничной бодрей и почтением, и был лес для них вроде заветной горницы, куда не всякий раз отпускали будничные дела и заботы.

Как раз в это время под лесом лениво, в безветрии, поднялся столб дыма.

— Никак, горит чего? — насторожился участковый. Мужики молча глядели в то место, где среди темной дубравы молодо зеленел осинник.

— Чему гореть-то? — сказал дядя Аполлон. — Сыро еще в лесу. Поди, ребятишки костер палят.

Дым, однако, погустел, заворочался тутими клубами, высоко взметнулся в синеву неба, где воздушный поток подхватил его и развернул на сторону долгим хвостом.

— Не лесник ли полыхает? — догадался Сима.

— Не мели, — возразил Иван Поликарпыч. — В том годе только горел.

— Э-э, браток, огню не закажешь! Лесник и есть! — Сима вытянул кадыкастую шею, поросшую сизой от проседи стерней. Глаза его заинтересованно повеселели. — Дым в самый раз из Прошкиного распада.

— Может, и Прошка, — согласился дядя Аполлон.

— Ево место, — кивнул дядя Федор.

— Я ж и говорю. Больше гореть некому. — Сима пересунул на голове толстый суконный картуз. — Интересно, сено али изба?

— Должно, сено, — определил кто-то из мужиков. — У него еще от той зимы целый стог остался.

— Дым белый, ясное дело, сено, — подтвердил дядя Аполлон.

— Эх, как занялось-то! — Иван Поликарпыч грузно привстал со скамьи, отряхнул с зада прилипшие лепестки черемухи. — Пойтить позвонить нешто. Никак, серьезное что...

— Нехай горит, чего там! — сказал Сима.

— Ежели сено, дак все одно не поспеть, — подал голос и дядя Федор. — Минутное дело копне сгореть.

— А коли не сено? — усомнился участковый. — Нехорошо...

— Сено! Берусь на спор! — уверил дядя Аполлон. — Кабы б изба, черным бы повалило.

— Сядь, Карпыч, не расстраивай компанею, — дернул участкового за штаны Сима. — Пустое. Скоро Троица, Прошка новины накосит. Ему с этим вольная воля.

Иван Поликарпыч потоптался в раздумье и снова уселся.

— А я уже думал, что изба. — В голосе Симы промелькнуло явное разочарование.

— А тебе зачем изба-то? — покосился на него участковый.

— Дак для Прошки — изба сгорит, тоже беда не крайняя. Лес под рукой. Он уже который раз горит.

— Ну горел, да тебе-то что?

— Чудак ты, Карпыч! — хохотнул Сима, обнажив единственный желтый зуб, похожий на бивень. — Как это «чево»? Огонь топору первый сват и брат, поржаветь не допустит. Кому забота, а нам работа.

— Гм... — Участковый пошевелил несуществующими усами.

— Мы б завстречка к нему в самый раз и подкатились. Мол, так и так, давай, Прокоп Спиридоныч, по рукам: денег не возьмем, а так, ерунду — сенца покоситься да кругляшу, с нас и довольно. В две недели новую избу поставим, точь-в-точь как была, никакое начальство не распознает. Вроде как и не горела. А, мужики?

— Дак и деньгами можно, — сказал кто-то. — Денег у него — крышу крой червонцами.

— А чего ж червонцам не быть, — кивнул Сима. — Три свиньи по лесу ходят да четвертую на пасху заколол. Намедни иду стороной, до Прошки еще с версту будет, а свинья из орешника как гукнет, чистая цистерна. Малые поросятки вызрелись, сопят, воздух тянут: живого-то человека небось и не видели.

— Э-э, мужики! Зряшное накликаете, — встрял дядя Федор. — А ежели в избе остались одни дети? Нукась-ка на тебя такое... Дак ты, Симка, никогда детев не имел, тебе и бай дюжа... Балабол...

Дядя Федор сразу же полез за кисетом, и, пока ладил самокрутку, пальцы его дрожали.

Но дым вскоре опал и теперь жиденько курился над верхами осинника. Все сошлись на том, что сгорело-таки сено. О пожаре тут же забыли, и дядя Аполлон, подмигнув мужикам, озоровато постучал в горничное окошко:

— Маня, а Мань? Скоро ли?

Тетка Маруся наконец приглашала в дом. Молодежь шумно повалила занимать места, пожилые входили не спеша, степенно, еще в сенях снимая картузы и кепки.

В избе было жарко от протопленной печи, густо пахло едой, и Сашка, забежав вперед, настезь распахнул створки окон.

— Проходите, проходите, гостюшки дорогая, — встречала людей у порога тетка Марья, и лицо ее цвело добротой и торжественной озабоченностью. — Иван Поликарпыч! Хведор Ихимыч!

— Да идем, идем...

Долго рассаживались за составленными столами, перед тем в нерешительности толпясь в узких проходах. Сашка выпрыгнул в окно и начал подавать оттуда доски, которые тут же, на ходу, мостились на табуретки, добавляя мест. Наконец все кое-как разместились, теснясь, притираясь друг к другу. Сашку, как главную на сегодня личность, посадили в дальнем торце. По обе стороны от него гомонливо пристроились девчонки, выросшие уже без меня и которых я не знал — чьи они и откуда. Старичкам достался передний конец у входа. Вспомнили, что не посадили еще и хозяйку, стали звать ее. Маня, видя, что за столом и так тесно, начала было отказываться: «Кушайтесь, кушайтесь, не глядите на мене», но дядя Аполлон ухватил ее за рукав и насильно притянул. Потеснились еще и затолкали Маню между мной и Иваном Поликарпычем. И воцарилось минутное замешательство и тишина. Было слышно, как в простенке, прихрамывая, выстукивали ходики: «Так, не так, все так. Так, не так, все так...»

На столе проснувшимся Везувием парила к потолку тушенная в печи картошка; остро, чесноком и укропом, пахли холодные, только что из погреба, матово запотевшие в тепле соленые огурцы, наложенные поверх бочковой капусты; румянились поджаренные куски морского окуня, тоже наваленные щедро, горой в большом обливном блюде. Была тут и селедочка, посыпанная колечками лука, и вскрытые банки со ставридой в томатном соусе, и, кажется, по запаху угадывалась и колбаска, затерявшаяся где-то среди нагромождения тарелок и мисок. Бутылки же, которые Маня специально собирала при случае, тонкие, подтянутые, с красивыми коньячными этикетками, а теперь и с содержимым веселого чайного цвета, окончательно делали стол обильным и праздничным.

— Ну, так чево?.. — крикнул Сима и вожделенно потер руки так, будто они у него вконец иззябли. — Как говорится, штой-то стало холодать...

— Давай, давай, разливай... — одобряла Маня. — Саня, ухаживай за девчатками.

Сашка принялся хозяйничать на том краю, а Сима, разлив по стаканам тут, у нас, снова потер руки и, зябко вздернув плечи, спрятал ладони между колен, зажал их там накрепко.

— Иван Поликарпыч, — обратился он со страдальческим нетерпением к участковому. — Говорить чего будешь? Ты ж у нас вроде как местная власть.

— Да, скажу... Надо. — Иван Поликарпыч, кряхтя, выпростал свое грузное тело из тесноты, встал над столом. Некоторое время

он молчал, уставившись взглядом в миску с огурцами, потом начал: — Значит, так, товарищи... мы тут собрались знаете зачем... В общем, проводить вот ее, Марьяна, сына. Пришел срок и ему иттить в наши доблестные вооруженные силы, оберегать рубежи и наш с вами мирный самоотверженный труд. Вот... Два его брата-на, ну, все тут знают об этом, Сережка и Колька, вернее теперь сказать, Сергей Яковлевич и Николай Яковлевич... — Оратор оборотился к висевшей на стене раме с семейными фотографиями, напиханными под общее стекло. — Вот они, стало быть, уже с честью сполняют свой долг. На имя матери, чтобы вам было известно, особенно которые молодые, от командования наших войск в Германии получена благодарность за проявленное мужество при несении службы. Что там совершил Николай Яковлевич, нам того знать, гм... не положено. Но зря такое не напишут. Вот, стало быть, каких орлов вырастила для нашего государства простая колхозница Марья Лексевна. Одна, без мужика, подняла таких защитников нашего Отечества. Вот она с нами тут сидит...

Тетка Маня, оцепенело сидевшая рядом, вдруг нагнулась и зашморкалась в подол своего платья.

— А через нее и нашему селу, и всем нам, выходит, тоже благодарность и уважение, — прокашлявшись в кулак, продолжал Иван Поликарпыч. — А ты, Санька, учти это, ну и, как говорится, умножай традицию, помни, что мы все тут на тебя надеемся.

Сашка, напрягшись, глядел куда-то в распахнутое окно.

— Ясно тебе?

— Все ясно, дядь Вань, — готовно отозвался Сашка. — Не подкачаем.

— Ну вот так вот... — Иван Поликарпыч поднял свою чарку. — Счастливо тебе послужить, сынок!

— Спасибо, дядь Вань! Все будет в норме.

За столом враз задвигались, зацокали стаканами, загомонили.

— Не-е, этот не подведет!

— Санька малый сполнительный!

— Да чего там!

— Верно ты, Иван Поликарпыч, сказал: таких ребят взрастила, да в какое время, не дай повториться...

— Теперь уж свой крест вынесла, пусть отдохнет баба!

— Кушайте, кушайте! — счастливо и взволнованно вознеслась голосом тетка Маня. — Вон рыбка, вон картошечка. Я ее с консервами да с лучком сделала. Закусывайте вволю.

Питье, чем-то подкрашенное под коньяк, весело полоснуло по желудку, и я, проголодавшись после ночного бдения у мельничных омутов, молча набросился на еду.

— Ты ешь, ешь, — подбадривала Маня, выделяя меня из всех особо, как городского, привилегированного родственника. Сама

она, тоже выпив и уже пунцово загоровшись, ни к чему не притрагивалась, озабоченно и ревниво поглядывая, чтобы ели другие. — Не знаю, хорош ли?

— Окунь? Очень хороший! — похвалил я.

— Да не-е, не окунь. Змей-то, змей! — засмеялась Маня.

— Ага, — наконец дошло до меня. — Ничего вроде. Толкает.

— Должон толкать!

— Ну-ка, ну-ка... — ухватился за разговор Сима. — Проверим, та ли марка.

— А чево мене проверять? — ревниво загорелась Маня. — Мое ты знаешь, без всякого одману. На, гляди!

Она рванула от какой-то бумажки на столе клочок, проворно макнула его в свой недопитый стакан.

— Подай-ка спички.

Я достал коробок.

— Э, не-е! — протестующе хохотнул Сима. — Так дело не пойдет! Бумажку и дурак запалит. Я ево во как...

Сима сунул в Манин стакан желтый, прокуренный палец.

— А теперь зажигай!

Все, оборвав разговоры, заинтересованно следили за этой процедурой.

— Жги давай!

— Ну на! Ну на! — горячилась Маня, впопыхах ломая о коробок спички. — Проверяльщик нашелся.

Под одобрительные возгласы палец пыхнул фиолетовым сполохом, несколько огненных капель скользнуло по волосатой руке. Сима, выставив горящий палец перед носом, будто церковную свечку, внимательно созерцал, застыв в скептическом смешке.

— Гляди-ка! Горит, зар-раза... — признал он с напускным удивлением. — А когда пил — вода водой.

— Ой, брехло! — Маня потянулась за моей спиной, норовя стукнуть кулаком по Симиному горбу. — Брехать — не пахать...

— Ей-бо, чтой-то с первой не разобрал. Можя, я не из той посуды? Ну-ка, попробовать из другой.

Это послужило поводом выпить еще, и все опять оживленно задвигались, забубнили обычное: «Ну, побудем!», «Дай-то не последнюю...», «Здоровья хозяйюшке!».

Маня тоже отпила, сыпнула в рот щепоть капустки и, счастливо оглядев застолье, наклонилась к моему уху:

— А я столь уже не затворяла. А тут думаю: счезни оно все, малый в армию идет, пуцай люди погуляют. Да и взяла грех на душу.

Сима услышал-таки шепоток, загремел во весь голос:

— Какой такой грех? Никакого тут греха нету. Произведено ради дела, не для баловства. Народ собрался проводить с почестями, все по-хорошему. Какой грех, верно, Карпыч?

Иван Поликарпыч, не ухватив суть, потянулся к Симе:

— Ты про чего?

— Грех, говорит, на душу взяла. — Сима звякнул ногтем по бутылке.

— А то не грех, — засмеялась Маня. — Коли запретно, то и грешно. Ох, гореть мне синим огнем, вот как твой палец давеча. И уже горела б, кабы не вот он, отпусти ему Бог здоровья. — Она обхватила участкового за плечи и, растроганно сунувшись лицом в его ухо, несколько раз сочно чмокнула. — Вот кому век в ножки кланяться!

— Ладно, ладно, — бурачно налился Иван Поликарпыч. — Не то говоришь, Марья.

Он достал аккуратно свернутый носовой платок, промокнул взмокшие залысины, крутую шею и лишь потом обтер нацелованное ухо.

— Нет, ты мне скажи, — домогался Сима какой-то своей истины. — Не понимаю я этова...

— Чего тебе сказать?

— А вот то: почему нельзя?

— Симка, не козюлься, не охальничай, — весело пригрозила Маня.

— А он пущай даст мне понятный ответ, ежели к этому приставлен.

— А, брось ты! — отмахнулся Иван Поликарпыч и отгородился от Симы кулаком, подпершим бритую щечину.

Сима обиделся:

— Ага, власть слушать не хочет...

— А чево слухать-то, — поспешила наперерез Маня. — Слухать-то чево? Слухать и нечево. Давай, Иван Поликарпыч, споем, молодость спомним.

И, опять приобняв участкового, качнув его боком, поманила за собой тихо, для ближних только:

Скакал казак через доли-и-ины...

— Эк стелется, лиса! — Сима осклабил в ехидном смешке свой единственный бивень. — Два друга — узда да подпруга.

— Симка, тяни давай... — кивком пригласила Маня.

Через Маньчжурские края-а...

— Во бугай! Ничем его не отговоришь, глянь-кось, рога выставил! Иди вон пересядь к Аполлону, не замай человека.

Сима и впрямь поднялся, перекинул ногу в галоше через лавку, но пересел не к Аполлону, а, бесцеремонно отодвинув мужиков, приостился рядом с Иваном Поликарпычем, с другого от Мани бока.

— Ох, мать пресвятая! — Маня завела глаза под лоб. — Слухай теперича одново ево, никому рта не даст разинуть.

А Сима уже гремел своим неприятным, жестяным голосом:

— Вот ты говоришь, дескать, дело противозаконное. Ладно, согласен! Я и сам могу это понять, потому как казенная винополия, и тут всякий не лезь, не вмешивайся. Оно и в старину эдак-то было. Казна есть казна, с этим все ясно, и никто спору не ведет. Тогда ты мне скажи, как мне, крестьянину, быть, ежели выпить надо?

Мужики захохотали.

— А чего вы регочете? Бывает такое — надо, и все тут. Ну, не по-дурному, об этом разговору нет, а вот так, как сейчас, к случаю.

— К случаю тоже можно по-дурному налопаться.

— погоди, Аполлон, не перебивай... Я што имею в виду, какой случай? Ну, праздник там подоспел, дите родилось или вот как ноне. Спокон веку это заведено, и никто этого доси не отменял. Не было такого указа, верно?

— Вроде бы не было.

— Да што я, басурман какой — не угощу людей, когда это надо, когда обиход жизни требует? Угощу! Разобьюсь, а людей привечу! Не стану же я один кофей подавать, позор на себя брать. Вот так-то ежели собраться да сказать: «Ну, товарищи хорошие, дюже рад, што пришли, счас я вам кофеем налью». Согласные?

За столом захекали, запереглядывались.

— Ага, не согласные! — возликовал Сима. — Тогда чем же мне вас угощать?

— Ну так ясное дело, чем...

— Вот тут-то вся и закавыка! Тут-то я, и припер вам всем дамки. — Сима кочетом выставил кадыкастую шею и победно зыркнул направо-налево. — Кабы б я в городе жил да каждый месяц получку получал, ну тогда што ж... Тогда иной коленкор. Подоспела нужда — пошел в магазин да и взял чистенькую в сургучике. Или там две, глядя по гостям. И казна не в обиде, поскольку сполна личными заплочено, и я рук не замарал, закон не нарушил. Все чин чинарем. Верно я говорю?

— Да вроде пока складно, — подтвердил кто-то.

— А меня мать сподобилась в деревне родить, и я никуда отсюдова не убег и бежать не собираюсь. Да и всякого человека возьми, кто землей живет. Я вот в тем годе триста ден заработал, триста палочек. А на ту палочку два рубля деньгами дадено, по двести грамм, считай, по стакану, хлеба. А сколько сургучная головка стоит?

Сима склонил голову и замер, ожидая ответа.

— Да вы и не знаете, отродясь ее не покупали. И я не покупал. Но я вам напому: ежели простая, то двадцать один двадцать. А ежели особая, то двадцать семь рубликов и двенадцать копеечек.

— Ну, это-то нам известно! — оживились мужики. — Это и дураку ведомо.

— А коли известно, тогда и считайте: выходит, всего моего заработку в день — на пачку беломора. Да и то ишо двадцать копеек доложить надо. Пойди-ка на такой капитал вот он, Аполлошка, разгуляйся, когда у ево восемь душ пацанов. Или вот она, Манька. Откудова ей собрать этот стол? Пляди-кось, тут вон и рыбка, и колбаска, и консервица, все как следует. Мы пили не пили, а уже пять пол-литров опорожнили. Где же их взять, эти пол-литры? На какие тети-мети? Вот и получается: или человеку надо што-то украсть, или заводить бачок со змеевиком, то бишь деньгопечатную машину, поскольку бачок и есть фальшивомонетное приспособление.

— Господь с тобой, чего говоришь-то! — перекрестилась Маня.

— Вот над чем я бьюся! Ты и скажи мне, Карпыч, ты и разъясни, как с этим быть, коли у закона стоишь.

— Да чево ты от человека добиваешься? — опять вскинулась Маня. — Чево лезешь на дышло? Наливай вон да пей, кто тебе запрещает? И человеку дай посидеть. Человек пришел с уважением, ничем тебя не задевает, а ты ему ноздри рвешь, дыхнуть не даешь. Воитель!

— Да погоди ты, миротворица! — сверкнул диковатыми глазами Сима. — Тут об камень головой стучишь, а ты солому стелешь. Меня, можа, за это завтра куда след позовут... Ежели мне за мой хлеборобский труд такую малость дают, то пускай сообразно и цена товару такая же. Ан нет! Цена товару красненькая! А в сельпо ишо и с накидкой. В городе ботинкам или там картузу одна стоимость, а в деревне за тот же картуз дороже просят. Опять же спросить: почему с наценкой? По какому такому размышлению крестьянин, у которого нигде не звенит, не брякает, должен переплачивать? Ну дак ясно дело, никто не будет сбавлять цену до мово трудодня, до моих медяков. Дак тогда набавляй мне заработок, чтобы все сходило. Оценивай мою работу по товару, и вся недолга.

— Ну шустер, Серафим! — задвигались мужики. — Ну бреет! Где ты только насобачился?

Сима горделиво покашлял и, одобренный похвалой, задал неожиданный вопрос:

— Кто тут Маркса читал? Только без брехни. Карпыч, читал Маркса?

Иван Поликарпыч не ответил. Отвалясь на спинку стула и опустив веки, будто ставни от непогоды, в этом своем как бы отсутствии он терпеливо перемогал Симу.

— Не читал! По лицу вижу, что не открывал даже. А я заглядывал. Я, брат, полистал, была такая охота. Понять, конечно, многое не понял, не про меня писано, но кое-што ухватил. Там как сказано? Ежели ты работник, стало быть, за эту свою работу ты должен и сам поест, и детев своих накормить, сам обуться-одеться и чадов обуть-одеть, да еще и делу своему выучить, потому как они пос-

ле твоего износу место твое займут. А коли работодатель этого не соблюдает, то затея его непрочная, недолгая, одного только укусу.

— А насчет выпить ничего не написано? — подмигнул дядя Аполлон.

— Дак и это, надо думать, предусмотрено для нормального развития, поскольку без этого трудящему человеку тоже нельзя, душа у него сморщится, как сапог немазанный. Ну-ка, налей, Марья Алексеевна, к слову сказать.

Сима, не дожидаясь Мани, сам же и разлил по стаканам и, подняв свой, провозгласил:

— Так што, участковый, ежели люди запрета не блюдут и сургучную не покупают, стало быть, есть какая-то причина. Запрещай, не запрещай — тут уж ничего не сделаешь. Тут, брат, помимо писаного, неписанный закон себя кажет. Все одно как если б тебе не нравилось, что у собаки хвост крючком. Ты можешь отрубить этот хвост, собака станет куцая, а все одно кутята от нее опять народятся с хвостом.

— Понес, понес! — всплеснула руками Маня. — К какому тыну тут собачий хвост, царица небесная? — И, подскочив, весело запричитала: — Ой, да хватит вам, мужики! Пейтя, гуляйтя! Молодежь, вы там тоже не скучайтя. Может, кому чево надо, дак не молчитя.

— Всего хватает, тетя Мань, — дружно отозвались с другого конца.

— Вот и ладно! — закивала Маня. — Чтоб все по-хорошему.

Она вылезла из-за стола, сходила куда-то и, воротясь, выставила еще три бутылки, на этот раз простых, без виноградных лоз на этикетках. И содержимое их было тусклое и будничное. Одну бутылку она передала на Сашкин конец, остальные поставила перед мужиками.

Иван Поликарпыч встал, однако, засобиравшись уходить. Он приложил ладони к груди и чинно покивал всем тыквенно блестящей лысиной:

— Благодарю за компанию, товарищи. Марья Лексевна, спасибо.

— Да што ж так-то! — всполошилась Маня, тоже вставая. — Уже и уходишь, гостюшко дорогой.

— Надо итить.

— Иван Поликарпыч! — тоже зашумели мужики. — И не посидел как следует.

— Посошок хоть давай.

— Не, предостаточно.

— Да брось ты!

— Не могу, не могу. Ну, значит, Александр Яковлевич, неси свою службу исправно, как братья твои.

Санька поднялся, поправил чубчик.

— Ну и возвращайся потом в деревню. Будем ждать, в общем.

— Спасибо, дядь Вань! За мать спасибо!

— Ну ладно, ладно.

Маня проводила Ивана Поликарпыча за калитку и, воротясь, тут же набросилась на Симу:

— Это все ты, балабол! Распахнул ширинку. Так стыдно, так стыдно, ушел человек.

— Не велика шишка.

— И долбит, и долбит, все темечко проклевал, осмодей беспонятливый.

— А чево я такова особеннова? — Сима возвысил голос и в сердцах отшвырнул вилку. — Пляди-кась!

— И глядеть нечево. Вот же не хотела тебя звать, дак сам отыскался, за версту чует. Ох!

Маня цапнула себя под левой грудью, болезненно поморщилась.

— Оно, конечно... тово... не надо бы... — изрек рассудительный дядя Федор. В продолжение всего недавнего спора он, народитель восьмерых Федоровичей и Федоровен мал мала меньше, сидел, младенчески приоткрыв рот, переводя тягуче-задумчивый взгляд то на одного, то на другого, не принимая ничьей стороны. — Про это... гм... тово... не надо бы, говорю...

Неожиданно в распахнутую уличную створку постучали, и все враз примолкли...

— Маня, а Мань! — позвал старушечий, ломкий голосок. — Дома ли?

— А ктой-та? — отозвалась Маня.

— Да я это, я.

— Ты, баб Дусь?

Над подоконником высунулся белый платок бабки Денисихи, одинокой старухи, обитавшей где-то на другом порядке, за огородами. Мокроватые глазки шустро обежали гостей и закуску.

— Чего тебе, баб Дусь?

— А и ничего. Вижу, не ко время я. Опосля зайду.

— Да тут все свои, Саню мово провожаем.

— Н-но? Далече?

— В армию. Двое-то у меня уже тама, а этот младшенький.

— Н-но! Уже обсолдатился? Ерой! А я слышу от себя, у Мани гармошка. Што за причина — не святая неделя, не Троица, а гулянье? А оно вон дым-то откудова. Ну-к што ж, нехай пойдет послужит, нехай. Теперь не война, служба не чижолая, сытная да чистая. Мой-то внучек Васенья пошел, да насовсем и остался, понравилось. Сперва действительную отбыл, а после в училища на командира, а щас — эполеты носит, пояс золотой, рукавицы белые. Карточку прислал — прямо красавец! А теперь оженился, квартира, пишет, хорошая, с водопроводом. Нутя... Одно токо худо — домой не ка-

жетца, пишет, не пушшают. А я-то привыкла к ему, без отца, без матери рос, вот как прилипла, пока выходила. Ну, дак зато ему теперь удача выпала, и то мене радость большая, негаданная. Ступай, ступай, соколик, служи, не сумлевайся, добрый час тебе.

— Да ты заходи, баб Дусь, — позвал Сашка, обласканный ее словами, благами предстоящей службы. — Посиди с нами.

— Спасибо, Санюшка, спасибо, болезный. Што ж я пойду-то мешать, юбка рваная, с огорода я. К себе побреду, хата брошенная.

Денисиха, однако, не уходила, все толклась у окна, белый хохолок ее платка дрожливо застил дальний заречный лес.

— Ну хоть так, рюмочку выпей! — настаивал Сашка и, не дожидаясь согласия бабы Дуси, протиснулся по-за лавками, выставил на подоконник полстакана, кусок рыбы на хлебушке.

— Ох да голубчик белый! Да разлюбезный ты мой! Не в мои годки пить-то, да ради такого случая, так и быть, оскоромлюсь.

Денисиха потянулась сухой курьей лапкой, взяла с подоконника стакан, на какое-то время ее платочек исчез из виду. Но вот сыренькие глазки снова объявились на уровне подоконной доски, часто смигивая красноватыми веками.

— Хороша-ай! — с веселым испугом перевела она дух и отщипнула от окуня хребтинку. — А это кто ж такой сидит, не признаю никак? Рядом-то, рядом.

— Племяш мой, — представила меня Маня. — Полькин сын.

Денисиха, соображая, с пытливой мукой уставилась на меня.

— Ну Полянкин, сестрин, которая в городе. Иль забыла?

— Н-но! Полянку-то помню. Как же! Дак сынок ее? Нутя-нутя... Носами-то схожие, носы у вас у всех заметные. Ага, ага. Племянник, стало быть... Ну, коли все тут свои, то и скажу. Маня, зачем пришла. Да зачем...

Денисиха, кряхтя, забралась на завалинку, отодвинула стакан в сторонку.

— Гонит давеча Лаврушка трактор с плугом, пахал здесь на деревне, думаю, дай допытаю, может, и мне одним обиходом перевернет огород. А то шутка ли лопатою-то копать, силов вовсе не стало. Нутя... Остановил, хохочет пострел: а это, мол, будет? А у меня, как на грех, и не оказалось. Была одна запрятанная, на черный день берегла: заболею али и вовсе помру — ямку выдолбить, кто ж меня за так туда определит, одна я... Берегла-берегла, а под Май и стравила...

— Одна пила? — хохотнул Сима.

— Чево? — Денисиха оттопырила платок возле уха.

— Одна, говорю, опорожнила?

— Подь ты, варнак! Такому, как тебе, и выставила. Хата совсем облупилась, стоит как зебра пятнатая, а тут Май вот он, перед людьми совестно. Я и попросила глинки-то привезти, стены обмазать. Ну

дак платить-то нечем, какие мои доходы? Да нынче деньги и не спрашивают, знают, нетути у людей трояков, неоткуда им заводиться. Ну дак заместо денег подавай лиходея этого, горыныча распроклятого.

— Все верно, как по-писаному! — согласно тряхнул кудрями Сима. — Как-то оборачиваться надо? Сполнять всякие услуги промеж собой? А коли не звякает, люди сами себе валюту придумали.

— Ага, ага... — закивала Денисиха. — Сенца ли привезти, дровишек — подавай окаянного. Без этого с тобой никакой шохвер балакать не станет. Дак которые и не пьют — и те припасают заместо трояков. Нынче это до всего отмычка. Ох ты господи! Ну да и отдала я тот свой припас за глину-то. А нынче приспело, Лаврушка с трактором подвернулся, а у меня и нетути. Да пока он там налаживается, побегла спросить. Думаю, у Мани седни гармонь, никак, есть чево, можа, и даст взаймы.

Маня молча встала, сходила на кухню, вынесла оттуда газетный сверток, протянула Денисике.

— Ну дак вот-то как ладно обернулось! — обрадовалась баба Дуся. — Дай Бог те здоровья всякого. А я, буде случай, отдам.

— Не надо мне ничево, — отмахнулась Маня. — Это уж за Санино благополучие.

— Ну, благодарствую, коли так. Ох, оскудела я, Маня, хозяйство мое совсем никуда низошло. Одна душа, а боле ни шиша. Как дворовые у худого барина. Обносились, обтрепались за войну, да и опосля войны уже десять годков прошло. Не знаю, как по другим местностям, а по нашей уже скорее бы государство прибрало землю под свое начало. Да платило б нам хоть помаленьку. Как же крестьянину без копейки-то? Дети у нево, чай, тоже не кутята, не в шерсти родятся, чтоб без всего по улице бегать. Ботиночки, одежку справить. И учить их надоть, ученье тоже живую копейку требует. Со своего двора, с одной картошки нет мочи всю эту справу тянуть. Эдак и от теперешней веры, того гляди, отобьются, пьянство пойдет, от земли побегут, помяни мое слово! Ох, похромаю, девка, чево там Лаврентий без меня наковырял? Еще, варнак, сарайку трактором заденет. А рыбку я заберу, придет охота, скушаю.

Трясучей рукой в темных крапушках Денисиха убрала с подоконника остаток окуня, потянулась опять и взяла хлебный ломоть.

Маня принялась хватать с тарелок что попадется, поспешно заворачивать в газетку.

— На-ка, баб Дусь, еще, а и правда дома поешь без спешности. Тут вот и селедочка.

— Ох! Да, милая! Возьму, возьму гостинчик, пососу солененького, оском собью.

Денисиха пропала в окне, и гости, будто того только и ждали, враз загомонили, загалдели, застолье пошло своим чередом — весело и шумливо.

Сима вылез из-за стола, устроился на подоконнике, задымил газетную косульку, сыто поплеывая в палисадник. Галоши его соскочили с голых пяток и болтались на одних только носках.

Подвыпившая Маня обняла меня за плечи, в наплыве родственного расположения качнула к себе, обмякшей и жаркой.

— Ну вот, племяш, провожу я Саню, и камень с шеи. Теперь я выпуталась! Одна только Нинка при мне. — Маня хохотнула и опять истово сдавила мне плечи. — Рази меня гром, Женька, великая я грешница! Во всем грешна!

— Да брось ты, тетя Мань! Что ты так на себя?

— Молчи, малый! — Она посмотрела на меня усмешливо, с доверчивой теплотой. — Если тебе по правде, то Саня мой не по годам идет. Вот-те крест! Ему ж, голубю, только семнадцать исполнилось. — Тетка прильнула к моему уху и зажужжала торопко: — Я ему годок лишний выхлопотала. Только ты абы кому не надо, а то не возьмут. Пошла в сельсовет, там у меня одна знакомая в секретарях, так, мол, и так, сделай милость, нехай малый идет... А он, Саня, и правда сам поохотился. Братья пишут, служат хорошо, в хороших частях, учат грамоте, и так, по технике, домой, дескать, придут не с пустыми руками, а со специальностями. А тут эта бумага про Колю подоспела, от его начальства, чем-то он там отличился на ученьях, не знаю я... Ну, Саня и загорелся: «Мам, пусти да пусти. Не хочу больше тут, чего зря время теряю». И пусть себе идет. Ох и набедовалась я с ними, пока выходила, не приведи Господь!

На кухне что-то загремело. Маня неловко, хватаясь за стены, мотнулась туда, турнула набившихся кур и воротилась с миской капусты.

— Ты-то в Казахстан тогда уехал, — подсела она ко мне снова. — Не видел этого. (И верно, я не пережил сполна российских сорок шестого и сорок седьмого: в Казахстане в то время было терпимо, помимо карточек разживались кукурузной мукой и кониной.) А у нас только война кончилась, в колхозе ни мужиков, ни тягла, а тут вот тебе еще напасть — сушьхватила.

— Засуху-то я еще застал.

— Ну, все равно в городе тебе не так было заметно. А у нас! — Маня шумно втянула воздух, округлила глаза. — Земля трескалась, порвалась глудами, веришь, скотина ходить боялась. Идет, землю нюхает, как будто не узнает. А ветер — што из печи, так и обдает жаром. Отсюдова, из деревни, было слышать, как лес шумел обожженными листьями. Да и разделся он в тот год рано, чуть ли не в августе. Страх-то какой! Пожары зачались по деревням. Копну-копну под картошечным кустом, а там пусто, пыль горячая. Да и кустов иных уже не найти, иссохли, рассыпались в табак. А хлебушко! Так мы тади старались, с таким трудом посеяли, а он колос толечко успел выкинуть, а дальше сил у него не хватило,

обник, бедный, остался стоять пустой соломой. Плядеть на него больно. Прибегу, бывало, из колхоза, и стою, не знаю, за што браться: в избе пусто, ни маковой росиночки. Ох, лихо ты мое! Не забыть этого... Ну вот. Осенью собрал нас бригадир, Михей Иваныч тогда был, хороший человек, совестливый. И говорит: вот какие дела, бабоньки, сами все видите, хлеба в этом году не будет, давать нечево. А про остальное и говорить не приходится. Но трудодни ваши остаются в силе. Ежели на тот год уродит, тади и рассчитаемся. А пока, если хотите, забирайте на корню солому, может, чево из тех колосьев и налущите, все же не трава... Ну, мы и пошли по домам... И вот, Женя, когда я под весну схоронила девочку — ты ее и не помнишь, — легла я и не встаю. Думаю, не встану, поколь не помру. Пока война шла — крепилась, из последних сил жила, пережить беду, а когда немца-то одолели, тут-то и расслабилась я, думала, теперь прошли все напасти. А на новую беду, грянувшую голодную, я уже собраться не сумела, кончилось во мне все горячее. Уж и помереть решилась, но дети не дали. Скулят-скулят на печи, душу мою выматывают. Встала я, а ноги в сапоги не лезут, налило их какой-то водою. Ну, поднялась через силу, обтерпелась, помолилась угодникам, собрала деток, Нину маленькую на руки, те трое — за подол, и побрели мы чуть свет со двора невесть куда... Да пошли не по улице, а крадучись, огородами, шток никто не увидел... А в чужой деревне, в Букреевке, там только сумки надели. Сереже сумочку, Коле сумочку. Перед тем как уйти, всем пошила. Саня только пустой ходил, дак он не только просить, а и говорить ишо не умел...

Маня заморгала, заморгала, прикрылась рукой, но тут же отняла пальцы, рот ее потянула виноватая улыбка, и уже весело, как не о себе, вскинулась голосом:

— Ой, да ладно, чево взялась вспоминать! Я и сама теперь не верю, что это со мной приключилось. Будь бы жив Яша, разве я пошла бы со двора? А то одна — растерялась. Ты-то Яшу помнишь, не забыл?

Дядю Якова я помнил хорошо. Родом он не наш, не толкачевский, а из-под Воронежа, из-под Лисок. Еще в Гражданскую мальчонкой подобрал его бездетный дед Кудряш и привел в дом. Парнишка прижился, стал помогать по хозяйству. Кудряш объявил его сыном, а потом, за несколько лет до войны, женил его на моей тетушке. Был он невеликого росточка, много меньше Мани, но живой, непоседливый и мастеровитый. Помню, в их избе всегда пахло сушившимся деревом, клеем, кипела стружка на полу, словно взбитая пена, нежная фуганочная стружка, в которой барахтались ребятишки. В зимнее время ладил он ларцы, сундучки, детские зыбки, прялки, решетчатые колясочки, салазки. Все это празднично смеялось ажурной резьбой и выдумкой. Но особенно было интересно, когда дядя Яков затевал строить лодку, как потом, уже готовую, свежее-белую, выка-

тывал по весне за ворота и там, под горой, на молодой травке при жарком костре и всеобщем восторге деревенских ребятишек поливал ее смолой. Правда, одно меня в нем отпугивало: он глотал полными ложками соду и, запрокинув голову, что-то закапывал в глаза. А потом стал ходить в черных очках и все реже брался за инструменты... По этой причине на фронт он не попал, а взяли его позже в строительную команду. Там он где-то и загинул...

— Штой-то сердце опять давит... — замерла Маня, не отпуская, однако, улыбки, все еще пытаюсь удержать ее на мелко задрожавших губах. — И не давит даже, а как боднет-боднет... Давай, племяш, выпьем, что ли?

— Не надо тебе больше. Валидол есть в доме?

— Не, этим я не пользуюсь. Я, когда, бывало, прихватит, стопочку выпью, оно и отпускает.

— На время и до поры.

— Оно дак и все до поры. Кувшин вон тоже до поры. Когда-нибудь да хряснешь.

— И кувшин у бережливой хозяйки стоит да стоит.

— Э, милай! — засмеялась Маня. — Ежели ево в печку не ставить, дак на хрена он и нужен!

— А все же приляг, послушайся.

— Не-е! Щас пройдет! — упрямо тряхнула куделями Маня. — Я ишо плясать бу...

Маня оборвала слово, закусил губу и удивленно уставилась на меня, и тут же глаза ее начали пустеть и меркнуть.

— Идем, приляжешь. С этим не шутят.

— Да что ж лежать-то я буду. Людей назвала...

— Пошли-пошли. Тут душно, накурено.

Маня, с сожалением окинув стол, вяло поднялась, и я незаметно для гостей, занятых разговорами, отвел ее в кладовушку с маленьким, в лист писчей бумаги, оконцем, где была какая-то постель.

Маня прилегла навзничь. Боковой свет резко вычертил ее грубый мужичий профиль с крупным вислым носом, какой присущ всей нашей породе. Но у Мани эта топорная аляповатость передавалась особенно въедливо. Она и в девках не слыла красавицей, и я не знаю, чем приглянулась она дяде Якову, любителю всего изящного, аккуратного. Разве смолистой надежностью только?

Здесь, в тихой полутьме закутка, было слышно, как за стеной отчужденно, занятый своим славным сегодняшним делом, бражно гудел и бурлил переполненный дом, и неподвижно лежавшая Маня ревниво, всем своим существом впитывала это желанное, давно задуманное гудение.

И как раз в эту самую минуту игристо брызнула Сашкина гармошка, и кто-то из девчат, со звонцой в голосе выхватил первый попавшийся куплет:

*Вот на четвертом этаже
Окно распахнуто уже,
Еще окно, еще окно, еще одно-о-о...*

Остальные обрадованно подхватили:

*Эта песня для кварталов пропыленных,
Эта песня для бездомных и влюбленных...*

И та, первая, опережая других, вызывающе взвилась, взлетела еще выше и там, на одной только ей доступной высоте, горделиво парила тонким красивым голоском:

*И поет ее влюбленная девчонка
В час заката у себя на чердаке...*

— Это Санина выводит, — одобрила Маня, глядя в потолок. — Ишь как тоскует.

— Уже завел?

— С самой зимы чуб прилизывает...

Она умиротворенно перевела дух. Видно, ей нравилась эта песня. А может, и не столько сама песня, сколь просто пение за ее столом в ее долго молчавшем доме.

— Ты иди, гуляй, — сказала она.

Я взял ее руку, пощупал пульс.

— Тебе к врачу бы надо.

Маня не ответила, а лишь неприязненно сдвинула брови. Я озабоченно попросил:

— Ну хотя бы не пей больше. Нельзя тебе.

— С добром возиться да в добро не стать? — Она слабо усмежнулась. — Когда заводишь, дак и попробуешь. Кашу варишь и той зачерпнешь: солена, не солена... А тут как не испробовать: ведь другим пить... Ну, стопочку да другую — вот и напробуешься к концу дела.

— А тетка Лёна как? Тетка Вера?

— Дак и они... Ить детей куча...

(Тогда еще ни Мане, ни мне не могло быть известно, что через несколько лет тетка Вера вот так же, придя с поля, ойкнет и замрет на постели в чем была — в сыром ватнике, в резиновых сапогах с прилипшими к подошвам бурашными листьями. Тоже, бывало, все от сердца рюмочкой лечилась. И останутся одни с Аполлоном ее восьмеро...)

— А кто нынче не пьет? Все бабы, которые войну пережили, все до единой. Разве уж которой нельзя вовсе. А теперь дак и девки почему зря глотают. А пацанва — ишо только в третий класс ходят, а уже четвертинку с собой в школу берут, на большой перемене в кустах высасывают... — Глаза ее опять засветились смешком. — Да

што пацаны! Захожу тут к одной... Ну, сказать, знакомая... Как раз в самое пекло попала: печка пылает, бак бурлит, окна припотелые, ну, как положено. Заболтались мы с ней, а пацаненок ее бесштаный, грязную попу мухи облепили, подладился к бачку и подставляет ложку под шнурок. Ждет, постреленок, пока накапает. Выждет — и в рот. Опять выждет — и опять в рот. И даже не морщится, токо побрякивает, как большой. Мать подскочила, давай его нашлепывать по голой заднице: ах ты, поганец сопливый, рано тебе ишо, рано. Штаны вон на плетне сохнут, а ты уже опохмеляешься. — Грузный Манин живот затрясся в смехе. — И грешно смеяться, да... чево делать, коли смех берет... глядеть на такое. А все ради них стараешься. Да и при них же!

Она долго потом лежала молча, большая, громоздкая, с выпирающим бугром живота, будто выброшенная на песок моржика. Взгляд ее был спокойно устремлен в оконце, в безмятежную майскую синеву, где веселыми росчерками промелькивали касатки с вильчатыми хвостиками. И, не отрывая от ласточек глаз, она с тем же спокойствием объявила:

— Меня уже и судили за это. Гд давали.

Я тоже уцепился взглядом в окошке за наплывшее облачко, похожее на ватный тампон, и стал наблюдать за ним, как оно наискосок пересекало оконный квадратик.

— Поскольку дети, дак не сажали, посчитали условно. Подписку только взяли, мол, случай чево — не пеняй.

Облачко достигло середины оконца, и было похоже, что ласточки, мелькая, общипывают его со всех сторон.

— С год терпела, не притрагивалась. А потом думаю: сщезни оно все, буду помаленьку да с опаскою. Шутка ли — четверо, а дома одни огурцы да картошка. Вот тоже комедь! Вырыли мы с Севой в погребе затулок на случай чево, штоб прятать там причиндалы. Ну а когда сусло затворю да плиту почну кочегарить, ребятишек в дозор высылаю. Севу с Колей — на зады, на огородную дорогу. Саню с Нинкой — на улицу: дескать, играйтесь, а сами поглядывайте. Да смотрите не прозевайте. Вроде как оборону держу. Курская дуга... Ну а сама, значит, в это время колдую... Бывало, только прилажусь, вот тебе бежит кто-нибудь: скорей, мамка! К Цыганихе пошли! Ой, лихо мое! Бак в самый раз разошелся, клекочет, не подступиться. Чево делать? С чего начинать? Давай его вожжами обвязывать да горячий, паровой с печи воротить. Ну а потом волоком через двор да в погреб на вожжах-то. Затолкаю в тот потайной притулок, а сверху тряпьем, хламом всяким, да ишо пустую бочку сверху накачу. Вот так упыхкаюсь, пока с главным идолом-то управлюсь. Да отпыхиваться некогда, бегу скорее в избу дух изгонять: двери-окна настезь, ребятишки рушниками, полами, кепками махают, скорей за одеколон — припасла для такого случая. Набираю в рот «Карме-

ну» и давай прыскать, карты запутывать. Поглядеть в окно, дак сумасшедший дом: дети бегают, тряпками машут, баба патлами трясет, глаза выкачены... Ну потеха! Цирк! Ну заходят... На том месте, где у меня бак стоял, уже чугуны с картошкой: мол, ничево не знаю, ничево не ведаю. «Здрасьте». — «Здрасьте...» Глядят, носами тянут, а у меня — на-кость вот, цветами пахнет. Ну и маленько картохою. А я ишо и ребятишек заставляю барахтаться: дескать, ничево им бояться, все у нас ладно, как у людей. Прости мене, грешную!

— Ох, Маня! — посмеялся и я. — И верно, жарить тебя будут на сковородке.

— А я и не отказываюсь! — Она подхватила, оперлась на локоть. — Я согласная! Чево было, то было. Да и чево меня жарить — я уже жарена.

— Лежи-лежи.

Маня послушно опустилась.

— Ну хорошо. А куда же ты потом все это девала?

— Носила в город. Да и не я одна, многие носили. Был там такой человек-перекупщик. Ну, конечно, за полцены. А полную цену это уж он сам брал. Потом этот человек кудай-то делся. Видать, милиция изловила... Ну да свято место пусто не бывает, нашелся другой. А потом стали и нас ловить. На пароме. Которые подозрительные, тех тут же, на берегу, обыскивали, заглядывали в корзины, котомки. Мы на время подзатихнем, а спустя опять давай выход искать, кумекать. И докумекали: купили в аптеках резиновые грелки, начали в грелки наливать. Положишь пару-тройку, а сверху огурчиков али чево. Проверятьщик копнет — вроде нет бутылок, и невдомек, что горыныч-то на самом дне, ничком распластался! — Манины глаза плутовато заискрились. — Дак и это разгадали! Целая война: власть себе, а бабы — себе, кто кого обхитрит. Ну чево? Раз они так, мы тади этак. Придумали грелки не в корзины класть, а на себя цеплять. Одну — на спину, а другую — промеж титек. И опять пошло дело — ступаешь на паром смело. Корзину опрокинут, а там ни шиша. — Она снова засмеялась, даже закашлялась, лежа навзничь. — А и верно говорят, черт шельму метит... Все б ничево, да у одной грелка возьми да и прохудись! Кап да кап, а она, дуреха, знай себе бежит, поспешает. Подошла к парому, проверяльщики ноздрями шевелят, чуют, разит от бабы. Стали копать, корзину наземь опорожнили — нету ничево. Што за причина — ничево нет, а пахнет? Ну-ка, говорят, дыхни. Баба дыхнула — нет, не пила! Нюхали-нюхали и нанюхали: сзади юбка мокрая. Давай бабу разоблакать, одежку с нее стаскивать. Ну и нашли! И начали опосля того всех ощупывать. Как видят, не по сезону одетая, за шкурку и в раздевальную будку. А там-то уж до всего докопаются... Ой, страму-то натерпелись!

— И что же?

— А што... Куда спрячешь? И решила я больше на паром не ходить. Раз проскочишь, другой, глядь — и попадешься. А у меня уже судимость была... Дак я чево: отверну в сторонку, в кусты, разделюсь, покидаю все в корзину — да вплавки. Уж, бывало, иней на траве. Выскочу на тот берег, пар с меня — как с лошади, скорее глотну из горла, штоб согреться и бежки-бежки, трусмя-трусмя... Я-то не додумалась, как надо бы, а некоторые и тут нашли выход, похитрее грелок: палки себе алюминные завели. Как раз на литру, а то и поболе. Идет, опирается, вроде бы с батожком. Бабы — они до всего допрут. На хитрый запор и отмычка вот она. Мне бы тоже такую палку заиметь, а я, дура, все плавала, пока не захворала. Вот как скрутило, вот как узлом завязало! Всю-то зимушку напролет корежило, левая нога даже начала отниматься. Да, слава Богу, на печке отлежалась, на каленых кирпичиках. С тех пор — ша в город носить. Все больше с солдатами имела дело. Тут раньше лагеря стояли в нашем лесу, дак я с ними больше имела дело. Бывало, здук-здук в окошко. Зыркну меж занавесок — пилотка. Кричу Нинке: «Огурцы на стол! Живо! Солдаты пришли!» Ну зайдут: «Здрасьте». — «Здрасьте». Садятся за стол, огладят стриженные головы. А на столе уже огурчики порезанные, камсичка с лучком. За столом им интереснее, чем пить по кустам. Волю напоминает, вроде как дома. И мне никуда не надо бежать, страху набираться. А за посиделки — что дадут: кто банку тушенки, кто сахару, деньгами, правда, редко — какие у солдата деньги? А кто и солдатское бельешко выложит. Начнет разворачивать, чтоб показать. А я остановлю: ладно, не надо, только чтоб не дырявое и не вшивое... Наш участковый, Иван Поликарпыч, дай бог ему здоровья, хоро-о-оший человек, знал, что ко мне солдаты ходят, и просил только: «Ты, Марья, поаккуратней, а то и тебе несдобровать, и мне неприятности по службе». Входил в мое положение, не обижал — а все из-за детей. А так-то он строгий, кому зря потачки не давал, особенно которые от жадности, сквалыжничали. Только скажет: «Смотри табаку не добавляй, нехорошо это». А и верно, иные подсыпают. Первый загон возьмут, тот крепкий, а когда остатний пойдет, ванек по-нашему, туда махры и подмешают. На другой день места себе не найдешь. Не мне это говорить, а и то руки-ноги за такое повывкручивала б.

— А как же под суд попала?

— Да как? Абнакавенно. Только не подумай, Иван Поликарпыч тут не замешан. Не ево работа. Это из самого района налеты делались. Целой бригадою. Вроде как неводом всю деревню обкладывают. Ну и я тоже попалася. Тарабанят в дверь, а у меня как раз капель пошла. Плянула в щелку, а на порошках сразу двое, а под окнами еще по одному. Ох, мать твоя курица, отец кочет! Ну, отперла дверь с крючка, куда денешься? Лейтенант сел писать протокол. Молоденький такой, ну, можа, чуток постарше мово Сани, но такой ершис-

тый из себя, бровки сдвинуты, губки поджаты. «Ты, — говорит, — сознаешь, что совершаешь преступление?» — «Сознаю. Я уже, — говорю, — тады преступление сделала, што четверых народила». — «Ты мне брось, — кричит, — детьми спекулировать! Не у одной тебя дети. Ну-ка, покажь колхозную книжку». Подаю. Полистал, молча возвернул. А чево он мне скажет? У меня за тот год двести двадцать пустопорожних дён было. «Распишись, — говорит и пододвигает бумажку. — Лучше бы, — советует, — корову завела, чем этаким молоком из-под бешеной буренки детей выкармливать, преступников растить. Избаловалась на легких заработках». Ну дак чево ему скажешь, дите ишо. Коровку купить — не балалайку. Была у меня и коровка, да как ишо немец отнял, так с той поры и нету... Выволокли мою бражную хвабрику во двор, лейтенант взял в сарае ломик и давай по бачку садить. Весь бок ему издолбил, во каких дырок наделал, полилась по двору юшка. Запахло подушечками. А бачок у меня был хороший, в эмтеэсе варили, так жалко, так жалко! Двое милиционеров вытолкали его сапогами за ворота да котом, котом под гору. А потом размахнулись и зашвырнули в речку, только бульки пошли.

Мимо кладовушки, через сени шумно протопали гости, повалили во двор, на волю. Запиликала гармошка. Маня прислушалась к топоту, вздохнула.

— Ну вот... С полгода ни за што не бралась. А жизнь-то поджимает, спуску не дает... Наконец очапалась я, выждала ночку потемней, дождик накрапывает, разбудила Севу с Колей, спихнули на воду чужую лодку и поехали, таясь, как преступники, искать то место, где бачок утопили. Я гребу легонько, штоб не было плеску, а Сева прилег на носу, грузик на веревке свесил, подергивает: не звякнет ли? Сколь мы барахтались под кручкой — и не упомяну. Дождь булькатит по воде, сами все мокрые. Вроде тут должен быть, а железного стуку не слышно, гирька глухо обо дно бьется. В половодье снесло, что ли? А можа, и песком затянуло. Уж и вертаться решили, да тут-то и звякнуло. Ну, чево делать, как доставать? Хотели зацепить кошкою — не зацепляется. Крюки скоргыгают, а не задевают. Шепчет мне Сева: «Давай, мам, нырну». — «Куда ж ты, — говорю, — сынок! Темень, ад кромешный, да мало ли чево, не смей даже и думать!» А он потихоньку поздевал с себя все да и шмыганул за борт. Я так вся и заолодала, минутки-то эти, пока ево не было, за век показались. А ево нету и нету. Только дождик пошумливает. Вот, слава богу, слышу, Сева оттудова за веревку дергает, знак подает, чтоб тащили. Ухватились мы с Колей — ох и чижолый, — но пошло, пошло, да и выволокли, втащили в лодку, все руки изорвала о рваные бока.

— На что же он тебе, дырявый-то? — не понял я.

— Хе, милай! Голь на выдумки хитра! — засмеялась Маня. — Новый бак заводить дорогова стоит. А я как? Зашла на другой день

в эмтеэс, шепнула одному, на аварийке работал. У него там в машине это самое дело... как ево... ну шланги, шланги-то?..

— Автоген?

— Ага, ага... «Ладно, — говорит, — тетка, как-нибудь буду ехать мимо, заверну». Да и завернул, не соврал. Нашлепал латок, страшон стал, корявый, пятнатый, спешил малый, латал — оглядывался... Ну да мне на комод не ставить, лишь бы капало.

— Значит, тогда и суд тебе был, как бак порубили?

— Не! Тогда только оштрафовали. А это опосля меня ишо раз заштопали. Тот же самый лейтенант. Бак-то он не нашел, мы его с Севой успели подземь схоронить в погребке, а бутылки нашел-таки. Я их по глиняным кувшинам рассовала и — в печку, вроде как молоко томится... Думала, не найдет. А он, до того пронюхливый, возьми да и загляни туда. Как так, коровы нет, а кувшины в печи? «Я, — говорит, — тебя предупреждал? Предупреждал! Не хочешь проявлять сознательность — пойдешь на трудвоспитание». А куда ж меня больше воспитывать? — изумленно уставилась на меня Маня. — Плянь руки мои, куда пальцы загнуло. Как у бабы-яги. Ну-ка в войну поле на себе поднять! В колхозе ни тракторов, ни лошадей, дадут, бывалыча, на двор норму, и паши как хочешь. Которые с коровами, те хоть скотину запрягали. А нам, бескоровным, чего делать? Да соберемся артелью, по несколько баб, станем в построшки и — пошел гузню рвать! А земля не то што теперь — забурьяненная, одичалая за войну. День так-то плуг потягаешь, аж ноги гудут, как телефонные столбы в сиверку. Ну дак понимали: фронту помочь надо.

— Ну хорошо, тетя Мань, — перебил я. — А из чего все это делается? Где что брала? Сырье-то, сырье.

— А где?.. Которые бурак помаленьку с поля таскали. Ну дак за это строго, при Хрущеве было — за пяток бураков срок давали. Это уж самые отчаянные шли на такое, иные исхитрялись: как только бурак начинают возить — посылают ребятишек на большак, подалее от деревни, чтоб след от себя отвести. Ребятишки поперек дороги положат жердину, а сами в кустах затаятся, ждут. Вот тебе машина едет, бурак в самый закрай. Ну палка и палка, мало ли чево на дороге валяется, шофер гонит себе, не обращает внимания. А машину-то и тряхнет на неровности, глядишь, два-три бурака и выпрыгнут за борт. Дак и без жердины сколько так-то порастеряют на ухабах. Вроде и не воровство, ребятишкам даже забава, а за день этак-то и натрусят мешочек... Я-то бурака не трогала и детей своих не посылала: у меня уже судимость была. Я так: пять кило конфет возьму — вот тебе и затрава. Пять кило подушечек, самых дешевых, по десяти рублей. За них мне никто ничево. А штоб незаметно было — я куплю маленько в одном магазине, маленько в другом. Из них получается пять литров хорошева питья, без «вань-

ка». И запах приятный. Ну вот и считай мои капиталы. Литру я отдавала барыгам по двадцати рублей. (Маня вела счет по действовавшим тогда ценам, поскольку денежная реформа к тому времени еще не подоспела.) Ежели в две недели раз соберешься, изгонишь, стало быть, с пяти литров получается сотня припеку. Из ее половину сразу откладываешь опять на подушечки. А остальная половина — твоя. Вот на эти полсотни и пляши, считай, две недели. А чево на них, ежели селедка пятнадцать рублей? Выходит, на три кило селедки всей-то моей поживы. Дак одной селедкой жив не будешь, да я ее и не брала, не по карману. А домой идучи, набирала чево подешевле: камсицы, хлеба, ну, когда бубличка ребятишкам. Бежишь домой, себе мороженова не купишь: хочется, да все жмешься, шутка ли, два рубля отвалить! А уж обновку какую справить — и не рассчитывай. Што у солдатов разживусь — сапожонки какие али тряпку, — то-то и носится. Это я тебе как перед Богом. Была б моя возможность, да разве я б маралася, вся душа в синяках. А мне ишо продналог выплачивать. Есть корова, нет ее, двести литров молока отдай. Где хошь бери, а рассчитайся. Да сто штук яиц. Да два с половиной кило шерсти. Да тридцать два кило мяса. Да заему сколь. Мне ежели рассчитаться за все это, полгода надо, чтоб из бачка капало...

— Теперь тебе и без бачка обойтись можно, — сказал я. — Дети выросли. Сергей вон скоро приедет, работать станет, корову заведете. А там и Николай воротится.

Маня огладила лицо грубыми, уродливыми пальцами, сгребла со лба прядку сивых волос.

— Да уж скорей бы... думала ли я девкой, што со мною такое станется? Сколь страху-то пережито за те-та самогонные копейки! Да позору! Рази ж я жить по-людски не хотела, чтоб не скрадничать, не таиться? Сплю, а мне только и снится: вот идут, вот здучатся. А у меня все расставлено. Прячу-прячу причиндалы, а они, проклятые, изо всех углов торчат. А то, снится, убегаю. Вот бегу, вот бегу! По кустам, по крапиве, ключья от себя рву, ноженьки мои подкашиваются, и дыху никакова нету, а сзади в свисток свистят, кричат: держи, держи ее, такую-рассякую... А уж того страшнее, когда привидится — судят меня. Уж который раз одно и то ж вижу: большой-пребольшой зал, народу полно. В первом ряду участковый Иван Поликарпыч сидит, рукой от меня застится, по обе стороны от него — детки мои перепуганные, соседи, подружки самогонные... Иной раз такая казня привидится, на што тебе суд на яви. Проснешься ночью, сердце бухает, пот ледяной...

Маня опять задергала животом, и я не сразу сообразил, то ли она смеется, что-то вспомнив забавное, то ли плачет. У нее ведь не поймешь: и то и другое перемешалось, как в переломную погоду. Но она отвернулась, и я догадался, что Маня не смеялась.

— Тот-та бак все печенки мои переел! — вырвался вдруг из нее полузадушенный вскрик, и она поспешно принялась перехватывать слезы, размазывать их по лицу. — Ни дня, ни ночи от него не вижу.

Она нехорошо, по-мужицки выругалась. Я смущенно уставился себе под ноги.

— Будь ты проклят! Огнем бы тебе гореть!

Маня подхватила, села на топчане. Грубыми, неуклюжими пальцами она скребла по груди, рвала рюши на новом платье, дыша мелко, прерывисто. Лицо ее покрылось бурыми пятнами, тогда как неухоженные разлатые губы бескровно побелели.

— Теть Мань! Теть Мань! — не на шутку испугался я. — Тебе лежать надо... Сейчас воды принесу.

— Не нада мне ничево! — Она дышала мелко, прерывисто. — Ничево не нада...

Я схватил ее за плечи, пытаюсь опять уложить, но она вдруг налилась какой-то неукротимой, упрямой силищей и дико, не узнавая, так глянула на меня, что я отступился, бормоча что-то растерянное, бестолковое.

— Пусти! — Маня больно толкнула меня в грудь. — Пусти мене. Щас я его, заразу... Я его щас...

Во дворе, в тени под плетнем, Сашка, сидя на перевернутом ведре, играл на гармошке; рядом по обе стороны от него пристроились на корточках Сима, дядя Федор, дядя Аполлон и еще мужики, несколько подростковых пар лениво, размеренно танцевали, когда Маня, а вслед за ней и я выскочили из кладовки. Я не мог предвидеть, что она замыслила, и потому не упредил ее движение. А она на бегу сцапала в сенях подвернувшийся топор и, будто объятая пламенем в своем красном платье, вылетела с топором во двор на солнечный свет.

Куры брызгнули от нее в разные стороны, завизжали и разбежались перепуганные девчонки. Мужики оторопело замерли под плетнем.

— Я ево шас, падлу! — сорванно и полоумно взвизгнула Маня, встрепанная и дикая.

— Ма-а-а! — где-то за сараем истошно заверещала маленькая Нинка. Первым вскочил дядя Федор, за ним, отшвырнув гармошку, подлетел Сашка.

— Да ты что, ма? — крикнул он, все еще не понимая, что случилось.

— Марья... — смело пошел на нее Федор. — Ну-ка, брось, топор... Не дури... Что за шутки?..

Маня, ослепленная солнцем, загнанно озиралась.

— Дай, говорю, топор... — строго настаивал Федор. — Дай сюда.

— Да што вы смотрите! — махал руками Сима, однако не подходя близко. — Она же спятила! Веревку, веревку давай! Сашка, где веревка? Вязать ее надо!

Сашка, белый весь, побежал куда-то.

— Хватайте ее! — визжал Сима. — Она же всех порешит!

— Да погоди ты... — коротко обернулся дядя Федор. — Чево... орешь?

— Нечево мене ловить. Хватит! — сипло, остервенело вскрикнула Маня, и топор в ее руке полоснул меня по глазам зловещим солнечным взблеском. — Отойдитя! Никто не подходи! И ты, Хведор, не лезь...

Она кинулась к погребнице, скрылась под ее соломенной застрехой, и, пока мужики растерянно толпились, не понимая, что стряслось, оттуда с грохотом выкатился пустой бак — уродливый от бесчисленных вмятин и грубых автогенных заплат.

— Хватит! Хватит мене ловить! — выкрикивала она, соскребая с лица спадавшие космы. — Нечево...

Вскинув руки клином над головой, вся подавшись вверх за топором, она с тяжким выдохом рубанула по баку. Бак пусто гукнул и осклабился косой рваной дырой. Вырвав из надруба топор, Маня принялась махать наотмашь, вкладывая в свои замахи всю скопившуюся ярость:

— Кормилец, падла! Поилец, гад!.. Отец родной! Всю душу вынул, стерва! У-у, пар-ра-зит! У-у!! А-ах! Э-эх!

— Змейку! Змейку не тронь! — кричал Сима. — Побереги, дура! Еще сгодится!

— А-а, змейку тебе?! — услышала Маня. — На вот! Змея тебе подколодного! У-ух! — И она зло секанула по выпавшему из бака крупно перевитому патрубку. — На тебе змея! На, на...

Отшвырнув топор, она принялась было босыми ногами пинать посудину, не обращая внимания на остро торчавшие клоки железа, но вдруг, пошатнувшись, медленно осела на пыльную землю и, обхватив голову, запустив пальцы в волосы, крупно и тяжело затряслась обмякшим и рыхлым телом.

Прибежавший Сашка молча стоял над ней, теребя в руках ненужную веревку.

— Бери ее, — кивнул мне дядя Федор.

Мы подхватили ее, безвольную и покорную, и понесли в дом.

* * *

Ее положили все в той же кладовке. Кто-то из девчат сбегал домой, принес ландышевых капель. Я насильно влил ей полстакана разбавленной микстуры, потом из еще горячего самовара наполнил сразу две Маниных самогонных грелки, висевших тут же в кладовушке на гвоздиках и с которыми она, как я догадался, некогда пробира-

лась на паром, подсунул их под ее ноги и укрыл теплым одеялом. Все это время, пока я возился с Маней, Сашка отрешенно сидел у изголовья, подперев голову кулаками. С его колен петлями свисала все та же толстая пеньковая веревка. Отвернув голову к стене, Маня наконец затихла. По ее редкому, но ровному дыханию я понял, что она уснула.

— Тебе к каким? — спросил я полушепотом Сашку.

— А? — отозвался он, не поднимая головы.

— Во сколько, говорю, являться?

— Поезд в половине пятого.

Я взглянул на часы: было начало второго.

— Ну, ты давай не расстраивайся. Это у нее просто нервная истерика. Столько накопилось. Все обойдется.

Сашка не ответил.

В горнице девчата, тихо переговариваясь, убрали со стола. Маленькая Нинка, перепуганная случившимся, послушно и готовно выполняла все их приказания: относил на кухню вымытую посуду, недоеденную закуску.

Во дворе под плетнем сгрудились парни и мужики, и я подошел к ним. На Сашкиной табуретке стояла начатая бутылка, тарелка с огурцами. Сима отмеривал в единственный стакан и раздавал по кругу. Вскоре подошел и Сашка, ему тоже плеснули, но тот отказался, подобрал брошенную возле сарая гармошку и повесил ее на тын.

— Все собрал? — спросил его дядя Аполлон.

— А чего собирать?

— Ну как же... Дорога небось дальняя.

— А! — Сашка безразлично дернул плечами.

— Ложку, котелок... — сказал Сима. — Это первым делом иметь при себе надо.

— Котелки теперь не берут.

— Ну харчи. Смотря куда повезут, а то и неделю будешь ехать.

— Не помру. — Сашка, привалясь, скрипнул плетнем, достал папироску.

— Да брюки-то хорошие смени, — наставлял Сима. — Туда в чем похуже. А то потом не отдадут. Как же, будут они тебя дожидаться, пока отслужишься, беречь твоё шмутье, склады занимать. Вас вон сколько пойдет.

— Отдадут! А не отдадут — потом другие куплю.

— Широ-окай! За материным-то горбом. Вон мать валяется...

— Да ладно вам! — вспылил Сашка. — Что я, хуже других, что ли? В рваных пойду. Армию позорить. Подумаешь, штаны! Я их в колхозе на водовозке заработал. А приду — еще заработаю.

— Во! Порох! — крутнул головой Сима. — Не скажи ничево старший. Они нынче все такие. Грамотеи!

— А ну вас... — Сашка отшвырнул папиросу и, проходя мимо меня, сказал: — Пошли, дядь Жень, искупаемся. Еще есть время.

После бессонной ночи и непредвиденного застолья меня порядком разморило, и я охотно согласился сходить на Сейм освежиться. За нами увязались еще несколько парней, Сашкиных дружков-погодков.

Через гать минули затон, обмелевший, заболоченный, наполненный киселистой тиной, — тот самый, где некогда нырял Севка за утопленным баком. Теперь здесь с упоением барахтались толкачевские утки, выставляя к небу остренькие попы, они доставали из тины уже успевших опузатеть головастики.

Но луг был по-прежнему хорош. Еще без цветов, по-майски короткотравый, в плоских и незлых розетках молодого татарника, он манил своей ликующей зеленью, дрожа впереди парным маревом, и не было терпения, чтобы не разуться и не побежать по этой вольнице босиком! Ребята и в самом деле помчались взапуски, на бегу стаскивая рубахи, майки. Должно, им наскучило чиниться за столом, разыгрывать из себя взрослых, и теперь, вырвавшись на свободу, они бежали, совсем как пацаны, дурачась, горланя, швыряя друг в друга праздничными башмаками.

Я еще только подходил к берегу, а река уже ходила ходуном от загорелых тел, вскидывалась солнечными брызгами, была в глиняный урез растревоженной волной.

Искупавшись, мы лежали на чистом песке, еще не истоптанном коровами, и молча, под умиротворенное журчание реки стали одеваться.

Перед тем как обуть башмаки, Сашка еще раз вошел в воду, поддел чистую струю обеими пригоршнями и, окунув в ладони лицо, постоял так неподвижно — лицом в ладонях.

— Ну, прости-прощай, речка! — сказал он с натужной веселостью. — Все! Откупался! Где-то я еще буду пить, чью воду?..

Потом он долго, старательно, а скорее машинально, уйдя в себя, причесывал мокрые волосы, со строгой задумчивостью глядя куда-то за реку, и в эти минуты отрешения в нем, еще недавно ребячливо кувыркавшемся в воде, как-то исподволь, будто светлая тень, скрадывая все беспечно мальчишеское, проступили приметы спокойной, сдержанной мужской зрелости.

Я украдкой наблюдал за ним и даже любовался: он был росл, не по годам статен, с какой-то изысканной покатостью в широких плечах. Высокая сильная шея, легкая голова с продолговатым овалом лица, глаза по-девичьи голубые, хорошая мужская большеротость и даже нос — наш, фирменный нос, — у Сашки был по-своему аккуратен, сух, с приятной горбинкой. Красавец парень! Черт возьми, подумалось мне, откуда у него эта классическая элладность? Неужто Маня, беспородная, серийная деревенская баба, сама кое-как вытесанная топором из суковатого комля, хранила в своих генных тайниках задатки к такому совершенству? А главное,

как исхитрилась она выходить такое, не прибегая к дистиллированным кефирам и витаминным допингам, считай, почти на одной хамсе и картошке? Да не одного, а троих таких парней? Нет, непонятна мне эта кибернетика!

Я мысленно примерял Сашке солдатский мундир. Брюки еще сойдут сорок шестого размера, но сам китель надо уже теперь искать среди пятидесятих номеров. Что и говорить, доставит он мороки каптенармусам! Но зато, когда застегнется на все пуговицы и опояшется широким ремнем, какой это будет отменный гвардеец! Никто и не подумает, что ему только семнадцать. Предвидел, как на призывном пункте будут зариться на него представители родов войск: хорош он и во флот, и в ракетчики, и в столичный гарнизон для парадных шествий, и в почетный караул при встрече заморских президентов. Да и в офицерскую школу — ему бы золотой пояс, белые перчатки и легкий кортик на бедро... Только с грамотишкой у него слабовато: семь не то шесть трудных, не каждый день хоженных деревенских классов не с лучшими отметками. Обычная безотцовщина...

— Ну пошли, что ли? — наконец напомнил я Сашке.

В горнице на белом, прибранном столе шумел ведерный самовар, весело сиявший надраенными боками, отражая в них пестрое окружение конфет, печенья, бубликов. В синей эмалированной миске восковатыми глыбами желтел мед, должно быть, принесенный дядей Федором, заведшим в последние годы несколько уликов. К великому своему удивлению, я увидел и Маню, молча цедившую из самоварного краника в чашки и стаканы. Бледное, слегка припухшее лицо ее было спокойно. Гости в ее присутствии со сдержанной сосредоточенностью прихлебывали из блюдец, и только девочки на другом конце стола иногда перешептывались, не решаясь первыми нарушить больничную, напряженную тишину в доме.

— Кушайте! Кушайте! — время от времени поощряла Маня виновато-томным голосом. — Аполлон! Хведя! Пейте вволю.

— Да мы пьем...

Увидев вошедших, Маня поворотилась и к ним:

— Ребятки? Чайку на дорожку! Попейте, попейте горяченького.

— Дак и тово... — сказал дядя Федор. — Делу... гм... время, потехе час. Надо бы уже и... понимаешь... выходить.

— Сичас, сичас пойдём, — кивала Маня. — Я тебе, Саня, сумочку там сготовила.

* * *

К поезду, кроме гостей, потянулась чуть ли не вся поречная улица. Провожающие сами собой рассортировались по обособленным кулижкам. Впереди всех в праздной веселости, с шутками и всплесками частушек сразу под три гармошки, широко и вольно — кто где хотел и с кем хотел — брел по звонко-зеленому майскому лугу

толкачевский молодняк — парни почти до единого в белых рубашках и галстуках, девчата все в пестром и веселеньком, будто полевое разнотравье.

За ними двигался с десятков разнокалиберных мужиков — почти все поголовье, уцелевшее после войны, — еще и не деды, но без должной матерости, одетые расхоже, в мятых штанах, с кирпично заветренными лицами, оттенявшими седые вихры и нестриженные загривки под насунутыми кепками и картузами. Двое не то трое из них приволакивались, опирались на батожки. Они шли, озабоченно поглядывая по сторонам, как бы прицениваясь к нынешним покосам, нагулу бродившего поблизости скота, к одуванчиковой россыпи первых гусиных выводков, каждый на свой лад радуясь выпавшему случаю оторваться от наседавших дел и забот и пройти так вот, руки за спину, по вешней луговой вольнице.

Баб набралось во много крат больше, чем мужиков, что было естественно и привычно в итоге кровопролитной войны. Еще и теперь женщины, Манины сверстницы, сплошь обездоленные, безмужние, мучимые ломью в суставах и поясницах, шамкающие полупустыми ртами, напрочь утратившие следы былой девичьей свежести и стати, составляли основное население послевоенных деревень и главную животворящую силу тогдашней российской земли. Они и поныне не оставляли своего первейшего ремесла — тетёшкаться с ребятишками, — теперь чаще с городскими заезжими внуками и внучками. С бабьей ватагой шла и Маня, пламенея своим маковым праздничным платьем.

До станции было версты четыре ходу: сперва лугом, берегом реки, а потом долгим песчаным узволоком, где буксовали, рвали моторы даже грузовые дизеля. Пешему человеку эта гиблая верста тоже нелегко давалась, особенно с ношей или с похмелья. Еще пока шли лугом, по ровному. Сашка раз да другой подходил к матери с попыткой отговорить ее не провожать дальше, не месить зыбучий песок после сердечного приступа, а попрощаться тут, на бережку, и поворотить обратно. Но Маня не хотела слушать этого обидного совета при народе, отпихивала от себя Сашку, кобенясь:

— Да что ты меня все гонишь? Чужие люди идут, а я, мать родная, брошу тебя, что ли? Да ни в жисть!

— Тебе полежать надо бы, успокоиться. Ведь только валерьянкой отпаивали...

— Нечего меня укладывать. Еще належусь, успею...

— Не надо бы тебе так-то. — Сашка опять взял Маню под руку. — Пойми, мама, боюсь я за тебя...

— Да чево бояться? Чево страху зазря накликать? — Маня решительно высвободила руку. — Лучше налил бы рюмашечку. Поди спроси у мужиков.

— Нету у них ничего. Все допили.

— Ну тогда гляди!..

Маня отпихнула ничего не подозревавшего Сашку, в два прыжка подскочила к обрыву и со всего маху, взмелькивая красным подолом, ринулась вниз головой. Раздался тяжкий всплеск, будто в реку обрушился многопудовый кусок дернины.

Отшвырнув жалобно взмыкнувшую гармошку, Сашка, в чем был, скovyрнув одни только лакированные штиблеты, кинулся следом. Набежавшие двое парней, мгновенно посбросав одежду, тоже ринулись за Маней. Народ испуганно зашумел, запричетывал на обрыве:

— Чево наделала!

— Ополоумела, что ли?

— С такой кручи! Да ишо выпимши... там ить дна нетути...

— Грех-то какой!

— Бабы, бабы! — понеслось по лугу. — Манька утопла.

Бегущая сквозь века, безразличная к человеческому бытию, сомкнувшаяся над Маней и ее спасителями река, за время, пока все остальные онемело вглядывались вниз, вновь обрела свою прежнюю многоструйную зеленоватую устремленность, и даже перепуганная рыба мелочь снова затемнела, замельтешила на прежних своих местах под зыбкой речной поверхностью.

— Мужики! — метались на берегу женщины. — Да что ж вы глядите, ей-богу!

Несколько молодых ребят принялись стаскивать с себя рубахи, как десятком метров ниже по течению неожиданно показалась Манина голова.

— Да хватайте же ее! Ну что вы все как онемели!

После затяжного, как в былой молодости, нырка, так перепугавшего всех на обрыве, Маня принялась колотить ступнями в клетчатых домашних тапочках, выбрызгивая целые взметы искрящейся воды и подгребая под себя попеременно лапищами, собачьим плавом направилась к береговой осоке.

Тут и налетели на нее Сашка и еще двое ныряльщиков. Они бесцеремонно подхватили Маню и выволокли ее сперва на береговой приступочек, а затем, переведя дыхание, и на сам травяной берег.

Бабы с осуждением насыпались на истекающую водой Маню:

— Ну напугала!

— Рази так можно?!

— Снимай платье, давай выжмем. Мы загородим...

— А-а! Ладно. Сама высохну. Красота! — вдруг восторженно оповестила Маня. — Благодать-то какая! Вода — парное молоко!

— Да с чево, с какой досады так-то вот прямо в одежке в реку сигать?

— А чего он домой гонит? — кивнула она на тоже мокрого Сашку с зеленой россыпью ряски по белой рубахе. — «Полежи» да «по-

лежи»... Ну как злу не быть! Чево меня заживо укладывать? Ты дай мне ружжо, дак я заместо Сашки служить готова.

И она, истово взвизгнув, крутнулась вокруг себя, осыпав окружающих щедрой капелью с взлетевшего колоколом кумачового платья.

— А ну-ка, Саня... — прищлепнула она ладошками и сбросила с ног набрякшие водой матерчатые тапочки. — Сольдиков! Сольдиков мне сыграй! Которые за два гроша!

Сашка подобрал с земли гармонь, вздел ремень прямо на мокро проступившие лопатки. Подошли и те двое гармонистов, и они, покивав друг другу в знак готовности, разом распахнули ситцевую цветъ дружно вздохнувших мехов:

*Эта песня за два сольди, за два гроша.
С нею люди вспоминают о хорошем...*

2002



ДЕТСТВО — ПОРА СЕРЬЕЗНАЯ

— Нередко встретишь ребят, которые не могут толком ответить на вопрос, что делают на работе родители, над чем трудятся, что у них за профессия. Иногда и сами взрослые воздвигают такую «стенку отчуждения». А как было в вашей жизни?

— У меня есть рассказ «Мост». Посвящается он памяти отца моего, Ивана Георгиевича Носова, рядового котельщика первых пятилеток.

Тогда, в начале тридцатых годов, мы жили в Курске. Отец и мама работали на МРЗ — мотороремонтном заводе. Мама — в ситопробойном цехе, отец был котельщиком. Так что я сам из рабочей семьи, хотя чаще пишу о селе.

А родился я в селе Толмачево под Курском. В селе жил мой дед. Летом он брал меня в свои крестьянские дела, мы с ним косили, пахали.

В городе мы, ребята, часто крутились у завода. Однажды привезли в ремонт искалеченный «фордзон». Мы липли к закопченным окнам: трактор видели в первый раз, и нам было интересно посмотреть, как наши отцы будут его ремонтировать.

За хорошую работу завод получил премию — инструменты для духового оркестра. Седьмого ноября с оркестром завод вышел на демонстрацию. Трубы сияют, ноты на спины булавками прищиплены, колонны идут с песней «Смело, товарищи, в ногу...». Мы, ребяташки, тоже идем и гордимся своими отцами, своим заводом: мы-то с оркестром, а другие еще с гармошкой...

С демонстрации полным строем возвращались на завод; праздник продолжался прямо в цехе, клуба еще не было. Нам, детям, давали по кульку конфет, водили по цехам, показывали: «Вот твоего папы станок...»

Собирались в цехе на праздник не ради застолья, ради святого братства. У директора завода на кумачовых бантах мы видели два боевых ордена Красного Знамени.

— Евгений Иванович, в повести «Не имей десять рублей...» это о нем, об этом директоре, написано? Вот эта страница:

«Помнишь, как он на митинге говорил, когда отремонтировали первый “фордзон”? Он так сказал: “Мы сейчас работаем полукустарно, нету у нас техники, надежных станков нет, плохие у нас инструменты. Но это, говорит, не позор! Пока будем на этом, на чем есть, учиться, делать из себя сознательных рабочих. Конечно, говорит, спору нет, в больших, хороших цехах да с хорошей техникой работать лучше, и все это будет у нас. Но нам в данный момент важнее всего не какой есть завод, а кому он принадлежит”. ...Для нас, говорит, завод не просто место, где мы работаем. Он для нас — пролетарская школа, наш полигон, боевая позиция, откуда мы, дескать, пойдем на разруху и на мировой капитал.

...Привел в цех учительницу, совсем девчоночку, привел и говорит: кто не умеет писать, вот, учись у нее. Классов у нас пока нету, и парт еще не наделали. Да вы, говорит, и не малые дети. Возьмите вон во дворе лист котельного железа, повесьте на стене и на нем пишите, и чтоб больше ни одного креста не было в ведомости! Хватит ставить кресты! У вас, говорит, есть имя».

— Да, это о нашем директоре, Лылине. Таким я его и запомнил на всю жизнь.

Потом завод открыл и детский сад, и пионерский лагерь, и первый дом отдыха за городом — поставили палатки, там рабочие с семьями отдыхали по выходным.

— Что еще из пережитого в детстве на вас повлияло?

— Книги. У нас, детей рабочих, личных книг не было. Родители были почти неграмотные. Каждая новая книжка вызывала у меня трепет. Я помнил ее запах, что на какой странице нарисовано.

Помню, как-то я увидел в доме своего школьного товарища несколько томов Брэма. Я с трудом выпросил два тома о млекопитающих и птицах и читал их буквально запоем. Мысль, что рано или поздно я должен вернуть эти сокровища, подтолкнула меня на отчаянный поступок, сыгравший потом немаловажную роль не только в самообразовании, но и в творчестве. В течение зимы я законспектировал описание двух тысяч животных — мало того, я перерисовал в альбомы все бесчисленные рисунки из этих книг. Эта работа оставила настолько глубокий след, что и до сих пор я зрительно помню огромное количество животных, помню их окраску, образ жизни, районы распространения, свободно рисую их по памяти.

На улице Пионерской стояло одноэтажное здание, с которым у нас много было связано, — библиотека. Когда мы приходили в библиотеку, притишали голос, а сами всё вглубь смотрели — на книжные полки.

Каждый поход туда был событием. Мы загодя сговаривались идти за книгами — Ваня Кононов (он сейчас учительствует), Петя Тарубаров — он погиб на войне... Когда попадалась интересная книга, старались ее не упустить, менялись друг с другом. Забирались на сенник в бывшем каретном сарае и вместе читали вслух.

Там же, на сеннике, впервые заговорило наше самодельное радио.

По библиотечной книжке я сделал паровую машину с двумя качающимися цилиндрами. Отец не думал, что у меня что-то выйдет, ведь под рукой ничего не было. Это сейчас столько всего в распоряжении ребят — и провода, и моторчики, и пластик. А тогда ничего не было. Счастье — найти консервную банку: белая жесть — она и блестит, и режется. Болтик на дороге увидишь, поднимешь — и рад.

Я и сейчас часто вспоминаю, с каким праздничным чувством бегали мы, довоенные мальчишки, в нашу районную библиотеку.

Удручает, что люди, в том числе и ребята, стали меньше ходить в публичные библиотеки. Большая личная библиотека стала модной вещью. От этой «моды» вред, и большой. Некоторые люди, как щука на блесну, набрасываются на книги, хватают все без разбору. Далеко не всегда желание иметь книгу совпадает с желанием ее прочесть.

Возвращаясь к поре своего детства, хочу сказать, что тогда, в начале тридцатых годов, мы жили голодно, скудно. Но в головах у нас кипели идеи, душа горела от жажды узнать что-то новое. Одежда нас занимала мало. Не было обуви, бабушка сшила мне на машинке тапки из клеенки. Не привередничая, надел и пошел.

В голодный год, когда трудно было с хлебом, маму на работе выдвинули продавцом хлеба в заводском ларьке. Однажды стоял я в очереди. Привезли хлеб, сырой, тяжелый, липкий. Мать отрезала сколько положено. И вдруг крошка, грамм два, откатилась на край прилавка. Я протянул руку к этой крошке. И тогда мать ударила меня по пальцам рукояткой ножа. Я закричал:

— Мама, это я!

Она видела, что это я. Поэтому и ударила.

В детстве происходит много такого, что потом всю жизнь крепко сидит в человеке. С тем запасом, что дал мне наш завод и книги, с тем, что я успел впитать в себя до войны, я и пошел в жизнь. Живу с этой памятью.

Война началась, когда мы окончили восьмой класс.

— «Малая Тимирязевка», операция «Зернышко», ученические бригады — это все из жизни современных ребят. Но вот пришло в редакцию письмо:

«Я никогда не видела, как растет пшеница или рожь. Я их не различу и не вижу в этом ничего такого отрицательного. Я про-

сто злюсь, когда по телевизору бесконечно показывают комбайны. У всех своя жизнь — у деревенских школьников своя, у нас своя».

Что вы можете сказать об этом?

— Все не так просто. Тут есть о чем подумать и нам, взрослым, и самим ребятам.

Если, скажем, из доменных печей плещет огненная лава, если на буровой забил нефтяной фонтан, а турбины Братска лопатят Ангару, то это значит, что в то же самое время кто-то пашет, засекает или убирает хлебное поле. Направляет ли к дальним мирам свой телескоп астрофизик или поет в театре оперный солист — все это опять же означает, что кто-то в это время заботится об их хлебе насущном.

И выходит, что человек поля сеет не только хлеб, но и возделывает индустрию, науку, культуру всей страны. Металл, книга, песня и хлеб — звенья одной цепи. И в запасы горючего космической ракеты тоже заложена наша хлебная сила.

Не всем быть хлеборобами. Если сам будешь на совесть трудиться, вкладывать в общее дело труд своей души, ты тоже, какую бы профессию ни выбрал, будешь причастным к труду хлебороба. Без этого нельзя в жизни.

Когда вы, ребята, будете изучать историю, отнеситесь с интересом к истории земледелия. Вы поймете, что история земледелия — это история человеческой цивилизации.

Хлеб — вроде бы незаметный предмет... Но он всему голова. Если представить себе, что завтра хлеб исчезнет, все свернется, как скисшее молоко.

Понять, почувствовать это надо в детстве. Детство — пора серьезная.

ПРИМЕЧАНИЯ

В ЧИСТОМ ПОЛЕ... Рассказы и повесть

В чистом поле, за проселком... с. 7–18

Впервые опубли.: Курская правда. 1965. 5 нояб.

В старом деревенском кузнеце Захаре Панкове нашли отражение черты деда Е.И. Носова, воссозданные писателем по рассказам отца: «По облику своему дед походил на былинных ковалей — огромный рост, черная окладистая борода, длинные волосы, под густыми бровями суровые, утрюмые глаза. Работал он по найму у помещиков — владельцев винокуренных заводов, но из-за несговорчивого, строптивного характера долго не задерживался на одном месте, кочевал со своей многолетней семьей от поместья к поместью.

В предисловии к книге Е. Носова «Белый гусь» (М.: Дет. лит., 1976) критик В. Сурганов писал о рассказе «В чистом поле, за проселком...»: «Носов хорошо знает и по-настоящему любит своего молодого современника... Причем больше всего привлекают его деревенские ребята... Они очень разные и по возрасту, и по характеру. Но есть в каждом из них одна ключевая черта... Всякий из них по самой своей глубинной сути — подлинный труженик. <...> Стоит только вспомнить, как увлеченно и достойно сдает свой неожиданный “экзамен” на колхозного кузнеца тот же Аполоска — законный наследник старого Захара».

С. 9. ...на старинный манер христославия... — Славлением называется благочестивый обычай священнослужителей ходить по домам верующих в праздничные дни (Рождества Христова, Богоявления Господня, Пасхи, храмовых праздников) с животворящим крестом и иконами, славить Бога и святых. Такое молитвенное славословие сопровождается благословением, а иногда и окроплением святою водою.

С. 10. — Сказывают, Тимирязевскую академию кончал... — Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева. Основана в 1865 г. Московским обществом сельского хозяйства как Петровская сельскохозяйственная и лечебная академия; современное название — с 1997 г.

С. 18. ...какая такая открылась непонятная всенощная перед самым Октябрем. — Всенощная, всенощное бдение — церковная служба, начинающаяся после захода солнца и продолжающаяся всю ночь.

За долами, за лесами... с. 18–34

Впервые опубли.: Новый мир. 1966. № 2.

В начале 1960-х гг. писатель гостил у Василия Белова в деревне Тимониха на Вологодчине; впечатления от Севера той поры и легли в основу рассказов «За долами, за лесами...» и «И уплывают пароходы, и остаются берега», составивших

«северный» цикл Е. Носова. «Вскоре открылась Васильева деревенька Тимониха. Разбежались вправо и влево леса, стало просторно и светло... — писал впоследствии Е. Носов в предисловии к книге В. Белова «Холмы» (М.: Современник, 1973). — Что-то дрогнуло во мне счастливым узнаванием, но только спустя, постигая это свое первое впечатление, я догадался, что еще в далеком детстве видел такие картины в книжках с русскими сказками про курочку-рябу, козу-дерезу... Видел и эти «тожки с непременно шестью — стожами» на макушке, и эти белокурые березовые изгороди (прясла), на которых тараторили вертлявые сороки, и закопченные баньки понизу».

Деревенька — двенадцать дворов на восемь душ — поразила художника. «На Севере отдыхаешь душой, — признавался он в интервью корреспонденту «Литературной России». — Русь там больше сохранилась в обличье своем, в языке, в морали. Люди участливые...» (Лит. Россия. 1970. 2 янв.). Писателя глубоко волновала драматическая судьба маленьких, так называемых неперспективных деревень: названная тема и нашла социально тонкое воплощение в рассказе.

Рассказ долго не удавался автору. «Я знаю, — писал В. Астафьев, — что два превосходных рассказа Евгения Носова «Объездчик» и «За долами, за лесами...» — это плод полуторагодичного, очень напряженного труда» (Лит. газета. 1967. 19 апр). Прозаику важно было найти верный тон в разговоре о глухой деревеньке и немногих ее жителях, точный музыкальный «рисунок» происходящего, который бы и увлекал читателя, и вместе с тем глубоко «прятал» драматизм темы, сокровенную мысль писателя о человеческих судьбах. «В каждом рассказе, — говорил Е. Носов, — должен быть фон музыкальный, первые два абзаца настроены на определенную волну. В рассказе «За долами, за лесами...» первые фразы — настроенные («На рассвете меня будили журавли...»). Если эти фразы уловлены, рассказ будет прочитан. Это та самая стилистическая магия, когда мысль внутренняя глубоко спрятана» (Книжное обозрение. 1968. № 12).

С. 18. ...*нечто вроде «Кон-Тики»*... — «Кон-Тики» — плот, на котором норвежский этнограф и археолог Тур Хейердал и члены его экипажа в 1947 г. проплыли от Перу до Полинезии.

...*на теплом романовском полушубке*... — До 1917 г. г. Романов-Борисоглебск Ярославской губ. славился овчинно-меховым и валяльным промыслами. Отсюда и название полушубков — романовские. После революции ушел в небытие древний промысел, да и город, названный некогда в честь трех русских князей — Романа угличского, святых Бориса и Глеба, — превратился в Тутаев (по фамилии погибшего здесь красноармейца).

С. 19. ...*в Железногорске, в сердце Курской аномалии. На своем бронированном КРАЗе*... — Железногорск — город в Курской обл., в 130 км от Курска, на западной окраине Среднерусской возвышенности. Близ железнодорожной станции — Михайловский рудник.

С. 20. ...*колоколенка с осыпавшимися шатрами*... — Шатер (в архитектуре) — завершение построек (главным образом центрических) в форме высокой (четырехгранной или многогранной) пирамиды. В XVI–XVIII вв. применялись в русском деревянном и каменном зодчестве (как правило, в храмовом).

С. 23. *Вчера бежала одной палестиной*... — Здесь: палестина (уст.) — местность, край.

С. 24. ...*суздальского письма, забредшие сюда с юга, и беломорские, сохранившие в росписи еще следы византийской манеры*... — Суздальское письмо — ветвь единой владими́ро-суздальской художественной школы. Сложилась она на северо-востоке Руси в XII — первой половине XIII в., в период усиления Владимиро-Суздальского княжества. В основе этой художественной школы — традиции

художественной культуры Киевской Руси. Северные иконы — та, приняты называть стилистически близкие произведения иконописи, созданные мастерами Русского Севера в XVI–XVIII вв. В северные письма входят, — чистоты, обонезские, карельские, устюжские, боломорские письма.

...огонь. Лесная репродукция. «Мадонны Лита» работы Леонардо да Винчи — Леонардо да Винчи (1452–1519) — выдающийся мастер эпохи Итальянского Возрождения, живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер. Картина «Мадонна Лита» (1481–1490), хранящаяся в петербургском Эрмитаже, приписывается Леонардо. Коллежист и знаток западноевропейской живописи А.И. Сомов (отец художника Константина Сомова) считал, что картина эта начата самим Леонардо, а завершена кем-либо из его учеников. А.Н. Бенуа категорически отрицал авторство Леонардо. Выдвигались также предположения, что «Мадонна Лита» могла быть создана по рисунку Леонардо. Но, как бы там ни было, она и поныне пленяет нас одухотворенностью, чистотой.

С. 25. У меня еще Микола Угодник остался... — Имеется в виду икона святого Николая Мир Ликийских, или, как исстари называют в Русской земле этого особо чтимого святого, Николая (Николы, Миколы) Угодника, Чудотворца.

С. 33. Я вот упрям в Вильгельме, а ты супрот в Гитлера. — Вильгельм Гогенцоллерн (1859–1941) — германский император и прусский король (1888–1918). При нем Россия вела войну против Германии. Адольф Гитлер (1889–1945) — фюрер (вождь) Национал-социалистической партии, глава германского фашистского государства. В период правления обоих этих политиков Германия развязала самые кровопролитные войны XX столетия: при Вильгельме, в 1914 г. началась Первая мировая война, при Гитлере — Вторая мировая (1939), для нашей страны ставшая Великой Отечественной (1941–1945).

— А ты, дедушка, носи своего Егория. — Георгиевский крест — награда Российской империи. Учрежден в честь святого воина великомученика Георгия Победоносца в 1806 г. для награждения солдат и унтер-офицеров. С 1856 г. имел четыре степени. Упразднен 10 (23) ноября 1917 г.

Так и скажи Калинин. — Михаил Иванович Калинин (1875–1946) — советский государственный и политический деятель, в 1938–1946 гг. — председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Шуба, с. 34–47

Впервые опубли.: Наш современник. 1962. № 3.

Тема «Шубы» родилась из более раннего рассказа «На рассвете». «Как-то я написал рядовой рассказ, — говорил Е. Носов в беседе с корреспондентом «Книжного обозрения», — традиционный по замыслу: как предполагает начать свою работу человек, выбранный председателем. В разговоре председателя и матери речь идет о несоответствии жизни в городе и в деревне... Мать рассказывает, как одна женщина выложила две пачки сотенными за одну шубу. Для нее это удивительно, на такую сумму она могла бы купить корову или дом... То, как была куплена шуба, — тема нового рассказа. Зарождение новой темы — как ветка, на которой три почки: одна засохнет, другая, а из третьей развились листочки» (Книжное обозрение. 1968. № 12).

Шуруп, с. 47–59

Впервые опубли.: Носов Е. Шуруп. Курск, 1962.

С. 47. ...всевозможные школы ФЗО. — Школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) действовали в СССР в 1940–1958 гг. В этих профессионально-технических учебных заведениях в течение полугодия готовили рабочих массовых про-

ф.с...й. ФЗО — 1959 г. были ...е бразованы в ПТУ (профессионально-технические училища).

С. 52. *А Вербное воскресенье — великий праздник. Иисус Христос на нашей дороге вербой выстилал.* — Вербное воскресенье — двенадцатый праздник — Вход Господень в Иерусалим. Событие, вспоминаемое в этот день, произошло вскоре после воскрешения Лазаря и на другой день после вечера в доме Лазаря, когда Лазарь сестра Марфа помазала ноги Иисуса Христа миром ... св... .. в ...сами Торжество ... шествие Спасителя началось ... Елосой: «...м... ж...с...в... .. приш... .. шег... .. пр...зд...ик...у...в...ч...о...И...сус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! Благословен грядущий во имя Господне. Царь Израилев!» (Евангелие, 12, 12-13). У нас место ветвей пальмы — аи — у ...р...б...яю...ся вербы.

С. 53. *На святую неделю.* — Святой, светлой называется пасхальная неделя — от дня Пасхи до следующего воскресенья — Фоминой недели, Антипасхи.

С. 56. *Как оттяпало под Смоленском...* — Смоленское сражение (Великая Отечественная война) длилось два месяца — с 10 июля по 10 сентября. С советской стороны в нем участвовали 1-я армия Западного, Резервного, Центрального, Брянского фронтов, которые в ряде оборонительных и наступательных операций остановили наступление немецкой группы армий «Центр» на московском стратегическом направлении на рубеже Ярцево, Ельня и сорвали план безостановочного продвижения гитлеровцев к Москве.

С. 57. *Ты воздал — и тебе воздастся.* — Воздаяние (восходит к евангельскому) — возмездие, то, что заслужено, отпущение. Здесь — вознаграждение, награда. См., например, Послание к евреям, 10, 35: «...не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние».

Подпасок, с. 59-65

Впервые опубли.: Огонек. 1964. № 33.

«Это уже не мальчишка, — пишет о главном герое рассказа, Митьке, В. Сурганов, — а рабочий человек, у которого есть и понимание того, что происходит, и чувство трудового достоинства, и воля к борьбе» (см.: Носов Е. Белый гусь. М.: Дет. лит., 1976).

Варька, с. 65-86

Впервые опубли.: За долами, за лесами... М.: Сов. писатель, 1967.

Критики отмечали тяготение Е. Носова к некрасовским традициям. Писатель стремился воссоздать историю становления женского характера в тесной связи с сопутствующей ему, характеру, социально-бытовой средой, от детских лет и до глубокой старости: Варька в одноименном рассказе — Тоня Яценко («Храм Афродиты») — Анфиска («Шумит луговая овсяница») — Пелагея («Пятый день осенней выставки») — бабка Евдокия («За долами, за лесами....») и др.

С. 75. *Кавказ подо мною. Один в вышине*

Стою над снегами у края стремнины...

Отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Кавказ» (1829).

С. 83. *Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,*

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

Строфа из стихотворения А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» (1836).

Дёжка, с. 86–92

Впервые опубли.: Наш современник. 1985. № 1.

Этот рассказ словно бы перекликается с предыдущим, хотя написаны они с разницей почти в двадцать лет. В «Дёжке» идет речь о встрече с девочкой из курского с. Винниково, откуда родом ее тезка, Дёжка, знаменитая русская певица (меццо-сопрано), исполнительница русских народных песен и романсов. После 1920-х гг. жила за рубежом, преимущественно во Франции. Искусством ее восхищались Шаляпин и Собинов. Ныне в честь Надежды Плевицкой в Курской области проводятся фестивали народной песни.

С. 87. ...толстовский Жилин... — Жилин — герой рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» (из «Четвертой книги для чтения», 1872 г.).

Моя Джомолунгма, с. 92–121

Впервые опубли.: Наш современник. 1964. № 4.

В названии повести отражен характерный для поэтики Е. Носова принцип видеть необычное и поэтическое в обычном и вроде бы заурядном (сравните, например, название повести о строительстве коровника «Храм Афродиты», отсылающее читателя к греческой мифологии, к культу Афродиты — богини любви и плодородия). В данном случае больной, прикованный к постели подросток воспринимает тополь под окном как Джомолунгму.

Откликаясь на книгу Е. Носова «Где просыпается солнце?» (М.: Сов. писатель, 1965), В. Астафьев писал: «Маленькая повесть “Моя Джомолунгма”, рассказы... это не только лирические живописания природы, судеб и характеров... это в то же время суровый суд над всем плохим и косным, что еще таится в углах нашей жизни» (Лит. Россия. 1965. 27 авг.).

С. 93. ...узелковое письмо древних инков. — Инки (правильнее — инка) — первоначально индейское племя языковой семьи кечуа, обитавшее в XI–XIII вв. на территории современного Перу, позже — господствующий слой, а также верховный правитель в образовавшемся в XV в. государстве Тауантинсуйу. Инки — создатели одной из древнейших цивилизаций в Южной Америке.

С. 98. Иван подорвался в Будапеште, когда разминировали дома. — Будапештская операция периода Великой Отечественной войны. В декабре 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов окружили в Будапеште почти 190-тысячную группировку из состава немецкой группы армий «Юг» и в результате ожесточенных боев уничтожили ее. 13 февраля 1945 г. Будапешт был освобожден.

...в праздничном номере «Красной звезды»... при всех трех орденах Славы. — «Красная звезда» — ежедневная профессиональная военная и общественно-политическая газета Министерства обороны Российской Федерации; издается с 1924 г. (Москва). Орден Славы учрежден во время Великой Отечественной войны, в 1943 г. для награждения особо отличившихся в боях лиц рядового, сержантского и старшинского состава; имел три степени.

С. 107. Как тевтонский меч, найденный под Псковом. — Тевтоны — германские племена. Во II в. до Р. Х. они вторглись в римские владения, но в 102 г. до Р. Х. были разбиты римским полководцем Г. Марием. Впоследствии тевтонами стали называть германцев вообще.

С. 110. Под Шопена. — Фридерик Шопен (1810–1849) — польский композитор и пианист.

С. 116. ...в тысяча девятьсот шестнадцатом году куплена, в Ревеле. — Ревель — название столицы Эстонии г. Таллина в 1219–1917 гг.

Алим едет на Кавказ. с. 121–126

Впервые опубли.: Наш современник. 1962. № 3.

Это единственное произведение Е. Носова, связанное географически со Средней Азией. — в послевоенные годы (1946–1951) писатель жил в г. Талды-Курган, в Казахстане, работал в газете «Семиреченская правда» ретушером, затем — корреспондентом и заведующим отделом.

С. 121. ...*рельсы Турксиба*. — Турксиб (Туркестано-Сибирская железная дорога) соединяет районы Средней Азии с районами Сибири, проходит по территории Казахстана; сооружен в 1927–1931 гг.

ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ

Картошка с малосольными огурцами, с. 129–138

Впервые опубли.: Носов Е. Лоскутное одеяло. Воронеж: Центр.-Чернозем. книжное изд-во, 1989.

К этому рассказу автор долгое время относился довольно скептически, считал его незавершенным. В 2000 г. Е. Носов вернулся к нему, изменил конец.

Аз-буки, с. 138–156

Впервые опубли. (под названием «Кулики-сороки»): Поле Куликово. 1995. № 1.

В одном из последних прижизненных изданий (Вечерние стога. М.: Современник, 2000) — под названием «Аз-буки...».

Рассказ — светлый, добрый, оптимистический, но одновременно и очень земной, реалистичный.

«Прочитала в “Курской правде” (1995) этот рассказ и узнала свою бабу Варю, свое детство, вспомнила, как ждали весенний праздник сороков, как пекли куликов, закликали весну.. Во всех произведениях Е.И. Носова столько святости, духовности и добра!.. Его светлое, доброе слово вызывает в сердцах читателей такое же чувство любви — и к своему народу, и к самому писателю...» — писала Н. Коржавых из Курска.

С. 138. *Не спрашивай меня о том, чего уж нет,*

Что было мне дано в печаль и в наслажденье...

Строки из стихотворения А.С. Пушкина «Мой друг, забыты мной следы минувших лет...» (1821).

...церковную букву «ферт»... — Ферт — старое название буквы «Ф» в русском алфавите.

С. 139. *Помянув же о скорых «сорока мучениках»...* — 9 (22) марта по церковному календарю — праздник 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. В этот день благочестивые русские люди, живущие в согласии с православной традицией, всегда пекли и пекут ныне подрумяненные крошечные булочки в форме птичек — жаворонки. «Сороки святые — колобаны золотые (булочки)»; «На сорок мучеников день с ночью меряется, равняется. Вторая встреча весны (запевают веснянки с Евдокии — 1/14 марта). Зима кончается, весна начинается»; «На сорок мучеников сорок птиц прилетает. Сорок пичуг на Русь пробирается»; «Прилет жаворонков. Сколько проталинок, столько жаворонков»; «Прилетел кулик из заморья, принес весну»; «Жаворонки, прилетите, красно лето принесите» (все примеры — из Владимира Даля).

— *Не успел на двор Хведот, а его уже Герасим взашей толкает... А Герасима — Конон, а Конона Василий потораливает...* — День памяти мученика Феофота Анкирского 19 февраля (4 марта): «На Федота занос (ветер, метель), все сено

снесешь (*т. е. долго травы не будет*). День памяти преподобного Герасима Иорданского (иже на Иордане) — 4 (17) марта: «Герасим — грачевник, грачей пригнал». День памяти мученика Конона Исаврийского 5 (18) марта. День памяти священномученика Василия Херсонесского, *Василия Капельника* — 7 (20) марта. (Все цитаты — из Месяцеслова Владимира Даля. — Ред.)

С. 140. ...*в урёму слетятся сорок сороков сорок...* — Урёма (казахское, оренбургское, татарское) — поречье, поемный лес и кустарник на берегу речек; поросшая лесом и более низина по руслу реки, до степного края. Сорок сороков (устаревшее) — 1) о большом количестве чего-либо (от старинной единицы счета, в основе которой лежало число 40); 2) о московских церквях, число которых было очень велико.

С. 141. ...*в самый расцвет нэпа...* — Новая экономическая политика (НЭП, нэп) — провозглашена весной 1921 г. на X съезде РКП (б) в обстановке резкого обострения внутривластической ситуации в стране; основная ее цель: восстановить народное хозяйство для последующего перехода к социализму.

С. 141–142. ...*каковые нашивал Добролюбов...* — Николай Алексеевич Добролюбов (1836–1861) — русский литературный критик, публицист, демократ. Разработал метод «реальной критики» (широкую известность получили его статьи «Что такое обломовщина?», «Луч света в темном царстве» и др.).

С. 148. ...*орудием Голгофы или Аппиевой дороги...* — Голгофа — холм в окрестностях Иерусалима, на котором был распят Иисус Христос. С тех пор слово «Голгофа» стало синонимом мученичества и страданий. Аппиева дорога — первая римская мощеная дорога, проложенная в 312 г. до Р. Х. между Римом и Капуей при Аппии Клавдии (он являлся цензором — так в Древнем Риме называлось должностное лицо, осуществлявшее контроль за расходованием государственных финансов).

...*двухперстно, раскольно твердя...* — В середине XVII в. произошел раскол в русской церкви, в результате которого от нее отделилась значительная часть верующих (во главе с протопопом Аввакумом Петровым; 1620 или 1621–1682), не признававших церковные реформы патриарха Никона (1653–1656); старообрядцы крестились по-прежнему — двумя перстами, а не тремя, как было установлено: во имя Отца и Сына и Святого Духа. Приверженцев старой веры, прежних церковных установлений стали называть старообрядцами.

С. 150. ...*и, повернувшись к Николе, осенила себя знамением...* — Крестное знамение — крестообразное осенение себя правой рукою.

С. 154. ...*на языке взрослых называлось «не хлебом единым»...* — См.: Библия (Второзаконие, 8, 3; Евангелие от Матфея 4, 4; Евангелие от Луки, 4, 4): «Не о хлебе едином будет жить человек». Это выражение употребляется в значении: человек должен заботиться об удовлетворении не только материальных, но и духовных потребностей.

...*перекрестился в моментальной строгости, после чего отрезал добрую зажаристую горбушку...* — У благочестивых православных людей утвердился замечательный обычай: перед принятием (вкусением) пищи прочитать молитву и перекреститься. Этому следовали дед и бабушка писателя. Иначе и быть не могло в исконной крестьянской семье.

— *Проволока-то эта еще от Колчака...* — Александр Васильевич Колчак (1874–1920) — военачальник, полярный исследователь, гидролог, адмирал. Один из организаторов Белого движения в Гражданскую войну. В 1918–1920 гг. — «верховный правитель Российского государства». Расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.

Кто такие?.. с. 156–171

Впервые опубли. (под названием «Сказ про Б...о...о Голото»): Носов Е. Лоскутное одеяло. Воронеж, 1989.

Здесь писатель продолжает рассказ о своем детстве, своем восприятии природы, о тех уроках, которые по-прежнему дадутся душка Алексей. Все события происходят в курской деревне Толмачево, где родился Е. Носов.

С. 156. ...бахрома его хаджи-муратской шали... — Хаджи-Мурат — герой одноименной повести Льва Николаевича Толстого (1902).

С. 163. ...в сырдарьинских плавнях. — Сырдарья (древнее название — Як-арт) — река в Средней Азии. Совсем еще недавно впадала в Аральское море, теперь же ее воды полностью разбираются на хозяйственные нужды, судоходна лишь на отдельных участках.

А давайте заглянем в Даля... — Владимир Иванович Даль (1801–1872) — врач, писатель, этнограф, диалектолог. Датчанин по национальности. Отец его приехал в Россию по приглашению Санкт-Петербургской библиотеки, но впоследствии, по получении специального медицинского образования, стал врачом. Отцовскую профессию унаследовал и сын, но прославился он прежде всего как составитель «Толкового словаря живого великорусского языка» (впервые издан в 1863–1866 гг.).

С. 165 За это с нас и спросится, придет время... — Дедушка, живший по заповедям Божиим, конечно же, всегда полагался на будущее суд. По-прежнему — Страшном суде: «...и судим был каждый по делам своим», — сказано в Откровении св. Иоанна Богослова (глава 20, стих 13). Библейской вторит и народная мудрость: «Суда Божьего околицей не объедешь».

Мост, с. 171–180

Впервые опубли.: Наш современник. 1962. № 3.

Дом за триумфальной аркой, с. 180–195

Впервые опубли.: Носов Е. Дом за триумфальной аркой. Курск, 1963.

Родители будущего писателя работали на заводе. Директор предприятия отремонтировал старый дом и выделил в нем жилье для рабочих, в том числе и для Носовых. Вот об этом доме и рассказывает автор. Когда-то перед домом был каменный забор в виде арки со львами. Скульптурные изображения львов не сохранились, а сам дом цел до сих пор, стоит в глубине двора на ул. Красноармейской, под № 35а, там живут несколько семей; сохранилась и комната на первом этаже, где в довоенные годы жила семья Носовых.

С. 181. ...два ордена боевого Красного Знамени на кумачовых бантах... — Орден Красного Знамени — высшая награда Советской республики (учрежден в 1918 г.); награда СССР (с 1924).

С. 184. ...крестясь на луковку Святой Троицы... — Имеется в виду Свято-Троицкий храм (XVIII в.) курского Троицкого женского монастыря (во имя Святой Живоначальной Троицы).

С. 185. ...под стенами церкви Святого Фрола. — Св. Флор (по-народному — Фрол) и св. Лавр всегда почитались на Руси, особенно в сельской местности. Они — покровители лошадей; народ сложил поговорку: «На Фрола и Лавра (18/31 августа) — лошадиный праздник»; начало осенним утренникам.

С. 191. ...старые журналы «Нива»... — «Нива» — еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал; издавался в Санкт-Петербурге (Петрограде) в 1870–1918 гг.

С. 193. ...слушали симфонию Калинникова. — Василий Сергеевич Калинников (1866–1900/1901) — автор двух симфоний, из которых наиболее известна 1-я (1895).

НЛО нашего детства, с. 195–211

Впервые опубли.: Курская правда. 1991. 28 февр.

С. 199. ...с вознесенным куполом Знаменского собора... — Имеется в виду Знаменский собор (построен в 1825 г.) курского Знаменского мужского монастыря (в честь иконы Божьей Матери «Знамени»).

С. 201. *Осоавиахим* — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, массовая добровольная общенародная организация граждан СССР в 1927–1948 гг.

Красное, желтое, зеленое... с. 211–229

Впервые опубли.: Знамя. 1992. № 10.

С. 212 *Там у них какая-то коллективизация...* — Коллективизация — массовое создание коллективных хозяйств (колхозов) в СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг., сопровождавшееся уничтожением единоличных хозяйств. Проводилась форсированными темпами, с массовым применением насильственных, репрессивных мер. Привела к значительному сокращению производительных сил, сокращению сельскохозяйственного производства, голоду (в очередной раз повлекшему введение карточек на хлеб). Настоящий крестьянин был согнан с земли, деревня обезлюдела. Последствия коллективизации очевидны и сегодня: это и нелюбовь к родной земле, стремление кинуть ее, уйти в город, и, что самое важное, искоренение в человеке чувства хозяйского, бережного, рачительного отношения к земле-кормилице.

Греческий хлеб, с. 229–274

Впервые опубли.: Журавлиный клин. М: Воскресенье. 2000.

Под названием «Греческий хлеб» опубли. в газете «Московский железнодорожник» (2001. 24 февр.). Эта газета, печатавшая и другие произведения Е. Носова, присудила ему премию «Умное сердце» им. Андрея Платонова (2001).

С. 257. *Моя Полянка была учреждена Высочайшим указом самой Екатерины Великой.* — В 1779 г. Курск стал центром Курского наместничества (до этого, с 1729 г., относился к Белгородской губернии).

С. 260. ...бежали с Деникиным... — Антон Иванович Деникин (1872–1947) — военный деятель, писатель, генерал-лейтенант, один из руководителей Белого движения. С января 1920 г. — «верховный правитель Российского государства». С апреля 1920 г. — в эмиграции.

С. 268. ...Преемник Екатерины Великой, император Павел Первый... — При сыне Екатерины Великой и ее преемнике на императорском престоле Павле Петровиче (1754–1801) была учреждена Курская губерния (1797).

С. 269. *Полушка... Это как?* — Полушка — мелкая разменная монета. Чеканилась на Руси в XV в. из серебра. С 1534 г. — самая мелкая монета Русского государства (равна четверти копейки). С 1700 г. — наименьший номинал российской монетной системы, чеканилась (до 1916 г.) из меди.

С. 270. *О дивном блаженстве в райском саду Эдема.* — Эдем (Едем) (в переводе с евр. — приятность, сладость) — сад, в котором жили Адам и Ева до грехопадения; см. книгу Бытия, 2, 86: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке».

Снилось колечко... с. 274–296

Впервые опубли.: Москва. 2002. № 1.

С. 274. ...побывал на японской войне и потом часто поминал это загадочное слово «Порт-Артур». — Русско-японская война (1904–1905) за господство в Северо-Восточном Китае и Корее была начата Японией. Русская армия потерпе-

ла поражение на Ляояне, на реке Шахэ, в самом конце 1904-го пал Порт-Артур. Война завершилась подписанием Портсмутского мира (1905).

С. 275. ...от самых Дмитриевских зазимков... — 26 октября (8 ноября) — память св. великомученика Димитрия Солунского. В субботу перед этим днем — Дмитриевская родительская суббота. Она установлена в воспоминание о павших на поле Куликовом тысячах русских ратников. С той исторической победы св. благоверный князь Дмитрий Иванович стал называться Донским, а воинам его возносятся вечная память и вечная слава.

С. 278. ...свет серенького заиндевелого дня грядущего Покрова... — Великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечается 1 (14) октября.

С. 282. На Маслену — своя, на Красную горку — своя, на Троицу — покосная ярманка. — Масленица, Масленая неделя — неделя перед Великим постом. Народ сложил множество пословиц, поговорок о Масленице: «Маслена: честная, веселая, широкая. Всемирный праздник»; «Встреча — понедельник, заигрыши — вторник; лакомка — среда; широкий — четверг; тещины вечерки — пятница; посиделки — суббота; проводы, прощанья, прощенный день — воскресенье»; «Масленица — объедуха, деньгам приберуха»; «На горах покататься, в блинах поваляться»; «Не житье, а масленица. Маслена неделю гуляет»; «Не все коту масленица, будет и Великий пост» (все примеры — из Владимира Даля).

С. 283. ...подался в Юзовку... — Юзовка — название г. Донецка (Украина) до 1924 г.

С. 287. ...завтра Матрена зимняя... — Матрена зимняя, в честь преподобной Матроны Константинопольской, отмечается (22) ноября.

С. 291. ...на Соловки выслали. — В 1923–1939 гг. на территории Соловецкого монастыря находился Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), Соловецкая тюрьма особого назначения (СТОН) — главным образом для церковнослужителей и политзаключенных.

Два сольди, с. 297–335

Впервые опубли.: Москва. 2002. № 1.

С. 297. ...хрущевской оттепели... — Никита Сергеевич Хрущев (1894–1971) — советский государственный и политический деятель, в 1953–1964 гг. — 1-й секретарь ЦК КПСС, в 1958–1964 гг. — председатель Совета министров СССР. Один из инициаторов «оттепели» второй половины 50-х — начала 60-х гг. во внутренней и внешней политике, реабилитации жертв репрессий. Вместе с тем его политический курс отличался непоследовательностью, волюнтаристским подходом к решению сложнейших проблем, произволом и прожектерством. Это привело к смещению Хрущева в октябре 1964 г. со всех его постов.

С. 300. ...убит под Ржевом. — Ржев — город в Тверской обл. на р. Волге. Во время оккупации немецко-фашистскими войсками и боевых действий был сильно разрушен. В городе создан музей Великой Отечественной войны. Поэт А.Т. Твардовский (1910–1973) посвятил воинам, павшим под этим древним русским городом, замечательное стихотворение «Я убит подо Ржевом» (1945–1946).

С. 304. ...Христов день... — День св. Пасхи.

Детство — пора серьезная, с. 337–340

Впервые опубли.: Пионерская правда. 1978. 31 октяб.

СОДЕРЖАНИЕ

В чистом поле...

Рассказы и повесть

В чистом поле, за проселком...	7
За долами, за лесами...	18
Шуба	34
Шуруп	47
Подпасок	59
Варька	65
Дёжка	86
Моя Джомолунгма	92
Алим едет на Кавказ	121

Повесть о детстве

Картошка с малосольными огурцами	129
Аз-буки...	138
Кто такие?..	156
Мост	171
Дом за триумфальной аркой	180
НЛО нашего детства	195
Красное, желтое, зеленое...	211
Греческий хлеб	229
Сронилося колечко...	274
Два сольди	297
Детство — пора серьезная	337

Примечания	341
------------	-----

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ НОСОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

Том 2

Редактор Т.А. Соколова
Дизайнер Е.Н. Семенов
Компьютерная верстка Л.А. Фирсова
Корректор М.Г. Лобанова
Сканирование и обработка Григорий Дерюгин

Подписано в печать 18.05.05

Формат 60х90/16

Бумага офсет

Шрифт: Bookman

Усл. печ. л. 22,0

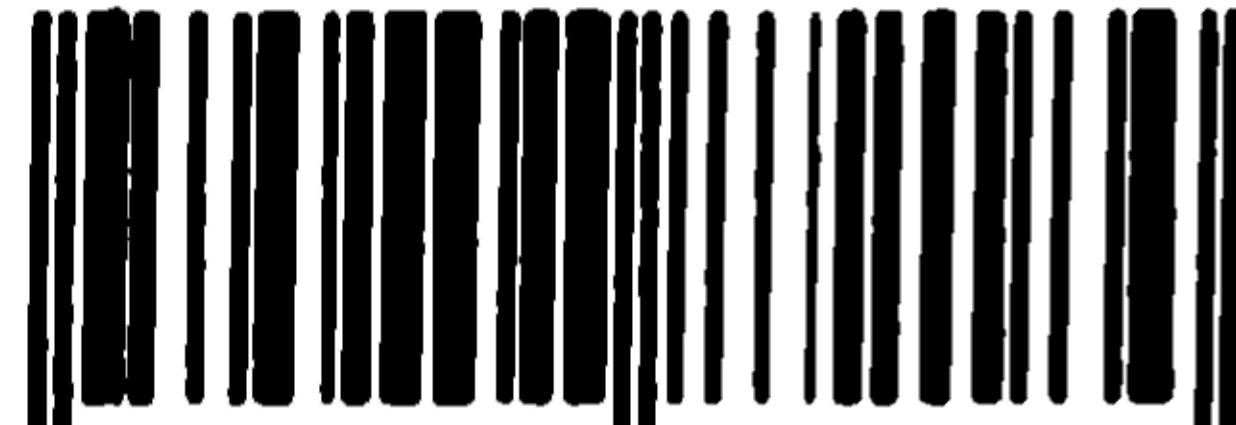
Тираж 3000 экз.

Заказ № 1395

ЗАО «Издательство «Русский путь»
109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Тел.: (095) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru

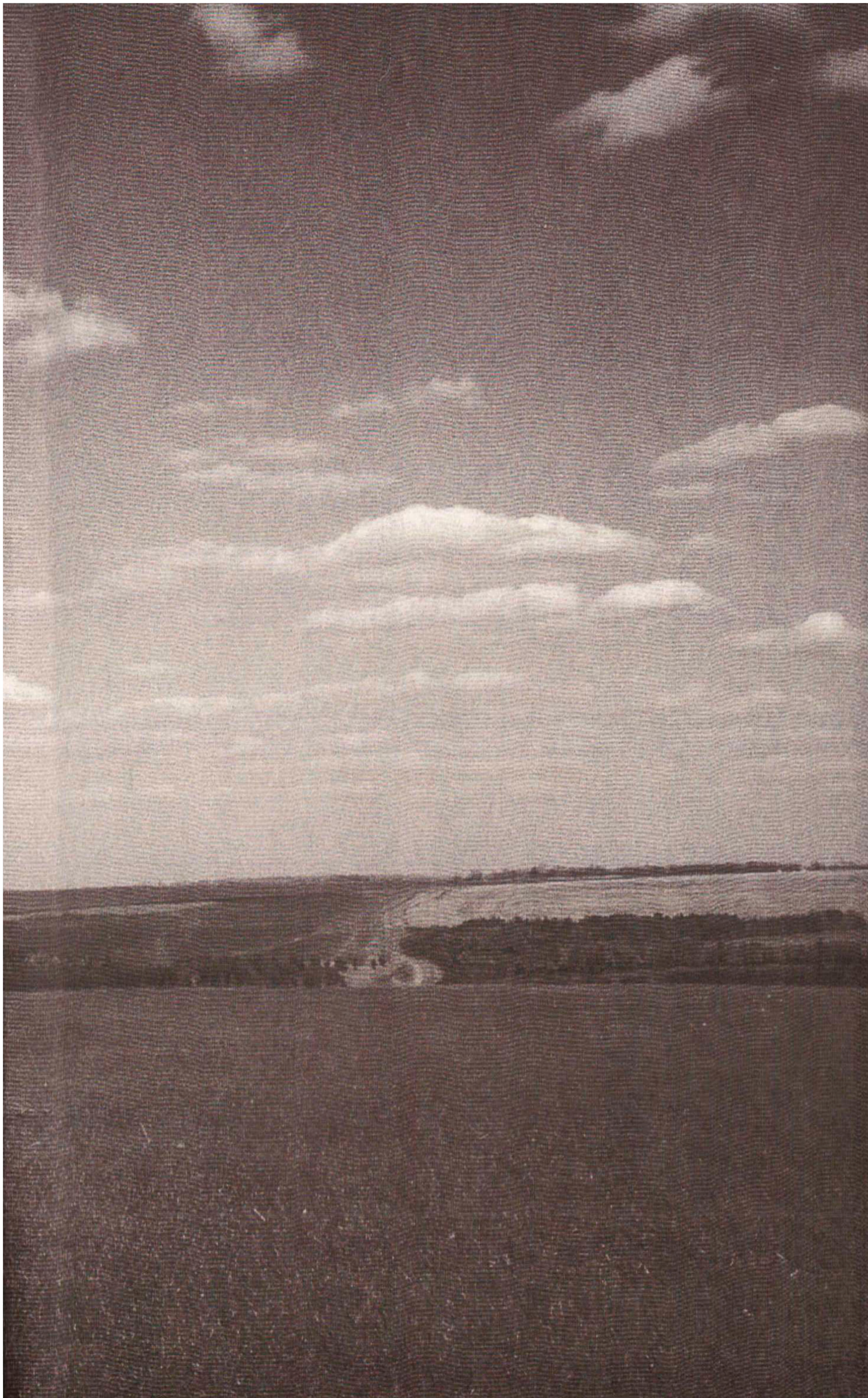
Отпечатано в ОАО «Типография «НОВОСТИ»
105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 46

ISBN 5-85887-218-2



9 785858 872184 >





Сами сюжеты – ничем не из ряду вон,
не знаменательны, не героичны, чаще всего –
обыденные эпизоды современной жизни –
но всегда ласково высвечены. Как говорит автор:
“Хотелось написать что-нибудь простое,
бесхитростное, ни на малость не вмешиваясь
в течение жизни”. . . . Перед нами медленно текут
те самые простейшие эпизоды живой жизни,
которых так недостает нам в учебниках истории,
чтобы ее ощутить, как бы поживши в ней.
Та уверенная, непридуманная покойная
обстоятельность быта простых людей – все менее
замечаемая нами в беспокойном современном
круговерчении, где человеколюбие становится
даром утраченным.

А.И. Солженицын